

КОГНИТИВНАЯ ИСТОРИЯ

КОНЦЕПЦИЯ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, МЕСТО В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:

**материалы круглого стола,
посвященного 90-летию со дня рождения
профессора Ольги Михайловны Медушевской**

13 октября 2012 года в Российском государственном гуманитарном университете прошел Круглый стол «Концепция когнитивной истории: интеллектуальные источники, место в структуре современного гуманитарного знания, перспективы развития», посвященный 90-летию со дня рождения профессора Ольги Михайловны Медушевской (1922–2007). Круглый стол был организован кафедрой теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ совместно с Научно-педагогической школой источниковедения – сайт Источниковедение.ru. В работе круглого стола приняли участие исследователи, представляющие ведущие учебные и научные центры РФ: Российский государственный гуманитарный университет, НИУ «Высшая школа экономики», Северо-Кавказский и Южный федеральные университеты, Кубанский и Челябинский государственные университеты, Московский государственный областной гуманитарный институт, Институт всеобщей истории РАН; Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, а также Университета Казимира Великого в Быдгоще (Польша).

Доклады были посвящены двум главным темам научного творчества Ольги Михайловны Медушевской – разработанной исследовательницей концепции когнитивной истории и ее осмыслению в контексте современного гуманитарного знания, а также источниковедению как системообразующему основанию когнитивной истории.

Ниже публикуются статьи, в основу которых положены представленные на круглом столе доклады.

М. Ф. РУМЯНЦЕВА

КОНЦЕПЦИЯ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ МЕДУШЕВСКОЙ ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

Поставлены ключевые вопросы освоения творческого наследия О.М. Медушевской (1922–2007), ее концепции когнитивной истории: о специфике русской версии неокантианства как основании источниковедческой концепции методологии исторического / гуманитарного познания, об интеллектуальных источниках концепции О.М. Медушевской, о проблеме субъекта в концепции когнитивной истории.

Ключевые слова: *О.М. Медушевская, А.С. Лаппо-Данилевский, русская версия неокантианства, когнитивная история, источниковедение, эмпирическая реальность исторического мира.*

Концепция когнитивной истории О.М. Медушевской, последовательно разрабатывавшаяся ею на протяжении всей ее творческой жизни, и особенно с начала 1990-х гг.¹, получила концептуальное оформление в ее последней книге и ряде статей². Концепция вызрела медленно и буквально в последний год жизни Ольги Михайловны произошел эпистемологический прорыв, ставший отчасти неожиданным даже для ее ближайших коллег, с которыми она часто обсуждала различные теоретические вопросы и методологическую составляющую разнообразных, но в первую очередь – источниковедческих, исследовательских практик.

Так получилось, что книгу «Теория и методология когнитивной истории», в которой концепция изложена целостно и развернуто, мы получили в завершенном виде³ уже после ухода автора. Не люблю образных выражений в научном тексте, но здесь – для точности выражения мысли – скажу: Ольга Михайловна оставила нам ряд эпистемологических загадок – эпистемологических проблем, ответы на которые мы уже были лишены возможности с ней обсудить.

Сразу же подчеркну: в данном случае я не преследую цель сформулировать вопросы для целостного и системного изучения концепции. Я формулирую сейчас только те вопросы, которые меня интересуют в

¹ См.: Казаков, Румянцова. 2011.

² Медушевская, 2008 (в); См. также: Медушевская. 2008 (а); 2008(б); 2008 (г).

³ Не могу здесь не отметить, что окончательная редактура текста шла уже без Ольги Михайловны, что, на мой взгляд, негативно сказалось на его качестве. Смысл этого замечания в том, чтобы внимательный читатель, который не может не заметить некоторые огрехи, отнесся к ним с пониманием.

первую очередь. Однако, на мой взгляд, без ответа на них невозможно и целостное, системное, в контексте современного науковедения, изучение концепции когнитивной истории.

Первый вопрос. Всем, кто знаком с научным творчеством Медушевской, и особенно тем из нас, кто часто слышал ее устные выступления (особенно на заседаниях Ученого совета РГГУ), хорошо известно, что Ольга Михайловна постоянно апеллировала к концепции А.С. Лаппо-Данилевского (1863–1919), которому приходилась «научной внучкой»: ее непосредственный учитель Александр Игнатьевич Андреев (1887–1959) был учеником Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского. В книге «Теория и методология когнитивной истории», характеризуя современную (2007 год) ситуацию в историческом познании, Ольга Михайловна пишет: «Профессиональное сообщество историков находится в ситуации смены парадигм...» И далее: «По отношению к философии исторического познания следует говорить не столько о смене, сколько о сосуществовании и противоборстве двух взаимоисключающих парадигм. Одна из них, неотделимая от массового повседневного исторического сознания, опирается на многовековую традицию и в новейшее время идентифицирует себя с философией уникальности и идиографичности исторического знания, исключая перспективу поиска закономерности и видящего организующий момент такого знания в ценностном выборе историка как познающего субъекта. Другая парадигма истории как строгой науки, стремящаяся выработать совместно с науками о природе и науками о жизни общие критерии системности, точности и доказательности нового знания...»⁴. Первая парадигма очевидным образом восходит к неокантианству Баденской школы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), а вторую Медушевская возводит к неокантианству же (!?), но уже в интерпретации А.С. Лаппо-Данилевского. Каков же интеллектуальный путь неокантианства на протяжении XX в., пришедшего в концепции О.М. Медушевской в оппозицию к своей основе – идиографичности исторического знания?⁵

Второй вопрос связан с особенностями самого процесса научного творчества Ольги Михайловны Медушевской. При знакомстве с книгой «Теория и методология когнитивной истории» бросается в глаза минимальное количество ссылок на задействованную в построении концепции литературу. Ольга Михайловна хорошо знала самые разнообразные исследования по философии, гуманитарным и социальным наукам и

⁴ Медушевская. 2008 (в). С. 15-16.

⁵ Здесь я не останавливаюсь на некоторых своих расхождениях с О.М. Медушевской в оценке актуальной ситуации в историческом знании. Они отмечены в ряде моих публикаций, в частности: Румянцева. 2009.

имела свое мнение об изложенных в ней взглядах и теориях. Но в своих статьях (а особенно – в лекциях и докладах) О.М. Медушевская предпочитала не вступать в непосредственную полемику с конкретными авторами, формируя обычно обобщенный образ оппонента, и, тем более, редко привлекала чужие размышления в качестве опоры для своей мысли. Ее работы (и особенно – устные выступления) всегда производили впечатление непосредственно рождающейся мысли, а интеллектуальный background – весьма обширный – оставался скрыт. Отсюда – одна из сложных проблем освоения концепции О.М. Медушевской – экспликация ее интеллектуальных оснований.

Третий вопрос во многом инициирован размещенным на сайте в рамках «круглого стола» материалом Н.А. Миникова «“История историка” в концепции когнитивной истории О.М. Медушевской»⁶. Ольга Михайловна не могла не понимать роль историка как познающего субъекта в неклассической (напр., неокантианство) и иных моделях науки. Однако в концепции когнитивной истории детально разрабатывается проблема объекта исторического познания, в результате чего Ольга Михайловна пришла к обоснованию понятия *эмпирическая реальность исторического мира*, которое, по-видимому, окажется в эпицентре обсуждения концепции, а вот размышления о субъекте в трудах Ольги Михайловны носят латентный характер, и нужны специальные усилия при изучении ее концепции, чтобы их эксплицировать.

Приступим же к поиску ответов, исходя из основополагающего принципа источниковедения – автор «объективирует себя в созданном им интеллектуальном продукте». И не забывая о том, что включение интеллектуального продукта – исторического источника в социокультурный контекст может позволить исследователю понять автора глубже, чем он сам себя понимал.

Свои варианты ответов на поставленные вопросы – сугубо предварительные – я и выношу на обсуждение. При этом предлагаю сосредоточить внимание на втором вопросе – вопросе фактически о творческой лаборатории историка, поскольку именно эта тема, на мой взгляд, представляет несомненный интерес не только с точки зрения изучения творческого наследия О.М. Медушевской, но и в связи с актуальными проблемами интеллектуальной истории и разработки метода источниковедения историографии.

⁶ Миников. URL: http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_mininkov/15-1-0-113 (дата обращения: 04.03.2013). Статья Н.А. Миникова, основанная на тезисах доклада на круглом столе, публикуется ниже.

Первый вопрос. Русская версия неокантианства как основание источниковедческой концепции методологии исторического / гуманитарного познания

В поисках ответа на выше поставленный вопрос о траектории движения научной мысли О.М. Медушевской от аксиологически ориентированной идиографии неокантианства к концепции истории как строгой науки необходимо вернуться в исходную точку – момент становления неокантианской методологии истории. Уже здесь обнаруживается принципиальное расхождение Баденской школы неокантианства и его русской версии. И если принять на уровне аксиоматики (а выясняется это при изучении интеллектуального background концепции О.М. Медушевской), что исследовательница отправлялась именно от русской версии неокантианства, то все противоречия сразу приобретают характер мнимых.

Позволю себе не останавливаться подробно на особенностях русской версии неокантианства, поскольку она является предметом моего специального интереса и есть возможность отослать заинтересованного читателя к соответствующим публикациям⁷. Кроме того, в январе – апреле 2013 г. кафедрой теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ и Научно-педагогической школой источниковедения – сайт Источниковедение.ru был проведен круглый стол «Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в интеллектуальных контекстах XX–XXI веков», посвященный 150-летию со дня рождения ученого, где эта проблематика была представлена⁸. Отмечу лишь один принципиально важный для понимания концепции О.М. Медушевской момент.

Неокантианскую эпистемологию исторического познания в России традиционно и вполне справедливо связывают с именем А.С. Лаппо-Данилевского, изучению и – не побоюсь этого слова, мало уместного в научном тексте, – пропаганде методологической концепции которого О.М. Медушевская посвятила значительную часть своих творческих усилий. Но, справедливости ради, заметим, что философские основы этого подхода были заложены еще А.И. Введенским (1856–1925), который, специально изучая вопрос о «пределах и признаках одушевления», пришел к выводу, что «душевная жизнь не имеет никаких объективных признаков...», «... наблюдать саму чужую душевную жизнь мы не можем, а должны лишь заключать об ней по ее внешним, материальным, то есть, объективным обнаружениям...»⁹ Именно эта идея впоследствии была

⁷ См.: Румянцева. 2012.

⁸ Идеи А.С. Лаппо-Данилевского...

⁹ Введенский. 1892. С. 7.

развита А.С. Лаппо-Данилевским в целостное учение об исторических источниках, понимаемых как «реализованный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим значением»¹⁰.

Напомним, что признанный классик Баденской школы неокантианства Г. Риккерт осознанно уходил от определения объекта исторического познания и видел направление поиска специфики истории как науки в выявлении особой, идиографической, логики исторического исследования: «...логика истории является исходным пунктом и основой всех философско-исторических рассуждений вообще»¹¹.

Итак, системообразующее значение в русской версии неокантианства имеет учение об объекте гуманитарного познания – произведении человека, которое позволяет изучать его с точки зрения принципа «признания чужой одушевленности»¹². Соответственно основу методологии истории А.С. Лаппо-Данилевского составляет источниковедение – учение об историческом источнике. И еще раз со всей определенностью подчеркну, что часто встречающееся определение концепции А.С. Лаппо-Данилевского как теории источниковедения крайне некорректно. Это именно методология истории, и шире – оригинальная концепция эпистемологии гуманитарного познания, имеющая сильную философско-антропологическую составляющую, но логика ее построения заставила автора в качестве основы утвердить методологию источниковедения.

Конечно, при безусловном господстве «материалистической» «марксистско-ленинской» концепции исторического процесса и исторического познания в условиях советской идеологизации возможности для развития направления, восходящего к «идеалистической» «буржуазной» концепции А.С. Лаппо-Данилевского, были весьма ограничены. Но акцент на исторический источник позволил развивать это направление в рамках источниковедения – одной из основ подготовки историков-архивистов в созданном в 1930 г. Историко-архивном институте, который О.М. Медушевская окончила в 1944 г. и работала на кафедре вспомогательных исторических дисциплин (с 1994 г. – источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин) до последнего дня своей жизни.

Именно источниковедческую составляющую русской версии неокантианства развивала Медушевская и в целом Научно-педагогическая школа источниковедения, в своих концептуальных основах восходящая к наследию Лаппо-Данилевского, сложившаяся и с 1939 по 2011 г. существ-

¹⁰ Лаппо-Данилевский. 2010. Т. 2. С. 38.

¹¹ Риккерт. 1998. С. 155.

¹² См.: Румянцева. 2007.

вовавшая на основе кафедры вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института (с 1991 г. – в составе РГГУ) и в настоящее время консолидированная на основе сайта Источниковедение.ру.

На протяжении нескольких десятилетий – периода, маркируемого выходом учебников по источниковедению, подготовленных кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин¹³, – НПШ источниковедения занималась, по преимуществу, разработкой видовой структуры корпуса исторических источников, то есть двигалась по намеченному Лаппо-Данилевским пути выявления специфики объекта исторического познания. Теперь объект не сводился к историческому источнику, а понимался как система исторических источников, видовой структура которой целостно и репрезентативно представляет структуру соответствующей культуры. Логическим завершением существенного этапа развития этой эпистемологической линии стала разработка Медушевской понятия *эмпирическая реальность исторического мира* как базового понятия концепции когнитивной истории, дающего надежное эмпирическое основание истории как строгой науки и вводящего ее в общую систему научного знания.

Второй вопрос. Интеллектуальные источники концепции когнитивной истории

Как уже отмечалось, решение этого вопроса представляет существенные сложности, в первую очередь, в силу особенностей научного стиля О.М. Медушевской. Но пойдём сначала по традиционному пути: посмотрим ссылки на литературу в книге «Теория и методология когнитивной истории». Мы обнаруживаем, например, в первой главе «Феномен человека»¹⁴, весьма пеструю, но не широкую интеллектуальную картину: Дильтей В. «Описательная психология» (СПб., 1996), Найссер У. (Познание и реальность» (М., 1981), Плеснер Х. «Ступени органического в человеке: Введение в философскую антропологию» (М., 2004), Рубинштейн С.Л. «Человек и мир» (М., 1973), Гуссерль Э. «Начало геометрии» (М., 1996), Хайдеггер М. «Работы и размышления разных лет» (М., 1993), Кронгауз М.А. «Семантика» (М., 2001), Анкерсмит Ф. «Нарративная логика: Семантический анализ языка историков» (М., 2003), Потебня А.А. «Слово и миф» (М., 1989), Выготский Л.С. «Психология развития человека» (М., 2004), Пирс Ч. «Избранные философские произведения» (М., 2000), Деррида Ж. «Письмо и различие» (СПб., 2000), Барт Р. «Мифологии» (М., 1996). С большой осторожно-

¹³ Тихомиров. 1940; Никитин. 1940; Источниковедение: Теория. История. Метод. ...

¹⁴ Медушевская. 2000 (в). С. 19-67.

стью я бы предположила, что ссылки в книге «Теория и методология когнитивной истории», как и во многих других работах Медушевской, не только не являются надежным средством экспликации интеллектуальных источников концепции когнитивной истории, но даже не маркируют ее познавательное пространство.

Изучение латентных (возможно, скрытых и от самого историка) источников концепции требует, на мой взгляд, разработки весьма тонкого исследовательского инструментария, поиск которого возможен, в том числе, в предметном поле источниковедения историографии – весьма актуальной, но слабо разработанной отрасли научного исторического знания. В соответствии с источниковедческой концепцией методологии истории существенное значение имеет видовая характеристика историографического источника, чему, на мой взгляд, историографы, работающие в предметном поле источниковедения историографии, не уделяют должного внимания. При этом хорошо разработанный в источниковедении видовой подход к изучению исторического источника не просто продуктивен для изучения источников историографических, без учета видовой специфики историографического источника невозможен, по моему глубокому убеждению, корректный результат историографического исследования. Это относится и к выявлению интеллектуальных источников концепции историка. Для историографа-источниковеда очевидно различие как в источниковой базе, так и в способах обращения с источниками при написании, например, монографии или учебного пособия, научной статьи или конференционного доклада и т.д.

Рискну предположить (исключительно в качестве гипотезы для дальнейшего исследования), что творческая лаборатория Медушевской сложилась во многом в процессе работы над учебными пособиями – практически единственным на протяжении значительного периода советской истории видом историографических произведений, допускавших широкое обращение к историографическому опыту западной науки. Да и книгу «Теория и методология когнитивной истории» я не стала бы называть монографией, как это сделано в издательской аннотации, поскольку такая характеристика ведет к смещению критериев ее осмысления.

Таким образом, источниковедение историографии выводит нас на поиск строгого метода историографического исследования. Другой подход (предполагаю, что *принципиально другой*) предоставляет нам предметное поле истории идей. И здесь «бывают странные сближенья».

Разрабатывая понятие «эмпирическая реальность исторического мира» – базовое, как уже отмечалось, для концепции когнитивной исто-

рии, О.М. Медушевская акцентирует внимание на творческой природе человека, на том, что «человеческая деятельность воплощает себя в окружающем мире, создавая интеллектуальные продукты»¹⁵. Анализ природы человека у Медушевской переключается – парадоксальным и не замеченным самим автором образом – с идеями Маркса, чья известная теория отчуждения труда является частным, применимым к капитализму, случаем антропологической концепции, наиболее полно зафиксированной в «Экономико-философских рукописях 1844 года». Суть человека, по Марксу, в объективации себя вовне: «Практическое созидание предметного мира, переработка неорганической природы есть самоутверждение человека как сознательного родового существ...»¹⁶. Впрочем, эта «история идеи» явно нуждается в дополнительных обоснованиях.

Третий вопрос. Субъект исторического познания в концепции когнитивной истории

Вопрос о субъекте исторического познания является принципиально важным для современной гуманитаристики, поскольку синтезирует этическую и эпистемологическую составляющие научного знания.

Современный исследователь истории науки, а тем более – науки исторической, не может не учитывать роль субъекта в процессе познания. Позволю себе набросать здесь примитивную схему, чтобы четче обозначить предмет рефлексии¹⁷. Достаточно ясно, что классическая модель науки сосредоточена на объекте познания, рассматривая субъект как абстракцию, если хотите – как «чистый разум». Неклассическая наука ставит проблему субъектно-объектных отношений и предлагает варианты ее решения – начиная с позитивизма, в котором этот вопрос практически не проблематизирован, и до концепций «исторического разума» и «описательной психологии» как метода его понимания В. Дильтея, в которых эта проблема выступает как основная. Еще большего внимания субъект познания требует в постнеклассической науке, предполагающей конструирующую роль познающего субъекта. Разработанная О.М. Медушевской концепция когнитивной истории, несомненно, принадлежит неоклассической модели науки, применительно к которой проблема субъекта, насколько я могу судить, разработана слабо. По-видимому, Ольга Михайловна не могла не рассуждать на эти темы, но проблема субъекта применительно к неоклассической модели рациональности ею специально не рассматривается.

¹⁵ Медушевская. 2008 (в). С. 24.

¹⁶ Маркс. 2000. С. 233.

¹⁷ См.: Степин. 2003. С. 619-636; Микешина. 2005. С. 212-213; Лубский. 2005.

Подступиться к решению этой «загадки» научного творчества О.М. Медушевской можно отталкиваясь от высказанного в ходе дискуссии Н.А. Мининковым утверждения о том, что работа историка зависит от «интеллектуальных и исследовательских качеств самого историка», но я бы добавила – и от его морально-этических установок. Я абсолютно убеждена, что у порядочного (этическая характеристика) и достаточно профессионального («гносеологическая» характеристика) человека этика и гносеология не могут не то что противоречить друг другу, а сколько-нибудь заметно расходиться. Почерпнутая в феноменологии Э. Гуссерля идея «строгой науки», стала, как мне представляется, для Ольги Михайловны не только гносеологической, но и этической. Она, вслед за Гуссерлем, искала пути достижения строгого знания и преодоления исследовательского субъективизма, если не сказать – произвола.

Именно поэтому она писала о *противоборстве* нарративной логики историописания и истории как строгой науки. Излишне говорить, что О.М. Медушевская последовательно и активно выступала в этом противоборстве на стороне строгой науки. Ее вклад в эту борьбу, в первую очередь, – обоснование новой образовательной модели¹⁸, которая, по видимому, может быть востребована в случае, если в основу образования будет заложена неоклассическая модель рациональности, отвечающая актуальным потребностям социума.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Введенский А.И.* О пределах и признаках одушевления: Новый психо-физиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики. СПб., 1892. 119 с.
- Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в интеллектуальных контекстах XX–XXI веков // Источниковедение.ru [Электронный ресурс]: страница Науч.-пед. школы источниковедения. URL: http://ivid.ucoz.ru/publ/anonsy_npsh/lappo_150/14-1-0-136.
- Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 1998. 702 с. Перизд.: 2000, 2004.
- Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф.* Научное наследие Ольги Михайловны Медушевской // Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики: Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской : [ст. и материалы] / отв. ред. М.Ф. Румянцева, Р.Б. Казаков. М.: РГГУ, 2011. С. 9-36.
- Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики: Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской : [ст. и материалы] / отв. ред. М.Ф. Румянцева, Р.Б. Казаков. М.: РГГУ, 2011. 498 с.
- Лаппо-Данилевский А.С.* Методология истории: [в 2 т.]. М.: РОССПЭН, 2010.
- Лубский А.В.* Альтернативные модели исторического исследования. М.: Изд-во «Социально-гуманитарные знания», 2005. 352 с.

¹⁸ *Медушевская.* 2008 (в). Гл. 5: Историческое образование в условиях смены парадигм. С. 288-330.

- Маркс К. Социология. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. 432 с.
- Медушевская О.М. История как наука: когнитивный аспект и профессиональное сообщество // Вестник РГГУ. Сер. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований. М., 2008(а). № 4. С. 17-30.
- Медушевская О.М. История науки как динамический процесс. К 120-летию со дня рождения А.И. Андреева // Там же. 2008 (б). С. 312-328.
- Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008 (в). 358 с.
- Медушевская О.М. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания: Материалы XX науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г.: в 2 ч. М., 2008 (г). [Ч. 1]. С. 24-34.
- Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. пособ. М.: Прогресс-традиция; Московский психолого-социальн. институт; Флинта, 2005. 464 с.
- Мининков Н.А. «История историка» в концепции когнитивной истории О.М. Медушевской // Источниковедение.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ivid.uscoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_mininkov/15-1-0-113, свободный.
- Никитин С.А. Источниковедение истории СССР XIX в. (до начала 90-х годов). М.: Соцэкгиз, 1940. 227 с. (Курс источниковедения истории СССР / Ред. Ю.В. Готье; Т. 2).
- Риккерт Г. Философия истории // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. С. 129-204.
- Румянцева М.Ф. Концепт «признание чужой одушевленности» в русской версии неокантианства // Cogito: альманах истории идей. Ростов н/Д.: Логос, 2007. Вып. 2. С. 35-54.
- Румянцева М.Ф. Рец. на кн. : Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории М.Ф. Румянцева / О.М. Медушевская. – М. : РГГУ, 2008. – 358 с. // Вестник РГГУ. Сер. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований. М., 2009. № 4. С. 294-299.
- Румянцева М.Ф. Русская версия неокантианства: к постановке проблемы // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2012 Т. 154. Кн. 1. С. 130-141.
- Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 743 с.
- Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. М.: Соцэкгиз, 1940. 256 с. (Курс источниковедения истории СССР / ред. Ю.В. Готье; Т. 1).

Румянцева Марина Федоровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной истории НИУ «Высшая школа экономики»; mf-r@yandex.ru

А. Н. МЕДУШЕВСКИЙ

ТЕОРИЯ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Автор обсуждает теорию когнитивной истории как новую парадигму в российской и интернациональной философии истории и доказательной интерпретации исторического прошлого. Рассматривая категории и их эмпирическую верификацию в научных исследованиях основателя теории, автор предлагает аналитические рамки для понимания роли интеллектуального продукта человеческой деятельности в качестве источника информации об индивиду и человеческом сообществе в контексте их когнитивного самоопределения в прошлом и настоящем.

Ключевые слова: *О.М. Медушевская, философия истории, когнитивный метод, интеллектуальный продукт, человеческая деятельность, информационный обмен, достоверное знание, верификация, реконструкция исторического процесса.*

Когнитивно-информационная теория, становление которой началось во второй половине XX в., сыграла ключевую роль в современном познании, позволив преодолеть односторонность традиционных неокантианских и позитивистских схем. Она обозначает обе стороны ситуации познания – его объект (вещи) и познающий субъект, раскрывая логику выведения их системных информационных связей через анализ когнитивной устремленности индивида к смыслу. Решающий элемент этой трансформации есть идея «интеллектуального продукта» – материального явления и доказательства целенаправленной человеческой деятельности в истории.

Теория когнитивной истории и система ее понятий представлена в трудах выдающегося российского ученого – Ольги Михайловны Медушевской (1922 – 2007), автора классических трудов по теории и методологии истории, создателя школы теоретического источниковедения, первого заслуженного профессора Российского государственного гуманитарного университета (до 1991 г – Московский государственный историко-архивный институт). Это направление является основополагающим для всех трудов О.М. Медушевской последних десятилетий, опубликованных в книге «Теория исторического познания: избранные произведения» и итоговом труде – «Теория и методология когнитивной истории»¹. Речь идет о появлении наукоучения, способного стать полноценным ориентиром для всех гуманитарных дисциплин², а главное –

¹ Медушевская. 2010; 2008. С. 345-358.

² См.: Круглый стол по книге О.М. Медушевской...

обеспечить доказательные критерии проверки достоверности получаемого знания, превратив историю в строгую и точную науку³.

Современные обращения к данному кругу идей подчеркивают их важность для методологической переориентации философии истории и историографии⁴. Это направление выдвигает на первый план когнитивные науки и теорию информации для разработки эвристического подхода в гуманитарных науках, обеспечивающего возможность сконструировать «мост» между гуманитарными и естественными науками с их методами верификации научных знаний⁵. Концепция когнитивной истории видит решение проблемы гуманитарного познания в изучении целенаправленного человеческого поведения, которое, развиваясь в эмпирической реальности, неизбежно сопровождается фиксацией результатов исследования, созданием интеллектуальных продуктов. Эти последние и становятся отправной точкой доказательного исторического познания и конструирования образа прошлого, возможного на основе методов классического источниковедения.

Этапы развития научных взглядов О.М. Медушевской: от теории источниковедения к когнитивной истории

Научное творчество О.М. Медушевской можно условно подразделить на три этапа⁶. Первый (1950–1960-е гг.) связан с разработкой проблем исторической географии и картографических источников. В 1952 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Русские географические открытия на Тихом океане и в Северной Америке (50-е-нач. 80-х гг. XVIII в.)», в 1957 г. опубликовала работу «Картографические источники в XVII–XVIII вв.», а в 1964 г. – «Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке XVII–XVIII вв.»⁷. Эти работы стали классикой российской исторической географии и не утратили научного значения до настоящего времени. Уже в этот период стала возможной постановка вопроса о переосмыслении методологических основ исторической науки, в частности в рамках цивилизационного подхода⁸.

Второй этап (1970–1980-е гг.) можно определить как «критический»: он связан с разработкой теоретических проблем источниковедения

³ Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики...

⁴ См.: Круглый стол: «Знание о прошлом в современной культуре»...

⁵ Подробнее основные положения теории представлены в наших публикациях: Медушевский. 2009 (а); 2009 (б); 2010 (а); 2011.

⁶ О биографии О.М. Медушевской см.: Россия–2000... Т. 2. С. 594; Кто есть кто в РГГУ. С.161; Чернобаев. 2008. С. 226; Медушевский. 2010 (б); и др.

⁷ Медушевская. 1952; 1957; 1964.

⁸ Медушевская. 1966.

и методологии истории в условиях растущей догматизации исторической науки. В 1975 г. О.М. Медушевская защитила докторскую диссертацию «Теоретические проблемы источниковедения», в которой была выдвинута *новая научная концепция источниковедения как теоретической и методологической основы гуманитарного знания*, позволяющей сделать это знание точным и доказательным. В условиях господства догматизированного советского марксизма обращение к этой тематике требовало большого личного мужества. В период, получивший позднее выразительное наименование «застоя», было не принято обсуждать какие-либо теоретические понятия, выходящие за рамки официального марксизма-ленинизма, а тем более предлагать их собственную интерпретацию. Поэтому в советской науке вводимое О.М. Медушевской понятие «*теоретическое источниковедение*» было встречено с глубоким недоверием и подозрением. Зачем, спрашивали критики, нужно выделять «теоретическое источниковедение» в особую отрасль знания, если уже существуют марксистская «теория исторического процесса» и «теория исторического познания и исследования»? Не означает ли введение этого понятия уступку неокантианству: сознательный разрыв методологии и методики, т.е. стремление противопоставить теоретическое источниковедение – источниковедению без теории? Наконец, целесообразно ли распространение строгих методов источниковедческой критики на тексты идеологического происхождения, в частности – партийные документы?

На защите докторской диссертации столкнулись представители двух направлений – советских догматиков и ученых, стремившихся к модернизации понятийного аппарата и языка гуманитарного познания. Сложную ситуацию, ощущавшуюся в наэлектризованной обстановке начала защиты, удалось переломить благодаря мощной поддержке академика Л.В. Черепнина, выступавшего первым оппонентом. Л.В. Черепнин – выдающийся специалист по истории российского феодализма⁹, воспитанный в духе классической дореволюционной академической традиции, к этому времени был усталым человеком, сломленным сталинскими репрессиями (некоторое время провел в ссылке) и опасавшимся высказывать свое мнение по вопросам методологии истории (как это видно, напр., из его статьи о А.С. Лаппо-Данилевском)¹⁰. Он, поэтому, начал выступление с осторожных сомнений в правомерности понятия «теоретическое источниковедение», но тут же полностью поддержал это направление. «Это, – уверенно заявил он, – тема высокого уровня, ибо от глубины раз-

⁹ Черепнин. 1948-1950.

¹⁰ Анализ идей Черепнина см.: Медушевская. 1987. С. 53-58.

работки методологии и теории исторического источниковедения зависит успех научного исследования, зависит плодотворность его результатов. ...Справиться с такой темой может только опытный и зрелый ученый, и потому работу над ней можно расценивать как достойное испытание творческих возможностей автора». И далее: «О.М. Медушевская, как мне представляется, со своей работой справилась и написала книгу, которая органически войдет в советскую науку. Это известный итог того, что сделано в области теории источниковедения и в то же время перспектива ее дальнейшего движения»¹¹. Стремясь защитить диссертанта от возможных идеологических обвинений, Черепнин вывел вопрос в техническую плоскость: «Т. Медушевская продуманно и осознанно оперирует теоретическим понятийным аппаратом, она обоснованно выделяет существенные проблемы исторического источниковедения, являющиеся объектом изучения в существующей литературе или должны быть таковыми стать». «Труд т. Медушевской вызывает удовлетворение и в чисто профессиональном отношении. Источниковедческая методика располагает целым комплексом очень тонких приемов, разработанных и разрабатываемых далее рядом вспомогательных исторических дисциплин. Они требуют овладения ими и умелого применения. Т. Медушевская эту культуру источниковедческого труда восприняла».

Реабилитация самой постановки проблемы была представлена в заключении заведующего кафедрой источниковедения истории СССР исторического факультета МГУ, член-корр. АН СССР, проф. И.Д. Ковальченко: «Автором, – констатировал он, – сформулированы определения теории источниковедения, основные методологические принципы теоретического источниковедения и разрабатываемых им проблем». «Рассматривая основные этапы развития теории советского источниковедения, О.М. Медушевская особое внимание уделяет исследованию понимания таких важных проблем, как социальная природа исторического источника, осмысление источника как продукта общественного развития, определенной общественной среды». Позднее некоторые из этих идей получили развитие в трудах самого И.Д. Ковальченко¹².

Наконец, поддержку методологическим выводам диссертанта оказал известный томский философ истории Г.М. Иванов, написавший книгу об историческом познании¹³. Во-первых, им было поддержано само понятие

¹¹ Здесь и далее цитаты из выступлений на защите докторской диссертации О.М. Медушевской приводятся по стенограмме, сохранившейся в архиве автора.

¹² Ковальченко. 1987.

¹³ Иванов. 1973.

«теоретическое источниковедение» которое, как он верно предвидел, «будет полезным при решении не только теоретических, но и тех практических источниковедческих задач, с которыми приходится сталкиваться историку». Во-вторых, он констатировал важность данной парадигмы для всего комплекса дисциплин гуманитарного познания: «О.М. Медушевская рассматривает развитие теоретического источниковедения на широком фоне тех процессов, которые происходят в других общественных науках; она учитывает те особенности, которые характеризуют развитие современной науки вообще», а потому полученные ею методологические выводы «имеют значение не только для исторической науки, но и для других общественных наук». В-третьих, была справедливо отмечена связь предложенных идей с дискуссиями в мировой науке: «Ольга Михайловна – сказал он, – является не только первым, но и пока единственным советским источниковедом, обратившимся к исследованию сложнейших процессов методологических поисков современных буржуазных историков в области теории источниковедения», таких как Л. Февр, Ш. Самаран, А.И. Марру, П. Рикер и др., что позволяет выявить «ведущие тенденции западноевропейской источниковедческой мысли».

Утверждение О.М. Медушевской нового научного направления – теории источниковедения – подчеркивалось в выступлениях профессоров К.И. Рудельсон и С.О. Шмидта, в отзывах таких известных научных центров как Археографическая комиссия АН СССР, ВНИИДАД, Институт социальных исследований АН СССР, отзыве зав. сектором историографии и научной информации Института славяноведения и балканистики В.А. Дьякова, зав. кафедрой источниковедения Киевского государственного университета В.И. Стрельского и профессора А.П. Пронштейна.

Таким образом, в ходе этой дискуссии научным сообществом были поддержаны и приняты ключевые положения диссертации О.М. Медушевской, сохраняющие актуальность с позиций современной науки, – *определение теории источниковедения и видового подхода к структуре корпуса исторических источников*. В диссертации теория источниковедения определялась как «такая форма научного мышления, которая позволяет получить зафиксированную в источниках информацию о социальных процессах на уровне “объективной истины”». «Видом, – пишет О.М. Медушевская, – мы называем такую группу памятников, которая имеет устойчивую общность признаков, возникающих и закрепляющихся в силу общности функций этих памятников в жизни общества»¹⁴. Как отмечала сама Медушевская в заключительном слове по диссертации:

¹⁴ Медушевская. 1975. С. 383.

«понятие “теоретическое источниковедение” не противопоставляется конкретному в том смысле, что в последнем нет теории. Имеется в виду лишь то, что в первом случае предметом исследования являются вопросы теории (классификация, интерпретация), а не конкретные источники».

В это время выходят ставшие классическими труды О.М. Медушевской: «Теоретические проблемы источниковедения»; «Современное зарубежное источниковедение»; «История источниковедения XIX–XX вв.»; «Источниковедение: теория, история и метод»¹⁵ и др. Определяющим стал ее вклад в разработку концепции и структуры нового учебника: «Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории»¹⁶. Она создала курс источниковедения русской истории, сочетавший глубину теоретического анализа с огромной информационной насыщенностью. Этот курс воспитывал критическое мышление и противостоял всем внешним идеологическим схемам, которые стремились навязать обществу государство. Поскольку подлинная научная дискуссия в советской исторической науке середины и большей части второй половины XX в. была практически невозможна, внимание лучших научных сил концентрировалось на источниковедении – области знаний, стремившейся формулировать новые научные выводы путем непосредственного обращения к документу или детальной критической интерпретации его текста. На этой основе стало возможным формирование международной научной школы О.М. Медушевской, которая, по сути, стала школой всего Историко-архивного института.

Третий этап творчества О.М. Медушевской (с начала 1990-х гг. до 2007 г.) завершился созданием когнитивно-информационной теории и основанной на ней теории и методологии когнитивной истории¹⁷. В рамках этой теории проанализированы такие проблемы как информационный обмен; соотношение динамической и статической информации; психические параметры коммуникативного процесса и его инструментов; отчуждение информационного ресурса; когнитивные механизмы постижения смысла; фиксация информации и формирование картины мира; понимание и объяснение; значение когнитивной теории для научного сообщества и гуманитарного образования. Эти направления исследований представлены на основании широкого междисциплинарного синтеза и опираются на достижения философии, социологии, антропологии, структурной лингвистики, истории, исторической географии, источник-

¹⁵ Медушевская. 1977; 1983; 1988; 1996.

¹⁶ Источниковедение: Теория. История. Метод... 1998.

¹⁷ Медушевская. 2008.

ведения, документоведения, архивоведения и всего круга вспомогательных исторических дисциплин¹⁸.

**Понимание и объяснение:
переход к новой познавательной деятельности**

Модель (или схематически выраженная ситуация) *информационного обмена* в человеческом обществе опирается на понимание человека как живой системы, имеющей врожденную предрасположенность к образованию информационной картины мира, существующей в сознании, – во вне; к преобразованию информации, хранящейся в памяти, – в интеллектуальный продукт в виде вещи, изделия. Схема такого информационного обмена может быть представлена следующим образом: 1) реальный мир и его воздействие на индивида; 2) накопление в сознании и памяти данных об окружающем мире; 3) осмысление этой информации в виде постижения взаимоотношений эмпирического фрагмента окружающего мира с системными связями, действующими в мировом универсуме (понимание смысла); 4) формирование в сознании идеи о том, как надо действовать индивиду в данных условиях; 5) преобразование этого понимания в идею деятельности, целенаправленной деятельности; 6) преобразование по ходу деятельности идей в продукт (трансформация динамической подвижной информационной картины индивида в статическую); 7) восприятие эмпирической данности продукта социумом и преобразование информационного ресурса продукта в динамическую информацию индивидов, составляющих социум, что в свою очередь возвращает их к деятельности.

История, – подчеркивает О.М. Медушевская, – «может быть наукой» в том случае, если имеет реальный, доступный для повторных интерпретаций и, следовательно, стабильно существующий объект; опирается на данные такого объекта, который охватывал бы человечество в целом (исторический процесс); этот объект должен отвечать главному условию, выражать системообразующее свойство феномена человека. Выдвигается принципиально *новое определение исторической науки*. Это – «фундаментальная наука о всех видах и формах человеческой деятельности, которые реализовались в ходе эволюционно и глобально целостного исторического процесса. История – эмпирическая наука, ибо она имеет реальный, доступный в принципе человеческому восприятию целостный макрообъект. Этот объект – совокупность продуктов целенаправленной человеческой деятельности, возникших на протяжении исторического процесса, целостного во времени и пространстве»¹⁹. Данный подход, за-

¹⁸ Медушевская. 2010.

¹⁹ Медушевская. 2008. С. 351.

кладывая в определение науки вполне верифицируемые понятия, открывает перспективы научной компаративистики²⁰, возможности превращения истории в строгую и точную науку. Не случайно он был удачно оценен современным исследователем как «новая апология истории»²¹.

Целью исторической науки, исходя из этого, следует считать выявление новой информации о феномене человека и человечества, жизненно необходимой ему для определения перспектив своего места во вселенной, своей судьбы и путей выживания. Бесчисленные эксперименты индивидуальных судеб – это единственный реальный материал для осмысления феномена человека в мире живого, в мире планеты и вселенной. У нас нет пока возможности сопоставить судьбы человечества с другими судьбами разумных существ. Следовательно, история – наш единственный шанс провести идентификацию и самоидентификацию себя в мире.

Накопление информации в вещественных формах составляет содержание *прогресса* в истории. Информационные связи внутри социума замкнуты. Это – его общая картина мира. Раскрытие логики рационального познания позволяет завершить его *переходом к познавательной деятельности на основе нового понимания реальности*. Представлено *три основных ситуации*: 1) ситуация непосредственного – живого информационного обмена (все живые системы, включая человека); 2) фиксирование уже добытого ресурса в вещественный – целенаправленно (намеренно) созданный продукт (при этом происходит высвобождение памяти); 3) ситуация обращения к этому реализованному продукту как источнику информации.

На этой основе становится возможным выстраивание методов и критериев *доказательности и проверки* знания; научное *конструирование* – построение модели (схематически выраженной ситуации информационного обмена) для создания логически непротиворечивой концепции социального (исторического) процесса и *прогнозирование* – аналитическая процедура, в ходе которой выявляются фазы процессов, прошедших в прошлом, и просчитывается наступление последующих фаз аналогично протекающих процессов. Этот подход вполне реален в науках о природе и применим по отношению к живым системам (науки о живом). Но он (вопреки известному неокантианскому противопоставлению номотетических и идиографических наук) осуществим и в сфере гуманитарного знания.

²⁰ Медушевская. 1996.

²¹ Миронов. 2011.

Познаваемость социального (исторического) процесса определяется тем, что созданные интеллектуальные продукты выступают как неотъемлемая составляющая любой целенаправленной деятельности. Это дает истории стабильный, вещественный, доступный непосредственному изучению реальный объект открывает перспективы анализа когнитивных параметров *конструирования социальной реальности – пространства, времени и смысла существования*²²

Новая научная парадигма когнитивной истории, разработанная О.М. Медушевской, отвечает основным вызовам современности – информатизации, глобализации, необходимости познания «другого» в быстро меняющемся мире с ускорением взаимодействия различных культурных, национальных и когнитивных установок общества, что позволяет рассматривать ее как полноценную основу аналитической истории²³. Данная парадигма ведет к радикальному изменению наших представлений о задачах исторической науки и ее методах, выдвигая жесткие требования к доказательности исследовательских выводов, качеству образования и профессиональной этики научного сообщества.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке XVII-XVIII вв. М.: Институт этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая, 1964. 134 с.
- Иванов Г.М. Исторический источник и историческое познание. Томск: ТГУ, 1973. 250 с.
- Источникведение: Теория. История. Метод. Источники российской истории / Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. М.: РГГУ, 1998. 702 с.
- Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 440 с.
- Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики: Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской / отв. ред.: М.Ф. Румянцева, Р.Б. Казаков. М.: РГГУ, 2011. 506 с.
- Круглый стол по книге О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» // Российская история. 2010. № 1. С. 131-166.
- Круглый стол: «Знание о прошлом в современной культуре» // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 3-45.
- Кто есть кто в РГГУ. М.: РГГУ, 1993. С. 161.
- Медушевская О.М. История источниковедения XIX-XX вв. М.: МГИАИ, 1988. 70 с.
- Медушевская О.М. Источниковедение и сравнительный метод в гуманитарном знании: проблемы методологии // Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании: Тез. докл. и сообщен. науч. конф. Москва, 29-31 янв. 1996 г. / Редкол.: В.А. Муравьев (отв. ред.) и др.; РГГУ. Ист.-архив. ин-т. Каф. источниковедения и вспом. ист. дисциплин; РАН. Археогр. комис. М., 1996.

²² Медушевская. 2010.

²³ Медушевский. 2008.

- Медушевская О.М.* Картографические источники XVII–XVIII вв. М.: МГИАИ, 1957. 26 с.
- Медушевская О.М.* Когнитивно-информационная теория в социологии истории и антропологии // Социологические исследования. 2010. № 11. С. 63-73.
- Медушевская О.М.* Л.В. Черепнин и становление науки об источниках // Феодализм в России: сб. статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Л. В. Черепнина / отв. ред. В. Л. Янин. М.: Наука, 1987. С. 53-58.
- Медушевская О.М.* Понятие «цивилизация» и современная историография // Вопросы истории. 1966. № 8. С. 195-196.
- Медушевская О.М.* Современное зарубежное источниковедение: Учеб. пособие для студ. вузов. М.: Высшая школа, 1983. 144 с.
- Медушевская О.М.* Теоретические проблемы источниковедения: диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1975.
- Медушевская О.М.* Теоретические проблемы источниковедения: Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1977. 86 с.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 361 с.
- Медушевская О.М.* Теория исторического познания: Избранные произведения. М.: Университетская книга, 2010. 576 с.
- Медушевская О.М.* Источниковедение: теория, история и метод. М.: РГГУ, 1996. 79 с.
- Медушевский А.Н.* Аналитическая история // Отечественная история. 2008. № 5. С. 3-18.
- Медушевский А.Н.* Когнитивно-информационная теория в философии, истории и антропологии // Человек: образ и сущность: Когнитология и гуманитарное знание. М., 2010 (а). С. 226-250.
- Медушевский А.Н.* Мастера русской историографии: Ольга Михайловна Медушевская // Исторический архив. 2010 (б). № 3. С. 112-127.
- Медушевский А.Н.* Когнитивная теория права и юридическое конструирование реальности // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 5 (84). С. 30-42.
- Медушевский А.Н.* Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Российская история. 2009 (а). № 4. С. 3-22.
- Медушевский А.Н.* Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии. 2009 (б). № 10. С. 70-92.
- Миронов Б.Н.* Новая апология истории (размышления над книгой О.М. Медушевской) // Общественные науки и современность. 2011. № 1. С. 139-148.
- Россия-2000. Современная политическая история, 1985-1999: в 2 т.: Т. 2. Лица России: Справочно-энциклопедическое издание. М.: РАУ-Корпорация, 2000.
- Русские географические открытия на Тихом океане и в Северной Америке (50-е-нач. 80-х гг. XVIII в.): Автореф. дисс... канд. наук. М., 1952.
- Черепнин Л.В.* Русские феодальные архивы: в 2 т. М., 1948–1950.
- Чернобаев А.А.* Историки России: Кто есть Кто в изучении российской истории: Биобиблиографический словарь. Саратов, 2008. С. 226.
- Медушевский Андрей Николаевич*** – доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; *amedushevsky@mail.ru*

Л. Б. СУКИНА

ФИЛОСОФСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА И «ВОЗВРАЩЕНИЕ» СУБЪЕКТА КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ

В статье рассматривается герменевтика как одно из возможных философских оснований дальнейшего развития когнитивной истории. Герменевтика возвращает в круг теоретических проблем когнитивной истории субъект исторического исследования – сознание историка.

Ключевые слова: история, философия, герменевтика, когнитивный, субъект

Теория и методология когнитивной истории приобрели на заключительном этапе научного творчества О.М. Медушевской вид целостной концепции, каждое положение которой было аргументировано автором¹. Однако трудно не согласиться с размышлениями Н.А. Мининкова и М.Ф. Румянцевой о том, что значительная часть идей О.М. Медушевской требует дальнейшего развития и экспликации.

В главе «Феномен человека» ее последней монографии обосновывается возможность эмпирической науки истории (§ 1.1), а исторический источник рассматривается как интеллектуальный продукт человеческой деятельности (§ 1.2)². Вместе с тем, ссылки к указанной главе не раскрывают всего объема возможных интеллектуальных оснований для рассуждений на данную тему. В частности, О.М. Медушевская прекрасно ориентировалась в области философской герменевтики, о чем свидетельствовали ее многочисленные устные высказывания. Но в ее публикациях герменевтика оказалась «забыта», хотя работы классиков этого направления современной философии как раз и созвучны идее истории как науки, исследующей феномен человека. Вероятно, это было обусловлено сознательной авторской позицией в целях максимального сосредоточения на основном предмете исследования – эмпирическом объекте исторического познания и формулировке критериев «строгости» исторического знания. Дальнейшие же рассуждения об историческом источнике как интеллектуальном продукте человеческой деятельности, на наш взгляд, невозможны без реконструкции всей системы субъект-объектных отношений, восстановления ее когнитивной целостности. Для этого в поисках методологических решений придется обращаться не только к феноменологии, но и к герменевтике.

¹ Медушевская. 2008.

² Там же. С. 19-67.

Герменевтика не пользуется столь широкой популярностью у гуманитариев, как феноменология, но с 1990-х гг. она вновь привлекает неизменное внимание в качестве метода постижения исторической реальности, каковой в рамках концепции когнитивной истории мы должны признать реальность сознания человека прошлого, запечатленную в историческом источнике. Обращение к методу герменевтики в историческом исследовании заставляет историка заниматься философской рефлексией. Недаром Г.-Г. Гадамер писал, что «искусство и история – “герменевтические науки”, но ими герменевтика не может ограничиться, необходимо философское осмысление герменевтики как метода»³.

Востребованность герменевтики исторической наукой обусловлена, в том числе, и кризисным состоянием самого человеческого бытия. Нельзя не согласиться с мнением одного из исследователей истории философской герменевтики В.С. Малахова, что она «возникает всякий раз в периоды потрясения основ, разрушения “естественных” очевидностей сознания, расстройств складывающихся десятилетиями связей»⁴.

Гадамером, стремившимся прояснить условия, при которых появляется возможность понимания при сохранении онтологической целостности человеческого сознания, был преодолен разрыв между частными «герменевтическими науками» и философской герменевтикой⁵. В этом смысле Гадамер развивал идеи М. Хайдеггера, считавшего, что понимание онтологично и укоренено в бытии человека, а поэтому место методологии исторических наук должна занимать методология истории.

Как и у Хайдеггера, в герменевтике Гадамера особое место принадлежит языку и порождаемому им тексту: «Положение, согласно которому всякое понимание есть проблема языковая и что оно достигается (или не достигается) в медиуме языковости, в доказательстве, собственно, не нуждается. Все феномены взаимосогласия, понимания и непонимания, образующие предмет так называемой герменевтики, суть явления языковые. Однако тезис, который я осмеливаюсь поставить на обсуждение, будет более радикальным. Я полагаю, что не только процедура понимания людьми друг друга, но и процесс понимания вообще представляет собой события языка — даже тогда, когда речь идет о неязыковых феноменах»⁶. Понимание текста, будь это памятник письменности, документ или «текст» изобразительного искусства, архитектуры,

³ Гадамер. 1991. С. 14.

⁴ Малахов. 1991. С. 334; 1987. С. 151-164.

⁵ Гадамер. 1988.

⁶ Гадамер. 1991. С. 43-44.

театрального действия, кино для Гадамера состоит, прежде всего, не в «воспроизведении» его замысла, а в «произведении» смысла. Это и есть цель герменевтической интерпретации. Конечно, такая герменевтика, примененная к истории, ведет к плюральности и даже конфликту интерпретаций текстов исторических источников, так как их множественные «смыслы» не могут быть сведены к одному единственно верному, что, на первый взгляд, нарушает строгость научного знания. Но также много занимавшийся вопросами герменевтики истории и культуры Г. Гессе пришел к выводу, что требование излишней строгости в гуманитарных науках равнозначно попытке применения математики к неподходящему объекту, будь то анатомическое строение человека или его историческое бытие, когда исследователь жаждет увидеть уже выстроенную им теоретическую конструкцию и пренебрегает при этом «неповторимой, индивидуальной реальностью своего объекта»⁷.

В отношении интерпретации текста исторического источника, как письменного, так и невербального особенно важно то, что в гадамеровской герменевтике первостепенное значение имеет не личность субъекта, автора, а смысл его размышлений. Для понимания смысла средневековых источников, восстановление авторства большинства из которых не представляется возможным, это принципиальный методологический шаг. В герменевтическом истолковании у Гадамера на первый план выступает не то, что хотел сказать создатель текста, а то, как в этом тексте проявляется онтологическая реальность человеческого бытия, которое, опять же по Гадамеру, всегда исторично.

Гадамеровскую проблему «конфликта интерпретаций» разрабатывал П. Рикёр, соединивший в своем философствовании герменевтику с феноменологией, персонализмом, структурализмом, психоанализом, философией религии, лингвистикой и аналитической философией. Для П. Рикёра герменевтическая интерпретация – это всегда субъективный диалог между исследователем и исследуемым им текстом истории и культуры, созданным другим человеком, в результате которого рождается объективность исторического знания. Он призывает не бояться такой субъективности: «Ремесла историка, как представляется, достаточно для того, чтобы различать хорошую и плохую субъективность историка, а ответственность философской рефлексии послужит, вероятно, различению хорошей и плохой объективности истории; ведь именно

⁷ Гессе. 1991. С. 179-181. Кстати, и в современной математике принцип «вейрштрассовой строгости» применяется избирательно. В гуманитарном знании требования «строгости» были предъявлены к философии Э. Гуссерлем (Гуссерль. 1995).

рефлексия постоянно убеждает нас в том, что *объект* истории – это сам человеческий *субъект*» (курсив П. Рикёра)⁸. Таким образом, в своей концепции метода герменевтики Рикёр настаивает на единстве и неразрывности субъект-объектных отношений исторической реальности.

По Рикёру, задача интерпретатора текста источника – преодолеть расстояние между культурой прошлого (объектом) и им самим, современным исследователем (субъектом). Механизм такой интерпретации у Рикёра выглядит как когнитивно-рефлексивная операция «присваивания смысла» источника изучающим его историком: «Преодолевая это расстояние, становясь современником текста, интерпретатор может присвоить себе смысл: из чужого он хочет сделать его своим, собственным; расширение самопонимания он намеревается достичь через понимание другого. Таким образом, явно или неявно, всякая герменевтика выступает пониманием самого себя через понимание другого»⁹. Но это вовсе не означает, что, занимаясь герменевтикой источника, историк изучает только собственную личность, как считал некий коллега-антрополог, упоминаемый в работе Н.Е. Копосова «Как думают историки»¹⁰. Герменевтическое истолкование должно постоянно расширяться, захватывая все новые области бытия смыслов интерпретируемых текстов: «Задача герменевтики — показать, что существование достигает слова, смысла, рефлексии лишь путем непрерывной интерпретации всех значений, которые рождаются в мире культуры; существование становится самим собой – человеческим зрелым существованием, лишь присваивая себе тот смысл, который заключается сначала “вовне”, в произведениях, установлениях, памятниках культуры, где объективируется жизнь духа»¹¹. Такой способ снятия «конфликта интерпретаций» достаточно сложен и, вероятно, не может быть реализован до конца одним интерпретатором. Герменевтическая интерпретация не является законченной исследовательской процедурой, результатом которой могло бы быть некое завершённое знание, и нуждается в постоянном продолжении. Но ее диалогичность, конфликтность, и вместе с тем, комплементарность по отношению к другим методам позволяет использовать ее применительно к многообразным эмпирическим объектам (в нашем случае, к источникам разных видов, принадлежащим различным эпохам и культурам).

Но обращение к методу герменевтики в гуманитаристике двух последних десятилетий связано не столько с его концепциями, представ-

⁸ Рикёр. 2002. С. 57.

⁹ Рикёр. 1995. С. 25.

¹⁰ Копосов. 2001. С. 5.

¹¹ Рикёр. 1995. С. 34.

ленными в цитированных выше и других трудах Гадамера и Рикёра, а также В. Дильтея, сколько с применяемой к любым текстам «универсальной герменевтикой» их предшественника Ф. Шлейерахера¹². Ее особым предметом являются «памятники» – тексты, отделенные от исследователя значительным барьером (временным, историческим, культурным, языковым). «Универсальная герменевтика» направлена на исследование не только внешней (объективной), но и внутренней (субъективной) стороны памятника. Под последней понимается «факт мышления» создателя памятника, реконструируемый при помощи психологической интерпретации.

Универсальным объектом понимания у Шлейерахера является речевое взаимодействие, диалог, в том числе диалог источника и исследователя. А техникой «точного» понимания, которая выступает в роли ремесла герменевта (философа, филолога, историка), предусматривается объективное историческое реконструирование речи в целостности языка, подразумевающее творческий процесс воссоздания акта интеллектуальной деятельности конкретного автора с учетом его индивидуальности. Из двух разновидностей понимания, предлагаемых Шлейерахером, для гуманитарных наук, имеющих дело с историческими источниками, важна его разработка теории понимания и усвоения понятий, созданных другими индивидами, находящимися в собственном интеллектуальном пространстве, далеко не всегда открытом чужому разуму, пытающемуся извне установить диалог с целью реконструирования порожденных давно ушедшим сознанием автора текста смыслов.

Шлейерахером было также введено понятие герменевтического круга, которым он обозначил диалектическое единство части и целого в процедуре понимания письменного текста. Процесс понимания для Шлейерахера носит принципиально незавершенный характер. Мысль исследователя движется по расширяющемуся кругу от целого к части и обратно. При этом каждый раз понимание смысла части и целого углубляется и развивается. Историком принцип герменевтического круга может быть использован при многократном обращении к источнику, так как дает возможность обнаружить что-то новое в казалось бы уже знакомом. Думается, ни один профессиональный исследователь не возьмется утверждать, что ему удалось добиться исчерпывающего понимания какого-либо источника и извлечь из него всю значимую информацию.

В философской науке последних десятилетий герменевтика рассматривается в контексте проблемы достоверности познания социально-

¹² *Schleiermacher*. Bd.4. 1911; *Шлейерахер*. 2004.

исторического мира прошлого и предстает как адекватный современности метод анализа «исторической реальности»¹³. История самой герменевтики как основания научных подходов в познании получает более удаленную ретроспективу. Так, в диссертации П.В. Соколова герменевтика анализируется как инструмент имманентный сознанию европейских мыслителей позднего средневековья¹⁴. А в работах членов международного проекта «Герменевтика и метод» в качестве модели нововременной науки рассматривается не математизированное естествознание, а дисциплины филолого-герменевтического цикла¹⁵.

Герменевтика в качестве основания методологии гуманитарного знания и конструирования его современных методов представлена в трудах В.Г. Кузнецова¹⁶. В исследованиях Е.Н. Шульги выявлен когнитивный потенциал герменевтики и ее роль в традиции исторически ориентированного знания¹⁷. Герменевтику использует французская философско-историческая школа¹⁸, она присутствует в американской философии истории¹⁹. М.А. Кукарцева и А. Мегилл рассматривают герменевтику как одну из ключевых ориентаций историологии²⁰.

Традиция отечественной историографии не требует от историка обязательной философской рефлексии по поводу собственного исследовательского метода. Поэтому герменевтика вошла в современные исторически ориентированные исследования, так сказать, «в рабочем порядке».

Использование метода герменевтики текстов в 1990-е гг. стало своего рода «хорошим тоном» в профессиональной среде гуманитариев – исследователей древнерусской книжности. Большую роль в этом сыграли периодически издававшиеся Институтом мировой литературы им. А.М. Горького и Обществом исследователей Древней Руси сборники «Герменевтика древнерусской литературы», в которых приветствовались разнообразные способы герменевтического анализа, что вполне согласовывается с принципом плюральностью интерпретации.

В рамки герменевтики укладывается и предлагаемый И.Н. Данилевским, на наш взгляд, очень любопытный и нуждающийся в дальнейшем развитии центонно-парафразный метод изучения летописных

¹³ Увина. 1999.

¹⁴ Соколов. 2012.

¹⁵ Там же. С. 4.

¹⁶ Кузнецов. 1991; и др.

¹⁷ Шульга. 2002; и др.

¹⁸ Арон. 2000.

¹⁹ Кукарцева. 1998.

²⁰ Кукарцева, Мегилл. 2006.

текстов²¹. Он может быть распространен и на другие памятники древнерусской литературы и книжности, которые представляют собой «слоенный пирог» из различных цитат и авторского текста. Герменевтические приемы комментирования письменных источников успешно применены и в исследовании интеллектуальной деятельности князя Андрея Курбского А.И. Филошкина²². Претензии противников герменевтического метода, упрекающих применяющих его исследователей в «субъективности», вряд ли можно признать обоснованными, так как цель историко-ведческого анализа – понимание интенций сознания человека прошлого, результаты деятельности которого запечатлены в источнике, оказывается достигнутой.

Интерес современных историков и других специалистов-гуманитариев, имеющих дело с историческими источниками различных видов неслучаен. Герменевтика изначально основывается на признании неразрывного единства субъект-объектных отношений. Без учета психологических и когнитивных особенностей личности познающего субъекта, в нашем случае – историка, невозможна полноценная герменевтическая интерпретация источника. Обращение к герменевтике как к одному из философских оснований когнитивной истории, на мой взгляд, поможет вернуть в круг ее теоретических проблем субъект исторического исследования, оказавшийся за рамками монографии О.М. Медушевской в силу внутренней логики рассуждений исследователя, сосредоточенного на осмыслении объекта исторического знания.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Арон Р.* Введение в философию истории. М., 2000.
Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Герменевтика: история и современность. М., 1995.
Гессе Г. Избранное. М., 1991.
Гуссерль Г. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1995.
Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.
Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001.
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.
Кукарцева М.А. Современная философия истории США. Иваново, 1998.
Кукарцева М.А., Мегилл А. Философия истории и историология: грани совпадения // История и современность. 2006. № 2. URL: <http://www.socionauki.ru/jornal/articles/145487/> (время доступа 20.11.2012).

²¹ Данилевский. 2004.

²² Филошкин. 2007.

- Малахов В.С. Концепция исторического понимания Г.-Г. Гадамера // Историко-философский ежегодник '87. М., 1987. С. 151-164.
- Малахов В.С. Философия герменевтики Ганса Георга Гадамера / Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного... С 324-336.
- Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008.
- Рикёр П. История и истина / пер. с фр. И.С. Вдовиной и А.И. Мачульской. СПб., 2002.
- Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки герменевтики / пер. с фр. И. Сергеевой. М., 1995.
- Словарь философских терминов / под науч.ред. В.Г. Кузнецова. М., 2007.
- Соколов П.В. Проблема достоверности в библейской герменевтике второй половины XVI – начала XVIII вв. : автореф. дисс... к. филос. н. М.: НИУ ВШЭ, 2012.
- Увина И.В. Онтология «исторической реальности»: герменевтический аспект: автореф. дисс... к. филос. н. Ижевск: Удмуртский ГУ, 1999.
- Филюшкин А.И. Андрей Михайлович Курбский: просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному : дисс... д. и. н. СПб.: СПбГУ, 2007.
- Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004.
- Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика. М., 2002.
- Schleiermacher Fr. Werke. Auswahl in vier Banden. Bd. 4. 1911.
- Сукина Людмила Борисовна** – кандидат культурологии, доцент, зав. кафедрой гуманитарных наук НОУ ВПО Институт программных систем «УГП им. А.К. Айламазяна», г. Переславль-Залесский; lbsukina@gmail.com

Д. В. ЛУКЬЯНОВ

КОГНИТИВИЗМ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ

В статье анализируется ситуация, сложившаяся в отечественной науке вокруг понимания парадигматических и эвристических возможностей использования когнитивизма как особой теории и практики «ремесла историка». В центре рассмотрения и аргументации автора – когнитивно-информационная модель гуманитарного познания, предложенная О.М. Медушевской. Эпистемологическая перспектива развития истории в качестве когнитивной науки видится автору в целом как стратегия и поиск новых онтологических оснований исторического познания.

Ключевые слова: когнитивизм, когнитивная история, историческая эпистемология, современная историография, научная онтология, источниковедение.

В современной гетерогенной науке историческая эпистемология не является общим и единым проектом, основанным на автономном историческом способе мышления и соответствующем методе познания, хотя многие видят в этом как раз одну из основополагающих причин очевидного уменьшения влияния исторического знания на повседневность¹. Отсутствие в историографии сколько-нибудь разделяемого всеми историками собственного «гранд-нарратива»² в целом приветствуется, но с рядом оговорок: результатом избавления от «эссенциалистской» традиции в мировой историографии стало появление неопределенного множества областей исследований, «которые прежде расценивались как простые “упоминания”, не имеющие значения для генеральной сюжетной линии истории»³.

Фрагментированная история вызывает беспокойство разве что у философов, как традиционных «местоблюстителей истины» (Ю. Хабермас), их как раз не устраивает диссипация существующего историографического дискурса в различиях интерпретаций прошлого, что и заставляет ставить перед собой ряд острых и неудобных вопросов: есть ли в целом потребность в знании о прошлом у современного человека; являются ли когерентными истине высказывания и интерпретации относительно прошлого, предлагаемые в рамках различных конструктивистских подходов; наконец, не может ли и вовсе исчезнуть сама история, став, наконец-то «строгой наукой»⁴. Но и в философском дискурсе о

¹ Мегилл. 2007. С. 297,302.

² Кукарцева. 2011. С. 7.

³ Мегилл. 2007. С. 299.

⁴ Знание о прошлом в современной культуре... С. 3-45.

«познании истории в ускользающем мире» мы находим спокойное понимание того, что «внятных, законченных и полностью признанных исторической наукой содержательно-сущностных концепций исторической эпистемологии пока нет»⁵.

Историографические «нулевые» между тем вполне определенно и четко можно охарактеризовать как все возрастающий и неослабевающий интерес к проблематике рассмотрения «когнитивных» оснований исторического познания и поиску парадигматических и эвристических возможностей использования когнитивизма как особой теории и практики «ремесла историка». Это прямо связано с творчеством О.М. Медушевской и выходом ее известной монографии⁶. Последняя представляет собою системное изложение «когнитивного репертуара» современной исторической науки с точки зрения непосредственной исследовательской практики историка-источниковеда.

В книге представлена *исключительная* в современной российской историографии историко-философская позиция построения «парадигмы истории как строгой науки». Направленная на выявление системных свойств исторической реальности, данная парадигма предполагает, что обеспечение фундаментальной идеи единства строгого научного знания – это, «прежде всего философия истории, философия человеческого бытия в истории», поэтому «проникновение философского подхода в исторический профессионализм в каждом своем проявлении есть событие становления когнитивной истории»⁷. В качестве главной интеллектуальной предпосылки выстраивания системы представлений об объекте и предмете когнитивной истории выступает философия истории⁸. Конкретнее, феноменологическая философия и феноменологический подход к рассмотрению исторических явлений (авторская рецепция идей А.С. Лаппо-Данилевского), которые, реализуя имеющийся инновационный потенциал «когнитивно-информационной модели», задают новые оптимальные и системообразующие параметры всему современному проекту гуманитарного знания и образования, придавая им качество фундаментальности.

Центральная идея автора книги заключается в том, что нет, и не может быть никакой *другой* истории кроме истории *человеческого мышления* (когнитивной истории), опыт его постижения на всем протяжении существования человечества является главнейшей проблемой науки. Мышление деятельно и интенционально по своей природе («универ-

⁵ Кукарцева. 2011. С. 14.

⁶ Медушевская. 2008.

⁷ Там же. С. 163.

⁸ Медушевская, Румянцева. 1997. С. 5.

сальное априори» человека), поэтому эмпирическим объектом актуальной (когнитивной) истории является вся совокупность целенаправленно созданных в ходе исторического процесса человеком продуктов интеллектуальной деятельности, через которые он «ежеминутно формирует свою рукотворную... новую реальность»⁹. Исследование возможностей и пределов человеческого мышления входит в представление о предмете когнитивной истории и позволяет изучить познавательный процесс по его осязаемым, вещественным и осознанным результатам. Выходит, что все исторические артефакты мышления (общая конфигурация «зафиксированных» источников, произведенных в результате творческой и познавательной деятельности), и исследовательская стратегия историка-когнитивиста, направленная на рассмотрение проблемы «мышления о мышлении» той или иной эпохи, по определению, обратимы.

Логика историка-когнитивиста выстраивается на утверждении господства в ней различного рода *всеобщностей*, которые, с одной стороны, обуславливают единство назначения, структуры и функционирования «информационного ресурса» общественного сознания и исторического знания во всех моментах истории социума; с другой – призваны показать, что исторический процесс остается познаваемым, телеологичным и в целом открытым, и доступным для рационального осмысления. Все базовые понятия концепции когнитивной науки обладают системными качествами («Когнитивная история в своих основаниях претендует на системный подход»¹⁰), что само по себе артикулирует в поле научной истории актуальнейшие проблемы современной философии науки¹¹.

В науковедении под системой понимают то, что способно отличать себя от внешней среды и постоянно воспроизводить эту границу на структурно-функциональном уровне взаимодействия своих подсистем (это общее место в современной системной теории, вне зависимости от научной специализации¹²). Применительно к исторической науке данный подход четко тематизируется – это «целостность и системность исторического процесса, как части мирового целого, принципы организации эволюционного и коэзистенциального исторического целого, перспективы и возможности исторического познания»¹³. Системный объект когнитивной парадигмы истории «мыслится как адекватный человечеству», в частности, представляет собою универсальную систему человеческого

⁹ Медушевская. 2008. С. 18.

¹⁰ Там же. С. 270.

¹¹ Максимов. 2003; Баксанский. 2004. С. 276-308; Аверюшкин. 2005.

¹² Матурана, Варела. 2001; Луман. 2004.

¹³ Медушевская. 2008. С. 189.

мышления и деятельности, которая «ограничена» возможными пределами времени и места протекания исторического процесса. Историческая наука, выступая в качестве когнитивной «подсистемы» *наблюдает* единство исторического процесса как эпифеномен деятельности мышления индивидов, который представляет собою «воплощенный в материальный объект набор идей» и предстает как «информационный ресурс реальных продуктов целенаправленной человеческой деятельности». Данный ресурс как раз и выступает для науки в качестве «макрообъекта», единицы которого (интеллектуальные продукты как материальные образы идей их авторов) наделены универсальными свойствами однородной общей совокупности сознаний индивидов, что позволяет идентифицировать его как единые реальные исторические проявления человеческого мышления, т.е. информационная система общества – «фундаментальное понятие для исследования способов самоорганизации человеческих сообществ в их статике и динамике»¹⁴. Более того, факт мышления сближается с понятием вещественно существующего объекта, эта «вещь» становится адекватным выражением мыслительной «деятельности человека в формах реализованного интеллектуального продукта», выступает как базовая процедура «схватывания механизма функционирования целого» и, наконец, является «точкой доступа в замкнутую систему общечеловеческой информационной опосредованной коммуникации»¹⁵.

Возникает резонный вопрос, как же когнитивная наука, являясь подсистемой самореферентной организации человеческого мышления, может адекватно распознавать и декодировать смыслы самой данной системы, опираясь только на процедуры структурного сопряжения с ней, результатом которых является обнаружение информационных продуктов ее жизнедеятельности. Ведь на уровне когнитивных практик подсистема науки выступает для человеческого мышления, говоря языком системной теории, лишь «наблюдателем первого порядка», но далеко не единственным и аутентичным, «непосредственно наблюдаемым». Репарка О.М. Медушевской звучит так: «Для получения точного проверяемого знания о системе в принципе необходим выход наблюдателя за пределы – структурно-функциональный подход»¹⁶.

Возникновение интеллектуальных продуктов изначально «имело свои рациональные основания» и поэтому, считает исследовательница,

¹⁴ Там же. С. 284.

¹⁵ В источниковедческих исследованиях такая точка зрения является теоретическим и методологическим обоснованием при изучении т.н. самооснов самосознания русской культуры. (Юрганов. 1998. С. 440.)

¹⁶ Медушевская. 2008. С. 222.

при всем разнообразии и даже уникальности их индивидуальных свойств в основе своей они содержат типологические модели и определенные структуры, т.к. в «теории произведения ключевое значение имеет момент сознательного целеполагания». Именно потому, что человеческое мышление исторично, а его атрибуцией служит «системообразующая составляющая» целеполагания, оно способно указать сущностное содержание, процессуальную форму и смысл истории. В аспекте целеполагания мышление обладает единой рациональной структурой (структура обозначена в книге как «устойчивые связи элементов в системе целого»), индивид «создает некий продукт по универсальной “схеме”», поэтому «возникает возможность понять другого по аналогии с самим собой»¹⁷. Так, на основании тезиса о том, что «единство сознания индивида проявляет себя в создании интеллектуального продукта, – заключает О.М. Медушевская, – можно построить научную гипотезу интерпретации», которая создается в обратном порядке: «от продукта к замыслу, для реализации которого продукт и был целенаправленно структурирован»¹⁸.

Гносеологические возможности истории как когнитивной науки находят свое полное развитие в вопросе об эмпирическом объекте наблюдения в гуманитарных науках. Согласованность представлений сообщества «прежде всего о своем объекте» Медушевская считает признаком парадигмальным, поскольку «позволяет далее применять общие критерии истинности и доказательности в оценке новых научных результатов». Феноменологический тезис о «целостности и системности окружающего мира» и принципиальной возможности выявления «универсальных свойств в эмпирике конкретных объектов» создает перспективу возможного складывания «метадисциплинарных связей» в системе когнитивных наук, в которых, однако, «источниковедческое направление выступает как все более значимое, актуальное, а в конечном счете как самодостаточное»¹⁹. Из этого следует, что фундаментальной когнитивно-информационной моделью гуманитарного познания является использующая источниковедческий подход феноменологическая «история как наука наблюдения», а под моделью образовательной автор исключительно «имеет в виду образовательную модель историко-архивоведения»²⁰.

Проблемы, поставленные О.М. Медушевской, приглашают к дискуссии вокруг возможностей применения оптимальных форм строгой

¹⁷ Там же. С. 225.

¹⁸ Там же. С. 292.

¹⁹ Там же. С. 186.

²⁰ Там же. С. 313.

рациональной репрезентации исторической реальности в контексте отечественного историографического процесса последних десятилетий²¹.

Очевидно, что с кризисом марксистской философии в конце 1980-х – начале 90-х гг. радикальной критике подверглись сами основания советской историографии²². Прежние инвариантные интерпретации структуры историко-научной картины мира отеснила тогда т.н. «мультипарадигмальность» возможностей исторического познания, которая в академической науке была воспринята не иначе как свидетельство ее «кризиса». Поиск академической нормы «новой интегративной парадигмы исторического исследования»²³ и появление различных вариантов ее «большой истории» («метанарративов» и «метаисторий») в профессиональном сообществе воспринимались как показатель продуктивности и атрибут «социально-исторического оптимизма»²⁴ науки в целом.

В итоге дискуссий середины 1990-х гг. на фоне отрицания установки на «навязывание» историку какой-либо жесткой универсальной логической схемы была большинством поддержана «нестрогая» позиция: *новая теория исторического познания* будет отныне лишь учением «о процедурах толкования, которые вырабатываются в процессе самого исследования, как бы *ad hoc*, т.е. с учетом специфики источников и приемов их анализа»²⁵. И поэтому в целом далеко не случайно, что с изменением типа, характера, качества и границ историографической рефлексии (дискредитацией «объективной методологии» марксизма в науке), перспективы формирования новой *научной онтологии*, т.е. определенного представления об объектах исторической науки и особенностях путей «вхождения» данных объектов в науку, считающихся существенным компонентом научного познания в целом²⁶, стали разворачиваться в постсоветское время именно в области теоретического источниковедения.

Феноменология, как определяющий тип научной рефлексии и феноменологический подход, как общая и универсальная методология гуманитарных и естественных наук, признаются сегодня наиболее перспективными и концептуально открытыми, способными адаптироваться к специфической ситуации современных способов историзации знания на уровне философско-методологической рефлексии²⁷. Но в своем

²¹ «Круглый стол» по книге О.М. Медушевской... Медушевский. 2009; и др.

²² *Скоробогачкий*. 1991. С. 12-106.

²³ *Лубский*. 2000. С. 27.

²⁴ *Зверева*. 2000. С. 334-338.

²⁵ *Гуревич А.Я.* 1997. С. 78.

²⁶ *Кордонский*. 1985. С. 111.

²⁷ *Пружинин*. 2009. С. 128.

крайнем выражении феноменологический рационализм способен превращаться в панлогическую конструкцию тождества исторического бытия и исторического мышления, в этом смысле порядок и связь идей, которые мы находим в монографии О.М. Медушевской, тождественны тому, каковы порядок и связь «вещей».

Человеческое мышление и сознание редуцируется когнитивистами к представлению о гуманитарном знании и познании, в которых точность, строгость и доказательность являются определяющими критериями, отделяющими науку от не(до)науки. В результате из поля зрения историка-когнитивиста ускользает огромный пласт работы ценностно-целевых установок в человеческом познании²⁸. «Социальное конструирование реальности как реальности индивида, стремящегося исключительно к потреблению, не плодотворно»²⁹, – пишет О.М. Медушевская, однако за этим как раз и видится «отнесение к ценности», которое выступает «извне» систематизации человеческого мышления и деятельности только как целенаправленных и осознанных совокупных интеллектуальных продуктов. Настаивая на том, что информационный ресурс представлен в овеществленной форме и позволяет понять цели, средства, способы создания и функционирования человеческого мышления, историк-когнитивист, тем не менее, не отказывается от понимания источника как продукта целенаправленной деятельности человека и ее познания, используя принцип признания «чужой одушевленности». Но в данном аспекте мы возвращаемся к идеям всеединства, когда предметом истории мыслилось «социально-психическое развитие всеединого человечества»³⁰. В «душевности» представители всеединства не видели «пространственной разъятости» и рассматривали человечество в единстве «его духовно-душевной деятельности»³¹, которая не конструировалась носителями данных идей из элементов («материальное» измерение человечества воспринимались лишь как средства и факты), но признавалась ими существующей изначально, констатация единства психики человечества была исходным моментом исследования³².

²⁸ Максимов. 2003. Гл. 4.

²⁹ Медушевская. 2008. С. 43.

³⁰ Карсавин. 1993. С. 98.

³¹ Там же. С. 97-98.

³² О.М. Медушевская пишет, что психика не отражается на реальности продукта, поскольку он – результат именно человеческой деятельности, которая социально обусловлена конкретно историческими условиями (Там же. С. 226), но это не мешает ей одновременно утверждать, что в своих человеческих механизмах психика, тем не менее, «типологически однородна» (Там же С. 223).

Выявить имманентный порядок вещей становится вполне решаемой задачей научного метода когнитивной истории, обеспечивающего «строгую научность» исторического знания, и все они подробно обосновываются О.М. Медушевской в постулатах «дисциплинарной онтологии» источниковедения.

Центральной в гуманитарном познании остается проблема соотношения субъекта и объекта: в работе историка-когнитивиста данное соотношение образует особый полифонический строй, особую социальную систему, которая, с одной стороны, сама себя наблюдает и идентифицирует как часть универсума (дифференциация человечества как «живой системы»), а с другой – самоорганизует и воспроизводит данную систему изнутри на структурно-функциональном уровне, через построение иерархии различных познавательных подсистем. Источниковедение как «самодостаточное... пространство исследований»³³ решает задачу «воссоздания системного целого» на структурном уровне изучения продуктов прошлого и создает адекватное представление о структуре мышления не только изучаемой эпохи в прошлом, но и – что особенно важно – *современности*. Преимущества системного подхода в когнитивной истории очевидны, когда «глобальная история совершается в режиме настоящего, единого времени», и в источниковедческих интерпретациях предстает не «диахронный (собственно исторический, уходящий вглубь веков), но синхронный тип исследования»³⁴ *со-временности*.

Важно отметить, что дисциплинарная онтология теоретического источниковедения ставит множество вопросов о существующих способах производства научного знания сегодня, в частности, об исключительном использовании в качестве приоритетных только рациональных способов репрезентации реальности: однозначная «генерализация» категории целеполагания для анализа исторического мышления не вполне очевидна (стратегий целеполагания может быть выработано сколь угодно много в определенную историческую эпоху, и они будут реально сосуществовать в условиях отсутствия единого представления о социальном проекте будущего³⁵); «наукоучение», смысл и продуктивность которого также сегодня не вполне очевидны в качестве основного компонента представлений себя сообществом в образовательной среде, и др.

Когнитивно-информационная теория О.М. Медушевской претендует между тем сегодня на статус «новой философской парадигмы гумани-

³³ Медушевская. 2008. С.101-102.

³⁴ Там же. С. 240.

³⁵ Кимелев. 2009. С. 24.

тарного познания»³⁶, а сама книга уже названа «классикой современной исторической науки»³⁷.

В основном, думается, что когнитивизм в исторической науке возвращает ученых к проблематике исследования современности, исходя из наблюдения за ней самой (подвергая при этом принцип историзма неумолимой критике как индикатора «традиционной» парадигмы «нарративизма»), к изучению саморазвивающейся системы с четкими структурами и функциями произведенных мышлением человека интеллектуальных продуктов, способу наблюдения и возможностям упорядочивать компаративно и целостно информационную картину настоящего, получая фундаментальное, философски ориентированное знание. Активное обсуждение в профессиональном сообществе норм и идеалов когнитивной истории является само по себе «историографическим фактом» и знанием, выявляющим системные свойства окружающей ученых реальности. Как появление источниковедения в XIX в. было обусловлено «становлением национально-государственной идентичности Нового времени»³⁸, так и появление теоретико-методологического трактата О.М. Медушевской «в снятом виде» обусловлено социокультурными детерминантами настоящего времени, что предполагает в перспективе системный подход к изучению структур и функций существования конкретного типа информационного общества, пребывающего сейчас в условиях преодоления т.н. когнитивного диссонанса.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аверюшкин А.Н.* Проблемы исторической теории в когнитивной практике и методологической рефлексии в XX столетии: автореф. дис...канд. филос. наук. М., 2005.
- Баксанский О.Е.* Система когнитивных наук // Системный подход в науке (к 100-летию Людвиг фон Бергаланфи). М., 2004. С. 276-308.
- Гуревич А.Я.* Двоякая ответственность историка // Новая и новейшая история. 1997. № 5.
- Зверева Г.И.* [рец.] «Большая» интеллектуальная история: текст и историографическая норма // Диалог со временем. 2000. Вып.3. С. 334-338.
- Знание о прошлом в современной культуре (мат-лы «кр. стола») // Вопросы философии. 2011. №8. С. 3-45.
- Карсавин Л.П.* Философия истории. СПб.: АО "Комплект", 1993. 350 с.
- Кимелев Ю.А.* Западная философия истории на рубеже XX-XXI веков: Аналитический обзор. М., 2009.
- Кордонский С.П.* Построение научной онтологии // Проблемы методологии науки. Новосибирск, 1985.

³⁶ Медушевский. 2009.

³⁷ Сабенникова. 2009. С. 179.

³⁸ Медушевская. 2008. С. 150.

- «Круглый стол» по книге О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» // Российская история. 2009. № . С. 131-165.
- Кукарцева М.А. Трансформация эпистем: познание истории в ускользающем мире. Вместо введения // Способы постижения прошлого: Методология и теория исторической науки / Отв. ред. М.А. Кукарцева. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. С.3-49.
- Лубский А.В. Классическая парадигма исторического исследования // История: научные поиски и проблемы (Памяти д.и.н., проф. А.П. Пронштейна). Ростов-н/Д., 2000.
- Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004.
- Максимов Л.В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли. М.: РОССПЭН, 2003. 160 с.
- Матурана У., Варела Ф. Древо познания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 223 с.
- Мегилл А. Историческая эпистемология. М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 480 с.
- Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с.
- Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Методология истории : учеб. пос. М., 1997. С. 5.
- Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Российская история. 2009. № 10. С. 3-22.
- Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии. 2009. № 10. С. 70-92.
- Пружинин Б.И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М.: РОССПЭН, 2009. 423 с. (Humanitas)
- Сабенникова И.В. Рец. на книгу: Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории // Российская история. 2009. С. 179. М. : РГГУ. 2008. 358 с.
- Скоробогачкий В.В. По ту сторону марксизма. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 268 с.
- Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М.: Ин-т «Открытое общество», 1998. 447 с.

Лукьянов Дмитрий Викторович – кандидат исторических наук, доцент Историко-архивного института РГГУ; lukadmiv@mail.ru

И. В. САБЕННИКОВА

ТЕОРИЯ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ О.М. МЕДУШЕВСКОЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ

Автор показывает значение когнитивной теории истории как нового парадигмального подхода в антропологических исследованиях, имея в виду такие темы как социальная и культурная адаптация в различных культурах, реконструкция мотивации человеческого поведения через интеллектуальные продукты, интерпретируемые в качестве источников исторической информации.

Ключевые слова: *О.М. Медушевская, философия и методология истории, теория когнитивной истории, историческая антропология, мотивация поведения, интеллектуальный продукт, исторические источники.*

Концепция когнитивной истории О.М. Медушевской обладает всеми признаками новой научной парадигмы: позволяет ответить на вопросы, не разрешенные предшествующей философией истории, но одновременно формулирует новые направления научных исследований, определяя приоритеты современной теории и методологии истории. Их суть – в продвижении к исторической аналитике доказательного и точного знания. Труды О.М. Медушевской – классика современной исторической науки¹ ни одна последующая дискуссия в области теории исторического познания не сможет игнорировать выводов данных исследований².

Вклад теории когнитивной истории Медушевской в методологию современного гуманитарного познания и состояние научного сообщества обсуждался в литературе по следующим направлениям: целесообразность пересмотра ряда устоявшихся теоретических положений современной науки; возможность решения с этих позиций классической проблемы исторического познания; познаваемости исторического процесса и выстраивания методов и критериев доказательности и проверки знания; вывод о смене парадигм и необходимости выбора научным сообществом новой стратегии развития³. Проведена реконструкция основных понятий когнитивно-информационной теории в их формировании, логической взаимосвязи и влиянии на становление аналитической истории⁴.

¹ Медушевская. 2008; 2010 (б).

² Когнитивная история... 2011.

³ См.: Круглый стол по книге О.М. Медушевской... 2010.

⁴ Медушевский. 2009 (а); 2009 (б).

В то же время меньшее внимание в дискуссии до последнего времени уделялось вкладу когнитивной теории в формирование такого направления современной научной мысли, как историческая антропология. Между тем, обоснованный Медушевской когнитивный подход в истории генетически и логически связан с антропологическим подходом в историографии и источниковедении, а его важность определяется тем, что «феномен антропологии позволяет уловить ведущие тенденции науки, ее связи с обществом и массовым сознанием»⁵.

Вклад теории когнитивной истории в методологию антропологически ориентированного гуманитарного познания

Основная проблема исторического познания связана с объектом исследования: внутренний мир человека ненаблюдаем и подвижен; внешнее поведение индивида и групп не охватывает сущностных свойств человека; эксперимент и непосредственное наблюдение возможны лишь в ограниченной степени. Подход О.М. Медушевской предлагает принципиально иное решение этой проблемы в рамках новой философской концепции когнитивной истории. В нем определяется не только теория и методология данной области знаний и научной дисциплины, но раскрывается логика научного познания, своего рода путь, по которому научная мысль должна следовать, если она действительно стремится к достижению доказательных и эмпирически верифицируемых результатов. В трудах О.М. Медушевской дается определение научного знания и тем самым сразу очерчиваются рамки изучаемого явления, за пределами которого оказываются различные метафизические, релятивистские или субъективные построения, не имеющие отношения к науке. История, - подчеркивает она, - «может быть наукой» в том случае, если имеет реальный, доступный для повторных интерпретаций и, следовательно, стабильно существующий объект; опирается на данные такого объекта, который охватывал бы человечество в целом (исторический процесс); этот объект должен отвечать главному условию, выражать системообразующее свойство феномена человека⁶.

Но что такое «феномен человека»? Сама постановка этого вопроса имеет антропологическую направленность и глубокие корни в истории этой дисциплины, которая прошла ряд этапов в определении своего предмета⁷. От науки о происхождении и развитии человека, она эволюционировала к антропологии социальной (культурной) с установлением

⁵ Медушевская. 2010 (6). С. 359.

⁶ Медушевская. 2008. С. 11-12.

⁷ Историческая антропология... 1998.

различных взаимосвязей с этнологией, социологией, психологией, археологией. Однако, подчеркивала Медушевская, «наиболее существенным является то направление междисциплинарных взаимодействий, которое развивается в настоящее время как *историческая антропология*»⁸.

В завершенном виде данная историко-антропологическая концепция феномена человека и точные определения ключевых понятий – представлены в последних публикациях О.М. Медушевской, прежде всего – в первой главе («Феномен человека») обобщающей итоговой книги – «Теория и методология когнитивной истории». Однако ее содержательный анализ целесообразно вести с учетом логики формирования концепции на всех этапах творчества ученого. Уже в первых трудах по истории географических открытий, исторической географии, картографии XVII–XIX вв. (написанных в 50-х–нач.60-х гг. XX в.) обращает на себя внимание выход за рамки традиционной концепции этих дисциплин – к таким чисто антропологическим проблемам как осмысление людьми прошлого «пространства», «времени», восприятие «другого» (напр., взаимоотношения культурных стереотипов русских землепроходцев и аборигенов, сравнение представлений о них в русских и иностранных источниках, оценка явлений русской действительности в записках иностранцев и проч.).

Не менее важно присутствие элементов антропологической теории в работах О.М. Медушевской 1960–70-х гг., в которых в отечественную науку вводилось понятие теоретического источниковедения, разрабатывались его методологические основы и предлагались ответы на сложные вопросы исторического познания, поставленные в дискуссиях того времени. Это относится в первую очередь к введению О.М. Медушевской в науку того времени понятия «цивилизации»⁹. Отметим, что одним из важнейших направлений этих дискуссий стало обращение к структурализму – возможностям использования его метода для обоснования видовой классификации исторических источников.

Структурализм, однако, в лице его ведущих представителей, был связан в первую очередь с феноменом антропологии как новой науки, претендовавшей на выявление структур общества и сознания не только в истории, но и в современности (в рамках эмпирических исследований сознания аборигенов разных континентов). Это заставляло исследователей задуматься о соотношении информации, полученной из различных видов источников – устных бесед и этнографических наблюдений, пись-

⁸ Медушевская. 2010 (6). С. 363.

⁹ О понятии «цивилизация» в зарубежной историографии О.М. Медушевская писала в конце 60-х гг. XX в., когда этот термин еще практически не использовался в российской историографии (см.: Медушевская. 1966. С. 195-196).

менных исторических источников, археологических памятников, поставить вопрос о том, что объединяет эти данные для понимания феномена человека¹⁰. Работы данного времени, в частности, по вопросам классификации исторических источников, истории источниковедения и его развития в России и мире в целом, не только энциклопедически охватывают предмет, но и раскрывают исследовательскую «волю к знанию», способную преодолеть трудности сохранения методов подлинного научного анализа в условиях предельно идеологизированного общества – «искусственной изоляции от мировой культуры прошлого и современности»¹¹.

Наконец, наиболее существенное внимание проблемам исторической антропологии уделено в работах О.М.Медушевской последнего периода творчества (с конца 1990-х гг. до 2007 г.)¹². Работы этого времени – статьи и доклады – отражают постановку вопросов философии истории, сравнительного подхода, поиска нового междисциплинарного синтеза. В них представлен глубокий анализ мировой философии исторического познания, с позиций когнитивно-информационной теории дается критика релятивистских учений об истории, показан выход из тупика постмодернистских концепций, возникших в качестве реакции на утерю привычных структуралистских ориентиров предшествующего периода. В конечном счете, был сформирован вывод о смене парадигм в современной исторической науке – переходе от нарративистских (и наивно-герменевтических) подходов к теории когнитивной истории, предлагающей решение проблемы через изучение целенаправленного человеческого поведения, которое, развиваясь в эмпирической реальности, неизбежно сопровождается фиксацией результатов исследования, созданием интеллектуальных продуктов, которые в свою очередь выступают отправной точкой доказательного исторического познания, возможного на основе методов классического источниковедения. Когнитивная история – «наука о человеческом мышлении, которое проявляет себя созданием интеллектуального продукта вовне, созданием информационного продукта своей целенаправленной деятельности»¹³. Антропологическая устремленность этого подхода достигает наивысшего выражения: «Целью является познание людей во времени, человека как тотальной целостности его социальных, психологических, биологических и других свойств, и прежде всего познание человеческой мысли»¹⁴.

¹⁰ Медушевская. 2010 (6). С. 394-410.

¹¹ Медушевская. 2010 (6). С. 135.

¹² Биографическая канва этих этапов отражена в статье: Медушевский. 2010.

¹³ Медушевская. 2008. С. 353.

¹⁴ Медушевская. 2010 (6). С. 201.

Смена парадигм в исторической науке и выбор научным сообществом стратегии развития

Принципиален вклад теории в социологию гуманитарного познания – вывод О.М. Медушевой о смене парадигм и необходимости выбора научным сообществом стратегии развития: будет ли оно и далее находиться в плену релятивистских постмодернистских теорий и сочувственного отношения к «танцующим» понятиям и определениям или воспримет историю как строгую и точную науку. Главным недостатком нарративистского подхода в историко-антропологических исследованиях признается его неспособность раскрыть когнитивную мотивацию человека другой культуры. Ведь содержательный диалог в науках о человеке возможен только при существовании категорий, понятных его участникам. Отсутствие такого диалога, когда воссоздание логики автора произведения ведется по аналогии с собственной логикой интерпретатора, ведет к появлению ситуации когнитивного тупика – «герменевтического круга», исключает для исследователя возможность найти адекватные пути и инструменты к расшифровыванию информации, заложенной в языке или материальных памятниках («вещах») данной культуры.

Релятивистским доктринам исторического познания основатель теории когнитивной истории противопоставляет четкий и жесткий тезис: история есть «нормальная», т.е. строгая и точная наука, ее смысл – в установлении исторических явлений, а метод – в изучении человеческого творчества, «человеческой одушевленности» на основе критического анализа эмпирической реальности – продуктов человеческой деятельности (в обыденной жизни именуемых «вещами»), причем такое изучение, которое раскрывает как явную, так и скрытую информацию, ненамеренно заложенную автором, но часто более ценную для историка и антрополога.

Теория когнитивной истории, ядро которой составляет методология теоретического источниковедения, делает возможным обращение к антропологической проблематике: определение общности культурной и познавательной ситуации; реконструкция представлений о пространстве и времени в их взаимосвязи; осуществление междисциплинарного синтеза истории с другими гуманитарными и естественными науками (географией, психологией, лингвистикой, компьютерными науками и др.); постановка на твердую эмпирическую основу сравнительных исследований человеческого общества с позиций информационного обмена. Информационный обмен может иметь как непосредственный, так и опосредованный характер – передачу продуктов целенаправленной человеческой деятельности (фиксированной информации) во времени и пространстве, что открывает пути кодирования и раскодирования информации, отделения

подлинной от мнимой информации, наконец, ее накопления в историческом процессе. Данный подход представлен в ряде важных работ исследователя – «История в общей системе познания: смена парадигм»; «Методология истории как строгой науки»; «История как наука: когнитивный аспект и профессиональное сообщество». Подчеркнем, что все полученные выводы справедливы как для традиционных видов источников, так и для новых, возникших в эпоху электронных коммуникаций¹⁵.

Посредством созданного произведения человек «дает знать о себе другим людям», способным воспринять эту информацию независимо от разделяющей их временной дистанции. Источниковедческая парадигма в системе современного гуманитарного знания представлена трудами Медушевской, заложившими основы этой дисциплины («Источниковедение: теория, история и метод»; «Источники в науках о человеке»; «Источниковедение и историография: индикатор системных изменений»), и работами по истории становления и развития источниковедческой школы в России. Новое определение источниковедения опирается на историко-антропологический подход, рассмотренный выше: «Источниковедение, – подчеркивает О.М. Медушевская, – изучает не просто исторический источник. Оно изучает систему отношений: человек – произведение – человек. Эта триада выражает общечеловеческий феномен: один человек общается с другим не непосредственно, с помощью личного контакта, но опосредованно, с помощью произведения, созданного другим человеком и отражающего его личность»¹⁶. Интеллектуальный продукт – неделимый «атом» – «главный материальный объект, посредством которого возникает в автономной человеческой информационной среде феномен опосредованного информационного обмена»¹⁷. Вещь становится интегральным объектом историко-антропологического исследования¹⁸.

Актуальность антропологической составляющей гуманитарного познания и образования

Наиболее убедительные ответы на ряд вызовов гуманитарного познания новейшего времени не случайно предложила именно антропология. «Антропология, – подчеркивает О.М. Медушевская, – формировалась как принципиально новый подход к решению актуальных задач гуманитарного познания. Общим было стремление перейти от европоцентристской модели мировой истории к глобальной ее модели, универсальной

¹⁵ Сабенникова. 2011.

¹⁶ Медушевская. 2010 (б). С. 73.

¹⁷ Там же. С. 419.

¹⁸ Медушевская. 2004.

всеобщей истории; от линейно-хронологической описательности «историзирующей» истории – к изучению структур повседневности, человеческого опыта во всем его объеме; от систематизации разрозненных фрагментов с помощью абстрактных конструкторов, возникающих в сознании историка, к анализу механизмов функционирования целого – будь то самоидентификация индивида в его группе, функционирование общества как системного, иерархизированного целого или соотношение человеческих представлений и их поведенческих проявлений»¹⁹.

Новая образовательная модель, ориентированная на формирование творческой личности, предполагает интеграцию исследовательской и педагогической деятельности в рамках единого антропологического подхода. Этот вывод определяет позицию О.М. Медушевской в ходе дискуссии относительно реформы гуманитарного образования, тем более важную, что в ее лице мы имеем дело с одним из общепризнанных мастеров и лидеров российской исторической науки и педагогики. Для понимания концепции гуманитарного познания и научной школы Медушевской важны такие работы завершающего периода ее творчества как «Исторический источник: человек и пространство»; «Источник и сравнительный метод в гуманитарном знании»; «Точное знание в истории: структуралистский аспект»; «Эмпирическая реальность исторического мира» и др. Прослеживается последовательное стремление добиться синтеза исторической антропологии и источниковедения²⁰.

Особое значение для формирования историко-антропологического подхода имеют работы О.М. Медушевской «Феноменология культуры»; «Проблема структуры в науках о человеке», «Когнитивно-информационная модель в науках о человеке», «Историческая антропология как феномен гуманитарного знания» и, наконец, труды, раскрывающие с этих позиций проблемы исторического образования и педагогического процесса – «История науки как динамический процесс», «Идея РГГУ» и др., где четко сформулированы концептуальные основы этого университета, отражены основные направления формирования международной школы теоретического источниковедения и ее принципиальные междисциплинарные ориентиры.

Важный общий вывод О.М. Медушевской о перспективах методологии истории состоял в необходимости в науке и образовании добиться «синтеза трех направлений» – «антропологии с ее главной идеей глобального (коэксистенциального) единства человечества; исторической

¹⁹ Медушевская. 2010 (б). С. 361.

²⁰ Медушевская. 2010 (а).

науки с ее главной идеей эволюционного единства человечества; источниковедческой науки с ее главной идеей единства источниковой основы целенаправленной человеческой деятельности. Взаимодействие данных исследовательских направлений создает единое пространство теоретико-познавательных и образовательных социальных практик, подчиненных общей цели – достижению достоверного (и даже точного) гуманитарного знания»²¹. Этот вывод получил практическую реализацию в читавшихся Ольгой Михайловной курсах²².

Важен намеченный когнитивной теорией подход к решению проблем высшего образования, указывающий на принципиальное различие фундаментального образования (основанного на обучении методу) от транслирующего и вторичного (основанного на механическом воспроизводстве чужих мыслей без установки на их критический анализ). Данная постановка задач исторического познания и образования, несомненно, делает работу ученого и преподавателя более трудной и ответственной, но и ее результат оказывается вознагражден приобретением нового знания о человеке. Антропоцентрическая ориентация гуманитарного познания, таким образом, выражает и объясняет новую ситуацию в гуманитарном образовании.

Концепция когнитивной истории сыграла ключевую роль не только в теории и методологии исторического познания и теоретического источниковедения, но определила новые направления развития исторической социологии и антропологии. В настоящее время историческая наука только начинает осмысление возможностей когнитивной теории в этой области²³. Распространение новых идей затрагивает не только узкий круг сообщества историков, но и философов, социологов, антропологов, лингвистов, специалистов по информатике, педагогов, библиографов, архивистов, документоведов и пр., т.е. всех тех, кому важно решение проблем подлинности познания: единства гуманитарного познания и его реализации на доказательном уровне²⁴.

Представителей гуманитарных дисциплин объединяет прежде всего историко-антропологический метод научного познания, обоснованный и реализованный в трудах О.М. Медушевской. «В античной легенде, – писала она, – Диоген, взяв в руку светильник, отправляется в путь, чтобы найти человека. Источниковедческая парадигма дает свой ориентир для

²¹ Медушевская. 2010 (б). С. 371.

²² Медушевская. 2002.

²³ Подробнее см.: Сабенникова. 2009.

²⁴ Сабенникова. 2010.

достижения общей цели гуманитарного знания: человек – это создатель и творец, а следовательно, это тот, кто сделал для Другого светильник»²⁵.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Историческая антропология : место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: тез. докл. и сообщений науч. конф. Москва, 4-6 февр. 1998 г. / отв. ред. О.М. Медушевская. М.: РГГУ, 1998. 251 с.
- Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики: Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской / отв. ред. Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2011. 498 с.
- Круглый стол по книге О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» // Российская история. 2010. № 1. С. 131-166.
- Медушевская О.М.* Вещь в культуре: источниковедческий метод историко-антропологического исследования: программа курса // Источниковедение: учебно-методический модуль. М.: РГГУ, 2004. С. 202-227.
- Медушевская О.М.* Историческая антропология и антропологически ориентированная концепция : интеграция исследовательской и образовательной программ // Российско-французский центр исторической антропологии им. Марка Блока: программы курсов. М.: РГГУ, 2002. С. 15-20.
- Медушевская О.М.* Когнитивно-информационная теория в социологии истории и антропологии // Социологические исследования. 2010 (а). № 11. С. 63-73.
- Медушевская О.М.* Понятие «цивилизация» и современная историография // Вопросы истории. 1966. № 8. С. 195-196.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 361 с.
- Медушевская О.М.* Теория исторического познания: избр. произведения. М.: Университетская книга, 2010 (б). 576 с.
- Медушевский А.Н.* Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Российская история. 2009 (а). № 4. С. 3-22.
- Медушевский А.Н.* Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии. 2009 (б). № 10. С. 70-92.
- Медушевский А.Н.* Мастера русской историографии: Ольга Михайловна Медушевская // Исторический архив. 2010. № 3. С. 112-127.
- Сабенникова И.В.* Презентация в ИНИОН РАН книги О.М. Медушевской «Теория исторического познания: избранные произведения» // Вестник архивиста. 2010. № 3. С. 303-311.
- Сабенникова И.В.* Публикация исторических документов в электронном виде: проблемы и решения // Когнитивная история: концепция-методы-исследовательские практики: Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской / отв. ред. Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2011. С. 68-82.
- Сабенникова И.В.* [Рецензия] О.М. Медушевская. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008 // Российская история. 2009. № 2. С. 177-179.
- Сабенникова Ирина Вячеславовна** – доктор исторических наук, зав. сектором использования архивных документов Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела.

²⁵ *Медушевская.* 2010 (б). С. 372.

А. В. ЛУБСКИЙ

ИСТОРИЯ КАК СТРОГАЯ НАУКА VS НАРРАТИВНАЯ ЛОГИКА ИСТОРИОПИСАНИЯ

В рамках конструктивного реализма и неоклассической рациональности автор рассматривает проблемы преодоления дихотомии между историей как наукой и историей как нарратологией.

Ключевые слова: наука, конструктивизм, радикальный конструктивизм, критический реализм, нарратив, нарративный идеализм, нарративный реализм, классическая рациональность, неоклассическая рациональность.

Когнитивная ситуация в современной исторической науке характеризуется тем, что в ней, как отмечала О.М. Медушевская, сосуществуют и противоборствуют две взаимоисключающие парадигмы. Одна из них, неотделимая от массового повседневного исторического сознания, видит организующий момент исторического знания лишь в ценностном выборе историка. Другая парадигма, связанная с историей как строгой наукой, стремится выработать общие критерии системности, точности и доказательности нового знания¹.

В рамках классической рациональности такая когнитивная ситуация неизбежно порождает проблему индивидуального эпистемологического выбора. Образно говоря, стоит историк на развилке дорог, видит указатели: налево – нарратология, направо – строгая наука. А внизу камень, на нем надпись: налево пойдешь – лишишься рассудка, направо пойдешь – воображение потеряешь. В средние века такие альтернативные леммы назывались «рогами». Какую бы альтернативу вы ни выбрали, обе они приводят к неприятным следствиям, и вы оказываетесь на «рогах». К таким неприятным следствиям ведет дихотомия «история как строгая наука vs нарративная логика историописания», поскольку история как строгая наука предполагает, что в рассудочном историческом знании не должно быть ничего того, что не относится к предмету познания; в нарратологии, наоборот, историческое знание рассматривается как проекция экзистенциальной интенции и воображения самого историка.

Идея истории как строгой науки возникла в русле позитивистской историографии еще в XIX в. и получила развитие в рамках сциентизма, ренессанс которого наблюдался в 1950-х – начале 1970-х гг. Этот ренессанс, получивший название историографической революции, выразился в

¹ Медушевская. 2008. С. 15-16.

становлении «новой исторической науки», представители которой стремились преодолеть идиографические когнитивные стратегии на путях социальной истории, психоанализа, структурализма, марксизма, клиометрии. Сциентизм в историческом познании, основываясь на принципах систематической эпистемологии и классической рациональности, в качестве идеала научности берет модели мышления «строгих» наук и реализует варианты рассудочно-рациональных научно-исследовательских практик, связанных с реконструкцией исторической действительности с помощью научных методов и научного языка познающего субъекта.

Когнитивными императивами сциентизма в историческом познании выступают: 1) элиминация субъекта исторического познания из его результатов; 2) вооружение познающего субъекта научным методом, т.е. правильным способом описания и объяснения исторической действительности, позволяющим получать объективные исторические знания. Сциентизм, стремясь представить субъектно-объектные отношения в историческом познании в жестких абстракциях, в которых господствует анонимный гнет понятий и демонстративность научной мысли, утверждает основополагающую роль исторической науки в производстве исторических знаний, избавляя их от спекулятивных суждений и телеологических заблуждений.

Идея истории как нарратологии зародилась в русле антипозитивистской историографии и получила развитие в первой половине XX в. в русле антисциентизма, который, основываясь на принципах антисистематической эпистемологии и неклассической рациональности, в качестве идеала научности берет модели мышления гуманитарных наук, реализуя варианты экзистенциально-антропологических научно-исследовательских практик, ориентированных на производство исторических знаний, в которых презентуется не только историческое прошлое, но и субъект исторического познания.

В рамках антисциентизма в историческом познании, с одной стороны, был поставлен вопрос о субъектности исторического познания, с другой – переосмыслены его предмет и когнитивная стратегия: строго детерминированная, структурированная надындивидуальная историческая реальность уступила место индивидуальной реальности, миру повседневной жизни и дорефлексивных форм обыденного сознания; номотетическая когнитивная стратегия была заменена идиографической, направленной на понимание и описание уникальных структур субъективной ориентации в мире повседневности, конституированных сознанием.

В 1970–80-х гг. под влиянием идей, связанных с «лингвистическим поворотом» и постмодернизмом, на волне критики сциентистских уст-

ремлений «новой исторической науки» начался новый ренессанс анти-сциентизма в историческом познании, и произошла когнитивная радикализация его эпистемологических принципов.

Основой такой радикализации стал субъектный, ассоциативно-образный постмодернистский стиль исторического мышления. Исходя из представления о том, что историческая реальность начинает существовать только в интерпретациях и лишь благодаря им, постмодернисты главную роль в историческом познании стали отводить текстам. Постмодернисты рассматривают историческое познание как диалог между текстами, в ходе которого возникает специфическая власть языка, способного своими внутренними средствами создавать самодовлеющий мир исторического дискурса, в котором конструируется историческая реальность. Поэтому историческое знание рассматривается постмодернистами не как «отражение» исторической действительности, а как субъектное выражение интересов и потребностей, стереотипов восприятия и мышления самого исследователя, «вписанного» в гипертекст современности.

В результате в постмодернизме до логического конца была доведена идея субъектности исторического познания, поскольку познающий субъект был провозглашен в качестве «репрессивной инстанции» по отношению к производству альтернативных картин исторической реальности. В историческом познании исчезли всякие авторитеты, кроме мнения самого автора, опирающегося на принцип «affirmo – ergo est» («утверждаю – значит, так есть»).

Непосредственно под влиянием постмодернизма в исторической эпистемологии сформировалось такое направление, как радикальный конструктивизм, представители которого считают, что мир прошлого вне различных социокультурных практик не играет никакой роли в производстве исторических знаний. В радикальном конструктивизме преодолевается дуалистическая онтология «историческая действительность – историческое знание» путем абсолютизации исторического познания, вплетенного в социокультурную практику. Историческое познание противостоит исторической действительности, а историк как познающий субъект – это когнитивная система, замкнутая на себя. Историческое познание – не просто диалог культур, а интеллектуальная игра, которая ведется в культуре с помощью средств самой культуры. В связи с этим историческая наука, как считают радикальные конструктивисты, не обладает привилегированным доступом к исторической действительности, находящейся вне культуры, и поэтому не может претендовать на монопольное производство истинного исторического знания.

В радикальном конструктивизме историческое прошлое сводится к множеству случаев установления социокультурных конвенций относительно тех или иных исторических ситуаций, и поэтому исторические знания могут всегда быть «размонтированы» и преобразованы в другие интерпретации. Истинность или ложность исторических знаний определяется не их адекватностью исторической действительности, а социокультурными контекстами их производства. Истинными считаются исторические знания, полученные в соответствии с социально и культурно санкционированными понятийными схемами и прошедшие социокультурный селективный отбор, который осуществляют разные социальные группы, прежде всего группы производителей исторического знания. При этом существенное влияние на производство знаний и отбор «истинных описаний» оказывают насилие, власть, деньги, авторитет, репутация ученых, их способность пойти на сделки с властью и собственной совестью, множество существующих конвенций, убеждение, уговоры, внушение, риторика. Высшим арбитром истинности (ложности) исторических знаний выступает общая система идей, образующих конкретную культуру. Для радикального конструктивизма историческое познание есть форма ориентации в современном мире, а исторические знания производятся для того, чтобы облегчить социокультурные коммуникации.

В радикальном конструктивизме можно выделить две формы: риторическую и концептуальную. Представители риторического конструктивизма рассматривают язык как ключ к пониманию прошлого и в своих принципиальных положениях опираются на идеи постмодернизма, в рамках которого отношения знания к действительности потеряли всякий смысл и были заменены провозглашением субъекта как репрессивной инстанции, творящей мир. Концептуальный конструктивизм не отказывается от признания реальности прошлого, но в когнитивной практике этому не придается никакого значения, поскольку историческое знание рассматривается всего лишь как проекцию этой практики. В концептуальном конструктивизме истинными считаются исторические знания, полученные в соответствии с требованиями научности, принятыми в определенном сообществе историков.

В рамках радикального конструктивизма история, лишенная статуса строгой науки, была сведена к нарративной логике историописания. В исторической эпистемологии нарратив как особая форма и способ презентации исторической реальности оказался предметом особого внимания благодаря лингвистическому повороту в историческом познании. Этот поворот актуализировал различия между научным историческим исследованием как производством исторических фактов и историописа-

нием как рассказом, в котором воображение историка на основе конфигуративного замысла упорядочивает исторические факты и наполняет их значением и смыслом, исходя из культурно-символического контекста. В этом плане исторический нарратив, содержащий правдоподобные высказывания фактического характера, является продуктом культуры и языка познающего субъекта, которому заранее известен финал исторического повествования, стягивающий все сюжетные векторы его рассказа в общий фокус. Поэтому исторический нарратив является не столько описанием прошлого, претендующим на адекватность, сколько «инструкцией» по определению и пониманию исторической реальности.

Непосредственно с радикальным конструктивизмом в исторической эпистемологии связано такое течение в нарратологии, как нарративный идеализм. В рамках нарративного идеализма исторический нарратив, в отличие от описания и объяснения прошлого, рассматривается, с одной стороны, как его интерпретация, т.е. нахождение единства в разнообразии, с другой – как презентация в виде гештальта, автономного по отношению к исторической действительности. Исторический нарратив как интерпретация и презентация, обращаясь к прошлому, не корреспондирует с ним, а обозначает его с помощью языка познающего субъекта как средства интерпретации исторической реальности, и добавляет к картине прошлого все то, в чем нуждается историк для его осмысления и представления. В нарративном идеализме прошлое – это не текст, который переводится историком в нарратив, а повод для создания исторического нарратива как метафорического заявления, служащего связующим звеном между прошлым, которое в нем описано, и структурами, конвенционально используемыми в культуре, для того чтобы наделять значениями и смыслами незнакомые события и ситуации. Поэтому исторический нарратив относится не к прошлому, а к историческому дискурсу по поводу конкурирующих исторических интерпретаций. В рамках нарративного идеализма различные интерпретации истории согласуются не через соотнесение их с фактами, а с аргументами текстов нарративов, и поэтому допускается, что исторический нарратив обладает своего рода правом насилия над исторической реальностью. В этом смысле исторический нарратив как конструкт исторической реальности – это образ возможного прошлого и его концептуальное предпочтение².

В настоящее время в рамках культуры «неоглобализма» складывается методология нового универсализма, которая характеризуется, с

² См.: Анкерсмит. 2003.

одной стороны, активизацией дихотомического стиля мышления, а с другой – стремлением к синтезу разных «оппозиций»: глобального и локального, универсального и уникального, социоцентристского и антропоцентристского, номотетического и идиографического, макроисторического и микроисторического, научного и нарративного.

В русле методологии нового универсализма в исторической эпистемологии формируется такое направление, как критический реализм, базирующийся на особом – неоклассическом – типе рациональности.

Применительно к историческому познанию классическая рациональность, основываясь на принципах нейтральности субъекта научно-исследовательской деятельности, а также тождества исторического бытия и исторического мышления, претендует на познание исторической действительности такой, какой она была сама по себе, без примеси человеческой субъективности. Классическая рациональность, в которой разум, с одной стороны, дистанцируясь от исторической действительности, а с другой – абстрагируясь от деятельностной природы познающего субъекта, элиминирует из процедур описания и объяснения все то, что не относится к предмету исторического познания.

Неклассическая рациональность, в которой деятельностная природа субъекта исторического познания выступает в явном виде, предполагает осмысление соотнесенности объясняемых характеристик предмета исторического исследования с особенностями методологических средств и операций научной деятельности. Поэтому неклассическая рациональность предполагает, что содержание исторического знания обусловлено не только предметом, но и методологией исторического исследования.

Неоклассическая рациональность сформировалась в результате синтеза таких установок, как стремление к познанию исторической действительности такой, какой она была на самом деле, в классической науке и установление зависимости объясняемых характеристик предмета исторического исследования от его методологических предпосылок – в неклассической, и дополнения их осмыслением ценностно-целевых ориентаций субъекта научной деятельности в их соотнесении с социальными целями и ценностями. Поэтому неоклассическая рациональность в исторической науке предполагает, что содержание исторического знания зависит не только от предмета и методологии исторического исследования, но и от его социокультурного контекста, выражением которого выступает язык научного дискурса³.

³ Лубский. 2010. С. 79-80, 115-116, 234-235.

Представители критического реализма в исторической эпистемологии, с одной стороны, признают, что конструктивистское начало присутствует во всяком научном познании, а с другой – отвергают радикальный постулат постмодернизма, который гласит, что историческая реальность является лишь продуктом сознания познающего субъекта. В результате в исторической науке после постмодернизма получили распространение идеи конструктивного реализма, сторонники которого, преодолевая оппозицию реализма и конструктивизма, исходят из того, что познающий субъект не столько отражает, сколько конструирует историческую реальность в рамках культурно-эпистемологического контекста, но такую реальность, которая в определенной мере соответствует исторической действительности. Представители конструктивного реализма рассматривают историческое познание как такую когнитивную деятельность, которая предполагает взаимодействие историков, с одной стороны, с трансцендентальной исторической действительностью, а с другой – друг с другом. В рамках этих взаимодействий конструируются «жизненные миры» как картины исторического прошлого, которые не только соответствуют самой исторической действительности, но неизбежно несут на себе «почерк» познающего.

Разновидностью конструктивного реализма выступает конструктивный альтернативизм, согласно которому прошлое может интерпретироваться субъектами исторического познания разными способами на основе «конструктивных альтернатив», или моделей исторической реальности, позволяющих рассматривать исторические факты с различных точек зрения. Под влиянием идей конструктивного альтернативизма в исторической науке происходит становление нового типа методологического сознания, в рамках которого историческое познание приобретает онтологическую «скромность»: оно утрачивает историческую действительность «саму по себе» в той мере, в какой эта действительность трансформируется в знаки, символические формы и тем самым в разные картины исторической реальности, из которых ни одна не может быть признана единственно правильной. «Мир прошлого» начинает встречать историков в разных ипостасях, которые исследователи выбирают для конкретной научной «встречи». В таком методологическом сознании постепенно преодолевается «жажда объективности» и формируется представление о том, что «мир прошлого» становится исторической реальностью в соответствии с познавательным контекстом.

В связи с этим в академическом сообществе историков осталось мало ученых, которые бы с такой страстью, как еще совсем недавно,

отстаивали тезис о возможности и необходимости единого подхода к изучению исторической реальности. В таких условиях историческое знание приобретает онтологическую «скромность»: оно утрачивает историческую реальность «саму по себе» в той мере, в какой эта реальность трансформируется в разные ее «картины», из которых ни одна не может быть признана единственно правильной.

Вместе с тем в рамках конструктивного реализма атрибутом научности исторического исследования признается когнитивная интенция к истине, включающая стремление, во-первых, показать, как «было на самом деле» (корреспондентная истина), во-вторых, производить исторические знания в соответствии с методологическими регулятивами, принятыми в определенном сообществе историков (когерентная истина), в-третьих, производить исторические знания в соответствии с определенным культурным контекстом (контекстная истина).

С конструктивным реализмом в исторической эпистемологии связано такое течение в нарратологии, как нарративный реализм. В рамках нарративного реализма исторический нарратив – это хронологически организованное сообщение, имеющее начало, середину и конец, соединяющее время истории и время историков, включающее дескриптивные, объясняющие и аргументационные утверждения о прошлом, расположенные в интерпретирующей структуре, связанной с настоящим.

В создании такого нарратива большую роль играет, с одной стороны, конфигурация, которая предполагает приоритет авторского замысла над фактическим материалом, соединяющего фрагментарные исторические знания в единое сюжетное повествование. С другой – так называемая «уликовая парадигма», включающая и эмпирические методы добытия фактического знания об исторических явлениях путем обнаружения их индивидуальных «симптомов» («улик»), и априорные методы формирования подразумеваемых, но аргументированных «выводов», избегающих аллегорических толкований прошлого⁴.

Таким образом, в рамках конструктивного реализма, стремящегося к синтезу разных «оппозиций», преодолевается дихотомия «история как строгая наука vs нарративная логика историописания», свойственная классической рациональности. С позиций нарративного реализма исторический нарратив получает свое оправдание как форма исторического знания, в которой находит свое воплощение специфичность истории как «art» и «science».

⁴ Гинзбург. 1994.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Анкерсмит Ф.* Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. М.: Идея-Пресс, 2003. 360 с.
- Гинзбург К.* Приметы: уликовая парадигма и ее корни // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 32–61
- Лубский А.В.* Альтернативные модели исторического исследования: концептуальная интерпретация когнитивных практик. Saarbrücken: LAMBERT Acad. Publ., 2010.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с.
- Лубский Анатолий Владимирович* – доктор философских наук, профессор, Южный федеральный университет; *n_lav@mail.ru*

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ?¹

Многие методологи истории представляют себе исторический источник как «отражение» действительности. Однако извлеченная из источников информация никогда не бывает ни полной, ни адекватной изучаемому объекту. Любое историческое описание предполагает элемент конструирования, а историческое познание является частью исторического мышления, представляющего собой творческий процесс.

Ключевые слова: методология истории, историческое познание, историческое мышление, исторический источник, достоверность информации, полнота информации.

Что такое история? В польском языке «история» обозначается двумя терминами – *historia* («история») и *dzieje* («прошлое; прошедшие события»). Итак, история – это прошлое, история – это совокупность событий, история – это исторический процесс. Но, кроме того, история – это научная дисциплина. С этим последним соглашается О.М. Медушевская, когда пишет: «История рассматривается как наука, чей предмет – феномен человеческого мышления, человеческого познания, реализовавшего себя в ходе целоностного и единого исторического процесса». И далее: «История человеческого мышления (когнитивная история) есть наука о человеке мыслящем и творческом, ежеминутно формирующем свою рукотворную, человеческую новую реальность»².

В польской исторической литературе мы встречаемся с неоднозначным описанием предмета исторической науки. Предметом исторической науки является прошлое (*dzieje*) общества, а целью – познание этого предмета. Польский методолог Б. Миськевич постулировал, что «термин *dzieje* относится к предмету исторического познания, тогда как слово *historia* — к исторической науке»³. Предмет исторической науки, т.е. прошлое общества, охватывает всю необычайно разнородную и сложную общественную жизнь. Трудно поэтому говорить о познании истории в ее совокупности. Восстанавливая исторический процесс, мы исследуем обычно определенные его фрагменты или отдельные аспекты. Похожий взгляд мы найдем у О.М. Медушевской, по мнению которой история «рассматривает человека в его эволюционном единстве и в

¹ Перевел с польского Д.А. Добровольский.

² Медушевская. 2008. С. 17–18.

³ Miśkiewicz. 1974. S. 99.

глобальном единстве обществ. Иначе говоря, для того чтобы, с одной стороны, рассматривать процессы человеческого мышления в их основных фундаментальных параметрах и с другой – проследить динамику развития на протяжении всего исторического процесса, необходимо обращение к основной науке о человеке». Завершая эти размышления, О.М. Медушевская подчеркнула: «Историческая наука по характеру своего объекта может и должна быть наукой о человеческом мышлении»⁴. Добавим, что можно исследовать прошлое всего человечества, прошлое одного народа и прошлое определенного региона. Более того, предметом исследования могут стать прошлое техники, культуры и других областей деятельности общества или отдельного человека.

Исследуя / познавая прошлое, мы неоднократно обращаемся к источникам. Долгое время среди польских историков господствовало мнение, что исторические источники «отражают» действительность. Похоже смотрела на вопрос О.М. Медушевская, когда писала, что «каждый интеллектуальный продукт несет в себе, с одной стороны, *отражение* целенаправленного создавшего его автора, и с другой — *отражает* эту общую картину мира»⁵. Некоторые польские методологи обращались к оптическим метафорам, сравнивая исторические источники не только со следами, но и с линзами или стеклами⁶. Но если бы источники действительно имели способность отражать развитие общественной жизни, то историк мог бы реконструировать прошлое, а ведь это невозможно. Представляется более точной формулировка Е. Топольского, по мнению которого исторические источники не только не отражают прошлого, но и не являются его «следами». В уме историка возникает «отражение» действительности, но для ее понимания историку необходим язык. С его помощью историк описывает прошлое, конструирует свое представление о нем. Исторические источники, отмечал Е. Топольский, не могут «отражать» прошлого, так как оно практически неисчерпаемо: «Можно только исследовать исторические источники и извлекать из них информацию о прошлом, а затем конструировать историческое повествование, опираясь на эту информацию, на внеисточниковое знание, которое также включает в себя сведе-

⁴ Медушевская. 2008. С. 23–24.

⁵ Там же. С. 55. Курсив мой — Т.М.

⁶ Topolski. 1973. S. 342. Там же приводятся и примеры такого словоупотребления, взятые из работ С. Косцялковского («всякий след исторического факта, служащий познанию, реконструкции этого факта») и Г. Лабуды («Историческим источником мы назовем всякие остатки, психофизические и общественные, которые, будучи продуктом человеческой деятельности, и, одновременно, участвуя в жизни общества, приобретают таким образом способность отражать это развитие»).

ния о структурах прошлого (очевидно, приблизительные, как и всякое другое знание), и на принципы исторического профессионализма»⁷. Источники – это следы исторических фактов, мыслей или поступков людей. Источники дают историку (студенту, школьнику, исследователю, читателю и т.д.) лишь первоначальную информацию, которая делает возможным конструирование исторических фактов. При этом они с самого начала обременены интерпретацией историка, который формулирует вопросы, вопросы же имеют свои основы, глубоко укорененные в языке. Как писал Е. Топольский: «когда я формулирую вопрос, я уже должен иметь какое-то знание (состоящее хотя бы в том, что я чего-то не знаю)»⁸.

Анализ исторического источника зависит не только от знаний исследователя и поставленных им вопросов, но и от исторической обстановки. О.М. Медушевская подчеркивала, что «никакой письменный текст не сможет передать информационного ресурса пространственных отношений вещи или пространственных отношений созданной вещи и того окружения, в которое она вписана»⁹. Кроме того, интерпретация зависит от того, с какой позиции интерпретируется рассказ источника. Пути интерпретации источника определяются современным исследователем в той же степени, в какой и создателем этого источника, человеком прошлого¹⁰. Для научного исследования очень важно повторное обращение к тому же самому источнику и повторный его анализ, делающий возможной более глубокую интерпретацию. В этом последнем уверены и Топольский, и Медушевская¹¹.

Извлеченную из источников информацию можно считать достоверной, но мы должны помнить, что она никогда не является ни полной, ни адекватной, поскольку мы никогда не можем быть уверены в полноте своего восприятия. Практически, это информация, которую нам удалось извлечь на данный момент, в определенных условиях, в частности — при определенном состоянии науки. Те аспекты прошлого, которых извлечь из источника пока еще не удалось, имеют потенциальный характер. Исследуя новый источник, задавая ему новые (другие) вопросы, мы можем получить новый взгляд на прошлое. Как пишет О.М. Медушевская, «формируется определенный диалог между зрителем или участником наблюдения и теми интеллектуальными продуктами, которые

⁷ *Topolski*. 1998. S. 35.

⁸ *Ibid.* S. 37.

⁹ *Медушевская*. 2008. С. 43.

¹⁰ Там же. С. 81.

¹¹ *Topolski J.* 1998. S. 38; *Медушевская*. 2008. С. 64.

создаются на этом уровне»¹². Е. Топольский добавляет: «Историк получает сведения, нагруженные интерпретацией его информатора, зависящие от уровня знаний и системы ценностей последнего»¹³. В такой ситуации историк вынужден вычленять из текста источника информацию об отдельных фактах, "отсеивать" из текста источника риторическую компоненту. Как подчеркивает Ежи Топольский, исторический источник не является источником истины¹⁴.

Часто бывает так, что мы не располагаем непосредственной информацией о событиях и вынуждены исследовать их по косвенным данным. В такой ситуации извлеченные из источников сведения служат исключительно как ориентиры мыслительного процесса, ведущего к объяснению того или иного факта в контексте выдвинутой нами гипотезы. Если ориентиры видны, значит наше умозаключение логично. И здесь мы подходим к вопросу, вынесенному в заглавие статьи. Историческое «познание» или историческое «мышление»? Этот вопрос неоднократно затрагивается в книге О.М. Медушевской¹⁵. Работа с источником это не только считывание и добыча информации. Работа с источником – это мыслительный процесс, включающий в себя анализ, умозаключения, сравнения и т.п. Именно поэтому Медушевская уделила внимание интерпретации гипотезы и аналитике (построению умозаключений).

Е. Топольский задал себе и своим читателям вопрос: «Способен ли исторический источник, или даже все доступные исторические источники привести нас к прошлому подобно тому, как след приводит охотника к зверю, а отпечатки пальцев указывают детективу на убийцу»¹⁶. Ответ был категоричным: нет, так как это прошлое уже не существует. Сколь бы ни был велик объем собранной информации, мы так и не увидим прошлого целиком. Отсюда вытекает заключение: историк не «реконструирует», а «конструирует» прошлое. О.М. Медушевская также указала на эту проблему, написав, что в историческом источнике представляется определенная конструкция. Историк проводит деконструкцию, т.е. выявляет информационный ресурс. Но в конце (и в этом отличие позиции О.М. Медушевской от позиции Е. Топольского) историк «осуществляет реконструкцию, т.е. представляет произведение как явление мышления индивида и его эпохи»¹⁷.

¹² Медушевская. 2008. С. 43.

¹³ Topolski. 1998. S. 44.

¹⁴ Ibid. S. 55.

¹⁵ Медушевская. 2008. С. 61.

¹⁶ Topolski. 1973. S. 36.

¹⁷ Медушевская. 2008. С. 282.

Для конструирования исторического повествования принципиально важно не только избегать противоречий, давать определения, создавать классификации и использовать системы категорий. Столь же важно понимать, как, собственно, рассуждают историки. Рассуждения в истории могут быть трех типов – дедукция, редукция и индукция.

Работая с источником, историк не только узнает (или пробует узнать) факты прошлого. Он также осуществляет историческое мышление. Историческое мышление как логическая операция, сопровождающая конструирование прошлого, неотъемлема от идеологии. Ежи Топольский называет в данной связи три пласта идеологии. Первый – это идеология историка как представителя данных социума и этноса, отождествляющего себя с этими группами, второй – идеология историка как личности, преследующей собственные (в том числе научные) цели, третий – профессиональная идеология ученых, в число которых входят и историки¹⁸. Между этими тремя идеологиями могут возникать (и возникают на практике) разного рода противоречия, которые могут быть обусловлены, например, принадлежностью историка к той или иной нации / конфессии, и связанными с этим предпочтениями, личными целями и групповым этосом научного сообщества. В результате появляется повествование, имеющее статус «исторического», но вовлеченное в идеологическое пространство, а получившееся произведение реализует определенные риторические каноны.

О.М. Медушевская указала, кроме того, на «конфликт интерпретаций». По ее мнению, конфликт интерпретаций возникает при расхождении между тем, о чем думал автор текста, и тем, о чем думает его читатель¹⁹. Ежи Топольский показывает, что основную роль в передаче исторического знания играет сам его потребитель, или читатель. Топольский противопоставляет «семантического» (наивного) и «семиотического» (критического) читателей. Наивный читатель осуществляет исключительно т.наз. семантическую интерпретацию, то есть воспринимает текст в его буквальном значении, в то время, как критический читатель совмещает семантическую интерпретацию с критическим отношением к содержанию текста²⁰. О.М. Медушевская также обратила внимание на эту проблему, указав на эмоциональное общение между автором исторической информации и исследователем, а также между исследователем, создающим исторический нарратив, и читателем его рассказа²¹.

¹⁸ *Topolski*. 1973. S. 148.

¹⁹ *Медушевская*. 2008. С. 234.

²⁰ *Topolski*. 1996. S. 152.

²¹ *Медушевская*. 2008. С. 75.

Ежи Топольский называет еще одну проблему интерпретации текста (понимаемого здесь как историческое повествование), состоящую в том, что необходимо принимать во внимание как цели произведения и намерения автора, так и интенции читателя. «Лишь объединение интенций читателя (т.е. того, что читатель способен в тексте найти и ожидает от него) с целью произведения и намерениями автора дает некое интерпретационное целое»²².

В результате критики источника, являющейся основанием исторического конструирования, мы получаем некую совокупность информации об отдельных исторических фактах. На основании этой информации историк приступает к созданию текста, задача которого – передать читателям то, что историк думает об описываемом им фрагменте прошлого. Так возникает «видение прошлого историком». Автор исторического повествования демонстрирует читателю то, каким образом он выстроил картину прошлого. Это одно из множества возможных видений прошлого. Читатель, в свою очередь, получает некое описание прошлого (фактов и исторического процесса), но не может сказать, является ли это описание и выражающая его словесная форма точными, так как мы не знаем, каково это прошлое было в действительности. Описание представляет некое историческое видение прошлого. Как отметил Е. Топольский, «нельзя сравнивать повествование с исторической действительностью»²³.

О.М. Медушевская была уверена, что результаты человеческого мышления сохраняются в ходе исторического развития²⁴. «Человеческое мышление, – писала она, – может быть познано в той мере, в какой человек захотел и смог запечатлеть свои мысли вовне, в продуктах своего творчества»²⁵. И эта констатация внушает оптимизм.

Завершим наши размышления словами О.М. Медушевской: «Человеческая деятельность направлена на познание механизмов функционирования реальных связей окружающего мира. Постигание этого механизма <...> есть жизненная потребность мышления»²⁶.

Другое высказывание О.М. Медушевской может служить ответом на вопрос, поставленный в заглавии статьи: «одно определение информации связано с процессами передачи знания, т.е. с процессами коммуникации, а другое – с когнитивным мыслительным процессом индивида

²² *Topolski*. 1996. S. 153.

²³ *Topolski*. 1998. S. 159.

²⁴ *Медушевская*. 2008. С. 13.

²⁵ Там же. С. 19.

²⁶ Там же. С. 243.

и ничем другим»²⁷. Добавим, со своей стороны, что как историческое мышление сопровождает историческое познание, так и познание прошлого происходит путем исторического мышления. Пользуясь математической лексикой, позволим себе констатировать, что историческое познание является подмножеством исторического мышления. Историческое познание содержится в историческом мышлении. Термин «историческое мышление» является более широким.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 361 с.
Miśkiewicz B. Wstęp do badań historycznych. Warszawa; Poznań, 1974.
Topolski J. Metodologia historii. Warszawa, 1973.
Topolski J. Wprowadzenie do historii. Poznań, 1998.
Topolski J. Problemy transmisji wiedzy historycznej w edukacji szkolnej // *Wiadomości historyczne*. 1996. Nr 3.

Марси, Тереса – доктор, адъюнкт Института истории и международных отношений Университета Казимира Великого в Быдгоще (Польша); teresamarsz@ukw.edu.pl

²⁷ Там же. С. 140.

С. С. Минц

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА ПРИМЕТЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

С позиций культурологии в источниковедении эпохи Постмодерна намечаются стадии формирования новой парадигмы от «неклассического» знания через «постклассическое» к «постнеклассическому» источниковедению. Источниковедение когнитивной истории рассматривается как шаг к изучению соотношения профессионального и массового в сознании авторов источников и историков.

Ключевые слова: эпоха Постмодерна, источниковедение, неклассическое знание, постклассическое знание, постнеклассическое знание, когнитивная история, методы, культурология, феноменологический подход, О.М. Медушевская.

Историки привыкли к определению «неклассическое знание» и не устают удивляться, почему при ближайшем рассмотрении наше представление о неклассическом источниковедении становится все противоречивее. В представленном материале речь пойдет о месте неклассического знания в источниковедении эпохи Постмодерна.

Опыт изучения истории исторической науки показывает, что многие рассуждения в современной научной литературе о смене парадигм, как и попытки разграничить этапы современного наукознания в пределах нескольких десятилетий, больше похожи на опыты создания биографии человечества с точки зрения жизни индивидуального человека. Они очень важны для понимания сути происходящих изменений в масштабах жизни человека или даже целого поколения, но не дают общей картины изменений в процессе культурно-исторической эпохи. Рассуждения о постмодерне, постпостмодерне и прочих «пост» переходах в научном знании – в отечественной науке пока в основном игра образами, направленная на собственную идентичность больше, чем на реальный анализ состояния исторического знания. Если мы хотим говорить о неклассическом научном знании как социокультурном феномене, о Постмодерне как историко-культурной эпохе, то начало ее датировки надо сдвигать к рубежу XIX–XX вв. Это соответствовало бы картинам интеллектуальной истории, существующим в рамках историографии, истории философии или истории культуры. В данном сюжете хотелось бы предложить взглянуть на развитие источниковедческих знаний в пределах одной культурно-исторической эпохи – эпохи Постмодерна от рубежа XIX–XX вв. до наших дней. Посмотреть на исторические знания с несколько иной историко-культурной дистанции и сравнить не историко-культурные эпохи как

целое, а внутренние этапы динамики части представлений об истории внутри одной из них. Подобный подход предполагает анализ научных знаний сквозь призму современной культурологии. Культурология помогает современному наукознанию прояснить его отношения с философскими идеями с одной стороны и с повседневной жизнью научного сообщества с другой. Такая постановка вопроса соответствует апелляции О.М. Медушевой к историческому сознанию как к массовому явлению и как к части сознания профессионального научного сообщества.

Мне понятно и симпатично желание М.Ф. Румянцевой вернуть философию в практику источниковедческого исследования. Оно созвучно со стремлением О.М. Медушевой сделать конкретное источниковедение во всех его проявлениях, начиная с архивоведения, верифицируемой экспериментальной наукой. *Строгой наукой*, как любит подчеркивать М.Ф. Румянцева. Вполне соотносимо оно и с принципами обучения источниковедению, принятому на историческом факультете МГУ. Наши учителя, академики И.Д. Ковальченко и Л.В. Милов, вполне убедительно демонстрировали нам, студентам, выпускникам и аспирантам конца 1960-х – начала 1980-х гг., что без опоры на философию конкретное источниковедение превращается в случайный набор практик. Корректно выполнять поставленные исследовательские задачи способна лишь часть из них. То же, да не сочтут коллеги за нескромность, подтверждает и моя собственная научная и педагогическая практика, достаточно длительная и разнообразная, чтобы иметь возможность делать из нее некоторые выводы методологического свойства. Это одна сторона бытования философских идей в историческом и источниковедческом знании.

С другой стороны, длительная практика работы с теоретико-методологической литературой рождает предположение, что, обращаясь к философским основаниям конкретных исследовательских стратегий и практик, мы часто пытаемся соединить воедино несколько пластов реализации научной мысли. Еще в начале 1980-х гг. А.Г. Тартаковский, рассуждая о социальных функциях исторической науки, подчеркивал, что рядом с идейно нагруженными слоями (мы почему-то до сих пор сводим их к идеологии) в науке существует целый пласт знаний, вызванных к жизни внутренней логикой ее развития и самой практикой исследовательской деятельности. Современная психология познания подчеркивает, что и эти, казалось бы, технические знания не свободны ни от аксиологии, ни от идеологии. Однако в тех когнитивных сложностях (термин Э. Гуссерля, принятый и активно используемой современной психологической наукой), которыми руководствуются исследователи в своей *повседневной* научной практике, их ценностно-ориентационные составляющие менее

заметны. Ценностно-ориентационные составляющие когнитивных сложностей присутствуют в повседневной деятельности ученых в настолько завуалированном виде, что в пылу идейных баталий их существование можно вообще не принимать во внимание, что делалось и продолжает делаться весьма успешно с последней трети XIX века. Особенно активно эти составляющие исторического знания не принимались во внимание во второй трети XX столетия, например, в разгар идейного противостояния марксистской и немарксистской исторической науки. Задача борьбы с доминированием марксизма как идеологии в последнее двадцатилетие стала казаться первостепенной и многим отечественным историкам. Все, что не было марксизмом, они вообще перестали считать идеологией. Однако сама постановка проблемы о соотношении массового и профессионального в сознании историка невозможна без возвращения к вопросу о роли идеологизированных компонентов в рассуждениях ученого. В том числе и в его отношении к философии и философским идеям.

Сами же философские идеи нередко действуют на историков гипнотически. Историки невольно относятся к ним как к фетишам, имеющим магическое значение. И на первый план со временем вольно или невольно выдвигают проблемы преподавания источниковедческих дисциплин во всем их развивающемся многообразии. Поскольку эта сфера довлеет над сознанием практикующих теоретиков и методологов, задачи пропедевтики в конце концов заставляют нас приближать тенденции философской мысли к повседневной преподавательской практике и соединять воедино первостепенное во внутренней логике науки и второстепенное, а то и третьестепенное в эволюции философской мысли или интеллектуальной деятельности. Искать же философские идеи в неизменном виде в разных пластах исследовательской практики, скорее всего, не очень функционально. Найденное всегда будет фрагментом, более или менее значительной, но деталью. И неминуемо подействует на концептуальное целое, рассыпая его на нестыкующиеся части. Нам потребуется все больше внутренних граней для осмысления существа непосредственно наблюдаемой интеллектуальной панорамы. И ее составные части постоянно будут менять конфигурацию, как в калейдоскопе при малейшем нарушении равновесия, фактически – при каждом изменении точки отсчета.

Иницилируя настоящий круглый стол, М.Ф. Румянцева обратила внимание, что «при знакомстве с книгой “Теория и методология когнитивной истории” бросается в глаза минимальное количество ссылок на задействованную в построении концепции литературу»¹. Подобное явление

¹ Румянцева. http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_rumianceva/15-1-0-114.

ние отмечали издатели творческого наследия гениального отечественного психолога Л.С. Выготского, основоположника культурно-исторической теории, которая изменила лицо современной психологической науки. Более того, при попытках сверить его ссылки с упомянутыми исследователем работами выяснилось большое количество несовпадений. Не стоит обвинять или извинять создателей новой исследовательской парадигмы за неполноту или неточность цитирования и ссылок. Это особенность построения принципиально нового знания. В его основе лежит масса микроассоциаций. Проследить за ними сам автор не в состоянии. Не очень повезет и исследователям творчества такого ученого, поскольку самоописания будут неполными и не всегда точными. На помощь может прийти моделирование когнитивных сложностей, а это трудоемкая работа, требующая специальных знаний и навыков, которыми современное источниковедение только учится пользоваться. Пока же можно попытаться обозначить векторы изменений, чтобы наметить систему ориентиров, в которые можно было бы вписать будущие модели.

Как и интеллектуальная история, культурология рассматривает работы ученых как духовные творения и выделяет несколько пластов их существования в пространстве и во времени. Как отмечают культурологи, одной из методологических задач культурологии в осмыслении судьбы произведений культуры, существующих в пространстве многих культур и живущих в двух временах – малом (сегодня) и большом (всегда), становится рационализирующая попытка избавления от излишней метафизичности, которую «навевает» на нее «философия культуры»². Возможно, «излишняя метафизичность» мешает найти точки соприкосновения в истории немецкого и русского неокантианства. Принадлежность ученого к определенной «школе» весьма условна, в его взглядах и творчестве не могут не находиться компоненты разных исследовательских парадигм. Разграничения же ведутся по наиболее заметным признакам. Их заметность – не гарантия, что именно эти свойства являются системообразующими в динамике интеллектуальной жизни и развитии научной мысли. Можно вспомнить, например, «Очерк русской дипломатики частных актов» А.С. Лаппо-Данилевского. Отдел третий «Документальное построение частных актов» – не самый большой в этой книге³, но именно в нем присутствует классика неклассического источниковедения.

Картина науки, предстающая перед учеными, при отсутствии должной дистанции дробится на множество проблемных полей. Каждое

² Люсьей. 2011. С. 7.

³ Лаппо-Данилевский. 2007. С. 132-181.

из них до поры до времени претендует на самостоятельное существование. Сознательное упрощение мозаичности картины, распадающейся перед нашим взором на калейдоскоп меняющихся деталей, помогает выделить тенденцию развития научных знаний, зафиксировать тот вектор, который и становится стержнем духа времени. Той неповторимой интеллектуальной обстановки, которая делает наше «сегодня» частью культурно-исторической эпохи, через которую наша современность как практика повседневной жизни входит в большое историческое время и в цивилизацию всего человечества.

В культурологии господствует системный подход. В системном анализе залогом успешности его применения выступает корректное выделение системообразующих компонентов. В изменении источниковедческой парадигмы, в ее эволюции от классического к неклассическому знанию, в изменении и совершенствовании самого неклассического знания хочется выделить, прежде всего, такие системообразующие элементы, как представления об источниках и методах их интерпретации. При этом речь пойдет не обо всех переходах существующих парадигм, а лишь о внутренних качаниях маятника исторического знания внутри познавательного поля Постмодерна. Фактически речь пойдет тоже об образах, но образах, помогающих понять тяготение не человека, а науки как историко-культурного явления к точности за счет апелляции к рациональному мышлению или к образности за счет более заметного обращения к воображению и даже мистицизму. Взгляд на интеллектуальную историю не новый, но со времен лорда Болингброка, И. Канта, И.-Г. Гердера, А. Вебера, Ф. Броделя или Г. Померанца, получающий все новые и новые конкретизации. Творчество О.М. Медушевской дает возможность внести еще несколько штрихов в складывающуюся картину эволюции представлений об источниковедении и его эвристических возможностях. Картина, нарисованная здесь, – скорее гипотеза, нежели установленный факт, однако многое в ней, как представляется, дает материал к размышлениям.

Прежде всего, о хронологических и парадигмальных границах Постмодерна как культурно-исторической эпохи.

Время источниковедения в рамках эпохи Модерна с ее тяготением к классическому научному знанию началось с философской истории 1730–90-х гг. Классическому источниковедению потребовалось более двух столетий, чтобы освоить понятие «документ» и создать представление об историческом источнике, превратить его в научную теорию. Решать эту сложную задачу пришлось в конечном итоге применительно лишь к одному типу источников – к письменным источникам. В практике профес-

сионального обучения именно письменные источники даже в учебных пособиях 1960-1990-х гг. еще фигурируют как основные.

Теория исторического источника складывается в эпоху Модерна на базе осознания достоинств и недостатков письменных источников. Отсюда их деление на остатки и предания. Оно представлялось очень условным и не очень удовлетворительным с момента своего появления, но продолжает существовать до сих пор. В наукознании последней трети XX – начала XXI в. эта теория, созданная позитивизмом, продолжает существовать в новом терминологическом одеянии и со ссылкой на опыт социологии. Последняя не случайно получила статус законодательницы современной моды на научность в истории. В социологии письменные источники монополии не имеют. Под влиянием социологии концепция «остатков и преданий» выглядит как деление источников на «первичные» (аутентичные) и «вторичные» (интерпретации). Такое упрощение вполне закономерно. В истории тоже появилось много проблемных полей, в которых письменным источникам уже не принадлежит пальма абсолютного превосходства. И работа с источниками иных типов (произведениями искусства, например, или с вещественными источниками) уже не кажется такой знакомой и привычной, как с письменными источниками. На первых порах ей требуется упрощение, и историки поколения 1990-2010-х гг. охотно на него идут, отказываясь от осмысления видового разнообразия изучаемого материала.

Начало эпохи Постмодерна четко обозначила революция в физике. Социогуманитаристика раньше естественных наук начала осознавать эвристические возможности анализа органических систем, но затем оказалась далеко позади коллег из точных и естественных дисциплин из-за многомерности социокультурных систем.

Неклассическое источниковедение в рамках эпохи Постмодерна учится работать не с письменными источниками, а с текстом как структурой знаков и смыслов и системой значений. И опирается историческое знание Постмодерна не на текстологию или герменевтику, а на лингвистику и психологию. Именно они помогают теоретизировать неклассическое источниковедческое знание и транслировать его в массовое профессиональное сознание.

Неклассическое знание в рамках эпохи Постмодерна имеет разные формы. Внутренний маятник исторического знания раскачивается в рамках эпохи Постмодерна под воздействием притяжения понятия «текст». Первой высшей точкой амплитуды становится то, что было уже современниками осознано как «неклассическое» источниковедение с

его представлениями о тексте, нагруженном категориальным смыслом. То есть о тексте, в котором слова не всегда общезначимы. Второе качание – «постклассическое» источниковедение с его тягой к материализму как основной составляющей рационализованного исторического знания вообще. Следующее качание тяготеет к «постнеклассическому» источниковедению с его стремлением к рационализованному осмыслению внутреннего мира авторов текстов (ученых в том числе) и векторов работы их сознания. Но маятник движется в *поле* знания. И «чистые формы» в нем, как правило, выделяются *post factum*, уже при взгляде с определенной временной дистанции.

О «постнеклассическом» научном знании и источниковедении плодотворно рассуждают современные науковеды. Эти процессы подробно освещены и в отечественной науке в работах Л.П. Репиной, М.Ф. Румянцевой, И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, Л.Р. Хут и мн. др. «Постклассическому» источниковедению пока «везет» меньше. В наше кризисное время о нем постарались забыть, как о признанном неудачным отрезке трудного утомительного пути. Остался позади, и слава Богу. Но историкам еще не раз возвращаться к этой как будто пройденной и преодоленной точке. Ведь качание маятника достаточно симметрично внутри довольно устойчивых границ поля познания, тяготеющего к понятию «текст». И симметрия чередования пограничных приливно-отливных волн достаточно долго не нарушается ни при их медленном затухании или усилении, ни при еще менее заметном с близкого расстояния постепенном изменении их траектории.

Качание маятника в источниковедческом знании эпохи Постмодерна вызывается потребностью переводить единичные научные теории в алгоритмы обучения профессии, т.е. их постоянно приходится делать частью массового исторического профессионального сознания. Во второй половине 1990-х гг., едва зафиксировав наличие постмодерна как явления российской науки, исследователи вынуждены были выделить как минимум три переходных формы «пост»модерных парадигмальных конструкций. И только при обращении к постпостпостмодерну в их рассуждениях появилась констатация присутствия в историческом знании не только тяги к постмодерну, но и стремления к его рационализации и «сциентификации». А это устойчивые признаки «постклассического» знания.

Давайте посмотрим на эпоху после Модерна с точки зрения внутренних колебаний волн поля исторического знания. Упростим их, как сделано выше, до маятниковых качаний. Для их характеристики введем полюсные понятия – представления о «неклассическом», «посткласси-

ческом» и «постнеклассическом» массовом историческом сознании. Эти измерения выглядят как определенные эпохи в профессионализации исторического знания, но применительно к жизни конкретных поколений ученых. Психологические механизмы делают изменения в парадигме массового сознания устойчивыми в течение активного творчества деятелей трех поколений (около 60-ти лет). Система таких изменений была смоделирована и описана в 1970–1980-х гг.⁴ Четко просматривается ее присутствие и в истории интеллектуальной жизни эпохи Постмодерна. Источниковедческое знание – одна из ее составляющих.

«Неклассическое» источниковедение (то, которое пришло вслед за эпохой Модерна) последовательно учится работать с текстом, используя не только идеи позитивизма и модернизированного прочтения трудов И. Канта, но и открытия психологии и лингвистики. Не случайно у истоков профессионализации источниковедения как научной и учебной (!) дисциплины стояли психолингвисты Ланглуа и Сеньобос⁵. «Неклассическое» источниковедение ищет значения текстов (*письменных источников*) и теряет классическое представление об устойчивости и неизменности *документов* (Баденская школа). Оно же ищет устойчивые компоненты *структуры* текста и открывает понятие «формуляр» (А.С. Лаппо-Данилевский). «Неклассическое» источниковедение осваивает меры измерения социокультурных феноменов и открывает *относительные шкалы* (А. Вебер, Л.П. Карсавин и М. Шелер). Оно ищет *системные характеристики* текста и открывает хронотоп как организующий момент внутреннего пространства текста (М.М. Бахтин). Никакие другие понятия не смогли более наглядно продемонстрировать механизм формирования внутренней свободы автора текста по отношению к социокультурному контексту своей эпохи, произведения (духовного творения по А. Веберу) – по отношению ко времени его появления.

«Постклассическое» источниковедение постигает материальную природу текста как духовного творения, утрирует ее на первых порах. Но за упрощенностью или усложненностью формулировок просматривается напряженная работа по освоению многообразия и вариабельности текстов, изучается их разброс по формам кодирования информации. «Постклассическое» источниковедение шире, чем «неклассическое», выходит за рамки событийного поля исторического исследования. Оно формулирует понятие «текст» с точки зрения семиотики (Ю.М. Лотман) и теории информации (И.Д. Ковальченко), находит ступени перехода от

⁴ Минц, 1998. С. 193–209.

⁵ Ланглуа, Сеньобос. 1899.

признания принципа системности в истории к практике применения приемов системного анализа для решения конкретных исследовательских задач. Благодаря количественным методам «постклассическое» источниковедение находит конкретные пути соединения источниковедения с историей культуры. Б.А. Романов в книге «Люди и нравы Древней Руси» (1947 г.) выстраивает эту связь интуитивно. И.Д. Ковальченко и Л.В. Милов моделируют ее через конкретные стратегии и практики системно-структурного метода. В трудах О.М. Медушевской и Б.Г. Литвака она воссоздается через структурный анализ документооборота.

«Постклассическое» источниковедение целенаправленно ищет системные характеристики текста и открывает зависимость видового деления источников от их социальных функций (совместный доклад С.М. Каштанова и А.А. Курносова об эволюции видов источников, прочитанный в 1972 г., и первый учебник источниковедения выпуска 1973 г. под редакцией И.Д. Ковальченко, допустивший концептуальный плюрализм в характеристике источников разных эпох и видов).

В рамках «постклассического» источниковедения рушится приоритетное положение письменных источников в источниковедческом знании. Разрушает его понятие «массовые источники».

«Постклассическое» источниковедение приоритетным делает изучение соотношения устойчивости и изменчивости в тексте. В рамках системного метода оно рассматривает единство формы и функций текста. Через понятие актуальной и скрытой информации выходит на анализ сознания создателей текстов. Осваивает понятие когнитивной сложности и через него выходит на характеристику вещественной природы исторического источника. Понятие «вещь» в применении к историческому источнику подчеркивает его связь с повседневной жизнью и историей интеллектуальной деятельности, овеществляющей себя процессом создания духовных творений. Своим последним трудом «Теория и методология когнитивной истории» О.М. Медушевская создает понятие «когнитивная история». В нем снимается противоречие в понимании источниковедами специфики письменных и неписьменных источников, а формулярный анализ выводится на изучение исторической конкретики повседневной жизни, моделирование форм и состояний индивидуального и массового сознания. Когнитивная история превращает феноменологический подход в набор конкретных стратегий и практик источниковедческого анализа.

Когнитивная история дает возможность уже на практике рассматривать соотношение массового и профессионального в самом профессиональном сознании. Не случайно в самом первом сообщении Кругло-

го стола в честь 90-летия О.М. Медушевой, представленном Н.А. Минниковым, и дальнейших материалах, представленных в этом разделе сайта Источниковедение.ru, настойчиво звучит мотив «истории историка». Источниковедение эпохи Постмодерна рассматривает текст как окно в сознание его создателя. Это главный вектор неклассической источниковедческой парадигмы, ее генеральная установка. В реализации этой установки – немалая заслуга О.М. Медушевой.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш.* Введение в изучение истории / пер. с фр. А. Серебряковой. СПб.: О.Н. Попова, 1899. 280 с. (Образовательная б-ка; сер. 2, № 3-4).
- Лаппо-Данилевский А.С.* Очерк русской дипломатики частных актов / подгот. текста А.И. Андреева, с испр. и доп. Е.А. Ростовцева. СПб. : Северная Звезда, 2007. 284 с.
- Люсый А.П.* Поэтика предвосхищения: Россия сквозь призму литературы, литература сквозь призму культурологии: теоретическая комедия. М.: КМК, 2011. 570 с.
- Миц С.С.* Мемуары и российское дворянство: источниковед. аспект ист.-психол. исслед. СПб. : Нестор, 1998. 260 с.
- Румянцева М.Ф.* Концепция когнитивной истории Ольги Михайловны Медушевой: приглашение к дискуссии // Источниковедение.ru [Электронный ресурс]: страница Научно-педагогической школы источниковедения / редкол. : Д.А. Добровольский и др. – Электрон. дан. – [М. : Б. и.], сор 2010-2013. – Режим доступа: http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_rumianceva/15-1-0-114, свободный.

Миц Светлана Самуиловна – доктор исторических наук, профессор кафедры дореволюционной отечественной истории Кубанского государственного университета; smintz@kubsu.ru

Н. Н. АЛЕВРАС

ТЕОРИЯ ИСТОЧНИКА И ОБРАЗ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ О. М. МЕДУШЕВСКОЙ

Автором представлен опыт интерпретации концепции когнитивной истории О.М. Медушевской, поставлена проблема изучения ее идей в контексте научных традиций развития отечественного источниковедения.

Ключевые слова: *О.М. Медушевская, когнитивная история, теория источника, источниковедение, гуманитарное знание, научные традиции.*

Несколько слов об Ольге Михайловне

Мое знакомство с Ольгой Михайловной произошло в далекие уже 1970-е годы, когда я, заканчивая аспирантуру в Уральском госуниверситете в Свердловске, представила на кафедру Вспомогательных исторических дисциплин тогдашнего Историко-архивного института свою диссертацию, задуманную в виде анализа комплекса источников по одной из проблем истории горнозаводского Урала. Строгое отношение к представленным работам¹, которые потом защищались в диссертационном совете института, сопровождалось теплым и внимательным отношением всех членов кафедры к аспирантам. До сих пор с благоговением смотрю на небольшую коллекцию кафедральных изданий, подаренных мне через день после защиты диссертации (1977). Среди них и учебное пособие О.М. Медушевской «Теоретические проблемы источниковедения» (1977) с ее дарственной подписью. Вспоминаю ее: скромно одетую, строгую и одновременно необычайно добросердечную, наверное, хорошо понимавшую некоторую мою провинциальную скованность и своим вниманием меня ободрявшую и поддерживающую. Ее имя к этому моменту мне уже было известно по автореферату ее докторской диссертации с одноименным названием (1975).

С начала своей профессиональной работы я стремилась держать в поле зрения блок источниковедческих исследований, среди которых

¹ Поясню, что в 1975–76 гг. на кафедру были представлены и обсуждались две диссертации тогдашних аспирантов только что созданной на историческом факультете Уральского госуниверситета кафедры источниковедения и историографии – Н.Н. Алеврас и В.Д. Камынина. Моим куратором по кафедре Вспомогательных исторических дисциплин была определена И.А. Миронова, а у моего однокашника эту роль выполнил М.Н. Черноморский.

особенно внимательно отслеживала научные публикации Ольги Михайловны. До сих пор храню конспекты некоторых ее статей 1960-70-х гг., благодаря которым осуществлялось знакомство с зарубежными исследованиями в области источниковедения. Они впоследствии составили основу ее известной книги «Современное зарубежное источниковедение» (1983). Фигуру О.М. Медушевской можно рассматривать как одну из центральных в среде советских историков-методологов, работающих над проблемами источниковедения. Глубокая теоретичность ее работ осознавалась и подчеркивалась историками-современниками.

Помнится, в 1970-е гг. стали говорить об источниковедении как о «царице исторической науки». Признаюсь, что далеко не сразу я согласилась с этой метафорой (не вспомню уже ее автора). Довольно долго мне казалось, что это – романтизированное преувеличение, поскольку источниковедение тогда воспринималось мной в значительной мере прагматично: как, конечно, принципиально важная отрасль исторической науки, но существующая во имя выработки собственно исторического знания. Однако с течением времени мысленно я не раз возвращалась к вопросу о месте источниковедения в системе исторической науки и других научных областей, озвучивая этот сюжет в учебном курсе лекций по источниковедению. В моем сознании наметилось то, что потом обозначат как междисциплинарные коммуникации.

Цикл работ Медушевской на рубеже веков и последняя ее монография по когнитивной истории возвращают меня к формуле «источниковедение – “царица исторической науки”». Более того, концепция Медушевской, ориентированная на принцип «строгости знания», убедительно создает новый образ источниковедения, который актуализирует проблемы дисциплинарных границ и дисциплинарных коммуникаций. Несомненным научным открытием надо считать то, что Медушевской удалось через когнитивную природу исторического источника раскрыть смысл и место источниковедения в гуманитарных науках. Оно предстает в виде «системообразующего основания гуманитарного знания»². Бумеранг возвращается: то, что, практически, интуитивно наметилось в науке 1970-х гг. относительно понимания значения, функции и места источниковедения в гуманитаристике³, в книге Медушевской обрело доказательность на базе разработанной ею теории и методологии когнитивной истории.

²Цитируется фрагмент названия рубрики Круглого стола.

³ В 1980-е гг. появился ряд монографий, в которых эта тенденция получила первую реализацию. См.: *Емельянов*. 1980; *Котков*. 1980; *Бельчиков*. 1983.

***К вопросу о концепции О.М. Медушевской
в контексте национальной научной традиции***

Притягательность идей О.М. Медушевской объяснима целым рядом составляющих элементов ее позиции. Она своей научной программой осуществила важнейшую функцию связи времен и традиций в науке. Ей удалось органично соединить в своей концепции национальный опыт историко-источниковедческого знания с идеями мировой историографии в области методологии истории. Национальная составляющая в ее подходе берет начало в дореволюционной науке. О связи ее идей с представлениями А.С. Лаппо-Данилевского в данном случае можно специально не говорить как об уже хорошо известном факте (см., например, ее собственные работы о Лаппо-Данилевском, статьи о ней А.Н. Медушевского, М.Ф. Румянцевой, Р.Б. Казакова).

Более целесообразно задаться вопросом о связи ее источниковедческих взглядов с научной традицией советского времени. Несомненно, 1960-80-е годы можно считать периодом подъема в области отечественных разработок проблем историко-научной теории и методологии. Отдельные статьи, сборники (в том числе знаменитый – «Источниковедение: теоретические и методические проблемы», 1969), серийные издания типа «Источниковедение отечественной истории» (1970-80-е гг.) и другие исследования по методологии истории и теоретическим проблемам источниковедения разных авторов, многие из которых составили цвет советской науки, открывали новое предметное поле этих дисциплин. Советскому источниковедению данного времени удалось обрести научную нишу, позволившую ряду историков выработать идеи, которые методологически выходили за пределы традиционных постулатов «марксистско-ленинской» науки. Само представление об историческом источнике, складывавшееся в ходе научных дискуссий, подводило к выводу о том, что это – все то, что выработало человечество в своей деятельности в виде ее «остатков». Неоспоримым достижением можно считать опыт разработки видовой классификации источников, в основе которой лежали идеи о социальной природе источника, его функциональном предназначении в момент создания и внутренней обусловленности структурированности его информации. Выработывался взгляд о различиях между памятником истории и источником информации. На фоне формировавшегося интереса к теории информации говорили уже о «намеренной» и «ненамеренной» информации источника, об информативном потенциале видовых комплексов и совокупностей конкретных источников. Введены были в оборот представления об аутентичном источнике, наряду с этим – о «пер-

воисточнике»⁴. О.М. Медушевская была активным разработчиком и носителем этих и других идей. Это выразительно раскрывается в статьях 1960-х гг., в ее докторской диссертации. Определенный налет лексики советской науки с традиционной апелляцией к марксистско-ленинской методологии, понятно, можно вынести за скобки.

В науку того времени исподволь начинают проникать идеи «школы Анналов», ряда зарубежных социологов и философов. Поэтому сравнительно легко и быстро в 1990-е годы в отечественном знании и в разнообразных трудах О.М. Медушевской формируются новые принципы и понятийная лексика, соответствующие складывавшимся идеям в области методологии истории и источниковедения. Обращаясь к совокупности работ О.М. Медушевской, созданных в 1990-е гг. и в последние годы ее жизни, вполне понимаешь, как долго ей пришлось ждать того времени, чтобы вынашиваемые втуне идеи расцвели пышным букетом именно в это – постсоветское время.

Наиболее концентрированно ее методологическая концепция предстала перед широкой научной и учебно-образовательной аудиторией в известном учебнике по источниковедению⁵. Написанный ею первый раздел с одной стороны, предстал как инновация в отечественном историко-методологическом знании, переживавшем процесс своего обновления. С другой стороны, истоки ряда позиций данного раздела узнаваемы, будучи связанными с традициями отечественной (дореволюционной и советской) и зарубежной методологической практикой XIX–XX вв., с опытом самого автора раздела. В то же время, несомненно, реализованный в разделе учебного пособия процесс пересмотра и системного обновления источниковедческого знания в области его теории, совершенно по-новому поставил тогда ряд вопросов – о социально-информационной природе источника, об источниковедении как науке о человеке, структуре источниковедческих исследований, междисциплинарном потенциале источниковедения. Помню, какое сильное впечатление произвела на меня теория источника, предложенная О.М. Медушевской. Источниковедческие проблемы предстали как своего рода «знакомый незнакомец». Особенным откровением звучало новое понимание предмета источниковедения: «Источниковедение изучает не просто исторический источник. Оно изучает систему отношений: человек – произведение – человек»⁶.

⁴ См. Ковальченко. 1982. С. 139.

⁵ Источниковедение: Теория, история, метод... 1998.

⁶ Там же. С. 30.

Последняя книга О.М. Медушевской воспринимается как новый виток ее размышлений, позволивший явление источника и научный потенциал источниковедения представить в качестве методологического ядра новой дисциплинарной области – исторической когнитивистики. Источниковедение предстает как антропологически ориентированная отрасль гуманитарного знания, нацеленная на изучение совокупности интеллектуальных продуктов, являющихся результатом целенаправленной деятельности человека. Через феномен источника, раскрываемый ею как следствие проявлений когнитивных свойств человека (его мышления и материальных результатов интеллектуальной деятельности), перед читателем возникает образ новой информационной теории, основанной на феноменологическом подходе.

Поясняя свою феноменологическую позицию, О.М. Медушевская подчеркивает: «...Наука не привносит извне или из идей познающего субъекта системности в первозданный хаос (что происходит, например, при неокантианском подходе к наукам о культуре). Напротив, феноменологический подход исходит из того, что в мире существует системность, взаимосвязанность, которую исследователь и стремится открыть»⁷. Цитируемый фрагмент можно рассматривать как научное кредо Ольги Михайловны, которая, отмежевываясь и от позитивизма, и от неокантианства, призывает исследователей за внешней формой интеллектуальных продуктов (эмпирических объектов) видеть «имманентный порядок вещей» (с. 14).

Эти, как минимум, основополагающие положения теории когнитивной истории, разработанной О.М. Медушевской, позволили предложить современному научному сообществу образ информационной среды и алгоритмы опосредованного информационного обмена как результаты функционирования живой (человеческой) системы. Ядро этой системы занимает человек, творчески и целенаправленно осваивающий мир и познающий самого себя в нем. Функционально-целевая природа интеллектуального продукта-источника, по О.М. Медушевской, является основой понимания самих источников как феноменов прошлого, познаваемости истории и выработки так называемого «строгого знания». Многообразие же форм и видов интеллектуальных продуктов определяет их информационно-познавательный потенциал в масштабах предметных полей всех наук о человеке.

⁷ Медушевская. 2008. С. 14. Далее при цитировании страницы этой книги указываются в тексте в скобках.

**Исторический источник как интеллектуальный продукт:
видовая природа и вещная форма**

Оригинальный тезаурус монографии О.М. Медушевской вследствие его принципиальной новизны, как мне кажется, невозможно напрямую сравнивать с известным опытом понимания феномена «источник», имевшимся у источниковедов советского периода. Например, даже в одном из современных учебников по источниковедению определение источника⁸, ориентированное на положения из области учения об информации И.Д. Ковальченко, далеко от феноменологической глубины понимания природы источника, характерной для Медушевской. Она остается верной идеям Лаппо-Данилевского, что просматривается сквозь ее дефиницию/характеристику источника⁹. Несколько корректируя его знаменитое определение, автор «Когнитивной истории» основные акценты в характеристике базового понятия источниковедения делает на функциональную структурированность источника, который в момент его создания должен был выполнять определенную роль/функцию в действующей информационной системе. Этим акцентом историк подчеркивает, что источник является не просто носителем конкретно-эмпирической информации, а при условии распознанной его функции, может стать основой реконструкции самой информационной системы: «...следовательно, эта система может быть вычислена по функциям, которые в ней были востребованы. Это важно для понимания возможности познания конкретно-исторических систем и сообществ по их видовой конфигурации» (с. 352).

В определение и характеристику понятия «источник» автором сразу вплетено представление о видовых свойствах интеллектуального продукта-источника. Связывая с видовой спецификой источника границы его информационного потенциала, Медушевская специально отслежива-

⁸ См.: Голиков, Круглова. 2000. С. 5. По сути, перед нами «обобщенное определение» источника с небольшой стилистической корректурой из учебника по источниковедению под редакцией И.Д. Ковальченко (Источниковедение истории СССР... С. 8). Достижением того времени следует считать взгляд на источник как феномен информационной природы. Но в дефиниции указанных авторов источник воспринимается как некий механический «носитель» информации, «отражающий» нечто из прошлого, в то время как для О.М. Медушевской он выступает имманентной структурой когнитивно-информационной системы, в центре которой находится человек, созидающий продукты-произведения в соответствии со своими потребностями и жизненными задачами.

⁹ «Источник – историческое явление: реализованный продукт человеческой деятельности определенной эпохи, которую он выражает, представляет и изучение которой делает возможным<...>» (С. 352).

ет источниковедческие практики из опыта отечественной науки, реализовавшие «видовой подход». Он, по ее мысли, позволял еще историкам XIX века (К.Н. Бестужеву-Рюмину, А.А. Шахматову, В.О. Ключевскому) через интерпретацию информационного потенциала источников определенного вида обращаться к характеристике их информационного ресурса (С. 164-170). В опыте «видового подхода» отечественных историков Медушевская обнаруживает различные конфигурации познавательного потенциала методологии когнитивной истории.

Известно, что проблема вида источника и видовой классификации активно обсуждалась в отечественной историографии 60-80-х гг. XX столетия. От идеи вида как комплексе источников, связанных общностью «их структуры и их внутренней формы»¹⁰, в тогдашнем источниковедении шел процесс формирования представлений о видовых признаках, связанных с социальной природой источника, которая порождает «целое назначение информации для ее получателя»¹¹. Отталкиваясь от теории информации, А.Г. Тартаковский сформулировал мысль о социальной функции источника, понимаемой им как выражение «его назначения в социальной практике»¹². Намеченная здесь схема движения мысли источниковедов 1970–80-х гг. характеризует тенденцию движения к пониманию социально-информационной природы источника, в основании которой находится их видовая структура.

Теория источника и его видовой природы Медушевской своими истоками, вероятно, уходит в этот опыт. Но она разработана на ином уровне когнитивно-информационного осмысления источниковедения и его категорий. Полагаю, что сугубо инновационной является созданная Медушевской впечатляющая картина/версия информационного обмена (С. 68-128). Источники, как интеллектуальные продукты информационной системы предстают как естественные результаты деятельности и коммуникаций социальных структур и индивидуумов. Имманентная связь в виде цепочки: человек – интеллектуальный продукт (источник) – информационный обмен (коммуникация) создает представление об информационной сфере, в которой все элементы органично спаяны (структурированы). Нельзя пройти мимо рассуждений О.М. Медушевской относительно трех

¹⁰ Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975. С. 225.

¹¹ Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации (к постановке проблемы) // История СССР, 1982. №3. С. 144.

¹² Тартаковский А.Г. Социальные функции источников как методологическая проблема источниковедения // История СССР, 1983. №3. С. 115.

сфер (уровней) информационного обмена (С. 85-96). Экзистенциальный, социальный, эпистемологический (источниковедческий) уровни, выделенные ею, являются выражением различных типов коммуникативной деятельности человека, целеустремленной к реализации его жизненных целей и, объективно – трансляции опыта. Результатом этого становится «изготовление» в системе информационного обмена интеллектуальных продуктов, различных по видовой природе и материально-физической форме. В тесном единстве ею понимается и другая связка понятий – интеллектуальный продукт – вид – вещь. Обращаясь к понятию «вида», она подчеркивает: «Видовые свойства интеллектуальных продуктов во многом определяют тот информационный ресурс, который использовал создавший его индивид (социум)» (С. 109-110). В словарном определении вида акцентируется также внимание на закреплении за группой интеллектуальных продуктов общности их структуры как «образцового эталона соответствия» их функции (С. 346). Формулировки в определенной мере восходят к отмеченному опыту отечественного источниковедения XX века, но для Медушевской видовая природа интеллектуального продукта выражает не только особенности формирования системы источников, но и специфику информационных систем сообществ. Отсюда – использование ею понятий «видовая конфигурация», «видовая компаративистика», получивших свои дефиниции (С. 346, 347).

С понятием вида источников связана и их классификация. Длительный отечественный опыт разработки классификаций источников в XX веке не выявил единых оснований этой логико-научной процедуры. Многоуровневые системы, например, Л.Н. Пушкарева (типы, роды, разряды, виды источников), И.Д. Ковальченко (типы, виды источников), хотя и тяготели к видовой модели, но не были последовательны. Версия О.М. Медушевской в этом отношении однозначна и изящна. Понятие вида, как выражение общности структуры и функции определенных групп интеллектуальных продуктов-источников, автор книги относит к категории основополагающих в своей концепции. Специфические особенности вида источника в понимании Медушевской являются единственным основанием «естественной (видовой)» классификации интеллектуального продукта как исторического источника. Данному типу классификации как бы противопоставляется иная – «искусственная (тематическая)». Первый тип классификации основывается на признаках выражающих «структурно-функциональную предназначенность» продукта-источника. Второй – представляет собой «набор единиц продукта и пересказ содержания по параметрам, заданным извне» (С. 353). Веро-

ятно, оба типа классификаций могут быть использованы при решении тех или иных научных задач. Но именно видовая классификация способна, во-первых, объять своей системой всю совокупность произведенных интеллектуальных продуктов («макрообъект», по Медушевской). Во-вторых, она продуктивна своим основанием, позволяющим при помощи этого типа классификации не только подразделять источники на группы, но и рассматривать эту классификацию в качестве способа познания явлений – и природы источника, и фактов прошлого. Этот тип классификации получает не только прагматический смысл, но дополнен эпистемологической составляющей. Не случайно О.М. Медушевская, характеризуя различные стороны информационного обмена, замечает: «Видовая структура источников дает возможность получения нового знания в науках о человеке» (С. 115).

Поскольку понятия «вид» и «вещь» применительно к интеллектуальным продуктам в концепции автора рассматриваемой книги взаимосвязаны¹³, целесообразно специально сосредоточить внимание на идеях Медушевской относительно понимания ею смысла материально выраженной формы интеллектуального продукта. Уже при обосновании феноменологического подхода она подчеркнула, что «...феноменология обращает внимание на необходимость за эмпирической данностью увидеть явление, то есть она предполагает специальные гносеологические устремления исследователя к тому, чтобы воссоздать в первоизданной целостности то явление, которое нашло воплощение в некотором вещественном продукте» (С. 14). Рассматривая человека как «живую систему», способную не только приспособляться к окружающему миру, но и «создавать вокруг себя иной, ранее не существовавший мир», Медушевская отождествляет этот творимый мир с «миром вещей». В системе ее рассуждений именно «вещи» называются и отождествляются с «интеллектуальными продуктами» (С. 28, 29). В своем указателе она предлагает следующую дефиницию: «Вещь – интеллектуальный продукт, структура которого полностью подчинена его функциональному предназначению в системе действующего общества» (С. 346). Следует подчеркнуть, что «вещь» ею рассматривается не только как внешний образ интеллектуального продукта, а как объект, входящий в общую систему информационного ресурса. Определяя дисциплинарные границы источниковедения, она уточняет, «что его предметом исследования является

¹³ О.М. Медушевская подчеркивает, что «единство назначения, структуры и функции (а это – признаки вида – *примеч. Н.А.*) делает интеллектуальные продукты доступными для эмпирического изучения» (С. 106).

созданный человеком интеллектуальный продукт, но не в его первоначальном прагматическом назначении – изделия, а в его эпистемологическом познавательном предназначении – как источника информации о человеческом опыте в истории» (С. 89).

Представленная попытка краткого изложения ряда идей О.М. Медушевской не претендует на абсолютную глубину и точность понимания всех компонентов ее концепции. Это – задача дальнейшего осмысления ее теоретического наследия. Но она, надеюсь, позволяет подчеркнуть совершенно новый, не имеющий прямых аналогов в опыте источниковедения и методологии истории, подход историка-теоретика к пониманию природы источника и его видовых особенностей, воплощенных в вещи-изделии, как феномене информационной среды человека. Важно развитие теоретических идей О.М. Медушевской для формирования исследовательских практик внедрения их в научный оборот как исторических, историографических, так и других типов гуманитарных исследований.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бельчиков Н.Ф.* Литературное источниковедение. М.: Наука, 1983. 271с.
- Голиков А.Г., Круглова Т.А.* Источниковедение отечественной истории / под общей ред. проф. А.Г. Голикова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 440 с.
- Емельянов Б.В.* Теоретические проблемы источниковедения истории философии: автореф. дис.... д-ра филос. наук. Л., 1980. 30 с.
- Источниковедение истории СССР: учебник / под ред. И.Д. Ковальченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1981. 496 с.
- Источниковедение: Теория, история, метод. Источники российской истории. Учебное пособие для гуманитарных специальностей / Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. М.: РГГУ, 1998. 702 с.
- Ковальченко И.Д.* Исторический источник в свете учения об информации (к постановке проблемы) // История СССР. 1982. № 3. С. 129-148.
- Котков С.И.* Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М.: Наука, 1980. 293 с.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 361 с.
- Медушевская О.М.* Теория исторического познания: Избранные произведения. СПб.: Университетская книга, 2010. 572 с.
- Пушкарев Л.Н.* Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М.: Наука, 1975. 280 с.
- Тартаковский А.Г.* Социальные функции источников как методологическая проблема источниковедения // История СССР. 1983. №3. С. 112-130.
- Алеврас Наталия Николаевна* – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории дореволюционной России Челябинского государственного университета; *vhist@mail.ru*

Д. А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛИЙ

В статье рассматриваются два концептуальных гносеологических положения, высказанных в последней монографии О.М. Медушевской — об «информационном магнетизме» и о природе видов исторических источников. Представляется, что в реальном процессе познания действие «информационного магнетизма» не прослеживается, а вид источников — не объективно существующее целое, а теоретический конструкт.

Ключевые слова: методология истории, категории исторической науки, теория познания, интерпретация, виды исторических источников

Прошедший XX век, как никакой другой, обнаружил разобщенность человечества. Распались или были разрушены все существовавшие империи, рассыпалась система противоборствующих идеологических «блоков», более того, процессы дезинтеграции не остановились на уровне «национальных» государств, результатом чего стало возникновение многочисленных сепаратистских движений. Приближение нового, XXI столетия принесло с собой радужные надежды на обретение единства на почве глобализации, но им не суждено было сбыться. Напротив, на повестку дня вышли новые, ранее неизвестные конфликты. Неудивительно, что одной из центральных интеллектуальных проблем нашего рассыпающегося мира стала проблема универсалий.

В разных отраслях наук о человеке предлагаются различные стратегии обретения чаемого единства. Свои подходы к проблеме (причем сразу несколько) имеются у лингвистов, у филологов и, разумеется, у историков. Ниже будут изложены соображения, вызванные к жизни тем подходом, который представлен в книге О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» (М., 2008).

Построения О.М. Медушевской имеют два уровня. На первом постулируется наличие у человека двух врожденных способностей — *созидать* и *воспринимать создаваемое* в качестве «информационного ресурса»¹. Созидание преследует конкретные практические цели, обусловленные злобой дня, или — в лучшем случае — актуальной философской парадигмой. Эти цели, в общем, утрачивают актуальность с ходом времени. Однако люди обладают врожденной (как полагала исследовательница) способностью считывать целепологания прошлого, ориентируясь на внешнюю форму вещей. В результате созданное превращается из инст-

¹ Медушевская. 2008. С. 59.

румента в свидетельство, и опыт прошлого не утрачивается, а пополняет собой интеллектуальный багаж последующих поколений.

На втором уровне рассуждений О.М. Медушевская предлагала обратить внимание на повторяемость формы создаваемых человеком объектов («вещей»): «Следствием того, что вещь создается для практического использования в рамках определенного социума является то, что ей (вещи) придается определенная структура. Поскольку потребности социума, как правило, являются достаточно общими, часто повторяющимися в рамках конкретных исторических условий, то и цели создания вещей возникают вновь и вновь. Следовательно, неоднократно повторяются и те структурные параметры вещи, которые в рамках именно данных исторических условий представляются оптимальными для выполнения функций. Возникает ситуация, при которой совокупная деятельность изучаемого исторического социума предстает перед исследователем в виде структурно определенных видов вещей. Их форма, их материал, их общие параметры не могут быть случайны. Автор формирует вещь, оптимально отвечающую той функции, для которой она предназначена. Следовательно, вполне возможно, рассматривая исторически обусловленный информационный ресурс социума, выделить в нем типологии, повторяемости, структуры»². В результате хаос человеческих поступков уступает место стройной структуре.

Изложенная теоретико-методологическая модель разрабатывалась О.М. Медушевской на протяжении нескольких десятилетий (очевидно — уже с момента начала работы над докторской диссертацией, посвященной «теоретическим проблемам источниковедения»³). Сопоставимые идеи легли в основу программы курса «Источниковедение» и ряда учебных изданий, включая известное пособие 1998 г.⁴ Иными словами, книга 2008 г. подытоживает результаты продолжительной, занявшей несколько десятилетий работы ума и уже по одному этому заслуживает стать объектом пристального историографического анализа. Вместе с тем, развитие науки предполагает не только восхищение трудами предшественников с позиции зрителя перед «Давидом» Микеланджело, но и углубление сделанного, а значит и своего рода «геологическую разведку» тех направлений, где такое углубление является целесообразным и может принести наиболее щедрые плоды. Мне посчастливилось слушать лекции О.М. Медушевской в качестве студента второго курса Ис-

² Там же. С. 61.

³ Медушевская. 1975.

⁴ Источниковедение: учебно-методич. модуль; Источниковедение : Теория. История. Метод...; Медушевская, Румянцева. 1997; Медушевская. 1985; 1983; 1979; 1977.

торико-филологического факультета РГГУ (осенний семестр 1996/97 уч. г.), участвовать в проводимом ею семинаре для аспирантов кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ (осень 2002 г.), а также – что было особенно значимо для моего интеллектуального развития – на протяжении шести с половиной лет работать с О.М. Медушевской на одной кафедре. Весь этот, может быть не такой богатый, как у других участников дискуссии, но все же и не самый маленький опыт общения показывает, что О.М. была бы всем сердцем против увековечения своих научных достижений в качестве некоего «немеркнувшего наследия Великих». Остается только сожалеть о том, что соображения, к изложению которых я приступаю, не были сформулированы мной тогда, когда имелась возможность получить на них живой и непосредственный ответ.

Первое из указанных размышлений связано с представлением Медушевской о том, что «способность получать информацию из вещи присуща человеческой природе»⁵, и что каждый человек при каждой встрече с новым для себя предметом попадает под действие некоего «информационного магнетизма», заставляющего каждого из нас проявлять «неудержимое любопытство» относительно конструкции и предназначения найденного нами изделия⁶. Идея «информационного магнетизма» вызывает сразу несколько возражений.

К менее существенным можно отнести вопрос о качестве информации, получаемой при простом разглядывании не встречавшейся ранее вещи. О.М. Медушевская ссылается на свидетельство неназванного «английского путешественника по России XVI в.», который «вспоминает, как любознательные аборигены чуть ли не бросались под колеса иноземной повозки, чтобы рассмотреть ее подробнее и понять ее “идею”»⁷, но что эти «аборигены» в итоге видели — остается, естественно, неизвестным. Между тем, нельзя исключать, что видели они пресловутого черта, далекого предка того, действиям которого будет приписывать движение паровоза «мужик» у Л.Н. Толстого⁸. Легко скомпрометировать и второй пример, приводимый на той же странице, – цитату из «Мифологий» Р. Барта,

⁵ Медушевская. 2008. С. 63.

⁶ Там же. См. также позицию «Информационный магнетизм» в «Указателе понятий», помещенном в конце цитируемой книги (С. 350).

⁷ Там же. С. 66.

⁸ «Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется? Мужик говорит: это черт движет его. Другой говорит, что паровоз идет оттого, что в нем движутся колеса. Третий утверждает, что причина движения заключается в дыме, относимом ветром» (Толстой Л.Н. Война и мир // Собр. соч. Т. 7. С. 318).

где французский интеллектуал в юмористическом ключе описывает восприятие «публикой» знаменитого «Ситроена DS». Очерк «Новый “Ситроен”» был опубликован в конце 1955 г., спустя примерно полгода после первого показа машины, производившей (и производящей до сих пор) яркое впечатление своим футуристическим дизайном, и представляет собой вовсе не описание человеческой любознательности (каким эта заметка из журнала «Les Lettres Nouvelles» предстает в изложении О.М. Медушевской), а попытку осмыслить весьма нетривиальные дизайнерские и рекламные решения, обусловившие коммерческий успех новинки (порядка 100 тыс. заказов за первую неделю продаж). Манипуляции посетителей «демонстрационных залов» («Люди ощупывают металлические поверхности и сочленения, проверяют мягкость сидений, пробуют на них садиться, поглаживают дверцы, треплют ладонью спинки кресел; садясь за руль, движениями всего корпуса имитируют езду»⁹) имеют мало отношения к постижению «формы, структуры и функции» нового автомобиля¹⁰; напротив, Р. Барт подчеркивает, что по единодушному мнению потребителей «модель “DS”, “богиня” обладает всеми признаками объекта, ниспосланного из горнего мира»¹¹, а к таким феноменам категории структурного анализа неприменимы. О главных свойствах машины – ходовых качествах и управляемости – мы узнаем только то, что «к ней надо привыкать»¹². Очевидно, что ознакомление с вещью, даже очень близкое (тактильное) еще не гарантирует ее понимания, а значит не приходится говорить и об имманентной способности к этому последнему: человек не рождается понимающим, а должен этому научиться.

Существует и более серьезное возражение против концепции «информационного магнетизма» как универсального следствия человеческой природы. Исследователям традиционных культур хорошо известна ситуация, при которой представитель такой культуры, побывав в новых для себя местах, описывает увиденное не по живым впечатлениям, а в соответствии с уже сложившимся в предшествующей литературе каноном: «так, например, Овидий, лично наблюдавший жизнь в низовьях Дуная, парадоксальным образом изображает климат, природу и население этого района, опираясь на знаменитое описание своего великого предшественника Вергилия, который [в свою очередь! – Д.Д.], не будучи лично знаком со здешними местами, перепевал известные всем мотивы

⁹ Барт. 1996. С. 193-194.

¹⁰ Медушевская. 2008. С. 66.

¹¹ Барт. 1996. С. 192.

¹² Там же. С. 193.

«Скифского рассказа» Геродота»¹³. Любознательность и активный интерес ко всему необычному, которые кажутся неотъемлемым свойством человека Нового и Новейшего времени, не были столь же типичны для людей Древности и Средневековья, когда считалось естественным видеть во всем непривычном либо варварство и бескультурие, либо (когда монотеистические религии открыли новые способы формулирования) – «дьявольский соблазн»¹⁴. Более того, даже формальная модернизация не гарантирует, что в обществе проснется интерес ко всем проявлениям творческой активности Другого. Претерпевая процесс модернизации, общество, может быть, и открывает для себя античность, но одновременно утрачивает интерес к наследию средневековья, которое пришлось переоткрывать – романтикам на Западе и ученым-историкам в России. Примечательна в этом плане практика сбивания/записывания древнерусских росписей и замены позакомарных покрытий старинных храмов на четырехскатные, существовавшая в России вплоть до середины XIX в., и (трудно удержаться от публицистической вставки) грозящая возродиться вновь. «Русская Археология, – говорил в 1863 г. первый председатель Московского Археологического общества А.С. Уваров, – <...> не сложилась еще в стройную, правильную науку, не имеет строгой научной формы, но должно сознаться, что это происходит не от недостатка материалов, как некоторые полагают, а от совершенно другой причины: от какого-то векового равнодушия к отечественным древностям. Не только мы, но и наши предки не умели ценить важности родных памятников, и без всякого сознания, с полным равнодушием безобразно исправляя старинные здания, или восстанавливая их сызнова, они не понимали, что каждый раз вырывали страницу из народной летописи»¹⁵. Восприятию вещи как свидетельства надо специально учиться, и далеко не всякому это дано, но значит и «информационного магнетизма» как универсального общечеловеческого свойства, скорее всего, не существует.

Приведенные выше соображения касаются того, что можно было бы назвать «мотивационно-ценностной составляющей» исторического познания. Приходится признать, что в характеристике этой последней О.М. Медушевская оказалась избыточно оптимистичной. Однако на

¹³ Древняя Русь в свете зарубежных источников... С. 55.

¹⁴ «Для автора летописи, – пишет И.Н. Данилевский, – критерием достоверности его личных впечатлений было их соответствие коллективному опыту общества. Отклонение от такого социального стандарта представлялось, видимо, как несущественное (т.е. не раскрывающее сущности явления), а потому неистинное» (Данилевский. 1993. С. 79; Ср. также: Историческая поэтика... С. 17-23, 105-296.

¹⁵ Уваров. 1865. С. III.

полемику провоцирует и то, как в монографии 2008 г. описан процесс извлечения информации тем человеком, который все-таки заинтересовался стоящими за явлением значащими структурами и перешел от бездумной эксплуатации «собственности» или бесцельного рассматривания «диковины» к интерпретации. Проблеме интерпретации посвящено второе из предлагаемых размышлений.

В основе своей предложенное О.М. Медушевской описание интерпретации как исследовательской процедуры очевидно и возражений не вызывает. Внимательное разглядывание вещи, опирающееся на адекватный набор предварительных знаний, несомненно, способно стать основанием верифицируемой гипотезы относительно авторского замысла. Но рассуждения Медушевской, как уже было сказано, на этом не останавливаются. Исследовательница акцентирует внимание на повторяемости целеполаганий, определяющих форму создаваемых вещей: каждый автор действует самостоятельно и считает свои действия уникальными, но при взгляде со стороны наши поступки укладываются в ограниченное количество моделей, а их результаты («интеллектуальные продукты») образуют систему т. н. «видов» исторических источников¹⁶. Членение корпуса исторических источников на виды, характеризующиеся как «основополагающее понятие» когнитивной истории, позволяют структурировать «исторически обусловленный информационный ресурс социума»¹⁷, а значит и увидеть структуры истории вообще. Представляется, однако, что ситуация не столь прямолинейна.

Повторяемость видовых признаков источников (а следовательно и «виды» как таковые) легко выявляется там, где речь идет об относительно простых, содержательно небогатых (во всяком случае, в своей единичной реализации) произведениях – актах, делопроизводственных материалах и т.п. Однако когда речь заходит об источниках более сложных, претендующих на построение комплексной картины мира – учительной книжности средневековья и художественной литературе Нового/Новейшего времени, исторических сочинениях и т.п. – четкие границы видов и разновидностей исчезают, а построение видовой модели и определение базовой для вида социальной функции оказывается крайне нетривиальной задачей. Характерным примером могут служить упомянутые «исторические сочинения» древнерусского периода. В работах И.Н. Данилевского выдвинуто предположение о том, что летописи составлялись как «книги жизни» (др.-евр. *Сефер Га-Хаим*), фигурирующие в эсхатологических

¹⁶ Ср.: Медушевская. 2008. С. 346.

¹⁷ Там же. С. 61.

пророчествах Ветхого и Нового Заветов (Дан 12: 1–4; Откр 20: 12–15 и др.)¹⁸. Суждения исследователя убедительно подтверждается рядом особенностей Начальной летописи, и в частности ее весьма специфическим заглавием *Повѣсть/повѣсти временныхъ лѣтъ*, явно отсылающим к Деян 1: 7 («Нѣсть ваше разумѣти времена и лѣта, яже Отець положи во своей власти»; речь идет, как известно, об обещанном в Евангелии наступлении Царствия Небесного)¹⁹. Но экстраполяция полученных выводов на все древнерусское летописание сталкивается с рядом трудностей, включающим, кстати говоря, и постепенное «размывание» исконного заглавия, которому оказываются предпосланы другие формулировки («Лѣтописец Руский» в Ипатьевской летописи, «Лѣтописец Руския земли» в Софийской I, «Повѣсти о началѣ земли Руской, откуда пошла Руская земля, и хто первое нача жыти [или княжити и в кое время]» в Новгородской IV²⁰ и т.п.). Конструктивная основа летописи как изложения местной истории, построенного по хронологическому принципу, существенных изменений не претерпевает. Более того, внутренний ресурс жанра был настолько велик, что какие-то летописи появлялись вплоть до начала XX в. (Летопись устюжского городского головы К.Н. Брагина 1904 г.²¹). Однако первоначальная эсхатологическая (если не миллениаристская) интенция, судя по всему, была утрачена, ее вытеснили иные, более прозаические мотивы. Значит, назвать единую цель создания летописей нельзя, можно говорить лишь о конгломерате движущих начал, среди которых есть временно доминирующие и временно вторичные, причем в исторической перспективе состав «доминирующих» и «вторичных» может причудливым образом изменяться. Все сказанное не лишает идею вида исторических источников ее эвристического и педагогического значения. Вместе с тем, представляется важным внести уточнение в определение гносеологического статуса «вида» как исследовательской категории – это не столько объективно заданное свойствами материала членение, и тем более не универсалия опыта, сколько веберовский «идеальный тип».

Важно еще раз подчеркнуть, что представленные рассуждения не имеют своей целью предложить методологическую концепцию, альтернативную представленной в последней монографии О.М. Медушевой. Скорее, предпринимается попытка раскрыть потенциал развития выска-

¹⁸ Данилевский. 2004. С. 232–267.

¹⁹ Подробнее о данном истолковании заглавия Повести временных лет см.: Гиннтус. 2000. С. 448–460.

²⁰ Полное собрание русских летописей. М., 1998. Т. 2. Стб. 2; М., 2000. Т. 6, вып. 1. Стб. 1; Т. 4, ч. 1. С. 1.

²¹ Предисловие // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37. С. 3.

занных идей и как-то ответить на интеллектуальный вызов, которым стала эта, увы, посмертно изданная книга. Методология исторического познания, опирающаяся на принципы неокантианства, учение Э. Гуссерля о строгой науке и творческое наследие А.С. Лаппо-Данилевского, далеко не исчерпала свое значение в науках о человеке.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Барт Р.* Мифологии. М., 1996.
- Гиппиус А.А.* «Повесть временных лет»: о возможном происхождении и значении названия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. С. 448-460.
- Данилевский И.Н.* Библия и Повесть временных лет: (к проблеме интерпретации летописных текстов) // Отечественная история. 1993. № 1. С. 79.
- Данилевский И.Н.* Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.
- Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е.А. Мельниковой. М., 2001.
- Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания: сб. ст. / ред. П.А. Гринцер. М.: Наследие, 1994. 512 с.
- Источниковедение : учебно-методич. модуль : программы курсов и планы семинарских занятий / отв. ред. О.М. Медушевская. М., 2004.
- Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998. Переизд. 2000, 2004.
- Медушевская О.М.* Источниковедение социалистических стран: учеб. пос. М., 1985.
- Медушевская О.М., Румянцева М.Ф.* Методология истории: учеб. пособие. М., 1997.
- Медушевская О.М.* Современная буржуазная историография и вопросы источниковедения: учеб. пособие. М., 1979.
- Медушевская О.М.* Современное зарубежное источниковедение: [учеб. пос.]. М., 1983.
- Медушевская О.М.* Теоретические вопросы источниковедения: автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.09. М., 1975.
- Медушевская О.М.* Теоретические проблемы источниковедения: учеб. пос. М., 1977.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М., 2008.
- Полное собрание русских летописей. М., 1998. Т. 2. М., 2000. Т. 4, ч. 1; Т. 6, вып. 1. Л., 1982. Т. 37.
- Толстой Л.Н.* Война и мир // Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1979–1981. Т. 4–7.
- Уваров А.С.* О деятельности, предстоящей Московскому Археологическому обществу // Древности: труды Московского Археологического общества. М., 1865–1867. Т. 1. С. I–IV.

Добровольский Дмитрий Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории идей и методологии исторической науки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; ddobrowolski@hse.ru

Т. А. БУЛЫГИНА

КОМПАРАТИВНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ МЕЖВУЗОВСКОГО НОЦ «НОВАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

В статье рассматриваются подходы О.М. Медушевской и ее учеников к компаративным методам исторической науки и пути применения источниковедческого метода в исторической компаративистике в исследовательских практиках локальной истории.

Ключевые слова: компаративистика, «новая локальная история», источниковедение, синхронное и диахронное сравнение, социокультурный контекст.

Системный подход к историческому прошлому, где культура рассматривается как единое целое, был одним из принципиальных в позиции О.М. Медушевской. Она рассматривала системность при анализе и реконструкции прошлого как отражение системности «социокультурного» человека, которая «связана внутри себя уникальным способом информационного обмена, поддерживающего ее целостность и поступательность развития...»¹. Именно информационные коммуникации, их механизм действия, их носители определяют исследовательскую ситуацию в гуманитаристике. Системность предполагает наличие структур как сложное множество относительно устойчивых отношений элементов системы. Таким образом, структурная эволюция одной системы предполагает при ее анализе применение сравнительного метода в его диахронном выражении. В то же время, человечество как единая система делится на множество социокультурных систем. Изучение таких множественных систем возможно посредством общего временного среза, что предполагает также использование синхронного компаративного метода. Критерием сравнения в обоих случаях выступают структуры систем, структурные элементы и их функции.

Принцип системности в полной мере используется в источниковедении. Источник, представленный как материализованный интеллектуальный продукт человеческой деятельности, включая человеческую психику, сам выступает как элемент целостной системы – культуры. В то же время история формирования, функционирования и эволюции источников не только отражает культурное целое, но и сама есть целостная система. Следовательно, логично использование системного под-

¹ Медушевская. 2008. С. 104.

хода при изучении источников. Системность проявляется в выработке периодизации истории источниковых комплексов, а также при определении классификационных критериев источников.

Это позволило представителям Научно-педагогической школы источниковедения разработать источниковедческий метод изучения истории, включающий в себя компаративное источниковедение. Историческая компаративистика не может подняться над нестрогим сравнением готовых историописаний, так как эти произведения несут в себе авторскую субъективность более позднего времени, и тем самым не имеют общих критериев для сравнения. Компаративистика в истории предполагает, прежде всего, обращение к сравнениям источниковых комплексов, которые имеют материальную природу. Именно эти продукты человеческой деятельности являются носителями структурно-функциональных и материальных критериев сравнения, одновременно содержащими авторскую субъективность своего времени.

Хочу оговориться, что исторические труды также являются материальным продуктом человеческого творчества и тем самым служат источником истории исторической науки. Как историографический источник, исторические исследования могут рассматриваться с позиций их классификации и сравнительного изучения в синхронном и диахронном порядке. Однако это не источники описываемых в этих текстах событий, явлений, процессов, а источники истории науки, поэтому их сравнительный анализ как источников прошлой реальности некорректен и неэффективен.

Компаративный метод наиболее эффективен, если опирается на видовое многообразие и видовое сходство источников, которые представляют разнообразие целенаправленной творческой деятельности людей в конкретном обществе и в пространстве определенной культуры. Если рассматривать источниковый корпус как систему, то в целом он отражает социокультурную общность эпохи. На основе сравнительного анализа видов источников в системе культуры одного общества, представленной различными хронологическими рамками можно выявить не только эволюцию одних видов, исчезновение других, рождение третьих видов источников. Источниковедческий метод компаративистики позволяет лучше понять ту реальность, в которой появлялись, функционировали и сходили с социокультурной сцены эти источники. Не менее продуктивно и синхронное сравнение одинаковых видовых комплексов в обществах иной культуры, что помогает понять не только цивилизационную и национальную специфику культур, но и открыть новые тенденции в мировом историческом процессе.

Поскольку компаративистика объектом избирает продукты творчества человека, то, что особо значимо, через изменения в источниках можно увидеть эволюцию общественного, массового и индивидуального сознания, социокультурные последствия перемен в материальной действительности. Только во взаимосвязи со сравнительным изучением эволюции корпуса исторических источников мы можем более глубоко выявить критерии периодизации исторического процесса.

Через сравнение схожих и однородных комплексов источников формируется более полное знание о разнообразии социокультурных процессов в разное время и в разных обществах. Все иные попытки использования сравнений по произвольному представлению о схожести событий (например, сравнение Февраля 1917 года с «перестройкой» 1985 года или сравнение реформ Петра I с системным реформированием 1990-х – начала 2000-х гг. не являются строго научным методом, хотя такое сравнение и строится на предыдущем социальном опыте и уже накопленном знании. Так, парадоксальное исследование И.В. Можейко² базируется не только на личных впечатлениях и авторском профессиональном опыте, но и на обширных исторических сведениях. Однако, как убедительно свидетельствовала О.М. Медушевская, строго научным знание становится, когда история и культура как объект анализа рассматриваются на основе ее материальных остатков – источников, поэтому компаративистика требует сопоставления видовой конфигурации сообществ или видовой конфигурации одного сообщества в его эволюции³.

Такая модель компаративного источниковедения ведет к пониманию целостного мироздания «в многообразии составляющих его культур»⁴. Изучение источника как материального фрагмента культуры, отражает толкование источника как общего объекта гуманитаристики и становится практическим воплощением междисциплинарного принципа анализа картины прошлого. При этом последовательность возникновения, функционирования, изменений и исчезновения типов и видов источников, сходство и различия между источниками разных стран и разных эпох, объединенных видовой природой источников, отражают социокультурные процессы различных уровней, как в мировом развитии, так и в жизни отдельных обществ. В сравнительном источниковедении существенным свойством исследователя является понимание им своей активной роли в изучении источника. В этом случае интерпрета-

² Можейко. 1989.

³ Медушевская. 2008. С. 353.

⁴ Румянцева. 2006. С. 271.

ция сравниваемых источников осуществляется на основе построения диалога «историк – источник – автор».

Исходя из всего вышесказанного, сотрудники НОЦ «Новая локальная история» считают необходимым распространить эту модель компаративного метода на изучение источников местной истории и истории локальных сообществ. Во-первых, мы полагаем, что, опираясь на указанные выше принципы, необходимо развернуть сравнительный анализ видовых корпусов источников, наиболее характерных для различных локальных сообществ в синхронном и диахронном режимах в рамках отдельного региона. В этом случае мы можем обнаружить сходство и различия в формировании источникового комплекса сельского и городского сообществ, а также различных локальных сообществ внутри них – профессиональных, конфессиональных, гендерных и других. Изучение эволюции этих источников может предметно показать процесс реализации исторических тенденций в повседневном бытовании людей локальных сообществ. Источниковедческий метод как основа компаративистики позволяет выявить точки солидарности и конфликтогенные зоны различных сообществ, динамику социальных ролей, направление социальных лифтов, горизонт ожиданий для разных групп местных жителей, а также сетку идентичностей и включенность региональных сообществ в национальную идентичность.

Анализ источников из трехтомника «Голоса из провинции», в котором собраны материалы Ставропольских архивов почти за 50 лет – с 1917 по 1965 гг.⁵, позволяет проследить изменения в составе однородных источников за это время и конкретизировать переломные точки в их характеристиках. Такой анализ высвечивает социокультурные процессы на Ставрополье. Создатели документальной серии исходили из положения П. Рикёра о том, что источники представляют собой «сферу коммуникации сознаний», «сферу диалога, где “другой” отвечает на вопрошание», «сферу всегда открытую и ведущую спор»⁶. Публикация архивных материалов в виде проблемного комплекса источников, объединенных единством видового пространства, опиралась на понимание местного социума как системы. Тогда жители Ставрополья в их повседневных трудах выступали как основной системообразующий социокультурный субъект, а местные сообщества – как разноликие элементы единой структуры, связанные многообразными и сложными связями.

⁵ Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1917-1929 годах...; Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1930-1940 годах...; Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1941-1964 годах...

⁶ Рикёр. 2002. С. 45.

Толкуя задачу исторической науки как получение знаний о социальном взаимодействии индивидуумов, групп, сообществ в их исторической специфике и локальном многообразии, авторы издания выявили несколько видов письменных и визуальных источников, которые скрывали сгустки социокультурной информации о местном сообществе на разных этапах его существования. Стремление к реконструкции «прошлой социальной реальности» в локальном контексте потребовало обратиться к конструированию источникового пространства этой реальности. Создатели открыто декларировали активную роль субъекта – в данном случае, составителей, археографов и редакторов – в создании информационного образа ставропольского общества 1920-60-х годов.

В этом сборнике прослеживается не обычное желание сохранить реальные остатки прошлого и ввести в научный оборот новые источники, но на основе сопоставления этих источников понять единство прошлой культуры в ее конкретном проявлении. Этот источниковый комплекс способствует выработке познавательной модели для изучения социокультурных систем в определенной хронологической протяженности, которые реализуются в повседневной жизни конкретных людей в пределах локуса. Здесь представлены разнообразные по форме и по содержанию коммуникативные практики представителей самых разных групп местного общества. Комплекс источников структурирован таким образом, что просматривается эволюция социальной репрезентации различных групп населения, изменения в самоидентификации индивидуумов, появление новых маркеров принадлежности к советскому социуму. Есть здесь и информация о самосознании местной власти, о ее интерпретациях политики Центра.

Продуктивным, на наш взгляд, для новой политической и для культурно-интеллектуальной истории, является сравнительное изучение источников местной и центральной власти, интеллектуальных, художественных, профессиональных сообществ в провинции и Центре в определенный хронологический период. Это позволяет выявить стереотипы эпохи и одновременно различия в массовом сознании, в сознании местных и столичных управленцев, в структуре практической реализации основных законодательных и политических инициатив власти. Это помогает понять социокультурные особенности местных сообществ в контексте общенационального культурного и интеллектуального пространства. На практике речь идет, прежде всего, о сравнении видовых комплексов письменных источников, представленных в центральных и местных архивах, о сравнении центральной и региональной печати, столичной и провинциальной публицистики и беллетристики.

При таком подходе традиционные исследования по истории локальных сообществ «на материалах» нескольких губерний или областей могут уступить место работам с более широкими возможностями исторической интерпретации, которые способствуют эффективному приращению исторического знания. К примеру, изучение особенностей формирования документов региональных комиссий по борьбе с беспризорностью и делопроизводства детских приемников и детских домов на Терекке и Ставрополье, которое осуществила диссертантка в работе по истории ликвидации беспризорности в регионе в 1920-30-е гг., способствовало не только выработке усредненной модели беспризорного сообщества 1920-х гг. Такое сравнение источников выявляет информацию об особенностях локальных сообществ беспризорников в Терской области с ее курортами или в сельском Ставрополье. В другой диссертации анализ материалов испартов Северного Кавказа демонстрирует специфику социальной практики Северного Кавказа по внедрению в массовое сознание советской модели исторической памяти. Такая информация стала возможной только после изучения общих принципов и региональных особенностей формирования этого уникального вида источников.

На наш взгляд, для более плодотворного использования методов компаративного источниковедения с позиций «новой локальной истории» требуется сотрудничество профессиональных историков, изучающих местную историю в разных регионах России. Это позволило бы провести сравнительные источниковедческие исследования синхронным методом на материале двух-трех регионов. В частности, продуктивным было бы сравнительное изучение корпуса источников по истории Северного Кавказа и Сибири. Это помогло бы не умозрительно, но предметно, основываясь на видовом сравнении источниковых комплексов обосновать общее и особенное в колонизационных процессах обоих регионов, в становлении системы имперского управления, в складывании местного культурно-интеллектуального пространства.

Сравнительное изучение источников по истории региональных и локальных обществ разных национальных сообществ определенной эпохи – еще одна возможность использования компаративного метода. Например, в Ставропольском государственном университете в 2010 г. была защищена кандидатская диссертация, автор которой сравнивал процессы формирования массового сознания в немецкой и советской провинции в 1920-1930-е годы. Задача решалась на основе компаративного анализа таких видов источников по истории Саксонии и Ставрополья, как местная периодика, обращения граждан во власть, документы

местных партийных организаций. Это привело диссертантку к интересным выводам о специфике и типичности этих источников, что стало базой для реконструкции политической и идеологической действительности региональных сообществ как в их сходстве, так и в их различиях⁷.

Предлагая различные варианты компаративного анализа источников местной истории, мы исходим из открытости такой источниковедческой модели и полагаем, что все эти варианты должны быть проверены исследовательской практикой, которая может выявить и иные формы компаративного источниковедения. Требуется также теоретические разработки проблем изучения источников местной истории и источниковедческие работы в контексте подходов «новой локальной истории». Как бы то ни было, главное состоит в верности принципам источниковедческого метода и в готовности дальнейшего движения по этому пути.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах: сб. док. / сост.: Г.А. Никитенко, Т.Н. Колпикова. Ставрополь: Ком. Ставропольского края по делам арх., 2009. 760 с.: ил.
- Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1930–1940 годах: (сб. док.) / сост.: Г.А. Никитенко, Т.Н. Колпикова. Ставрополь: Ком. Ставропольского края по делам арх., 2010. 560 с.: ил.
- Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1941–1964 годах: (сб. док.) / сост.: В.В. Белоконь (отв. сост.) и др. Ставрополь: Ком. Ставропольского края по делам арх., 2011. 695 с.: ил.
- Кожемяко Т.Н.* Образ власти в картине мира жителей советской провинции и Германии в конце 20-х – 30-е годы XX века: сравнит.-ист. аспект (на материалах Ставрополя и Саксонии): автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кожемяко Татьяна Николаевна. Ставрополь: СГУ, 2010. 26 с.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 361 с.
- Можейко И.В.* 1185 год: (Восток – Запад). М.: Наука, 1989. 527 с.
- Рикёр П.* История и истина; пер. с фр. И.С. Вдовина, А.И. Мачульская. СПб.: Алетейя, 2002. 399 с. (Gallicinium). (Философия. Университетская б-ка).
- Румянцева М.Ф.* Новая локальная история и современное гуманитарное знание // Новая локальная история: сб. науч. ст. Ставрополь; М.: Изд-во СГУ, 2006. Вып. 3. С. 271–275.
- Булыгина Тамара Александровна** – доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Северокавказского федерального университета, Ставрополь; istoriirossii@yandex.ru

⁷ Кожемяко. 2010.

Н. А. Мининков

«ИСТОРИЯ ИСТОРИКА»
В КОНЦЕПЦИИ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ
О. М. МЕДУШЕВСКОЙ

Идея когнитивной истории О.М. Медушевской продолжает и развивает традиции выдающихся образцов европейской исторической мысли XX в. – школы Анналов и интеллектуальной истории. Она содержит ответ на новый вызов исторической науке со стороны культуры постмодернизма, имеет междисциплинарный характер и открыта к диалогу с естествознанием. Когнитивная история, или история мышления, в качестве одного из своих направлений рассматривает мышление историка, что составляет важную часть его интеллектуальной биографии и личного образа.

Ключевые слова: когнитивная история, интеллектуальная история, интеллектуальный продукт, история идей.

Как крупное и исключительно значимое явление европейской гуманитарной, исторической, философской и методологической мысли, монография О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории»¹ вызвала значительный интерес. Она получила высокую оценку историков, которая явилась результатом общего анализа характерных ее особенностей. Отмечалась при этом ее связь с развитием исторической науки нового и новейшего времени, а также указывалось на перспективы внедрения теории и методологии когнитивной истории в познание истории и культуры человечества.

Вместе с тем необходимо дальнейшее осмысление содержащихся в монографии философских и теоретических идей и методологических положений. И в этой связи, так или иначе, неизбежна постановка вопроса о месте в рамках когнитивной истории не только объекта исторического познания, но и его субъекта, которым является историк и который сам по себе является феноменом культуры своего времени. Это не случайно. Вызвано это, во-первых, тем, что историческая наука как разновидность творческой деятельности зависит не только от некоторых объективных обстоятельств, определявшихся развитием культуры и самой исторической науки. Зависит оно едва ли в меньшей степени от интеллектуальных и исследовательских качеств самого историка, от особенностей его личности и истории ее формирования, от самой «Истории историка».

¹ Медушевская. 2008.

Во-вторых, тем, что в свете одного из наиболее крупных направлений мировой культуры прошлого века, постмодернизма, представление о творческой и даже вообще о самостоятельной роли историка в познании прошлого человечества и его культуры ставилось под сомнение. Вызвано это было взглядами на текст как на продукт культуры², который создавался под воздействием сложившегося ранее образца, когда в новом произведении наглядно проявляются черты прошлого текста, признанного в качестве интертекста. В таком случае также и не в меньшей степени ставилась под сомнение такая категория традиционной культуры как автор, поскольку характерное для нее творческое начало или снималось вовсе, или ограничивалось воспроизведением интертекста применительно к иной культурно-исторической ситуации, чем в интертексте, или же формированием нового текста за счет созданных в прежней культуре блоков, с опорой на технику мозаики, или бриколажа³. На место категории «автор» ставилась категория «составитель» данного текста, или какая-то иная категория, творческая роль которой была ограничена, или вовсе не проявлялась. Все это в полной мере относилось к историку как к создателю исторического текста. В тексте исторического труда в этой связи могли находиться только черты того интертекста, который сложился в более ранних произведениях исторической мысли. Из автора исторического текста историк, таким образом, превращался в составителя или в конструктора произведения, блоки которого в виде идей, образов, сюжетов и даже отчасти вербальных конструкций появились ранее.

Совершенно очевидно, что взгляд О.М. Медушевой на историю как на научную дисциплину в полной мере восстанавливал представление о наличии в труде историка творческого начала, а о нем самом – как о полноценном авторе. Очевидно это также потому, что сама постановка Ольгой Михайловной проблемы когнитивной истории позволяет аргументированно и решительно опровергнуть идею воспроизведения в своем труде позднейшим историком интертекста, сложившегося в исторической мысли прошлого. В самом деле, когнитивная история выглядит как продолжение и развитие магистральной линии исторической науки новейшего времени, но вовсе не как воспроизведение идей и мыслей, сложившихся на более ранних стадиях развития историографии. Таким образом, историография более раннего времени выступает для историка не как интертекст, но как основание для научной дискус-

² Интервью О.Б. Вайнштейн с Ж.Деррида... С. 74.

³ Данилевский. 2004. С. 58-59.

сии и для выдвижения новых идей, относящихся в том числе к пониманию самой исторической науки.

Возникновение такой дискуссии в философской и исторической мысли последней четверти XIX – начала XX в. имело исключительно сложный и многоаспектный характер. Один из наиболее серьезных аспектов оказался связан с неудовлетворенностью историков тем, что в центре научного исторического познания на месте человека оказывались феномены надындивидуальной реальности, или, по характеристике М. Вебера, идеальные типы наподобие феодализма и капитализма, государства и властных структур⁴. Постановка человека в центр внимания историка отвечала потребностям исторической науки. Она, кроме того, соответствовала гуманистическим тенденциям в развитии культуры новейшего времени. Она, к тому же, выдвигала вопрос о том, как человек ориентировался в окружающем мире и определял свое место в нем и место того сообщества, к которому он принадлежал.

Подобная проблема ставилась основоположниками двух крупных направлений исторической мысли второй четверти XX в. – школы Анналов и интеллектуальной истории. Первая из них поставила в центр своего внимания проявления коллективного бессознательного и выработала понятие о ментальности человека и общества⁵ как прямого продукта его долговременного исторического развития. Но поскольку в основе личности и ее культуры лежали не только бессознательные, чувственные, но и сознательные, рациональные и интеллектуальные начала, то оказалось неизбежным появление проблемы интеллектуальной деятельности человека и человечества и ее общественно-исторического значения⁶. Так сформировалась интеллектуальная история. В ней уделялось внимание одной из сторон интеллектуальной жизни общества, которая проявлялась в жизни отдельных идей в разных культурно-исторических ситуациях. В результате историческое познание было не только приближено к человеку в обществе, но и ставило его в качестве главного объекта исторического познания. Основатели школы Анналов и интеллектуальной истории сделали попытку отстоять историю, ее рационально-интеллектуальную и гуманистическую составляющую как основу европейской культуры нового времени. Это была весьма аргументированная и успешная попытка противостояния тенденциям к отказу от культурной традиции, от историзма, рационализма

⁴ См.: *Неусыхин*. 1994. С. 641-642.

⁵ См.: *Гуревич*. 1993. С. 60-61.

⁶ См.: *Феллер*. 2005.

и интеллектуализма, к распространению иррационализма и мистицизма, имевшему место в идеологии распространявшихся в Европе тоталитарных режимов. Это составляло вклад выдающихся представителей европейской исторической мысли второй четверти XX в. в защиту рационалистических и гуманистических основ европейской цивилизации нового времени, сложившихся еще в эпохи Возрождения и Просвещения.

Когнитивная история О.М. Медушевской означала не только (наряду с новой интеллектуальной историей с ее соединением, в рамках объектах своего исследования, «сознательного и бессознательного»⁷) дальнейшее развитие теоретических и методологических идей, заложенных в исторической мысли первой половины прошлого века. Она, кроме того, также явилась ответом на вызов исторической науке, который шел с последней четверти XX в. со стороны культуры постмодернизма. Как и выдающиеся историки и мыслители школы Анналов, О.М. Медушевская решительно отстаивала научный статус истории и возможность с опорой на нее осуществлять познание прошлого человечества. Что касается самой когнитивной истории, то она видится прямым продолжением и развитием интеллектуальной истории, поскольку история идей и их распространения в новых культурно-исторических эпохах с неизбежностью ставили вопрос о том, на основании каких черт и особенностей мыслительной деятельности людей сформировались эти идеи. Когнитивная история проникнута историзмом, в связи с тем, что основана она на идее историчности мышления. Отсюда процесс мышления как важнейшая отличительная особенность человека, как основа культуры выступает исключительно значимым предметом научного исторического познания, которое ведется в рамках когнитивной истории как особой и самостоятельной исторической дисциплины.

Возможно, что появление и обоснование самой идеи когнитивной истории как специального направления научного исторического исследования открывает новые пути для понимания того, как с мышлением человека были связаны разные стороны деятельности общества и отдельных его представителей. Тем самым историк получает возможность раскрыть мыслительные основания исторических явлений и процессов, действий культурно-исторических сообществ, поступков и решений отдельных людей. Более того, как представляется, когнитивная история позволяет дать аргументированную критику просветительского разделения исторических эпох на те, в основе которых лежало рациональное начало и на другие, в которых рациональное начало не прослеживается.

⁷ Абатуров. 2007. С.51.

К первым традиционно относили античный мир и новую западноевропейскую историю, ко вторым – Древний Восток, европейское средневековье и историю неевропейских сообществ и государств нового времени. То же относится к разным событиям и явлениям в европейском мире, в которых прослеживается самое активное воздействие коллективного бессознательного, при слабо выраженной способности их участников к рациональным действиям. С позиций когнитивной истории возможно, между тем, уяснить, что дело не в отсутствии или в недостатке рациональных или мыслительных основ, но в особенностях мышления определенных сообществ и его структуры. Благодаря когнитивной истории появляется возможность установить и обосновать связь между конкретными проявлениями коллективного бессознательного в истории и системой мышления общества, в действиях которого находили подобные проявления. Дело вовсе не в отсутствии когнитивного, мыслительного, рационального начала в таких сообществах, но в исключительном своеобразии рационализма составлявших его людей.

Также в этой связи появление когнитивной истории означало дальнейший и очень большой шаг в сторону гуманизации исторической науки, придание ей профилирующего признака гуманитарной дисциплины. История вместе с тем едва ли укладывается в чисто гуманитарные рамки. Она является одновременно дисциплиной обществоведческого цикла, поскольку в центре ее внимания стоит не просто человек, но человек в обществе. То же самое относится в полной мере к когнитивной истории, так как сам процесс мышления определяется и порождается общественным статусом человека, местом его в окружении не только природном, но и социокультурном. Укрепляя свой гуманитарный характер, когнитивная история вместе с тем сохранила характерный для истории статус общественной науки, который укрепился во второй половине XIX в. на базе философии истории позитивизма, когда историки уделяли самое значительное внимание социальным явлениям и процессам. Совершенно очевидно, что когнитивная история может обеспечить более глубокое понимание таких явлений и процессов в истории, чем при недостаточном внимании к их мыслительным основам, при построении объяснительной модели, на основе анализа только экономических, социальных и политических составляющих их структуры.

Вместе с тем идея когнитивной истории требовала уточнения понятия о человеке как о движущей силе процесса мышления и ее итога в виде интеллектуального продукта. Как представляется, О.М. Медушевской удалось внести новые элементы в характеристику человека как важнейшей, традиционной и дискуссионной философской категории.

Основная качественная характеристика человека виделась ей в способности к целенаправленному и осознанному созданию продукта, со структурой, предназначенной для выполнения определенных функций. Из этого вытекали, как подчеркивала она, два следствия. Одно из них заключалось в том, что этот продукт являлся результатом мысли человека, его интеллектуальных усилий. Второе состояло в том, что этот продукт принимал материальную форму, делавшую его способным к распространению, к оказанию воздействия на современное общество и его культуру, к сохранению в культуре последующих поколений.

Несомненно, что под одним из таких интеллектуальных продуктов, причем наиболее сложных, О.М. Медушевская имела в виду научное историческое познание, имевшее своим результатом письменные формы выражения научной исторической мысли. Ею были при этом выделены некоторые новые характеристики исторического исследования. Среди них обращает на себя внимание положение о необходимости в ходе научного исторического познания стремления к уяснению «общих закономерностей»⁸, что принципиально отличало познавательную ситуацию наших дней от ситуации рубежа XIX–XX вв., в которой сложилось четкое разделение на номотетические и идиографические дисциплины, с сомнением в самой возможности законоустанавливающей направленности исторического исследования. С этим обстоятельством она связывала опору современного научного познания на междисциплинарные исследования и на установление междисциплинарного диалога. В самом деле, когнитивная история как история мышления в очень большой степени открыта для конструктивного диалога с естествознанием. Это не случайно, поскольку между мышлением человека и его психологией имеется самая тесная связь, а психология представляет собой естественнонаучную дисциплину. О.М. Медушевская, следовательно, справедливо обратила внимание на такую сторону исторического познания, которая обеспечивает принципиальное сближение истории с дисциплинами естественнонаучного цикла. Мысль эта восходит к позитивизму, но выражена она Ольгой Михайловной на основе новейшего научного гуманитарного знания. И если в философии истории начала XX в. господствовала мысль о невозможности для историка обеспечить наблюдение объекта своего познания, то в наше время постепенно утверждается мысль о том, что история, по выражению О.М. Медушевской – также «наука наблюдения»⁹. В качестве объекта такого наблюде-

⁸ Медушевская. 2008. С. 294.

⁹ Там же. С. 296.

ния, подчеркивала Медушевская, выступает источник. Методом является источниковедческое исследование, а теоретической основой – положение когнитивной истории об источнике как о реализованном и доступном для последующего анализа продукте мышления и о возможности гуманитарного вообще и исторического, в частности, знания как знания не только научного, но и точного.

При этом когнитивная история обеспечивает изучение закономерностей процесса мышления в его историческом развитии и дает возможность понять ход мысли автора источника и той культурной среды, где он был создан. В этой связи особенностью исторического образования нашего времени О.М. Медушевская видела не просто трансляцию исторического знания, характерную для традиционного исторического образования, но подготовку историка, способного воспринять комплекс знаний и исследовательских методов смежных дисциплин и способного вести историческое исследование с опорой на междисциплинарные методы. Образец такого подхода к подготовке исследователя, историка и источниковеда, она предложила в первой, теоретической части вышедшего в свет в РГГУ в 1998 г. учебного пособия по источниковедению отечественной истории¹⁰ На основании положений, содержащихся в этой главе, формировался взгляд на источниковедение и источник уже у целого поколения современных исследователей. Это поколение может с полным правом считать Ольгу Михайловну в числе своих учителей.

Согласно О.М. Медушевской, одним из наиболее существенных элементов в подготовке историка-исследователя является глубокое знание истории исторической науки и понимание процессов ее развития. Это позволит начинающему исследователю найти свое место в исторически сложившемся профессиональном сообществе, усвоить не только необходимые профессиональные навыки, но и воспринять традиции этого сообщества. В этой связи, во-первых, приобретает значительную актуальность подготовка исследований, направленных на познание жизненного и творческого пути историка, трудов на тему, удачно названной А.Я. Гуревичем «Историей историка». Во-вторых, в таких «Историях» должна получить органичное сочетание «история идей» и «история людей», или проследившись связь между историей формирования личности историка и вехами его жизненного пути, с одной стороны, и с другой – его идеями, получавшими материальное воплощение в монографиях, статьях и в другой создававшейся им научной продукции.

¹⁰ Источниковедение. История. Теория. Метод... 1988.

Для изучения поколения отечественных историков, к которому принадлежала Ольга Михайловна, такая работа по существу только начинается. Она позволит представить культурную и интеллектуальную обстановку, в которой сложилась творческая личность автора «Когнитивной истории». И, конечно же, относится это также к созданию научной биографии самой О.М. Медушевской. Биография этого выдающегося историка должна представить одну из наиболее интересных страниц исторической науки в нашей стране, а также российской культуры в целом во второй половине прошлого и в начале нынешнего столетия.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Абатуров И.Н.* «Новая интеллектуальная история» в изучении сферы сознания: постановка проблемы // Единство гуманитарного знания: новый синтез. Материалы междунар. науч. конф. Москва, 25-27 ноября 2007 г. / редкол.: М.Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. РГГУ, Ист.-арх. ин-т, каф. Источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. М., 2007. С. 50-52.
- Гуревич А.Я.* Исторический синтез и школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. 327 с.
- Данилевский И.Н.* Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М.: Аспект Пресс, 2004. 382 с.
- Интервью О.Б. Вайнштейн с Жаком Деррида // Мировое древо / Arbor Mundi. М.: РГГУ, ИВГИ, 1992. № 1. С.73-80.
- Источниковедение. История. Теория. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 1998. 702 с.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с.
- Неусыхин А.И.* «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки // Вебер М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. М.: Юрист, 1994. С. 641-642.
- Феллер В.* Введение в историческую антропологию. Опыт решения логической проблемы философии истории. М.: КноРус, 2005. 359 с.
- Мининков Николай Александрович* – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой специальных исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета; mininkov@aanet.ru

С. И. МАЛОВИЧКО

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИОГРАФИИ

В статье обосновывается возможность использования феноменологической концепции источниковедения в теоретическом основании формирующегося предметного поля источниковедения историографии. Анализируются практики постановки и решения вопросов об исторических источниках истории исторической науки и принципах их классификации.

Ключевые слова: историография, источниковедение историографии, классификация историографических источников, виды историографических источников, социально ориентированный тип исторического знания, научная история.

В последние десятилетия стала все острее осознаваться задача актуализации уже имеющихся и поиска новых познавательных возможностей исторической науки. Одной из них является творчески развиваемая Научно-педагогической школой источниковедения – сайт Источниковедение.ru феноменологическая концепция источниковедения, теоретическую основу которой создавала О.М. Медушевская. В данной статье я ставлю задачу обосновать возможность использования этой концепции в теоретическом основании формирующегося предметного поля источниковедения историографии. Однако прежде чем перейти к решению этой задачи, считаю нужным обратить внимание на историографическую ситуацию второй половины XX – начала XXI в., связанную с формированием практики постановки и решения вопросов об источниках истории исторической науки и принципах их классификации.

Несмотря на предпринимавшиеся историками еще первой половины и третьей четверти XIX в. попытки критики трудов предшественников и современников, история истории как рефлексия о процессе конструирования истории возникает вместе со становлением неклассического типа рациональности. Именно в это время история «вступила в свой историографический возраст»¹. Под названиями «история истории», «история самосознания», «историография», «история исторической мысли», «история исторического письма», «история историографии» и т.д. этот вид ис-

¹ Нора. 1999. С. 23.

торической саморефлексии получает распространение среди профессиональных историков в национальных историографиях Европы и США. Историография как вспомогательная историческая дисциплина начинает преподаваться в университетах². Так, в лекциях по русской историографии, записанных и изданных студентами Харьковского университета, Д.И. Багалей, определяя ее место (вместе с источниковедением), как вспомогательное для истории России, подчеркивал: «Историографией называется вспомогательная историческая дисциплина...»³.

Я не стану останавливаться на очевидном, на том, что в разных национальных историографических традициях, под понятием «историография» понималась не только история исторической науки (мысли), но также философия и методология истории, история исторического образования, история историков или истории изучения отдельных проблем и т.д.⁴ В целом, курсы лекций и работы по историографии имели одно общее свойство – они оказались прочно зависимы от традиций политической истории, доминировавшей в XIX в. и предложившей структуру построения материала, состоящую, по словам М. Гривер, из цепи последовательно сменяющих друг друга «канонических историков», изучавших знаковые эпохи национального прошлого. Эта вертикальная структура позволяла маргинализировать голоса других историков⁵, что, на наш взгляд, смягчало *деконструирующий* – по отношению к историческому знанию – эффект истории истории⁶.

В структуре советской исторической науки историография заняла довольно почетное место (превращаясь из вспомогательной исторической дисциплины в самостоятельную дисциплину исторической науки), что было связано не только с желанием руководства наукой и самих историков разобраться в прошлом дисциплины, но и с выработкой «правильной» концепции критики российской дореволюционной и современной зарубежной буржуазной исторической науки. Следует согласиться с В.А. Муравьевым, что историография как дисциплина в советской исторической науке с 50-х гг. стала выполнять еще и роль определенной «отдушины», позволявшей оттачивать инструментарий научной критики, она «“оттягивала” на себя ... некоторую часть методологических сужде-

² Ключевский. 1989. Т. VII. С. 185-233; Коялович. 1884; Jameson. 1891; Миллюков. 1897. Т. 1; Fueter. 1911; Багалей. 1907. Т. I; Gooch. 1913; Shotwell. 1922; и др.

³ Багалей. 1907. Т. I. С. 1.

⁴ Подробнее об этом см.: Попова. 2000; 2012.

⁵ Grever. 2009. P. 49.

⁶ См.: Маловичко, Румянцева. 2012. С. 287.

ний и некоторую часть такой сложной области исторического познания, как история идей, история общественной мысли»⁷.

Надо учесть, что в отечественной исторической науке, как ни в какой другой, имелась и давняя прочная источниковедческая традиция, которая оказала влияние на развитие как общей теоретической базы истории исторической науки, так и ее исследовательских приемов.

Эти факторы позволили советским историкам уже в 1960–70-х гг. поднять вопросы о сути истории исторической науки как специальной исторической дисциплины⁸ и о специфике историографических источников⁹, что свидетельствовало об изменении статуса историографии в структуре исторического знания. Интересно, что этот процесс в те же годы обозначился и в западноевропейской и американской историографиях. Как отмечает М. Бенгли, с начала 1970-х гг. историков перестает удовлетворять «дополняющее» / «специальное» по отношению к истории место историографии в образовательной и научной практиках¹⁰. Однако вопрос об источниках историографических исследований был актуализирован именно в советской историографии и, как справедливо отмечает С.В. Чирков, в 1970-х гг. начинается конституирование особого исследовательского направления – «источниковедения историографии»¹¹. В этом процессе активное участие приняли источниковеды.

Неслучайно, первое время сам вопрос о специфике базового для истории истории историографического источника – произведении историка рассматривался в традиционной позитивистской традиции (просуществовавшей и в марксистско-ленинской историографии), выявлявшей «первичные» и «вторичные» исторические источники. Вспомним, что, говоря о материалах, на основании которых историк может проводить то или иное научное исследование, И.Г. Дройзен поставил рядом письменные первичные источники и источники вторичные – исторические исследования¹². Немецкий историк обратил внимание на исследование историка как на исторический источник исходя из сугубо практических целей – конкретно-исторической работы исследователя, который может воспользоваться трудом предшественника (использовавшего т.н. первоисточники) в качестве дополнения к своим материалам. По сути,

⁷ Муравьев. 1999. С. 21.

⁸ См.: Нечкина. 1965. С. 6-26.

⁹ См.: Пушкирев. 1975. С. 70-74; Шмидт. 1976. С. 266-274.

¹⁰ См.: Bentley. 1999. P. IX.

¹¹ Чирков. 1994. С. 403-409.

¹² Дройзен. 2004. С. 142.

эту мысль развивал и советский источниковед Л.Н. Пушкарёв, заметивший: «...Исследование – это одна из разновидностей повествовательного источника, однако настолько своеобразная и особая, настолько отличающаяся от всех других разновидностей источников, что, определяя источниковедческую ценность исследования, историк должен обратить внимание на выявление и анализ его первоисточников»¹³.

Одной из черт советской практики изучения истории истории, которая проявляет себя и сегодня, стало внимание не только к линейному процессу развития исторической науки, но и к общественной мысли, которая могла отличаться от дворянской или буржуазной «официальной» историографии своей «неофициальностью», а значит, как писала М.В. Нечкина, «прогрессивностью» исторической мысли, носителями которой были «непрофессионалы»¹⁴. Неслучайно, в курсе историографии истории СССР для исторических факультетов стали изучать А.Н. Радищева, декабристов, Н.Г. Чернышевского и др. мыслителей, идеи которых, часто всего лишь по совпадению оказывались актуальными для нужд советской идеологии. Не ставя под сомнение практику конструирования контекста, представленного общественной мыслью, отмечу, что контекст контексту рознь, так как указанная практика не способствовала выявлению черт профессионализации научной историографии, нивелируя разницу между научным историческим знанием и гипотетическими мыслительными конструкциями прошлого.

Надо отдать должное М.В. Нечкиной – будучи профессиональным историком, она искренне считала, что историографии предназначена роль «рычага внутри исторической науки, который содействует повышению научного уровня исторических исследований»¹⁵. Чтобы выполнять такую роль история истории должна не только декларировать свою функцию, иметь свой предмет, содержание и структуру, но и рефлексировать об инструментариим, помогающем совершенствовать процедуру историографического исследования и продуцировать новое знание.

Актуализация на теоретическом уровне истории исторической науки концептов «историографический факт» и «историографический источник» вызвала дискуссию. Не останавливаясь на выяснении значения для историографического исследования первого из них (на мой взгляд, пока еще отсутствует четкое понимание дефиниции «историографический факт»), лишь коротко отмечу, что давая ему нечеткую, избыточную

¹³ Пушкарёв. 1975. С. 74.

¹⁴ См.: Нечкина. 1965. С. 14-15.

¹⁵ Нечкина. 1980. С. 133.

по отношению ко второму формулировку¹⁶, мы убираем границу между историографическим фактом и историографическим источником, что приводит к подмене произведения историка (как историографического источника), содержащего новое историческое знание, историографическим фактом, и уводим историографическую проблему в поле традиционной исторической событийности, а значит, не позволяем себе проводить строгую не только источниковедческую (в этом случае, от нее просто избавляются), но историографическую процедуру (как в дефиниции А.И. Зевелева – «источник [историографический] – факт»¹⁷).

С 1970-х гг. советские историки стали обращать внимание на изучение уже не столько трудов историков, сколько творческой атмосферы, «микrokлимата» развития науки, факторов, сопутствующих развитию историографии и конкретной работе отдельного историка прошлого, а тем самым был актуализирован вопрос о «типологии источников для составления биографии именно историка»¹⁸. Сегодня такая практика историографического исследования успешно проводится, в первую очередь, омскими историками (проект «Мир историка»), а В.П. Корзун в рамках такой модели исследования вполне обоснованно предложила выделить в историографических источниках «основную группу», куда должны входить научные труды историков, и «вспомогательную», включающую исторические источники иных видов, помогающие воссоздавать «атмосферу творчества, вехи жизни автора, его общественно-политические взгляды, ценностные ориентиры, особенности его натуры» и т.д.¹⁹

Меня в данном случае интересует классификация именно таких историографических источников как произведения историков, что наиболее полно соответствует базовому понятию *историографический источник*. Ими «выступают труды исследователей, созданные в самых разных формах: монографии, статьи, рецензии, выступления с докладами на научных конференциях, “круглых столах”, дискуссиях»²⁰. Поэтому определение, данное С.О. Шмидтом («историографическим источником можно назвать всякий источник познания историографических явлений (фактов)»²¹), как мне представляется, хотя и может отвечать потребностям дальнейшего

¹⁶ Например: Историографический факт – это «концепция ученого, реализованная им в одном или нескольких исторических сочинениях» (Камынин. 2010. С. 63).

¹⁷ Зевелев. 1987. С. 98.

¹⁸ См.: Шмидт. 1976. С. 265-274.

¹⁹ Корзун. 2000. С. 22.

²⁰ Камынин. 2010. С. 63.

²¹ Шмидт. 1997. С. 185.

изучения «историографических фактов» или событий в исторической науке (так как здесь задействуются не только историографические, но собственно исторические источники иных видов, которые профессиональному историку все-таки необходимо различать), но совершенно не способствует превращению источниковедения историографии в строгое научное поле современной исторической науки.

На мой взгляд, актуализация вопроса о классификации базовых историографических источников сегодня вызвана несколькими факторами.

С последней четверти XX в. наблюдается трансформация функций гуманитарного знания, ослабление его рационалистической составляющей. Поэтому в эпоху постпостмодерна вопрос о познавательных возможностях исторической науки становится ключевым. Возрастание роли истории историографии в постнеклассической и неоклассической моделях науки происходит в ситуации, которая характеризуется все большим размежеванием разных типов исторического знания: социально ориентированного и научно ориентированного. Этот процесс связан с тем, что научно ориентированное историческое знание старается найти более строгие научные основания профессиональной деятельности историков. Неслучайно, нидерландский историк М. Гривер обращает наше внимание на пересмотр параметров истории историографии²², а Л.П. Репина делает вывод о своевременности формирования *нового направления исторической критики*, «все дальше уходящего от описания и инвентаризации исторических концепций» и позволяющего исследовать не столько историографические направления и школы, а профессиональную культуру в целом²³.

Говоря об индикаторах измерения состояния научного знания О.М. Медушевская отмечала, что одной из важнейших задач современной исторической науки и исторического образования должна стать выработка критериев, позволяющих «отличать логику создания исследовательского труда, создания научного произведения, целью которого является новое знание, от другой логики создания повествования, в интриге которого смешивается представление о научной истине и человеческой фантазии»²⁴. Конечно, научные основания истории историографии может предоставить лишь логический процесс верификации получаемых результатов исследования, базой которого служит *источ-*

²² Grever. 2009. P. 46-47.

²³ Репина. 2011. С. 409-410.

²⁴ Медушевская. 2002. С. 35.

никоведение историографии, а её наиболее актуальной задачей является классификация историографических источников.

К систематизации трудов историков в рамках истории истории исследователи стали прибегать довольно давно. Наиболее удобной формой (кроме простой хронологической) стала систематизация по отдельным видам историй исторической науки. Например, Х.М. Стефенс в лекциях по историографии классифицировал историков по принципу принадлежности их практик историописания к философской истории (Ф.П.Г. Гизо, Дж. Грот, Т. Карлейль), политической истории (Т.Б. Маклей, Л. А. Тьер, И.Г. Дройзен и др.), романтической истории (А. Ламартин, Ж. Мишле, Ф. Паркман и др.)²⁵ Такая модель классификации историографического материала, наряду с выделением отдельных дисциплин / направлений исторической науки, станет в XX в. довольно распространенной, в частности, Дж.М. Винцент распределил историографический материал по таким историям как: военная, социальная, политическая, социологическая и др.²⁶

В истории исторической науки уже стало традиционным применять *жанровый подход* (иногда называя жанром саму историю²⁷) при классификации таких историографических источников как произведения историков. В 1960-х гг. его применяли О.Л. Вайнштейн и М.В. Нечкина, а сегодня выделяют жанры исторических работ некоторые соискатели ученых степеней²⁸. И.С. Волин считал, что историографические источники целесообразно разделить на типы, к которым можно отнести научные работы историков, историческую учебную литературу, источники, содержащие информацию о жизни и творчестве историков и т.д.²⁹ А.И. Зевелев указывал, что «историографические источники можно классифицировать по следующим принципам: классовому происхождению, авторству, видам»³⁰.

Последнее утверждение недавно развил Г.М. Ипполитов, по мнению которого «историографические источники классифицируются (по общепринятому порядку) по видам, происхождению и авторству». Повторив в своей формулировке классификационный принцип

²⁵ Stephens. 1905. P. 21-27.

²⁶ Vincent. 1911. P. 3-12.

²⁷ См.: Levrault. 1907.

²⁸ См.: Вайнштейн. 1964. С. 457; Нечкина. 1965. С. 10; Клинова. 2009. С. 18; Игишева. 2010. С. 10.

²⁹ Волин. 1980. С. 122-123.

³⁰ Зевелев. 1987. С. 126.

А.И. Зевелева, он убрал из понятия «классовое происхождение» слово «классовое» и тем самым заставляет нас задуматься над тем, что же есть «происхождение»? Историк постарался выделить группы историографических источников для проблемно-тематических историографических исследований: «исследования обобщающего характера» и «специальные исследования», внутри которых, к сожалению, указал только на два вида – «учебные издания» и «материалы научных конференций и прочих научных форумов». Остальные (виды?) он просто перечислил, например: «общие фундаментальные труды по истории периода, который подвергается историографическому осмыслению [так у автора – С.М.]», «общие фундаментальные труды по истории исторической науки» или «учебные издания, в которых до предела в обобщенном виде освещаются основные вехи истории периода, который подвергается историографическому осмыслению и переосмыслению [так у автора – С.М.]» и т.д., так и не указав принципа (ведь классовый подход он убрал) выделения видового состава историографических источников³¹.

Недавно болгарский историк А. Запрянова, признавая актуальность типологизации историографических источников, предложила группировать их посредством выделения трех подгрупп: научные работы, материалы, опубликованные в средствах массовой информации, и архивные материалы³². Таким образом, она отнесла к историографическим источникам исторические источники иных видов, что представляется мне неприемлемым даже в том случае, если продолжать видеть в истории историографии всего лишь специальную историческую дисциплину.

Научно-педагогическая школа источниковедения (сайт Источниковедение.ru) в последнее время актуализирует процесс дальнейшего формирования *предметного поля источниковедения историографии*³³. Феноменологическая концепция этой школы, восходящая к эпистемологической концепции А.С. Лаппо-Данилевского позволяет исследователю плодотворно работать с историографическими источниками. Тем более что, как справедливо отмечает М.Ф. Румянцева, сегодня происходит парадигмальное сближение историографии с источниковедением в рамках интеллектуальной истории³⁴.

³¹ *Ипполитов*. 2011.

³² *Запрянова*. 2010. С. 43, 47.

³³ См.: *Маловичко*. 2012 (б). С. 119-121; 2012 (а). С. 114-117; *Румянцева*. 2012. С. 195-198.

³⁴ *Румянцева*. 2011. С. 227.

Следует отметить, что в рамках Научно-педагогической школы источниковедения ранее, с одной стороны, был предложен подход к изучению конкретных текстов историков (В.А. Муравьев)³⁵, с другой стороны, сделано предположение о возможности использования теоретического подхода источниковедческого «проекта» к разработке теоретической основы «проекта» историографического (О.М. Медушевская), так как они не разделены между собой и «их теоретические границы проницаемы»³⁶. Кроме того, актуализация О.М. Медушевской в теории источниковедения принципа «признания чужой одушевленности» (т.е. одушевленности автора источника)³⁷ позволяет исследователю не только работать с конкретным историографическим источником, но, что для нас наиболее важно, задуматься о теоретической основе источниковедения историографии.

Мне представляется, что в современном историографическом исследовании применим тот же принцип «признания чужой одушевленности», что и в источниковедении источников иных видов. Его применение, с одной стороны, позволяет заменить иерархическую структуру исторического знания культурными связями разных его типов, с другой стороны, – помогает преодолеть линейность историографического процесса, дополняя коэксистенциальными связями. Принцип «признания чужой одушевленности» позволяет учитывать, что произведения историков прошлого по отношению к наблюдателю-исследователю выступают эмпирической реальностью – вещью, которая, сама по себе, реализованный интеллектуальный продукт, результат целенаправленной человеческой деятельности, выступающей в процессе познания как особый феномен и представляет собой «главный материальный объект, посредством которого возникает в автономной человеческой информационной среде феномен опосредованного информационного обмена»³⁸. Таким образом, источниковедческий подход к истории историографии может строиться на феноменологической концепции, которая, по меткому замечанию историка, уже является источниковедческой по своей ключевой позиции³⁹.

Идея, положенная О.М. Медушевской в основу концепции *когнитивной истории*, заключается в том, что когнитивная история рассматривает в качестве эмпирического объекта все интеллектуальные продукты,

³⁵ См.: Муравьев. 2003. С. 25.

³⁶ Медушевская. 2002. С. 22.

³⁷ Медушевская. 1999.

³⁸ Медушевская. 2008 (6). С. 33.

³⁹ Медушевская. 2007. С. 14.

созданные человечеством ранее и создаваемые сегодня, причем, историк неоднократно подчеркивала, что такие продукты создавались людьми осознанно, т.е. целенаправленно. О.М. Медушевская отмечала: «Человек всегда творит целенаправленно, он ставит себе определенную цель и по мере продвижения к ней стремится сохранить накопленный информационный ресурс, создавая интеллектуальные продукты... За любой (завершенной) вещью угадывается цель ее создания. Соответственно этой цели целенаправленно отбирается материал с теми свойствами, которые отвечают замыслу»⁴⁰. Конечно, среди целенаправленно создаваемых интеллектуальных продуктов особое место должны занимать труды историков.

Феноменологическая концепция позволяет рассматривать историю историографии (как и историю в целом) как науку, имеющую свой эмпирический объект, создававшийся в процессе целенаправленной деятельности историописателя. Произведенный автором интеллектуальный продукт становится основным источником информации о человеке и исторической культуре его времени. Созданные с определенной целью интеллектуальные продукты выполняют определенную функцию. Такие продукты «структурированы в соответствии с теми функциями, для которых они предназначены. Они имеют системное качество и, следовательно, способны фиксировать такой информационный ресурс, который говорит не только о них самих, но и той системе, в рамках которой оказалось возможным их возникновение», – писала О.М. Медушевская⁴¹.

На цель создания того или иного рассказа о прошлом, по которой можно судить о функции самого этого произведения, ранее уже обращали внимание исследователи истории историографии. Например, на рубеже XIX–XX вв. известный историк церковной историографии А.П. Лебедев, вмешавшись в спор о «классе сочинения» (историческое, статистическое, полемическое и пр.) Игизиппа «Достопамятности», сделал осторожное предположение, что этот «класс» зависит от «ясно намеченной и вызываемой обстоятельствами цели» автора сочинения⁴². Однако такое замечание еще не было превращено в принцип научной классификации исторических, а тем более историографических источников. Сегодня мы признаем, что функциональны (по своему целеполаганию) и произведения историков, так как они несут в себе обозначение своей функции в системе исторического знания: монография, диссертация, статья, рецен-

⁴⁰ Медушевская. 2008 (а). С. 54.

⁴¹ Там же. С. 258.

⁴² См.: Лебедев. 1903. С. 19.

зия и т.д. Неслучайно, как мне недавно напомнил Р.Б. Казаков, независимо от историков определенную классификацию изданий уже проводили и проводят библиографы и книговеды (правда, историкам стоит со своих позиций осмыслить конкретную классификационную номенклатуру, в рамках которой определяется то или иное издание).

Функция того или иного произведения историка, основанная на цели его создания, и выступает основой классификационной процедуры, проводимой исследователем историографии. «Информационное поле продуктов человеческой деятельности имеет хорошо выраженную видовую конфигурацию», – отметила О.М. Медушевская⁴³. Поэтому в качестве объекта источниковедческой операции для нас выступает уже не отдельно взятое произведение, а система (*видовая структура*) историографических источников, соответствующая определенному типу культуры.

О возможности создания классификационной схемы историографических источников по модели классификации исторических источников, выработанной советским источниковедением, говорил еще Л.Н. Пушкарев. Однако, предусматривал активную позицию историографа, это предложение совершенно игнорировало «Другого» – историка прошлого. По Л.Н. Пушкареву, конкретная процедура классификации историографических источников будет зависеть от целей, которые ставит исследователь⁴⁴. Напротив, *рефлексия о чужой одушевленности* позволяет за основу процедуры выделения видовой структуры исторических источников принять принцип *целеполагания его автора* («Другого»), а значит и классифицировать историографические источники не по цели современного исследователя или библиографа, а по целеполаганию (авторскому замыслу) историка прошлого.

В отличие от иерархической практики классической науки, феноменологическая концепция источниковедения, в основу которой заложен принцип «признания чужой одушевленности», позволяет выделять виды (монографии, статьи, диссертации, тезисы, рецензии, лекции, учебные пособия и т.д.) и группы (по типам исторического знания: научно ориентированное и социально ориентированное) историографических источников по целеполаганию и структурировать работы историков не по значимости, а рассматривать их как *рядоположенные*. Такая практика помогает не бороться с «социально мотивированным ложным

⁴³ Медушевская. 2008 (а). С. 244.

⁴⁴ Пушкарев. 1980. С. 103.

истолкованием прошлого», как призывал Дж. Тош⁴⁵, а выявлять «другой», иной по отношению к научной истории тип исторического знания.

В этой связи в качестве удобного примера можно привести ситуацию с диссертационными исследованиями по региональной тематике, где в историографических разделах авторами совершенно не выделяются научно ориентированные работы по локальной и региональной истории и социально ориентированные работы по историческому краеведению. Между тем, историографический анализ работ, традиционно причисляемых к краеведческим, позволяет выявить, что они выполнены в исследовательском поле региональной истории, как, например, статья С.И. Архангельского «Локальный метод в исторической науке» (журнал «Краеведение», 1927 г.)⁴⁶.

Рассмотрим другой пример: видовую принадлежность сугубо научного диссертационного исследования С.М. Соловьева «Об отношениях Новгорода к великим князьям» выдает поставленная историком цель работы: «прежде всего мы должны определить», «показать», «и потом уяснить причины» и т.д.⁴⁷ Напротив, национально-государственный нарратив не может относиться к тому же виду историографических источников, так как целью конструирования такой истории уже не является исследование; неслучайно, тот же С.М. Соловьев в начале своей многотомной «Истории России» рассуждает не о научных задачах, а «о значении, пользе истории отечественной»⁴⁸, что говорит о сугубо социальной, а не научной ориентации такой работы.

Таким образом, феноменологическая концепция источниковедения, выступая теоретической основой источниковедения историографии, позволяет акцентировать внимание на специфике профессионализации исторического знания, выявлять его научные и ненаучные формы, помогает выработке критериев, позволяющих в источниковедческой операции историографического исследования отличать логику создания научного труда от логики иных форм историописания. И, пожалуй, самое главное, источниковедческий подход к изучению истории историографии помогает рассматривать ее (употреблю выражение О.М. Медушевской) как *строгую науку*, имеющую свой эмпирический объект.

БИБЛИОГРАФИЯ

⁴⁵ Тош. 2000. С. 29.

⁴⁶ См.: Маловичко. 2011. С. 11-14.

⁴⁷ См.: [Соловьев С.М.]. 1846. С. 1.

⁴⁸ Соловьев. 1896. С. 1.

- Багалея Д.И.* Русская историография: Лекции, читанные в Харьковском университете. Т. I. Харьков : Типо-литография С. Иванченко, 1907 [Издание студентов историко-филологического факультета]. 550 с.
- Ванштейн О.Л.* Западноевропейская средневековая историография. М.; Л.: Наука, 1964. 482 с.
- Волин И.С.* О разнотипности историографических источников // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки: межвузовский тематический сборник / отв. ред. М.В. Нечкина. Калинин: КГУ, 1980.
- Дройзен И.Г.* Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории. СПб.: Владимир Даль, 2004. 581 с.
- Запранова А.* Типология источников историографического исследования // Харківський історіографічний збірник. Харків : ХНУ, 2010. Вип. 10. С. 41-52.
- Зевелев А.И.* Историографическое исследование: методологические аспекты. М.: Высшая школа, 1987. 160 с.
- Ижишева Е.А.* Политическое развитие Урала в 1920-е гг. в отечественной историографии : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2010. 47 с.
- Ипполитов Г.М.* Классификация источников в проблемно-тематических историографических исследованиях и некоторые подходы к их анализу // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. № 3. С. 501-509.
- Камынин В.Д.* Теоретические проблемы историографии на рубеже XX–XXI вв. // Известия Уральского государственного университета. 2010. № 3 (78). С. 54-66.
- Клинова М.А.* Историография уровня жизни городского населения (1946–1991): общероссийский и региональный аспекты : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2009. 25 с.
- Ключевский В.О.* Лекции по русской историографии // *Ключевский В.О.* Сочинения: в IX т. М.: Мысль, 1989. Т. VII. С. 185-233.
- Корзун В.П.* Образ исторической науки на рубеже XIX–XX вв.: анализ отечественных историографических концепций. Екатеринбург; Омск: Омский гос. ун-т; Изд-во Уральск. ун-та, 2000. 226 с.
- Коялович М.О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1884. 603 с.
- Лебедев А.П.* Церковная историография в главных ее представителях с IV века по XX. 2-е изд., пересмотр. СПб.: Тузов, 1903. 610, IX с. (Собр. церковно-ист. соч. проф. д-ра богословия Алексея Лебедева ; т. 1).
- Маловичко С.И.* «Локальный метод» С.И. Архангельского в тисках изобретенной генеалогии краеведения // Историки между очевидным и воображаемым: проблемы визуализации в исторической мысли. Нижний Новгород, 2011. С. 11-14.
- Маловичко С.И.* Источниковедение историографии с точки зрения Научно-педагогической школы источниковедения // Историческая наука и образование в России и на Западе : судьба историков и научных школ: материалы междунар. науч. конф. М., 2012 (а). С. 114-117.
- Маловичко С.И.* Феноменологическая парадигма источниковедения в изучении историографических практик // *Imagines Mundi*: Альманах исследований всеобщей истории XVI-XX вв.: Историк, текст, эпоха: IV междунар. науч. конф. Уральск. отд. Российск. общ-ва интеллектуальной истории. Екатеринбург, 2012 (б). С. 119-121.
- Маловичко С.И., Румянцева М.Ф.* Социально-ориентированная история в актуальном интеллектуальном пространстве: приглашение к дискуссии // Историческое по-

- знание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. / отв. ред. О.В. Воробьева, З.А. Чеканцева. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 274–290.
- Медушевская О.М.* История в общей системе познания: смена парадигм // Единство гуманитарного знания: новый синтез. Материалы XIX междунар. науч. конф., Москва, 25–27 янв. 2007 г. М.: РГГУ, 2007. С. 12–19.
- Медушевская О.М.* Источниковедение и историография в пространстве гуманитарного знания: индикатор системных изменений // Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания : докл. и тез. XIV науч. конф., Москва, 18–19 апр. 2002 г. М.: РГГУ, 2002. С. 20–36.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008 (а). 358 с.
- Медушевская О.М.* Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г.: в 2 ч. М.: РГГУ, 2008 (б). Ч. 1. С. 24–34.
- Медушевская О.М.* Феноменология культуры: концепция А.С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего времени // Исторические записки. М.: Наука, 1999. № 2 (120). С. 100–136.
- Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. М.: Тип. Т-ва М.Н. Кушнерев и К^о, 1897. 318 с.
- Муравьев В.А.* История, исторический источник, историография, история исторического познания (размышления о смысле современных историографических исследований) // Рубеж истории: проблемы методологии и историографии исторических исследований. Тюмень, 1999. С. 19–27.
- Муравьев В.А.* История вновь и вновь // Источниковедческая компаративистика и историческое построение : тез. докл. и сообщений XV науч. конф. Москва, 30 янв. – 1 февр. 2003 г. М.: РГГУ, 2003. С. 22–31.
- Нечкина М.В.* История истории (некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки. Историография истории СССР. М., 1965. С. 6–26.
- Нора П.* Между памятью и историей: Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Реюмеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1999. С. 17–50.
- Попова Т.Н.* Историографическая наука: проблемы самосознания // Харківський історіографічний збірник. Харків: НМЦ «СД», 2000. Вип. 4. С. 20–33.
- Попова Т.Н.* Историография в поисках своего обновления // Харківський історіографічний збірник. Харків, 2008. Вип. 9. С. 44–60.
- Попова Т.Н.* Метаморфозы историографии, или история с историей истории // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. / отв. ред. О.В. Воробьева, З.А. Чеканцева. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 198–215.
- Пушкарёв Л.Н.* Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М.: Наука, 1975. 282 с.
- Пушкарёв Л.Н.* Определение, оптимизация и использование историографических источников // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки: межвузовский тематический сборник / отв. ред. М.В. Нечкина. Калинин: КГУ, 1980.

- Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с.
- Румянцева М.Ф.* Феноменологическая парадигма источниковедения в актуальном историографическом пространстве // Будущее нашего прошлого: материалы всеросс. науч. конф. М., 2011. С. 221-229.
- Румянцева М.Ф.* Лекционные курсы А.С. Лаппо-Данилевского и В.М. Хвостова по методологии истории: опыт сопоставительного исследования // Историческая наука и образование в России и на Западе: судьба историков и научных школ: материалы междунар. науч. конф. М. : ИВИ РАН, 2012. С. 195-198.
- [Соловьёв С.М.] Об отношении Новгорода к великим князьям / историческое исследование С. Соловьёва. М., 1846. 174 с.
- Соловьёв С.М.* История России с древнейших времен: в 6 кн., 29 т. СПб., 1896.
- Тош Д.* Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка. М.: Весь Мир, 2000. 296 с.
- Чирков С.В.* Об источниковедении историографии // Мир источниковедения (сборник в честь Сигурда Оттовича Шмидта). М.; Пенза. 1994. С. 403-409.
- Шмидт С.О.* Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии. М.: РГГУ, 1997. 612 с.
- Шмидт С.О.* Некоторые вопросы источниковедения историографии // Проблемы истории общественной мысли и историографии : к 75-летию М.В. Нечкиной: сб. статей. М.: Наука, 1976. С. 265-274.
- Bentley M.* Modern Historiography: An Introduction. L.: Routledge, 1999. 182 p.
- Fueter E.* Geschichte der Neueren Historiographie. München; Berlin: Drunk und Verlag von R. Oldenbourg, 1911. 626 s.
- Gooch G.P.* History and Historians in the Nineteenth Century. 2-th ed. L., 1913. 600 p.
- Grever M.* Fear of Plurality: Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe // Gendering Historiography: Beyond National Canons. Frankfurt; N.Y., 2009. P. 45-62.
- Jameson J.F.* The History of Historical Writing in America. Boston; N.Y.: Houghton & Co., 1891. 168 p.
- Levrault L.* L'Histoire (evolution du genre). P.: P. Delaplane, 1907. 168 p.
- Shotwell J.T.* An Introduction to the History of History. N.Y., 1922. 348 p.
- Stephens H.M.* Syllabus of a Twelve Lectures on History and Historians. Berkley: The University Pr., 1905. P. 21-27. 40 p.
- Vincent J.M.* Historical Research an Outline of Theory and Practice. N.Y.: Henry Holt and Co., 1911. P. 3-12. 368 p.
- Маловичко Сергей Иванович** – доктор исторических наук, профессор кафедры истории Московского государственного областного гуманитарного института; malovichko@gmail.com

Р. Б. КАЗАКОВ

ИЗ ИСТОРИИ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ В РОССИИ XIX В. Н. М. КАРАМЗИН КАК ИСТОРИОПИСАТЕЛЬ

В статье анализируются элементы историографического исследования в сочинениях Н.М. Карамзина (1766–1826), а также его представления о практиках историописания, приемах изучения источников и построения исторических трудов, в частности «Истории государства Российского».

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, О.М. Медушевская, историография, история исторической науки, источниковедение, «История государства Российского».

В работах, посвященных анализу и осмыслению научного творчества Ольги Михайловны Медушевской, до сих пор недостаточно говорилось о ней как об историке источниковедения XIX–XX вв. Об этом не было сказано в материалах конференции, посвященной ее памяти¹, не выделялся специально сюжет о проблематике истории источниковедения в исследованиях Ольги Михайловны в некоторых статьях, анализировавших ее путь в науке². Во время обсуждения книги Медушевской в журнале «Российская история» С.С. Минц отметила, что «в “Теории и методологии когнитивной истории” содержится достаточно полная картина истории источниковедения. В ней подчеркивается роль европейского опыта (немецкого, французского, английского и итальянского) в становлении науки о методе истории»³. О.М. Медушевская – автор нескольких учебных пособий и многих статей, посвященных истории развития источниковедения в России и за рубежом. Хронологический охват этих работ широк: вторая половина XIX – и практически начало XXI века. В наиболее высокой степени концептуализации исследования по истории источниковедения представлены в учебных пособиях Ольги Михайловны и учебном пособии 1998 г.⁴ О.М. Медушевская была автором разделов теории и истории источниковедения в программах университетского курса «Источниковедение». Она же разработала теоретические разделы в программах курсов вспомогательных исторических дисциплин⁵. Пожалуй, в этих работах ярко проявилась одна из ее иссле-

¹ Вспомогательные исторические дисциплины... 2008; Казаков, Румянцева 2009.

² Казаков, Румянцева. 2009; 2010; 2011.

³ Минц. 2010. С. 139.

⁴ Медушевская О.М. 1979; 1985; 1988; 1990; 1998, с. 35-121 (2000, 2004); 2001.

⁵ Вспомогательные исторические дисциплины... 2004.

довательских стратегий – исследования в области теории и методологии истории, источниковедения, исторической географии, комплекса вспомогательных исторических дисциплин у нее неразрывно связаны с историей этих отраслей гуманитарного знания.

В работах О.М. Медушевской мы не найдем сюжетов, специально посвященных истории источниковедения в России в XVIII – первой половины XIX в. Однажды в беседе с Е.И. Каменцевой и О.М. Медушевской я услышал от них о скептическом отношении А.И. Андреева, заведовавшего кафедрой вспомогательных исторических дисциплин, к задумке недолго работавшей на кафедре О.А. Яковлевой подготовить докторскую диссертацию, посвященную анализу Примечаний к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. А.И. Андреев не находил эту проблему заслуживающей докторского исследования. С тех пор прошло более шестидесяти лет, и история источниковедения пополнилась многими серьезными трудами, написанными преподавателями кафедры вспомогательных исторических дисциплин, как помнившими А.И. Андреева (также автора трудов по истории источниковедения), так и пришедшими на кафедру в последующие десятилетия.

Так получилось, что мне не раз приходилось говорить об истории источниковедения, в частности о приемах работы с источниками Н.М. Карамзина, в присутствии Ольги Михайловны, представлять такие доклады на конференциях, а одно из вступлений прямо вытекало из положений программного доклада О.М. Медушевской «Методология истории как строгой науки»⁶. Здесь я предполагаю прояснить некоторые историографические контексты устных замечаний А.И. Андреева и выявить элементы историографических наблюдений в трудах Карамзина.

Особенности «карамзинской» советской историографии 1940-х – начала 1960-х гг. Предпосылки изучения творчества Н.М. Карамзина можно увидеть уже в его собственных отзывах о своем творчестве. В статье для журнала «Le Spectateur du Nord» «Несколько слов о русской литературе» (1797) Карамзин изложил, по словам Ю.М. Лотмана, «всю историю русской литературы, увиденную в перспективе идей автора “Писем русского путешественника”»⁷. В презентации своих «Писем русского путешественника» Карамзин охарактеризовал себя в первую очередь как человека, интересующегося прошлым. Даже повседневность путешественника по Европе конца XVIII в. интерпретировалась

⁶ Медушевская. 1999; Казаков. 1999.

⁷ Карамзин. 1984. С. 678.

им как следование славным традициям прошлого: «Все возбуждало его любопытство: достопримечательности городов, оттенки, отличающие манеру жизни их обитателей, памятники, напоминавшие ему какие-либо исторические события, какие-либо славные происшествия, следы великих людей, уже усопших, приятные ландшафты, зрелище плодородных полей и вид огромного моря. Порой он посещает старый замок, покинутый и в развалинах, чтобы там помечтать в свое удовольствие, теряясь мечтами во тьме прошедших времен; порой он является на пороге знаменитого автора, не имея другой рекомендации, кроме своего восторга перед его творениями. И почти всегда он принят хорошо. Но иногда он испытывал и маленькие неприятности. Кант, Николаи, Рамлер, Мориц, Гердер его принимают с дружелюбием и сердечностью, его очаровавшей. Тогда ему казалось, что он перенесен во времена древности, когда философы отправлялись увидеть себе подобных в страны самые отдаленные и находили везде хозяев гостеприимных и друзей искренних». В то же время в этих автохарактеристиках Карамзин брал на себя немалую ответственность как автор «прозаического произведения, вызвавшего в России некоторую сенсацию», и заявлял о себе как об исследователе, предлагая читателям гамбургского журнала, выходившего по-французски, «судить о нашей манере смотреть на вещи, описывать и анализировать произведения словесности»⁸.

Творчество Н.М. Карамзина будет в центре внимания не только историков словесности, но и историков русской исторической науки на протяжении всего XIX и начала XX в. XIX век даст основной корпус публикаций сочинений и писем Карамзина, а также воспоминаний о нем. В советской историографии (до юбилейного для Карамзина 1991 г.) за ним прочно укрепилась характеристика представителя консервативного течения дворянского направления в исторической науке, «защищавшего интересы дворянско-помещичьего класса». Эти разные по форме, но одинаковые по содержанию формулировки, став штампом (иногда писали: «представитель реакционного течения...»), повторялись вплоть до 1990-х гг.⁹ В обобщающих трудах по историографии русской истории наиболее взвешенную оценку Карамзину дал Н.Л. Рубинштейн, посвятивший специальный параграф «“История” и ее источники» приемам работы с источниками в «Истории государства Российского»¹⁰. Работы последующего времени повторяли однобокие и пристрастные суждения о

⁸ Карамзин. 1984. С. 451-452.

⁹ Сборник материалов по истории исторической науки... С. 10.

¹⁰ Рубинштейн. 1941. С. 166-188.

«реакционной» сущности Карамзина, о повторении исторической схемы М.М. Щербатова и буквальном следовании за текстом Щербатова. Мало кто в советской историографии пытался увидеть истоки этих оценок. «Генеалогия по восходящей» уводила от оценок Н.Л. Рубинштейна к П.Н. Милокову, многие выводы «Главных течений русской исторической мысли» (1897; 1913; 2002) которого воспроизводил Рубинштейн, и далее – к С.М. Соловьеву¹¹. В 1940-50-е гг. книга Н.Л. Рубинштейна, глава Г.А. Гуковского в академической «Истории русской литературы» и раздел И.К. Додонова в «Очерках истории исторической науки в СССР» в основном и составляли корпус обобщающих исследований монографического характера о Н.М. Карамзине¹².

Отдельное место в историографии занимает масштабное исследование П.Н. Беркова «История русской журналистики XVIII века» (1952) со специальным разделом «Периодические издания Н.М. Карамзина». Детальный анализ обстоятельств издания, структуры и содержания «Московского журнала», альманахов «Аглая» и «Аонида» превратился в очерк русской интеллектуальной культуры конца XVIII – начала XIX в., при этом П.Н. Берков избежал предвзятых, идеологически ангажированных характеристик, что было необычно.

Вторая половина 1950 – начало 1960-х гг. – это время подготовки и начала выхода сочинений великих русских историков В.Н. Татищева, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского. «История государства Российского» в те годы не появилась, но, видимо, в контексте повышающегося интереса к истории исторической науки в СССР можно рассматривать диссертации И.А. Кудрявцева (защищенную в МГИИ в 1955 г. под руководством М.Н. Тихомирова, редактировавшего издания сочинений В.Н. Татищева и В.О. Ключевского) и В.И. Федорова (защищенную в том же году в МГПИ)¹³. Отмечу, что в историографии практически не используется принципиально важная для изучения корпуса источников, привлеченных Карамзиным при сочинении «Истории», работа Тихомирова «Синодальное собрание рукописей в “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина», где он идентифицировал несколько рукописей Синодального собрания, использованных историографом, и коротко охарактеризовал его приемы изучения летописных произведений¹⁴. Источники, на которые опирался Карамзин в своей «Истории», до

¹¹ Милоков. 1898. Гл. V: Карамзин и его современники. С. 147-258; Соловьев. 1901.

¹² Гуковский. 1941. С. 55-105; Очерки истории исторической науки... Т. 1.

¹³ Кудрявцев. 1955; Федоров. 1955.

¹⁴ Тихомиров. 1962.

сих пор не идентифицированы полностью, хотя каждый том не завершённого ещё академического издания «Истории государства Российского» сопровождается их аннотированным указателем. Об источниках «Истории Российской» В.Н. Татищева писалось много в контексте так называемых «татищевских известий», а о корпусе источников, которые использовал М.М. Щербатов, известно очень мало¹⁵.

Положение стало меняться с конца 1950-х гг., преимущественно в сфере литературоведения, после выхода статьи Ю.М. Лотмана об эволюции мировоззрения Карамзина. Вероятно, в науке о русской литературе внимание к творчеству Карамзина не ограничивалось столь жестко идеологическими рамками как в исторической науке. Впрочем, кандидатская диссертация Лотмана, одного из крупнейших исследователей творчества историографа, должна была быть выполнена в традиционной для начала 50-х гг. риторике и жесткой оппозиции «Карамзин – Радищев»¹⁶. С.О. Шмидт однажды предположил, что идеологические препоны, не дававшие историкам двигаться вперед в исследовании исторических сочинений Карамзина, издания «Истории государства Российского», записки «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» и других сочинений, восходили к ангажированным и публицистически заостренным характеристикам из работ В.И. Ленина. Хрестоматийно известные в советское время даже школьникам слова статей «Памяти Герцена» («Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию») и «О национальной гордости великороссов» («Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов») давали канонический корпус имен тех, кто всегда должен был «бороться» и с мировоззрением, и с эстетикой Карамзина¹⁷. Так, предельно резкие характеристики Карамзину давались в эти годы в работах по русской историографии В.И. Астахова¹⁸.

Рубежом в советской историографии творчества Карамзина стал юбилейный 1966 год – двухсотлетие со дня рождения историографа.

¹⁵ Библиография русского летописания... 1962.

¹⁶ Лотман. 1957; 1951.

¹⁷ Ленин // ПСС Т. 21. С. 261; ПСС. Т. 26. С. 107.

¹⁸ Астахов. 1959; 1965.

П.Н. Берков и Г.П. Макогоненко подготовили двухтомник «Избранных сочинений», где кроме «Писем русского путешественника» и повестей публиковались стихи, некоторые статьи и главы из «Истории государства Российского». Двухтомнику была предпослана объемная вступительная статья, а в примечаниях к публикуемым главам «Истории» составители отмечали: «Полное издание многотомной “Истории”, снабженной специальным научным комментарием, дело будущего», и ниже: «...Опущены ценные, но носящие специальный характер, примечания Карамзина»¹⁹. В 1966 г. вышел томик стихотворений Карамзина в серии «Библиотека поэта», подготовленный Лотманом²⁰. Эти издания значили очень много для исследователей творчества Карамзина. Вышедшие в ведущих советских издательствах «Художественная литература» и «Советский писатель», они вводили Карамзина в корпус классиков литературы, признанных и легитимных для советского времени. Положение Карамзина как историка, чье творчество может стать объектом изучения историков исторической науки, в историографии было закреплено диссертацией (1969), а затем и книгой Л.Г. Кислягиной²¹. И хотя в них речь шла о «доисторическом» этапе в жизни Карамзина, тем самым ставилась проблема исследования творчества Карамзина-историка. Особое внимание к «Истории государства Российского», процессу ее создания, приемам работы Карамзина с источниками будет проявлено на следующих этапах развития «карамзинской» историографии – в 1960-80-е гг. и в период с начала 1990-х гг.

В 1940-е — начале 1960-х гг. не появилось ни одного монографического исследования о Н.М. Карамзине, а первая в советское время биография историографа была опубликована на английском языке²².

В «карамзинской» историографии в настоящий момент имеется несколько тысяч исследований, посвященных его творчеству, анализу отдельных аспектов его деятельности и отдельных произведений. Однако и в начале второго десятилетия XXI века приходится констатировать, что Карамзин остается одним из немногих классиков русской литературы и исторической науки, не имеющих академического полного собрания сочинений и научного издания «Истории государства Российского».

И если в историографии отмечается специальный исследовательский интерес Н.М. Карамзина к истории литературы, творчеству лите-

¹⁹ Карамзин. 1964. Т. 2. С. 547-548.

²⁰ Карамзин. 1966.

²¹ Кислягина. 1976.

²² Kochetkova. 1975.

раторов и историописателей прошлого, то возможно ли в трудах Карамзина выделить его наблюдения по истории самой исторической науки?

Н.М. Карамзин как историк исторической науки. Подобная постановка вопроса может показаться надуманной и не имеющей под собой оснований. Началом научной историографии в истории исторической науки в России принято считать труды С.М. Соловьева, особо выделяя 1820-40-е гг. как подготовительный этап или период становления историографии как научной дисциплины. Н.М. Карамзин находится за пределами этого процесса, потому что в эти годы дописывались последние тома «Истории государства Российского», кроме того, считается, что общественно-политические, этические, исторические представления Карамзина к этому времени давно сформировались и неоднократно были проверены жизнью. В литературе также указывалось на важность для становления историографии как научной дисциплины исторических трудов XVIII века, давших необходимый запас наблюдений и первых отрывочных суждений об истории исторической науки²³.

Поставить вопрос именно таким образом позволяет имеющийся корпус историографических источников, в который входят, в первую очередь, поэтические и прозаические сочинения Карамзина, в которых он высказывал свои взгляды на развитие русской литературы и исторической науки. Особое место здесь принадлежит «Письмам русского путешественника», которые все пронизаны историческими ассоциациями и параллелями, содержат рассуждения о том, как надо писать историю и каких авторов следует считать классиками жанра. Публикации «Московского журнала» (1791–1792), в частности, рецензии на иностранные издания и спектакли, могут свидетельствовать о проблематике, которая волновала Карамзина в начале 1790-х гг., и о чем наиболее важно Карамзин старался сообщить своим читателям. В «Историческом похвальном слове Екатерине II» Карамзин, может быть, впервые в систематическом виде излагал свои представления об идеалах просвещенного государства и качествах просвещенного монарха, главная задача которого состояла в обеспечении блага подданных, и характеризовал состояние наук и просвещения в современной ему России.

Полагаю возможным утверждать, что Карамзин-историк начинал формироваться не с момента начала работы над «Историей» и даже не в период европейского путешествия, а гораздо раньше. Его исторические представления складывались уже в первых переводческих опытах 1783 г., когда ему не исполнилось еще и семнадцати лет. Начинающий литератор

²³ Проблемы историзма...; Колесник. 1993; Кочеткова. 1994.

работал с произведениями, посвященными в первую очередь историческим событиям (начиная с идиллии С. Геснера «Деревянная нога» и, возможно, самого первого не дошедшего до нас перевода). И всякий раз это были сочинения, где основной авторский текст сопровождался редкими или многочисленными примечаниями, вводившими авторское повествование в контекст истории. Иначе говоря, свой творческий путь Карамзин начинал с сочинений, так или иначе дававших повествование о прошлом, в которых задавался формат будущих научных трудов: основной текст сопровождается научно-справочным аппаратом к нему и требует от автора и читателя значительных аналитических усилий.

Следующий хронологически комплекс – это произведения времени «Вестника Европы», где Карамзин размышлял о соотношении наук о природе и наук о человеке, совершенствовал приемы исторического исследования, публиковал пространные суждения или короткие замечания о зарубежных авторах и русских историописателях («Пантеон российских авторов»). И для «Московского журнала», и особенно для «Вестника Европы» важно учесть тематику публикуемых материалов, структуру и наполнение разделов, персоналии, которым уделено внимание. Оба журнала создавались и формировались самим Карамзиным, наполнялись в значительной степени его материалами, поэтому могут и в целом рассматриваться как его произведения, в которых содержатся размышления на темы из истории науки в России и оценки, часто беглые, русских и иностранных авторов.

Переписка Карамзина обладает некоторыми особенностями по сравнению с его литературным наследием: в письмах содержатся краткие (в несколько слов) отзывы об исторических трудах, которые Карамзин в это время изучал или хотел получить в руки для изучения, прося о присылке таких книг своих друзей и помощников. Переписка, исследованная целиком, позволяет реконструировать литературные интересы Карамзина, его потребности в исторических источниках и сочинениях по истории. Кроме того, письма к И.И. Дмитриеву и В.М. Карамзину содержат наиболее развернутые и важные свидетельства Карамзина о сочиняемых томах «Истории» – это своеобразная «автоисториография».

Известно не так уж много отзывов Карамзина на труды его современников (отзыв на книгу К.И. Арсеньева по истории древней Греции, возникшую в сложных обстоятельствах и при сложных отношениях, переписку по поводу исследовательских проектов З.Я. Доленги-Ходаковского²⁴, оценки трудов современных Карамзину ученых, например, исто-

²⁴ Казаков. 1994; 2001.

риков И.Ф.Г. Эверса и И.Ф. Круга, историка медицины В.М. Рихтера, высказанных в I и VI томах «Истории государства Российского»), но и они дают интересный материал для представления о Карамзине как историке исторической науки, творившейся на его глазах.

К сожалению, корпус источников по проблеме имеет существенные лакуны: практически не осталось черновиков литературных произведений Карамзина, редакционных материалов его журналов и поэтических альманахов. Известно, что он сам уничтожал свои черновики, многое погибло в пожаре Москвы в 1812 г. Сохранились отдельные черновые и беловые листы «Истории государства Российского», черновики и перебеленная рукопись XII тома. Отмечу, что в распоряжении современного исследователя нет черновиков Примечаний к «Истории государства Российского», за единичными исключениями черновые листы – это текст «Истории». В этой ситуации судить о приемах работы с источниками и этапах создания «Истории» возможно лишь при сравнении черновых листов с изданиями или в редких случаях (XII том) – листов первой и второй черновой рукописи с листами перебеленной рукописи²⁵.

Основным источником для изучения исторических представлений Карамзина становится «История государства Российского». В первые восемь томов, вышедших вторым изданием при жизни историографа, Карамзин внес исправления и дополнения принципиального характера, в том числе и упомянутые характеристики трудов Эверса, Круга, Рихтера и других историков. Исправления и дополнения ко второму изданию, а также пометы историографа на собственном экземпляре второго издания, воспроизведенные позднее, имеют непосредственное отношение к теме: специалистами давно замечено, что нигде в «Истории» Карамзин не дал отдельного историографического очерка с характеристикой трудов предшественников (так, как он сделал это, перечислив в специальном разделе источники российской истории), не полемизировал он и с авторами критических отзывов на «Историю», порою весьма несправедливых. Однако при сравнении текстов двух изданий «Истории» выясняется, что Карамзин чрезвычайно внимательно относился к критике и отвечал на нее самим текстом и Примечаниями своего труда: Карамзин приводил дополнительные данные источников, стараясь усилить свою аргументацию, делал ее более обстоятельной и подробной, иногда менял свои утверждения на предположительные высказывания. Кроме того, в этих дополнениях он использовал новейшие исторические труды и материалы, подготовленные для него друзьями и коллегами. Так появились, например,

²⁵ Казаков. 2002.

сведения по топонимике населенных мест, рек, собранные и сообщенные Карамзину Доленгой-Ходаковским, о чем историограф обязательно упоминал, описание обстоятельств открытия Судебника Ивана III и пр.

В Примечаниях к тексту «Истории» находятся наиболее важные карамзинские характеристики трудов историописателей прошлого. Любопытно, что Карамзин в небольшом по объему примечании умел в нескольких строках дать своеобразный историографический этюд – обзор трудов и мнений историков по тому или иному вопросу, сопроводив их своими оценками. Иногда это совсем короткие упоминания: «Г. Буле весьма удовлетворительно изъяснил надпись сего памятника», «Некоторые Ученые (не говорю уже о Мавро-Урбинах, Раичах и подобных Историках), доказывают» и т. п. Есть и очень точные, краткие и исчерпывающие характеристики: «Таковыми и подобными историческими баснями отличался у нас какой-то Диакон Холопьяго монастыря (дольше существующего при устье реки Мологи), именем Тимофей Каменевич Рвовский. Он жил и писал около 1699 году. Я нашел его сочинения в Синодальной библиотеке...; мы упомянем об нем в других примечаниях».

Чаще же Карамзин давал беглый обзор мнений историописателей, стараясь перечислить их в хронологическом порядке. Трудно не увидеть здесь стремления не просто к возможно более полному своду мнений, но и желания дать эти мнения в их последовательности, иными словами, дать представление читателю о том, как развивалась историческая наука в процессе изучения конкретного сюжета. Так, рассказывая о народах, населявших просторы России в позднеантичные времена и предшествовавших славянам, Карамзин приводил мнения античных авторов (Страбон, Плиний, Тацит и др.), затем ссылаясь на русских историков XVIII в.: «...все [сарматы] говорили одним языком: каким? не знаем, вопреки Татищеву, который беспрестанно толкует нам слова Сарматские, воображая, что сей язык и Финский есть одни. Миллер скромным образом заметил ошибку; но Русские Историки не послушались его, и Болтин также говорит о языке Сарматском, неизвестном никому в ученом свете». В этом же Примечании Карамзин дал косвенную оценку отзыва историка об историке: «Обширная Птолемея Сарматия, изображаемая на всех картах древнего мира, действительно существовала только, по выражению ученого Тунмана... в голове сего Александрийского Математика и Географа»²⁶. Вряд ли это суждение было отрефлексировано Карамзиным, но и здесь уже можно увидеть начала того, что в XX в. станет историей самой историографии.

²⁶ Карамзин. 1988. Кн. 1, т. 1. Примеч. 5, 20, 32, 91.

Особенно показательны примечания к тем страницам «Истории», где Карамзину приходилось разбирать остродискуссионные для XVIII – начала XIX в. проблемы, например, происхождения славян и руси, призвания варягов, крещения Руси и др. Не следует преувеличивать степень «историографичности» историографических наблюдений Карамзина: он не оставил сколько-нибудь объемных, пространных текстов по истории исторической науки, где были бы осмыслены ее проблемы и задачи. Однако текст и примечания «Истории государства Российского» в комплексе с другими произведениями Карамзина позволяют реконструировать не только его историографические знания, но и его оценки развития исторической науки в лице ее наиболее заметных представителей.

Упоминания великих историков древности и западноевропейских историописателей имеются в Предисловии к «Истории государства Российского». Анализ структуры начальных разделов, предшествующих собственно тексту «Истории», показывает, как Карамзин встраивал информацию по истории исторической науки в целое своего труда.

Структура «Истории государства Российского», начиная от посвящения императору и заканчивая генеалогическими схемами, соответствует структуре научного труда (в будущем – монографического труда, квалификационной работы), какой она, видимо, начнет складываться под воздействием именно «Истории» Карамзина. Элементы структуры текста «Истории» изначально имели функции сходные с функциями элементов структуры текстов монографических трудов и квалификационных работ, появившихся после выхода 12-го тома «Истории» (1829), т. е. окончания ее печатания. «Посвящение» императору (которое не имеет самостоятельного заглавия) выполняет функции Предисловия в монографиях новейшего времени, где автор благодарит тех, кто помог ему в осуществлении его замысла. «Предисловие» Карамзина включает характеристику заявленной проблемы: «История в некотором смысле есть священная книга народов...», к своеобразной проблематизации Карамзин не раз прибегал в «Предисловии»: «...сделать Российскую Историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей. <...> Мы одно любим, одного желаем: любим отечество...».

В «Предисловии» подробно рассуждалось об актуальности создания «Истории»: «Правители, законодатели действуют по указаниям Истории...», «Но и простой гражданин должен читать Историю», «Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума!». Здесь можно видеть, что актуальность для Карамзина уже дифференцирована. Историю важно создать с точки зрения самой ощущавшейся проблемы, т. е.

необходимости создания такого историописания, которое было бы востребовано всеми и ставило бы Россию и россиян в один ряд с просвещенными народами, поскольку этот народ «смелостию и мужеством снискал господство над седьмою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внес их в общую систему Географии, Истории, и просветил Божественною Верою...». Такое произведение будет повествовать о героях и событиях равноценных и равноважных героям и событиям античной и средневековой западноевропейской истории (но Карамзин не забывал при этом упоминать Азию, Африку и Америку).

Но еще более любопытно, что актуальность выстраивалась и через представление об источниках историописания как произведениях, равноценных тем, из которых историописатели античные и западноевропейские черпали сведения о прошлом в своих трудах. Для Карамзина это в первую очередь летописи: «народ с жадностию внимал сказаниям Летописцев», «Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее», «я не мог дополнять Летописи», «я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках...»

«Предисловие» содержало характеристику источников, использованных Карамзиным, причем здесь давалась их обобщенная характеристика с точки зрения их информационного и художественного потенциала: «Прилежно истощая материалы древнейшей Российской Истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения...».

Здесь же анализировалась историография историописания, вполне адекватная поставленной проблеме: Карамзин называл имена и произведения тех, кто известен своими обобщающими трудами по истории народов и государств: античные авторы, Робертсон, Юм, Мюллер.

Карамзин предложил свою периодизацию истории России и обосновывал ее, споря с Шлецером, подробно охарактеризовал свой метод, который состоял в том, чтобы максимально использовать имевшиеся в его распоряжении источники: «Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми...». Наконец, здесь вполне четко артикулирована цель всего труда: «Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место».

Раздел «Об источниках Российской истории до XVII века» впервые в историографии стал самостоятельным и выделенным структурно и даже графически (Карамзин успел внести правку во второе издание «Истории»). Кроме того, это единственное место в «Истории», где примечания следуют под строкой, а не разнесены в разные части издания.

Структура глав «Истории» также вполне устоялась и стала гармоничной и логично выстроенной к моменту появления наборной рукописи томов «Истории». За номером и названием главы следовало аббреже. Текст сопровождался номером примечания (арабская цифра в круглых скобках). На полях были своеобразные подзаголовки глав – «фонарики». Они, вероятно, становились затем основой для аббреже, но аббреже не совпадали с текстом «фонариков». В состав колонтитула второго издания «Истории» входила дата, показывающая, о событиях каких лет идет повествование в тексте.

Неоднократно обращалось внимание на то, что Примечания вынесены в конец текста и, по сути, составили еще двенадцать томов выписок из источников, уточнений датировок событий, действующих лиц и пр. Связь основного текста и Примечаний к нему пока плохо прояснена: можно лишь говорить о том, что события истории или наиболее важные (по мнению Карамзина) исторические источники излагались и характеризовались в основном тексте, а затем сопровождались объемными выдержками или практически полной публикацией источников в Примечаниях. В историографии установлено, что Примечания писались после того, как был готов основной текст тома. Обращение же к черновым рукописям показывает, что номер примечания – это последнее, что вписывалось Карамзиным в оставленные пустыми круглые скобки белой рукописи (после этого оставались еще «фонарики» и аббреже; трудно говорить о том, кто писал их). Примечаний в белой рукописи оказывалось меньше по количеству (но они были объемнее и часто содержали источниковедческие и историографические мини-исследования тех или иных источников), нежели ссылок на имевшиеся в руках Карамзина источники, которые он проставлял на полях черновых рукописей «Истории».

Карамзин правил не только корректурные листы, но и тома второго издания «Истории». Он вписал несколько новых примечаний или поправок на страницах томов второго издания. Кроме того, к томам прикладывался список замеченных опечаток, где поправки часто носили смысловой характер. Такие опечатки учтены с необходимыми оговорками, насколько мне известно, лишь при издании 6-го тома «Истории», выполненном в издательстве «Наука»²⁷.

Работы последних лет, посвященные анализу всей совокупности произведений Н.М. Карамзина, начиная от его первых переводов, с максимально полным использованием доступных источников, позволяют

²⁷ Там же. Т. 6. С. 346-353.

существенно расширить наши знания о взглядах историографа, политических пристрастиях, представлениях об исторической науке и приемах исследовательской работы. Существенное приращение нового знания дает историографическое исследование трудов Карамзина, особенно их структуры, текстологических особенностей, приемов историописания.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Астахов В.И.* Курс лекций по русской историографии. Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1959. Ч. 1: До середины XIX в. 285 с.
- Астахов В.И.* Курс лекций по русской историографии (До конца XIX в.). Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1965. 584 с.
- Библиография русского летописания / сост. Р.П. Дмитриева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 354 с.
- Вспомогательные исторические дисциплины: учеб.-метод. модуль. М.: Изд-во Ипполитова, 2004. 419 с. (Я иду на занятия...).
- Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания : материалы XX междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г.: в 2 ч. М.: РГГУ, 2008. 739 с.
- Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания : материалы XXI междунар. науч. конф. Москва, 29-31 янв. 2009 г. / редкол.: М.Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. М.: РГГУ, 2009. 375 с.
- История русской литературы: в 10 т. Т. 5: Литература первой половины XIX века, ч. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 438 с.
- Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 1998. 701 с. То же: 2000, 2004.
- Казаков Р.Б.* К.И. Арсеньев и Н.М. Карамзин: из истории отношений // Российские университеты XVIII-XX веков в системе исторической науки и исторического образования: материалы междууз. конф. Воронеж, 1994. С. 24-27.
- Казаков Р.Б.* Заметки о формировании метода источниковедения в XVIII – первой четверти XIX в. // Точное гуманитарное знание : традиции, проблемы, методы, результаты: тез. докл. и сообщений науч. конф. / редкол.: В.А. Муравьев (отв. ред.) и др. М.: РГГУ, 1999. С. 40-48.
- Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф.* Конференция памяти О.М. Медушевской в Историко-архивном институте (31 января – 2 февраля 2008 г.) // Вестник РГГУ. М., 2009. № 4. С. 303-310.
- Казаков Р.Б.* Летописный «Список русских городов дальних и ближних» в исторической науке первой четверти XIX века: Н.М. Карамзин и З.Я. Доленга-Ходаковский // Археографический ежегодник за 2000 год / отв. ред. С.О. Шмидт. М.: Наука, 2001. С. 169-178.
- Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф.* О.М. Медушевская и формирование российской школы теоретического источниковедения // Российская история. 2009. № 1. С. 141-150.
- Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф.* Научное наследие Ольги Михайловны Медушевской // *Медушевская О.М.* Теория исторического познания: избр. произведения. СПб., 2010. С. 534-564.

- Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф. Научное наследие Ольги Михайловны Медушевской // Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики : Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской. М.: РГГУ, 2011. С. 9-36.
- Казаков Р.Б. Об особенностях текстологического изучения черновигов «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // Эдиционная практика и проблемы текстологии: докл. и сообщения Всерос. конф. 24-25 мая 1999 г. / вступ. Н.И. Басовская. М.: РГГУ, 2002. С. 54-64.
- Карамзин Н.М. Избранные сочинения: в 2 т. / вступ. ст., подгот. текста и примеч. П. Беркова и Г. Макогоненко. М.; Л.: Худож. лит., 1964. 2 т.
- Карамзин Н.М. История государства Российского: в 4 кн. / изд. подгот. под наблюд. Д.С. Лихачева и С.О. Шмидта. Репринт. М.: Книга, 1988-1989. 4 кн., 12 т.
- Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений / вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю.М. Лотмана. М.; Л.: Сов. писатель, 1966. 424 с. (Б-ка поэта).
- Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / изд. подгот. Ю.М. Лотман и др. Л.: Наука, 1984. 717 с.: ил. (Лит. памятники).
- Кислягина Л.Г. Формирование общественно-политических взглядов Н.М. Карамзина (1785–1803 гг.). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 198 с.
- Козлов В.П. Российская археология конца XVIII — первой четверти XIX века. М.: РГГУ, 1999. 415 с.
- Колесник И.И. Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1993. 207 с.
- Колесник И.И. Развитие историографической мысли в России XVIII – первой половины XIX века: учеб. пособие. Днепропетровск: ДГУ, 1990. 81 с.
- Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма: (эстет. и худож. искания). СПб.: Наука, 1994. 281 с.
- Кудрявцев И.А. «История государства Российского» Н.М. Карамзина в русской историографии: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.: МГИАИ, 1955. 20 с.
- Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Политиздат, 1969. Т. 26. С. 106-110.
- Ленин В.И. Памяти Герцена // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Политиздат, 1968. Т. 21. С. 255-262.
- Лотман Ю.М. А.Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1951. 20 с.
- Лотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Н.М. Карамзина (1789–1803) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1957. Вып. 51: Труды ист.-филол. фак. С. 122-162.
- Медушевская О.М. История источниковедения в XIX-XX вв.: учеб. пособие / отв. ред. Б.С. Илизаров. М.: МГИАИ, 1988. 71 с.
- Медушевская О.М. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины в зарубежной архивистике: аналит. обзор. М., 1990. 40 с. (Обзорная инф. / Главархив СССР, ВНИИДАД, ОЦНТИ; № 47).
- Медушевская О.М. Источниковедение социалистических стран: учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1985. 103 с.
- Медушевская О.М. Источниковедческое научно-педагогическое направление: гуманитарное знание как строго научное // Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института: сб. / сост.: Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева; отв. ред. В.А. Муравьев. М.: РГГУ, 2001. С. 8-32.

- Медушевская О.М.* Методология истории как строгой науки // Точное гуманитарное знание: традиции, проблемы, методы, результаты : тез. докл. и сообщений науч. конф. / редкол.: В.А. Муравьев (отв. ред.) и др. М.: РГГУ, 1999. С. 15-23.
- Медушевская О.М.* Раздел 2: Становление и развитие источниковедения // Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998. С. 35-121. (То же: 2000, 2004).
- Медушевская О.М.* Современная буржуазная историография и вопросы источниковедения: учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1979. 72 с.
- Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. Изд. 3-е. СПб.: М.В. Аверьянов, 1913. XII, 342 с.
- Миц С.С.* Взгляд на историю как точную науку. О.М. Медушевская о связи современного источниковедения с философским осмыслением роли истории в изучении человеческого сознания // Российская история. 2010. № 1. С. 137-139.
- Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1 / под ред. М.Н. Тихомирова. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 692 с.
- Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX в. / отв. ред.: Г.П. Макогоненко, А.М. Панченко. Л.: Наука, 1981. 292 с. (XVIII век; Сб. 13).
- Рубинштейн Н.Л.* Русская историография: учеб. пособие. М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. 659 с.
- Сборник материалов по истории исторической науки в СССР (конец XVIII – первая треть XIX в.): учеб. пособие / сост. А.Е. Шикло; под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. шк., 1990. 288 с.
- Соловьев С.М.* Собрание сочинений Сергея Михайловича Соловьева. СПб.: Общественная польза, 1901. 1620 с.
- Тихомиров М.Н.* Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 183 с.
- Федоров В.И.* Исторические повести Н.М. Карамзина: (к характеристике лит.-обществ. взглядов Н.М. Карамзина и его современников): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МГПИ, 1955. 17 с.
- Kochetkova N.D.* Nikolay Karamzin / Natalya Kochetkova. Boston: Twayne Publ., 1975. 154 p. (Twayne's world authors ser.).

Казаков Роман Борисович – исследователь факультета истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; rkazakov@hse.ru

Н. В. НЕКРАСОВА

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В. И. КОЛОСОВА В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИОГРАФИИ

В статье предпринята попытка классификации историографических источников – сочинений тверского историописателя В. И. Колосова (1854–1919). Классификация производится по видовому признаку, в соответствии с концепцией Научно-педагогической школы источниковедения. Автор делает предварительный вывод о преобладании социально ориентированных сочинений в творчестве В.И. Колосова.

Ключевые слова: В.И. Колосов, О.М. Медушевская, источниковедение историографии, классификация историографических источников, социально ориентированный и научно ориентированный типы историописания.

Разработка теоретических основ источниковедения историографии и принципов классификации историографических источников началась в советское время¹, но остается по-прежнему актуальной². Пока мы можем говорить о дальнейшем формировании этого предметного поля. Еще в 2002 г. в докладе на конференции «Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания» О.М. Медушевская отмечала, что сформировалась особая область, предметом которой является эпистемология исторического познания, ее теория, метод и исследовательская практика. Цель данной предметной области – «совершенствование инструментария достижения нового знания»³. Речь шла о двух направлениях, двух «проектах», прослеживающихся в этой области. Первый – источниковедческий, второй – историографический. «Становление источниковедения историографии вполне закономерно выступает как одно из актуальных направлений науки и преподавания в рамках современной методологии исторического знания», заключила О.М. Медушевская⁴.

Для современной историографии характерно рассмотрение местного историописания как самостоятельного объекта изучения, как особой историографической практики и как особого социокультурного явления. Растущее внимание историков к проблемным полям местной,

¹ Нечкина. 1965. С. 6-26; Шмидт. 1997. С. 119-129; Пушкарев. 1980. С. 102-108; Зевелев. 1987.

² См.: Маловичко. 2012. С. 11-24.

³ Медушевская. 2002. С. 22.

⁴ Там же.

региональной, новой локальной историй, к формам конструирования локальной идентичности и исторической памяти дает основание считать изучение творчества конкретного местного историописателя актуальной проблемой изучения истории истории. Важность исследования местного историописания состоит еще и в том, что Научно-педагогическая школа источниковедения актуализировала проблему научно ориентированного и социально ориентированного типов исторического знания⁵. Вместе с тем изменение отношения к человеческой субъективности и индивидуальности, возрастание интереса к субъектам, конструирующим прошлое, необходимость возвращения индивида в историю, привели к расширению пространства биографического метода. Реконструкция интеллектуальной биографии историка предполагает, на мой взгляд, прежде всего *источниковедческий анализ* его сочинений.

В процессе исследования я сталкиваюсь со следующими проблемами, напрямую связанными с заявленной темой. Первая, теоретическая – классификация историографических источников. Вторая, практическая – применение такой классификационной системы к трудам конкретного автора и определение типов историописания, к которым можно отнести его исторические работы. Для решения первого вопроса необходимо акцентировать внимание на определении историографического источника и принципах классификации историографических источников. Под историографическим источником я, в соответствии с феноменологической концепцией Научно-педагогической школы источниковедения, понимаю произведение историка, считая, что его базовым для источниковедения историографии понятием⁶. Исторические источники иных видов, помогающие воссоздавать «атмосферу творчества, вехи жизни автора, его общественно-политические взгляды, ценностные ориентиры, особенности его натуры» и т.д., отношу к «вспомогательным»⁷.

Видовая классификация исторических источников – это наиболее логичная классификация, определяющая их видовой состав по целеполаганию или замыслу автора источника, его целенаправленной деятельности по созданию своего произведения. О.М. Медушевская выделяла два способа классификации исторических источников: «Классификация интеллектуального продукта как исторического источника: естественная (видовая) – по признакам, выражающим структурно- функциональную предназначенность продукта (его значение в действующем сооб-

⁵См., например: *Маловичко*. 2010. С. 21-28; *Маловичко, Румянцева*. 2011. С. 7-18.

⁶Источниковедение.ру: страница Науч.-пед. школы источниковедения...

⁷См.: *Корзун*. 2000. С. 22.

пчестве); искусственная (тематическая) – представляющая набор единиц продукта и пересказ содержания по параметрам, заданным извне»⁸.

При анализе корпуса историографических источников, принадлежащих определенному историку или историописателю, возникает соблазн сгруппировать их по тематическому, хронологическому и др. признакам, т.е. систематизировать, оценивая источники с точки зрения сугубо практического применения в историческом исследовании. Применительно к наследию В.И. Колосова такая систематизация может включать группы текстов по истории Твери, церковной истории, археологии, проблемам преподавания истории и т.п.

К видам историографических источников, основываясь на принципе целеполагания автора (и соблюдая основной принцип Научно-педагогической школы источниковедения – признание чужой одушевленности), следует отнести: монографии, статьи, предисловия к публикациям исторических источников (как разновидность статьи), диссертации, авторефераты диссертаций, доклады, тезисы докладов (сообщений) научной конференции (съезда, симпозиума), некрологи, рецензии, отзывы, тексты лекций или лекционные курсы, учебные пособия, учебно-методические пособия, учебники, программы учебных курсов, рефераты, речи, очерки, путеводители, обзоры. Эта видовая структура должна, конечно, дополняться и уточняться, т.к. видовой состав историографических источников меняется от нового времени к новейшему.

Тверской историк Владимир Иванович Колосов оставил достаточно обширное и разнообразное творческое наследие. Выпускник Санкт - Петербургской духовной академии, преподаватель всеобщей и русской истории в Тверской духовной семинарии, историк, археолог, археограф, хранитель Тверского историко-археологического музея, товарищ председателя Тверской ученой архивной комиссии (далее ТУАК), председатель совета Тверского общества любителей истории, археологии и естествознания, В.И. Колосов – автор более 50 опубликованных работ по истории Тверского Верхневолжья и церковной истории.

На протяжении сорока лет (с конца 70-х годов XIX в. и до своей смерти в 1919 г.) В.И. Колосов публиковал свои сочинения в московских и петербургских типографиях отдельными изданиями, а также в Журнале Министерства народного просвещения, журнале «Русская старина», журнале «Тверская старина», в неофициальной части Тверских губернских ведомостей, Тверских епархиальных ведомостей, отдельных изданиях Тверской ученой архивной комиссии, в сборнике «Общества

⁸ Медушевская. 2008. С. 353.

любителей археологии, истории, естествознания», Трудах второго областного Тверского археологического съезда, отдельными изданиями в типографиях Твери, Петербурга и Москвы.

Конкретное исследование ставит задачи, связанные с отнесением того или иного произведения к определенному виду историографического источника, соотносясь с замыслом автора (это вторая практическая проблема исследования). Проблема эта достаточно сложна, т.к. целеполагание, замысел автора не всегда соответствуют реализованному результату и не всегда отрефлексирован автором сочинения. На данном этапе исследования я предварительно провела следующую классификацию сочинений В.И.Колосова⁹: *статья*¹⁰; *предисловие к изданию исторического источника*¹¹; *доклад*¹²; *рецензия*¹³; *некролог*¹⁴; *очерк*¹⁵.

Я выделяю основные виды исторических сочинений в творческом наследии В.И. Колосова – статья и очерк.

Как и многих других местных историков, Колосова интересовали проблемы, связанные с историей славянской колонизации и с историей образования древнерусского города. Исследование истории возникновения родного города – одна из самых популярных тем местных историописателей. Формирование «места памяти» – установление точной даты основания города и, как следствие, организация юбилейных мероприятий – одна из важнейших забот провинциальных исторических обществ.

В статье «Время основания города Твери» Колосов ставит цель установить дату первого упоминания Твери в источниках. Он обстоятельно приводит мнения историков, исследовавших этот вопрос и отмечает, что «тверской археолог Диомид Карманов», который «вполне полагается на Татищева» не имел достаточных оснований в утверждении даты основания города в 1181–82 гг.¹⁶ Колосов критикует В.С. Борзаковского¹⁷, который «к сожалению, не пришел к решительным выводам ... хотя и собрал много данных»¹⁸ (Борзаковский «признает» дату основания Твери

⁹ Указывается наиболее характерное для данного вида сочинение.

¹⁰ Колосов. 1888 (а); 1888 (б); 1889 (а); 1890; 1893 (а); 1897; 1902; 1903 (б).

¹¹ Колосов 1893 (б).

¹² Колосов. 1906 (а); 1910 (ТГОМ. Н.А. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-9).

¹³ Колосов. 1903 (а).

¹⁴ Колосов. 1896 (б).

¹⁵ Колосов. 1889 (б); 1919.

¹⁶ Колосов. 1994. С. 132-139.

¹⁷ В 1876 г. в Санкт-Петербурге издано сочинение петербургского историка В.С. Борзаковского «История Тверского княжества». Этот труд являлся самым полным и серьезным исследованием истории Тверского княжества.

¹⁸ Колосов. 1994. С. 133.

1209 г., опираясь на летописное упоминание¹⁹). Далее Колосов вступает в полемику с Борзаковским по поводу свидетельства Уставной грамоты новгородского князя Всеволода Мстиславича от 1135 г., в одном из списков которой «ясно и определенно» упоминается «тверской гость». Борзаковский относится к свидетельству грамоты «с большим сомнением», Колосов же, приводя аргументы в пользу достоверности грамоты опирается «на нашего знаменитого историка С.М. Соловьева»²⁰. Говоря о принадлежности Твери к Новгородской земле в 1135 г., он опирается на исследование И.Д. Беляева «Русская земля перед прибытием Рюрика в Новгород»²¹ и на свое исследование «Стерженский и Лопастичский кресты в связи с древними водными путями на верхнем Поволжье»²². Далее, описывая события, происходившие, по его мнению, в 1181 г. в Твери, он ссылается на Н.М. Карамзина и В.Н. Татищева. И, наконец, заключает: город Тверь возник в конце XII в. при Всеволоде III, а «...уже с 1208 года, т.е. 27 лет спустя после 1181 года, летописи с несомненностью говорят о суждальском городе Твери, городе значительно уже укрепленном...»²³.

Дискутируя с Борзаковским, Колосов вместо привычного понятия «историческая критика» вводит понятие «здравая историческая критика», вероятно придавая слову «здравая» определенный смысл. Он эмоционально пишет о том, что Борзаковский пытается ослабить свои, как кажется Колосову, справедливые соображения об основании новгородцами поселения в устье Тверцы, «призывая на помощь историческую критику»²⁴. Опираясь на летописные источники и мнения профессиональных историков, автор, тем не менее, не до конца придерживается научной строгости в своем, по сути, историографическом очерке; не вполне ясно формулирует вывод. В.И. Колосов также не делает в тексте четкого различия между поселением и городом, обладающим одной из его основных функций в виде крепостных укреплений, хотя статья называется «Время основания *города* (курсив мой – Н.Н.) Твери». Однако, в отличие от своих коллег – местных историописателей, тверской исто-

¹⁹ Современные историки считают датой основания Твери 1208/09 г.: «Во всяком случае, можно считать установленным фактом, что в 1208/09 г. город Тверь уже существовал. В этом году войско, посланное великим князем против Новгорода, сделало остановку в Твери. Исследователи считают это первым надежным летописным упоминанием о городе Твери». (Клюг. 1994. С. 49).

²⁰ Колосов. 1994. С. 134.

²¹ Беляев. 1850. Кн. 7-8. С. 1-102.

²² Колосов. 1890. С. 9-10.

²³ Там же. С. 139.

²⁴ Там же. С. 138.

рик не призывает на помощь легенды и предания, а пользуется историческими источниками, пытается их анализировать.

Риторические приемы, которые использовал автор, вполне типичны для текстов местных историописателей, писавших о происхождении своего родного города²⁵. В.И. Колосов также не избежал обязательного интригующего вступления: «Вопрос о времени основания Твери до сих пор не решен еще вполне обстоятельно»²⁶. Он не свободен от неаргументированных суждений, например, когда говорит о «почти полной вероятности», «уже издавна было расположено» или «...в следующем году, вероятно даже...» и «...перестает быть невероятным, раз мы допустим»²⁷. Тем не менее, статья «Время основания города Твери» является, по моему мнению, научно ориентированным сочинением местного историописателя начала XX века.

В.И. Колосов – автор сочинения «История Тверской духовной семинарии»²⁸. Труд был издан в Твери («иждивением Высокопреосвященного Саввы, Архиепископа Тверского и Кашинского») ко дню 150-летнего юбилея семинарии. Задача, которую ставил автор – всестороннее исследование истории семинарии на основании опубликованных работ и документов библиотеки и архива семинарии, архива Тверской духовной консистории, архива Тверской губернской архивной комиссии, рукописей Тверского музея, предполагает создание *научного текста, монографии*. Работа довольно объемна – 464 страницы, имеет четкую структуру, разделена на 11 глав по хронологическому принципу, снабжена научно-справочным аппаратом, предисловием автора и приложением. Сочинение подробно освещает историю семинарии, начиная с тверской епархиальной славяно-русской школы и заканчивая современным автору состоянием семинарии. В приложениях – списки учителей семинарии с года ее основания. Списки снабжены биографическими данными учителей с указанием сочинений каждого из них. Имеются списки «замечательнейших учеников семинарии». В предисловии к сочинению по истории своей alma mater 35-летний историк В.И. Колосов пишет о своем замысле: «При составлении своего труда мы старались как можно меньше отвлекаться от предмета своего сочинения соображениями общего характера, всегда стремясь писать историю именно Тверской Духовной Семинарии... Будучи твердо убеждены, что в таком сложном и ответственном деле, как дело воспитания юношества, недос-

²⁵ См.: Маловичко. 2005. С. 19-20.

²⁶ Колосов. 1994. С. 132.

²⁷ Там же. С. 137-138.

²⁸ Колосов. 1889 (б).

таточно одного личного опыта, а необходим опыт целых поколений, и что только при помощи осмысленного знания прошлых судеб учебного заведения возможно отыскать наилучшие способы воспитательного воздействия на воспитанников, мы и стремились по мере своих сил и умения, путем этого *исторического очерка* (курсив мой – Н.Н.) облегчить родной для нас семинарии возможность дальнейшего развития в духе лучших прошлых деятелей ее»²⁹. Автор сам определяет вид своего сочинения – исторический очерк, а также цель – воспитание потомков на исторических примерах. Книга написана преподавателем семинарии, приурочена к юбилейной дате, а также исследует не только историю, но и современное состояние семинарии. Это заставляет меня отнести сочинение к такому виду историографических источников как *очерк*. Обилие фактов без должного их анализа, эмоциональность и публицистичность как признаки ненаучного дискурса говорят в пользу отнесения очерка «История тверской духовной семинарии» к социально ориентированному типу исторического письма.

Отмечу, однако, что творчество тверского историописателя нуждается в глубоком исследовании, в процессе которого необходимо классифицировать труды В.И. Колосова, проанализировать включенность его работ в историографический процесс и в процесс формирования исторической памяти. Предварительно можно сказать о многосоставности наследия тверского историописателя, присутствии в его творчестве как научно ориентированных, так и социально ориентированных сочинений (с преобладанием последних).

Классификация произведений В.И. Колосова по видовому признаку позволяет выяснить тип историописания, присущий автору; плодотворно проводить компаративное исследование (работая с отдельными видами историографических источников – произведениями профессиональных и местных историков); рассматривать историографические источники как социокультурные феномены, изучение которых приближает нас к пониманию «Другого» – историка прошлого.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Колосов В.И. Доклад на заседании педагогического совета I-го реального училища в Петербурге, сделанный 28 октября 1910 г. «О значении истории для развития способностей учащихся», 1910 г. // Тверской государственный объединенный музей. Научный архив. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-9.
- Беляев И.Д. Русская земля перед прибытием Рюрика в Новгород // Временник Моск. об-ва ист. и древн. росс. М., 1850. Кн. 7-8. С. 1-102.

²⁹ Там же. С. IX-X.

- Борзаковский В.С.* История Тверского княжества. СПб.: И.Г. Мартынов, 1876. 270 с.
- Зевелев А.И.* Историографическое исследование: методологические аспекты. М.: Высш. шк., 1987. 159,[2] с.
- Клюг Э.* Княжество Тверское (1247-1485 гг.) / Перевод с нем. А. В. Чернышова; общ. ред. П.Д. Малыгина, П.Г. Гайдукова; [Каф. истории древ. мира и сред. веков Твер. гос. ун-та и др.], Тверь: «РИФ ЛТД», 1994. 432 с.
- Источниковедение.ru [Электр. ресурс]: страница Науч.-пед. школы источниковедения / А.А. Бондаренко и др.; Науч.-пед. школа источниковедения. - Электрон. дан. - [М.: Б. и.], сор 2010-2012. Режим доступа: <http://ivid.ucoz.ru/>, свободный.
- Колосов В.И.* Август Казимирович Жизневский: (Некролог). Тверь, 1896 (а). 18 с.
- Колосов В.И.* Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии в 1827 году. Тверь, 1888 (а). 30 с.
- Колосов В.И.* Библиотека тверского археолога XVIII века Д.И. Карманова. Тверь, 1897. 18 с.
- Колосов В.И.* Верховья реки Волги в их прошлом и настоящем: (Чит. в заседании Комис. 6 нояб. 1890 г.) Тверь, 1893 (а). 13 с.
- Колосов В.И.* Вновь открытое сочинение Юрия Крижанича: ["Обиаснение виводно о письме словенском"]; Чит. в заседании Твер. учен. арх. комис. 23 марта 1888 г. чл. Комис. Вл. Колосовым. СПб.: тип. В.С. Балашева, 1888 (б). 31 с.
- Колосов В.И.* Воспитанники духовно-учебных заведений тверской епархии в ополчении 1812 года. (По поводу юбилея Тверской духовной семинарии). Тверь, 1889 (а). 25 с.
- Колосов В.И.* Время основания города Твери. М.: Тов-во типографии А.И. Мамонтова, 1902. 9 с.
- Колосов В.И.* Время основания города Твери // Колосов В.И. Прошлое и настоящее города Твери. Тверь: ЛЕАН, Тверской областн. фонд культуры, 1994. С. 132-139.
- Колосов В.И.* Диомид Иванович Карманов и его сочинения // Д.И. Карманов. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Тверь: изд. на средства потомственного почетного гражд. Тверск. 1-й гильдии купца Н.П. Аваева, 1893 (б). С. 1-13.
- Колосов В.И.* История Тверской духовной семинарии. Ко дню 150-летнего юбилея семинарии. Тверь, 1889 (б). 464 с.
- Колосов В.И.* К вопросу о преобразовании Архивных комиссий // Труды Второго Областного Тверского археологического съезда 1903 года 10-20 августа. Тверь: Твер. учен. арх. комис., 1906 (а). С. 9-12.
- Колосов В.И.* Кто виновен в смерти митрополита Филиппа? // Труды Второго Областного Тверского археологического съезда 1903 года 10-20 августа. Тверь: Твер. учен. арх. комис., 1906 (б). С. 325-334.
- Колосов В.И.* П. Богданов. Доисторические Тверитяне по курганным раскопкам. Из протоколов Антропологической выставки 1879 // Сборник Тверского общества любителей истории, археологии и естествознания / Под ред. пред. О-ва В.И. Колосова в соучастии с И.К. Линдеманом. Тверь, 1903 (а). Вып. 1. С. 351-357.
- Колосов В.И.* Памяти Августа Казимировича Жизневского. Тверь, 1896 (б).
- Колосов В.И.* Петр Великий в Твери. Тверь: Твер. учен. арх. комис., 1903 (б). 12 с.
- Колосов В.И.* Прошлое и настоящее г. Твери / Сост. т. пред. Твер. учен. арх. комис., хранитель Музея В. Колосов. Тверь: Твер. учен. арх. комис., 1917. 186 с.

- Колосов В.И.* Прошлое и настоящее города Твери. Тверь: Издательская фирма ЛЕ-АН, Тверской областной фонд культуры, 1994. 254 с.
- Колосов В.И.* Стерженский и Лопастницкий кресты в связи с древними водными путями в Верхнем Поволжье: [Чит. в заседании Твер. учен. архивной комис. 19 дек. 1889 г.] Тверь: Твер. уч. арх. комис., 1890. 20 с.
- Колосов В.И.* Тверские филантропы XVIII столетия. Тверь, 1887. 4 с.
- Колосов В.И.* Тверь в царствование императрицы Екатерины II. [Чит. в заседании Тверск. учен. архивной комис. 6 ноября 1896 г.] Тверь, 1896 (в). 26 с.
- Корзун В.П.* Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. Анализ отечественных историографических концепций. Омск; Екатеринбург: ОмГУ, 2000. 226 с.
- Маловичко С.И.* Историописание: научно ориентированное vs социально ориентированное // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: Мат-лы XXII междунар. науч. конф. Москва, 28-30 янв. 2010 г. / редкол.: М.Ф. Румянцева (отв. ред.) и др.; Рос. Гос. Гуманитар. ун-т, Ист.- арх. ин-т, Каф. Источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин. М.: РГГУ, 2010. С. 21-28;
- Маловичко С.И.* Источниковедение историографии как инструмент для изучения профессиональной исторической культуры // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 13., Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2012. С.11-24.
- Маловичко С.И.* Тип исторического знания в провинциальном историописании и историческом краеведении // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 7, Ставрополь : Изд-во ПГЛУ, 2005 С.19-20.
- Маловичко С.И., Румянцева М.Ф.* Актуальные вопросы изучения истории [истории] // Библиотека в контексте истории: материалы 9-й международной науч. конф., Москва, 3-4 октября 2011 г. [сост. М. Я. Дворкина] М.: Пашков дом, 2011. С. 7-18.
- Медушевская О.М.* Источниковедение и историография в пространстве гуманитарного знания: индикатор системных изменений // Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания: Докл. и тез. XIV науч. конф., Москва, 18-19 апр. 2002 г. / Сост. Р.Б. Казаков; Редкол.: В.А. Муравьев (отв. ред.) и др. М.: РГГУ, Рос. Акад. наук. Археогр. комис., 2002. С.22.
- Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с.
- Нечкина М.В.* История истории (Некоторые методологические вопросы истории исторической науки). // История и историки. Историография истории СССР. М. : Наука, 1965. С. 6-26.
- Пушкарёв Л.Н.* Определение, систематизация и использование историографических источников // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки. Межвузовский тематический сборник. / Редкол.: акад. М.В. Нечкина (отв. ред.) и др. Калинин : Калининский гос. ун-т, 1980. С. 102-108.
- Шмидт С.О.* Некоторые вопросы источниковедения историографии // С.О. Шмидт. Путь историка. Избранные труды по источниковедению и историографии. М.: РГГУ, 1997. С. 119-129.

Некрасова Надежда Владимировна – аспирант кафедры теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ; ollnekrasov@yandex.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СЕГОДНЯ

Р. Ю. БЕЛЬКОВИЧ

ПАЛЕОКОНСЕРВАТИЗМ КАК ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ США¹

Статья посвящена палеоконсерватизму как специфическому для США феномену политической мысли. Он рассматривается как совокупность идеологических установок и повседневных практик, отражающих европейское интеллектуальное наследие американских поселенцев. Исследуются причины его возникновения, логика развития и роль в современном политическом процессе.

Ключевые слова: *палеоконсерватизм, ополчение, аграрии, анархизм, рабство.*

Исследование истории политической мысли, по сути, представляет собой изучение процесса реальной политической борьбы в его теоретическом измерении. Торжество или поражение той или иной политической программы во многом зависит от результата непрекращающегося противостояния в идеологическом поле. В ряде случаев это перманентное столкновение оказывается на руку учёному, получающему возможность рассмотреть теорию, как бы обнажённую критикой противников, и, выявив её интеллектуальный контекст, представить более глубокую картину идеологического пространства. Однако проблема состоит в том, что противоборство политико-правовых идей редко остаётся в рамках теоретических дискуссий. Идеи, отражая мироощущение и устремления определённой части населения, всегда имеют прикладной характер – взятые на вооружение, они с неизбежностью требуют вытеснения своих антагонистов из актуального дискурса. Эффективнее всего эта задача решается с помощью стигматизации идей представителями власти либо разного рода «специалистами», указывающими на несовместимость тех или иных взглядов с наукой, общечеловеческими ценностями, прогрессом, демократией, нормами социалистического общества и пр. Решение политических задач требует борьбы с идеями, поскольку существование последних свидетельствует о наличии альтернатив этим задачам.

Однако вытеснение тех или иных воззрений из поля актуальных теоретических дискуссий не всегда означает их гибель, поскольку жиз-

¹ В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта № 11-01-0227 «Палеоконсерватизм как феномен политической и культурной жизни США», реализованного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012-2013 гг.

ненное пространство идей не исчерпывается академической и политической сферами. Иногда это означает лишь исчезновение внешней формы. Утрачивая стройность и определённую форму, идеи могут в силу этого обретать иные свойства. Лишённые возможности быть объектом рациональной критики, они парадоксальным образом перерастают свой теоретический характер и становятся константой общественно-политического сознания. Уже не поддаваясь в полной мере контролю и не подразумевая последовательного осмысления, они продолжают оказывать своё влияние на социальную действительность.

В 80-е годы XX века в американской публицистике возник термин «палеоконсерватизм», которым стали обозначать воззрения авторов, критиковавших с правых позиций политику неоконсерваторов². В частности, эти авторы выступали против интервенционизма США, расширения федерального вмешательства в дела штатов, роста влияния крупных финансовых и промышленных корпораций. В узком смысле к палеоконсерваторам относили, прежде всего, группу интеллектуалов, собравшуюся вокруг Института Рокфорда и журнала «Хроника: Журнал Американской Культуры». Однако впоследствии термин приобрёл достаточно размытые границы – к кругу палеоконсерваторов стали ретроспективно относить либертарианцев и индивидуалистов,³ сторонников прав штатов⁴ и других противников централизации власти⁵.

В силу того, что палеоконсерваторы в любом смысле этого слова не оказывали сколько-нибудь значительного влияния на актуальный политический процесс, термин был практически забыт за рамками академической консервативной среды вплоть до конца 2000-х гг. В этот период на фоне социалистических по своему характеру инициатив президента США с одной стороны, и проблем финансовой системы – с другой, происходит расширение общественного протестного движения в правом сегменте политического спектра. Особенностью этого процесса становится его ярко выраженный «низовой», децентрализованный и антиэлитарный характер. Движение, получившее название «Движения чаепития» (*Tea party movement*), на начальном этапе своего развития фактически не имело никакой оформленной идеологии. Тем не менее, участникам движения было вполне достаточно отсылки к Бостонскому

² Введение термина часто приписывают Полу Эдварду Готтфриду. См. его обзорную работу об американском консерватизме *Gottfried*. 2007.

³ Альберт Джей Нок, Генри Луи Менкен, Гарет Гарретт и др.

⁴ Альберт Ричи, Джеймс Александр Рид и др.

⁵ В качестве общего введения в проблематику палеоконсерватизма в узком смысле см. антологию: *The Paleoconservatives...* 1999.

чаепитию 1773 года для обозначения своей политической платформы. При этом совершенно очевидно, что деятели Американской революции вовсе не имели однородной системы политических взглядов. Так к чему же отсылает нас «Движение чаепития»?

Представляется, что именно термин «палеоконсерватизм» наилучшим образом описывает тот круг политических и культурных смыслов, которыми оперируют участники движения. Размытость термина «палеоконсерватизм» неслучайна – он апеллирует к политической традиции, фактически не имеющей в современных Соединённых Штатах репрезентации во властных структурах, а следовательно – и последовательной программы. Речь идёт о традиции, проистекающей из рецепции на Американском континенте европейских идей периода античности и средневековья, а также сопутствующих им практик. Эти идеи и практики не были полностью элиминированы в США вплоть до нашего времени в силу как исторических, так и сугубо нормативных причин.

К первым относится, прежде всего, сравнительно высокая степень децентрализации Соединённых Штатов, которая препятствовала процессу тотальной культурной унификации. Децентрализация и сопутствующий ей регионализм позволили сохраниться социальным феноменам, чуждым официальной идеологии и массовому сознанию. Наиболее ярким примером из числа нормативных причин следует отнести вторую поправку к Конституции США, закрепляющую фундаментальный для современного американского традиционализма институт народного ополчения (*militia*), а также право на хранение и ношение оружия. Обострение вопросов об ополчении и владении оружием во второй половине XX века наиболее симптоматично, и неудивительно, что активисты движения ополчения составили значительную часть сторонников «Движения чаепития». Эти институты представляют собой наследие, с одной стороны, республиканской античной традиции, в которой сам статус гражданина во многом был связан с возможностью и готовностью самостоятельно защищать свою свободу и порядки (а следовательно – и своеобразие) своего общества (греческий *polis* или римский *civitas*). С другой стороны – это отголоски средневековых английских феодальных практик и реалий европейских городов-государств раннего нового времени. Это наследие, вновь вызванное к жизни борцами за независимость Американской республики в XVIII веке в качестве важной составляющей освободительной риторики, и впоследствии отражённое в Конституции, является в настоящее время инородным элементом в национальном государстве всеобщего благосостояния, опирающемся на идею прогресса.

На первый взгляд значение этого идеологического конфликта может показаться преувеличенным. Однако на деле этот конфликт выходит далеко за пределы академических дискуссий, судебных разбирательств и парламентских дебатов о смысле второй поправки к Конституции. В качестве наиболее известных примеров перехода противостояния в плоскость насилия можно привести события 1992 года в Айдахо, получившие названия «инцидента в Руби Ридж», и осаду поместья Маунт Кармел в Техасе в 1993 году. В обоих случаях поводом для столкновения послужили обвинения в незаконном хранении оружия (впоследствии оказавшиеся не соответствующими действительности), приведшие к применению силы со стороны представителей федеральных служб безопасности. Общее число жертв этих инцидентов составило более восьми десятков человек, включая детей. Ещё один характерный пример – теракт в Оклахоме, совершённый Тимоти Маквеем. Несмотря на то, что сам Маквей ни в одном ополчении не состоял, но выступал против федеральных властей, теракт стал поводом для развёртывания пропагандистской кампании против института ополчения⁶. В настоящее время мы наблюдаем новый виток этой кампании. Поводом для этого стали массовые убийства в школах США, за которыми немедленно последовали законодательные инициативы по ограничению прав, связанных с владением оружием.

Таким образом, институт ополчения и связанное с ним право на владение и ношение оружия, постепенно вытесняются в маргинальную сферу, а сторонники следования конституционной традиции становятся как минимум объектами насмешек, а часто и жертвами преследования со стороны федеральных властей. Неудивительно, что в этих условиях вопросы сохранения конституционной традиции и особенностей культуры приобретают особое значение для той части населения, чья самоидентификация основана на консервативных республиканских идеалах.

Тем не менее, черты традиционного мышления не являются прерогативой конкретной социальной или политической группы. В настоящей работе мы хотели бы акцентировать внимание на том, что палеоконсерватизм как явление представляет собой одну из констант политического сознания, характерную для значительной части населения Соединённых Штатов, и в том числе для тех, чьи воззрения кажутся, на первый взгляд, не имеющими ничего общего с консерватизмом как таковым. Палеоконсерватизм в этом контексте следует рассматривать не столько как систему конкретных политических взглядов, сколько как культурное явление, специфическое для США и тесно связанное с особенностями историче-

⁶ См. напр. *Dees*. 1996; *Abanes*. 1996; *Stern*. 1996 и др.

ского развития североамериканского континента. Несмотря на то, что появление Американской республики ознаменовало новую эру в политической жизни всего цивилизованного мира, развитие этой республики было в значительной степени определено интеллектуальными конструкциями, рождёнными ещё в Старом Свете. Связь между американской государственностью и европейской мыслью можно проследить на самых разных уровнях – от индивидуального жизненного пути деятелей Американской Революции до теоретического языка программных документов Войны за независимость. Но наиболее важным документом в этом отношении является, безусловно, Конституция Соединённых Штатов.

Дискуссии делегатов Конституционного конвента содержат характерные свидетельства гибкости, подвижности и неоднозначности языка социальной теории. Значительное число терминов, воспринимаемых сейчас достаточно однозначно, не были столь определёнными к концу XVIII века. Мы обнаруживаем, что, несмотря на очевидное доминирование таких ценностей как жизнь, свобода и собственность, как в самих документах соответствующего периода, так и в сопутствовавших им дискуссиях, содержание и объём указанных понятий не были одинаково трактуемы всеми участниками политического процесса. Содержание этих категорий зависело от индивидуальных установок членов конвента – далеко не все из них опирались на индивидуализм и позитивизм Просвещения. Для значительной части делегатов понятие свободы означало возможность человека быть полноправным членом традиционного сообщества и осознанно нести перед ним обязательства. Таким образом, Конституция США стала итогом и одновременно одним из наиболее ярких отражений компромисса между совершенно разными политическими и культурными парадигмами, к которым принадлежали её авторы. Было бы преувеличением утверждать, что к 1787 г. однозначно оформились две противоборствующие системы взглядов, и тем не менее, в противостоянии федералистов и антифедералистов явно проступают черты фундаментальных различий сторонников двух совершенно разных типов отношения к обществу и государству. В XVIII в. это противостояние всё ещё носило характер политической дискуссии, предполагавшей открытый характер как самой проблемы, так и языка её описания.

Однако формализация концепций в документах уровня Конституции неизбежно инициирует процесс окостенения смыслов, который усиливается в той мере, в какой происходит кристаллизация общества и его институтов. Этот процесс в США имеет ряд довольно точно определяемых узловых точек, ключевой из которых, на наш взгляд, стала Гражданская война. Именно война Севера и Юга указала на целый ряд во-

просов, неоднозначность которых связана не столько с текстом Конституции, сколько с её интеллектуальным контекстом. Обе стороны вооружённого конфликта обращались к тексту Конституции и находили в нём оправдание своей позиции, однако основой для таких заключений являлся не текст, но те фундаментальные основы его толкования, которые стороны понимали совершенно по-разному.

Победа Севера в войне ознаменовала важную точку невозвращения для политической судьбы Соединённых Штатов, и не только в практическом смысле, хотя сражение при Аппоматтоксе и поставило крест на мечтах Южан о самостоятельности. Самым важным стало то, что через победу в войне произошла своего рода легализация федералистских (в терминах 1787 года), модернистских и капиталистических трактовок как Конституции США, так и событий периода Войны за независимость. Во всяком случае, именно с этого момента процессы национальной унификации и промышленной индустриализации начинают особенно интенсивно разрушать джефферсоновский идеал аграрной демократии и неумолимо трансформировать США в государство нового типа.

Однако это же событие становится и отправной точкой для нового витка развития и осмысления тех идей, которые потерпели поражение на поле боя в 1865 году. Если до Гражданской войны компромиссы, отражённые в Конституции, не нуждались в артикуляции в силу фактически установившегося баланса интересов, то в результате вооружённого столкновения стало ясно, что эти компромиссы не являются достаточно эффективными инструментами сдерживания борьбы между политическими силами и стоящими за ними теориями. Парадоксальным образом Север, воспрепятствовав сецессии Юга, тем самым создал своего рода патовую ситуацию – защищая Конституцию (хоть и трактуемую по-своему), он автоматически защищал и те её положения, которые являлись отражением совершенно иной, враждебной Северу политической традиции, ушедшей с тех пор в интеллектуальное подполье. Таким образом, компромиссы Конституции превратились в очаги нового конфликта, который не мог быть исчерпан ни военными, ни политическими методами, поскольку был основан на фундаментальных противоречиях, являвшихся частью самой истории становления США.

Именно с этого времени мы наблюдаем две тесно взаимосвязанные тенденции в сфере политической мысли. С одной стороны, это постепенное оформление идеологии централизованного национального государства, которая, выходя за рамки партийного противостояния, объединяла республиканцев и демократов. Кульминацией и своего рода тестом на прочность этой идеологии стал Новый курс Рузвельта. С другой сто-

роны, на поверхности интеллектуального ландшафта Соединённых Штатов начинают появляться формы радикализма, фундаментом которых выступала забытая или, во всяком случае, вытесненная часть американо-европейского наследия. Это наследие становится основой для сопротивления национальному государству с консервативных позиций, поскольку корни подобного рода консерватизма лежат в культурах античности и средневековья, не знавших подобной формы политической организации. Национальное государство противостоит этому наследию именно потому, что его теоретической основой является радикальный проект нового времени. В силу того, что исторически именно национальное государство стало доминировать на политической арене и постепенно вытеснило альтернативные формы организации, идеи, чуждые логике модерна, оказались своего рода реками, ушедшими под землю, но не иссякшими. Влияние этих слоёв коллективного и индивидуального политического сознания может быть как очевидным, так и скрытым в зависимости от конкретно-исторических условий и степени укоренённости конкретного автора в традиционном образе жизни.

Так, например, влияние премодерна не требует особых доказательств в случае Южных Аграриев – движения интеллектуалов южных штатов 30-х гг. XX в., противопоставивших сельскохозяйственную традиционную культуру Юга промышленному капитализму Севера и сопутствующему типу государства⁷. В работах Аграриев можно обнаружить немало прямых отсылок к ценностям, имеющим очевидно аристократический, антибуржуазный и даже отчасти феодальный характер. Кроме того, Аграрии не скрывали, что в качестве своих предтеч они рассматривали не столько отцов-основателей США, сколько античных и средневековых авторов⁸. Такая недвусмысленная артикуляция радикального традиционализма связана с тем, что Аграрии отстаивали не абстрактный идеал, но ещё недавно существовавшее общество, которое и было для них воплощением этого идеала – довоенный Юг. Разрушение этого идеала носило исключительно насильственный характер, что только подчёркивало его жизнеспособность и его право на новое воплощение.

Существуют примеры и иного рода – примеры идеологий, внешне кажущихся вовсе не связанными с наследием древности, и даже противостоящими ему. Тем не менее, именно в рамках таких структур наиболее ярко проявляется сложное взаимодействие элементов модерна и премодерна, характерное для политической мысли США. В качестве примера

⁷ См. программную работу Аграриев: *I'll Take My Stand...* 1951.

⁸ См. напр. *Simpson*. 1982. P.67; *Davidson*. 1958. P. 45.

можно привести взгляды одного из ключевых теоретиков раннего американского «автохтонного»⁹ анархо-индивидуализма, Лисандера Спунера.

Для того чтобы адекватно оценить влияние преמודерна в этом случае необходимо, прежде всего, отказаться от привычного понимания идеологии анархизма как продукта развития социалистических воззрений. Этот подход представляется односторонним, не учитывающим специфику интеллектуального климата Соединённых Штатов. Дело в том, что в работах американских анархистов присутствует целый ряд идей, появление которых значительно проще объяснить через обращение к европейскому средневековью и античности, а точнее – к тому, как идеи этих эпох были восприняты на американском континенте. Существенным здесь является то, что при подобном прочтении взгляды, которые изначально кажутся революционными, приобретают ультраконсервативные черты. Следует сразу отметить, что такое прочтение не означает, что рассматриваемые авторы пытались нечто скрыть от читателя, замаскировать свои тайные интенции. Такое восприятие является следствием отказа от контекстуального анализа в пользу неисторического применения современных концепций (например, доминирующего ныне понимания термина «анархизм») к смысловым полям иной эпохи. Речь идёт вовсе не о скрытых намерениях авторов, но о «скрытом» языке или метаязыке, вытесненном из сферы «официального» политико-правового дискурса в область культурной памяти.

Наиболее известной работой Лисандера Спунера является трактат «Нет измены»¹⁰. Работа была написана и опубликована после победы Севера в Гражданской войне, формально она посвящена критике обвинений в адрес Южных штатов в государственной измене. Спунер отталкивается от этих посылок и рассматривает природу государственной власти как таковой. Он критикует идею представительной демократии, вскрывая целый ряд внутренне присущих ей противоречий. Он приходит к выводу о том, что Конституция США и основанная на ней система государственной власти являются нелегитимными и не порождающими для населения обязанности им подчиняться. Аргументы Спунера несомненно могут быть истолкованы в сугубо индивидуалистическом смысле – как последовательное развёртывание логики контракционизма. Однако для более глубокого понимания истоков мысли Спунера, юриста по

⁹ Под ним мы понимаем те версии анархизма, которые родились на американской почве, а не были занесены туда впоследствии выходцами из Европы во второй половине XIX в. К «импортированному» анархизму приведённые здесь рассуждения, безусловно, неприменимы в силу его однозначной социалистической направленности.

¹⁰ Spooner. 1992.

профессии, следует обратиться к другой его работе «Эссе о суде присяжных». Она представляет собой фундаментальный труд, посвящённый истории возникновения и современному состоянию этого института¹¹.

В суде присяжных Спунер видел способ защиты социума от тирании, возникший в системе общего права как механизм противостояния произволу короны. Суд присяжных для него – это бастион социальной справедливости, где присяжные представляют общество в целом, а не одну из ветвей государственной власти. Спунер полагал, что реализация этой функции суда присяжных основывалась на их праве решать не только вопросы фактов в конкретном деле, но и оценивать соответствие справедливости того акта, на котором основывается обвинение. С этой точки зрения Спунер критиковал современное состояние института присяжных, полагая, что оно противоречит принципам, заложенным в Великой хартии вольностей. Он полагал, что «со времени принятия Конституции в Соединенных Штатах не было ни одного легитимного судебного процесса, проходившего с участием присяжных»¹².

Спунер считал, что любое государство, основанное на согласии его членов, подразумевает осуществление власти только на основе тех принципов, которые представляются верными всем членам общества. Следовательно, присяжные в своём вердикте отражают фактически существующие в обществе представления о справедливости, которые могут и не совпадать с мнением законодателя¹³.

Позиции Спунера по вопросу о присяжных часто трактуются именно как радикальные требования индивидуализма. Однако если отойти от конвенциональной трактовки этих воззрений как анархистских, можно обнаружить, что в действительности Спунер требовал восстановления в исконной форме института, носящего глубоко традиционный характер. Суд присяжных представлял собой механизм защиты прав, выработанный в рамках средневекового английского общества, и тесно связанный с феодальной нормативной структурой. Собственно говоря, суд присяжных являлся частью феодальных ограничений, которые наряду с ограничениями естественного права составляли своего рода механизм сдержек и противовесов в рамках «средневекового конституционализма»¹⁴. Даже если учесть, что на практике до 1670 года¹⁵ судьи имели достаточно ин-

¹¹ *Spooner*. 1852.

¹² *Ibid.* P. 156.

¹³ *Ibid.* Pp. 130–131.

¹⁴ См.: *Republicanism...* Vol. I. 2002.

¹⁵ До дела Бушеля, в котором было вынесено решение о том, что присяжных нельзя подвергать наказанию за их вердикт.

струментов для того, чтобы воздействовать на присяжных, в общественном сознании суд присяжных стойко ассоциировался с древними свободами английского населения.

Американские колонисты продолжали существовать в рамках этой системы вплоть до Революции, то есть пока они были англичанами и, следовательно, на них распространялись соответствующие права и свободы (собственно нарушение именно этих «английских», а вовсе не естественных прав, стало формальным поводом для войны с метрополией). Более того, как отмечает Форрест Макдональд, в колониях суд присяжных оказывал значительно большее влияние на социум, нежели в метрополии¹⁶. На практике именно суд присяжных был той общественной структурой, которая осуществляла функции управления, так как именно он, в конце концов, определял границы прав и обязанностей населения, выходя далеко за пределы буквы как актов Парламента, так и местного законодательства.

Однако объявление независимости подорвало эту систему и сопутствующие ей институты – права населения штатов отныне не могли более проистекать из институтов конституционного права Англии, поскольку власть в колониях перешла непосредственно к населению. В этих условиях суд присяжных теряет свою сдерживающую функцию, так как в рамках старой системы он выступал в качестве формы самозащиты общества от возможной тирании власти, которая была этому обществу внеположна. После 1776 года легислатуры стали обладать властью (во всяком случае, теоретически), делегированной им непосредственно населением, а следовательно, суд присяжных не мог уже противопоставлять себя законодателю. По крайней мере, он не мог противопоставлять себя *легитимному* законодателю, чьи полномочия проистекали бы из согласия подвластных¹⁷.

В этом интеллектуальном контексте работы Спунера приобретают оттенок, не связанный с анархизмом как таковым – его утверждение о нелегитимности Конституции и основанной на ней демократической системы власти как раз даёт Спунеру возможность подкрепить необходимой посылкой его тезис о необходимости восстановления суда присяжных в границах его прежних полномочий. В этом смысле Спунер вовсе не выражает новых, революционных идей – он воспроизводит логику средневекового конституционализма. Его критика государства становится критикой контракционизма, демонстрирующей нелепость и

¹⁶ *McDonald*. 1985. P.40.

¹⁷ *Ibid*. P.41.

невозможность существования реального государства, основанного на согласии. Спунер демонстрирует лицемерие демократии, которая, опираясь на риторику договора, фактически лишает население традиционных механизмов защиты от власти, которая так и осталась в действительности отчуждённой от общества.

Следует учитывать, кроме того, что суд присяжных всё же являлся механизмом защиты прежде всего общества (в значении *community*), а не индивида, от воздействия как извне, так и изнутри. Защищая суд присяжных, Спунер не мог не защищать и замкнутую структуру традиционного общества, порождением которой во многом и являлся этот институт. Противостояние политической власти, таким образом, вовсе не означало противостояние нормативной структуре общества как таковой. Как неоднократно отмечали авторы, принадлежащие к правому либертарианству, в действительности, общество, лишённое власти государства и предоставленное самому себе, вероятнее всего будет являться обществом значительно *более* консервативным, поскольку будет основано на более тесных социальных связях.

Спунер лишь разрешил внутреннее противоречие, существовавшее у анти-федералистов, которое состояло, как отмечают исследователи, в обобщении государством¹⁸. Они никак не могли сделать выбор между стремлением к построению национального государства и сохранению независимых республик в рамках штатов.

Пример Спунера является частным случаем, выбранным лишь по той причине, что в нём консервативный дискурс наиболее эффективно скрывается за революционной риторикой. Повторимся, что это вовсе не свидетельствует о сознательном желании автора завуалировать свои истинные намерения, а говорит лишь о том, что видимая революционность идей может быть следствием выбора наблюдателем неверного угла зрения. Это происходит из-за принятия одномерной картины развития политической мысли, предполагающей историческое «отмирание» форм политического мышления, не соответствующих доминирующим. Однако в действительности этого отмирания не происходит – идеи в отсутствие их формализации становятся более гибкими, размываются, превращаясь в образы, не поддающиеся однозначной дефиниции.

В силу того, что палеоконсерватизм в контексте, используемом нами, есть форма общественного сознания или его слой, невозможно точно определить совокупность составляющих его элементов. Более того, это бессмысленно, поскольку своей живучестью это явление обя-

¹⁸ *Seul*. 1997. P. 12.

зано именно подвижности его содержания. Палеоконсерватизм существует постольку, поскольку те ценности, к которым он отсылает, утрачены в результате монополизации национальным государством права на трактовку истории. Те фрагменты традиции, которые были частью повседневной жизни и мышления населения колоний ещё в период Американской революции, уже к концу XIX века для многих стали лишь образами памяти. Процесс исключения традиции из общественно-политического дискурса и её вытеснения мифами прогресса вызывает ответное мифотворчество масс, где образы традиции, даже взятые в отрыве от материальных её основ, становятся единственным способом сохранить свою идентичность в условиях агрессивной информационной среды. Палеоконсерватизм есть отчасти форма ресентимента, интенсивность которого тем выше, чем острее ощущается утрата традиционной идентичности её носителями.

Однако всё это не означает, что претензии палеоконсерваторов лишены исторических оснований. Наоборот, палеоконсерватизм представляет собой своего рода аналог антиколониальных освободительных движений, выступающих за право на восстановление своей культуры независимо от того, в какой мере она соответствует современным тенденциям. В этом смысле палеоконсерватизм выходит за пределы «охранительства», так как современное состояние общества уже настолько оторвано от традиции, что её восстановление предполагает не консервацию, но революцию. Как указывал Сэмюэль Тодд Фрэнсис, один из ключевых авторов «Хроники», «первое, что мы должны уяснить по поводу участия и победы в культурной войне, это то, что мы не боремся за ‘сохранение’ чего-либо; мы боремся за свержение»¹⁹.

В свете вышесказанного становится очевидным, что такие общественно-политические течения как Движение чаепития и движение ополчения вовсе не являются случайными, периферийными явлениями – они представляют собой отражение непрекращающегося с XVIII века сопротивления сторонников традиционных идей современным представлениям о прогрессе и демократии.

Палеоконсерватизм представляет собой важную, но ещё в малой степени изученную константу политико-правовой мысли и общественного сознания Соединённых Штатов. Его исследование позволяет преодолеть упрощённое линейное понимание развития политической теории, выстроить более сложную картину взаимного влияния идей на Американском континенте. И что ещё более важно – изучение палео-

¹⁹ Francis. 1993. P.12.

консерватизма как целостного явления даёт возможность увидеть исторические и культурные основания ряда современных общественно-политических процессов, имеющих место в США.

БИБЛИОГРАФИЯ

Abanes R. American Militias: Rebellion, Racism & Religion. Illinois: InterVarsity Press, 1996.

Adams D. Southern Writers in the Modern World. Athens: University of Georgia Press, 1958.

Dees M. Gathering Storm: America's Militia Threat. N.Y.: HarperCollins Publisher, 1996.

Francis S. Winning the Culture War // *Chronicles*. December, 1993.

Gottfried P.E. Conservatism in America. Making Sense of the American Right. N.Y.: Palgrave, 2007.

I'll Take My Stand: The South and the Agrarian Tradition. N.Y., 1951.

McDonald F. Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the Constitution. Lawrence: University Press of Kansas, 1985.

The Paleoconservatives: New Voices of the Old Right. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 1999.

Republicanism: A Shared European Heritage. Vol. I. Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Seul T.M. Militia Minds: Inside America's Contemporary Militia Movement. PhD Thesis. Purdue University, 1997.

Simpson L.P. The Southern Republic of Letters and *I'll Take My Stand* // A Band of Prophets: The Vanderbilt Agrarians After Fifty Years. Baton Rouge; London: Louisiana State University Press, 1982.

Spooner L. An Essay on the Trial by Jury. Boston: B.Marsh, 1852.

Spooner L. No Treason. No. I, II / The Lysander Spooner Reader. San Francisco: Fox & Wilkes, 1992.

Stern K. A Force Upon the Plain, The American Militia Movement and the Politics of Hate. N.Y.: Simon & Schuster, 1996.

Белькович Родион Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ «Высшая школа экономики»; rbelkovich@hse.ru.

Т. Н. ИВАНОВА, Г. П. МЯГКОВ

ШКОЛА В. И. ГЕРЬЕ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И МЕСТО В НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

Авторы анализируют дискуссию о школе Герье. В различных интерпретациях названного феномена отразились методологические достижения современного этапа «историографической революции» с её повышенным интересом к коммуникативным практикам, классификации научных сообществ, выработке «антропологической» модели научной школы. В статье охарактеризованы основные черты школы Герье, её структура и эволюция, роль в развитии науки всеобщей истории в России.

Ключевые слова: модели историографического исследования, коммуникативные процессы, интеллектуальные сообщества, «историографический быт», научная школа В.И. Герье, «русская историческая школа» («Ecole Russe»).

«...историческое мышление (в какой-то мере историография) привносит предметы в актуальную культурную коммуникацию. Осмысленность культурных феноменов берётся из прошлого культуры. Нынешние представления о феноменах основаны на наследстве прошлого. Осознание смыслов устанавливаемых в прошлом, запускает диалог о современных смыслах. В свою очередь современность ожидает от исторического мышления ответа на вопросы, следующие из представлений актуального культурного порядка»¹.

Современная историография видит в числе научно значимых проблем изучение истории формирования и развития интеллектуальных (научных) сообществ. Именно профессиональные академические сообщества выступают субъектами получения, сохранения и трансляции исторического знания². Феномен возрастающего интереса к ним, как и в целом к проблемам интеллектуальной истории, может быть понят только в контексте глобальных перемен, которые происходят в мировой исторической науке на рубеже XX–XXI вв.³

Новые условия развития историографии. На исходе прошлого – XX-го – века начался новый этап в развитии исторической науки. Рассматриваемый как третий (современный) этап «*историографической революции*»⁴, он был подготовлен многообразными познавательными «по-

¹ Войцех Вжозек. 2012. С. 286.

² Зверева. 1999. С. 256-257.

³ См.: Репина. 2009; 2011.

⁴ Термин предложен Б.Г. Могильницким. См.: Могильницкий. 2004. С. 6; 2008. С. 4. См. также: Репина. 2011. С. 558-559; Лубский. 2012. С. 14-15.

воротами», пришедшимися на первые два её этапа⁵. Особое влияние на развитие историознания оказали *социологический поворот*, пробудивший формирование «новой исторической науки» на рубеже 1950–60-х гг., последовавшие за ним *лингвистический*⁶, *антропологический*, развернувшийся в 1970–80-е гг. и давший «явный сдвиг интересов социальных историков от исследования объективных структур и процессов к культуре в ее антропологической интерпретации»⁷, *критический*, *когнитивный*, *пространственный*, *визуальный*, *мемориальный*, *эпистемологический* повороты. Каждый из «поворотов» способствовал расширению исследовательских полей, совершенствованию методологического инструментария, а главное, имея концептуально-методологическую общность, – формированию «новой рациональности» и нового образа исторической науки⁸.

Сам же *третий этап «историографической революции»*, выражением которого стали: «обращение к методологическому синтезу как главному способу исторического познания, фокусирующемуся вокруг человека в истории, его умонастроений, чувствований, поведения, сознательных и бессознательных мотивов его деятельности» (Б.Г. Могильницкий)⁹, «небывало возросший интерес к проявлениям человеческой субъективности в прошлом и настоящем» и «стремление к её контекстуализации на новой теоретико-методологической основе», оказался связанным с так называемым «культурным поворотом» – «важным качественным сдвигом в мировой историографии» (Л.П. Репина)¹⁰, разветвляющейся парадигмой «новой социокультурной истории», формированием течений «новой культурной истории» и «новой интеллектуальной истории» и т.д.

На судьбу исторической науки России оказали решительное воздействие не только переживаемые мировой историографией «повороты», но

⁵ Первый – объективистский (сциентистский) – этап историографической революции Б.Г. Могильницкий связывает с «триумфальным маршем “новой научной истории” с ее широкими историко-социологическими построениями»; второй – с «“поворотом к субъективности”...», «“открытием” микроистории как ведущего жанра в изучении прошлого...» (Могильницкий. 2008. С. 6-7).

⁶ Начало «лингвистического поворота» в историознании принято связывать с именем Х. Уайта. Непрерывающаяся после выхода его «Метаистории» (1973) дискуссия о её основных положениях делает это издание репрезентативным явлением современной методологии историографии, даёт понять природу постмодернистских претензий к традиционному историознанию и стремление последнего удержать свой дисциплинарный статус. (Бухараев, Мяков. 2007. С. 33–43). Сам Х. Уайт считал, что термин «лингвистический поворот» неверен и предпочитал «дискурсивный поворот».

⁷ Репина. 2009. С. 28.

⁸ См.: Новый образ исторической науки... 2005; Лантева. 2011. С. 12–20.

⁹ Могильницкий. 2008. С. 7.

¹⁰ Репина. 2011. С. 550.

и складывание на постсоветском пространстве новых общественно-политических условий развития науки. За прошедшие два десятилетия, констатирует Г. Бордюгов, «произошел крах государственной монополии на занятие наукой, возникла новая проблематика исследований, открылся доступ к ранее секретным архивам, кончилась цензура, наступило освобождение от партийности, сложились новые отношения внутри сообщества»¹¹. Полагая «самым главным» изменением в науке смену парадигм, историк фиксирует, что в российской исторической науке «вместо господствующей нарративной истории распространение получила когнитивная (познавательная, аналитическая) история. Модернизм с его универсальными, все объясняющими теориями стал уступать место постмодернизму... с его моделями многонаправленности и неравномерности изменений, с его дистанцированием от политических зависимостей, метода, идеологии, стратегии, авторитарной парадигмы, с его ставкой на самостоятельную роль слов и текстов...»¹².

Естественно, что в описываемый процесс оказалась вовлеченной и история исторической науки, историография, которая под влиянием «лингвистического поворота» и в результате реакции на него расширила свою проблематику и отвела центральное место изучению дискурсивной практики историка; под влиянием «антропологического поворота» сформировала интерес к человеку науки, его повседневному миру, приватным формам общения, к складывавшимся вокруг него интеллектуальным сетям и т.д. Формирование постмодернистской парадигмы также привело к изменениям в сфере профессионального сознания и самосознания историков, заставляло пересматривать традиционные представления о профессии историка, о месте истории в системе гуманитарно-научного знания, о ее внутренней структуре и статусе ее субдисциплин¹³.

Однако постмодернистская программа, представив саму реальность прошлого как *конструкт*, «создаваемый текстом историка», «пошла по пути релятивизации истории значительно дальше того, что подразумевал

¹¹ См.: Бордюгов. 2011. С. 10-11. Вслед за Г. Бордюговым мы здесь подчеркиваем позитивные процессы развития исторической науки. Но нельзя не видеть и негативных последствий процессов, берущих начало в 90-е годы прошлого века, того же введения рыночной экономики, ослабления интереса государства к истории и т.д. Детальный анализ см.: Соколов. 2011. С. 321-340.

¹² Там же. С. 11.

¹³ «Постмодернистская программа, в значительной степени обоснованно, сосредоточила внимание на изменчивости представлений о прошлом, на роли исторической концепции, которая интерпретирует исторические тексты, исходя из современных предпосылок, и действует как силовое поле, организующее хаотический фрагментарный материал» (Репина. 1998. С. 395).

тезис об обусловленности постоянного поиска “новых путей” в историографии столь же постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из настоящего»¹⁴. Очевидно, здесь одна из причин того, что собственно «эпоха постмодерна» в историографии оказалась не долгой. Экспансионизм тех, кто, по определению А.Я. Гуревича, совершал «новую “революцию”», вызвал весьма скорую реакцию, ибо «доведённые до предела, постмодернистские критические настроения грозят разрушить основы исторической науки»¹⁵. XX век завершался «битвой за храм Мнемозины»¹⁶, результатом которой в формирующемся новом образе исторической науки. Тенденция была вскрыта Л.П. Репиной уже в монографии 1998 года: «Под влиянием “лингвистического поворота” и конкретных работ большой группы “новых интеллектуальных историков” радикальным образом преобразилась история историографии, которая неизмеримо расширила свою проблематику и отвела центральное место дискурсивной практике историка. Отклоняясь в сторону литературной критики, она имеет тенденцию к превращению в ее двойника – историческую критику, а возвращаясь – обновленная – к “средней позиции”, получает шанс стать по-настоящему самостоятельной и самоценной исторической дисциплиной»¹⁷. Наступало время *aft-постмодерна*, что дало основания говорить о ситуации как о времени методологического компромисса, наступление которого исподволь подготавливали такие мыслители, как Ф. Анкерсмит, ратовавшие за восстановление статуса исторического нарратива на неокантианской основе¹⁸.

Усвоение уроков постмодернистского вызова привело к формированию «средней линии» (или так называемой «третьей платформы»), которая откровенно прокламирует неприятие крайностей, будь то историографическое картезианство, предлагающее историку набор освящённых «большими» идеологиями матриц для отображения прошлого, или же постмодернистское видение истории как неупорядоченной совокупности происшествий. Начиная с рубежа XX–XXI вв., историографы, обратившись к поиску «реальности вне дискурса», в центр внимания поставили *коммуникативные процессы*, развернули историко-антропологические исследования. В этом процессе переопределения исследовательского поля историко-историографических исследований существенно изменяется понимание занявшей одно из центральных мест под влиянием

¹⁴ Там же. С. 395.

¹⁵ См.: Гуревич. С. 7.

¹⁶ Эжитут. 2003.

¹⁷ Репина. 1998. С. 235.

¹⁸ См.: Бухараев. 2006. С. 8.

ем «культурного поворота» в структуре историографического знания проблемы истории *интеллектуальных (научных) сообществ*¹⁹.

К тому же итогу – к признанию особой роли *коммуникативных систем* – пришло в своем развитии и неклассическое социальное знание (социология науки, науковедение), представленное различными версиями интерпретативных, постструктуралистских и конструктивистских подходов²⁰. «Преодолению» образа науки как системы знания с её нормативностью и логико-методологической суверенностью способствовали: учение Р. Мертона об «этосе науки», о «незримом колледже» как особой форме организации свободных научных коммуникаций между учеными вне рамок институциональных структур, концепция «личностного (неявного) знания» М. Полани, учение Т. Куна о парадигмальном строе науки, в свете которого научное сообщество предстает рациональным субъектом научной деятельности, объединяющим ученых на основе близости их взглядов, субъективных представлений о целях и средствах научной деятельности; особую роль в формировании неклассического понимания феномена научного сообщества сыграли постструктуралистская концепция дискурса Ю. Хабермаса, теория капиталов и концепция габитусов П. Бурдьё, много сделавшего для обоснования субъективно-объективной природы научного сообщества как части социальной реальности.

На рубеже 1980–90-х гг. открылись возможности для актуализации и нового решения историографических проблем, которые, по сути дела, на протяжении большей части XX века оказались «репрессированными» в условиях утверждения и господства в гуманитарных и социальных науках моноидеологии. К числу таковых должна быть отнесена и проблема научных школ вообще и, в частности, возникших в России в последней трети XIX – начале XX в. и получивших известность как школы В.О. Ключевского, В.И. Герье, И.М. Гревса и т.д. Теоретико-методологической основой реализации указанной возможности стал переход от сложившейся еще на рубеже 1920–30-х гг. модели исследования истории исторической науки, подходившей к феномену научных сообществ с позиций гипертрофированной классово-оценки, к модели изучения означенной проблемы в системе координат антропологической парадигмы с её определению Т.Н. Поповой, социокогнитивным подходом²¹.

Динамику и направления этого перехода, а в целом и взлет интереса к схолярной проблематике, кроме рассмотренных факторов глобаль-

¹⁹ См.: Ретина. 2007. С. 89–92.

²⁰ См.: Бурганова. 2010. С. 19–34.

²¹ См.: Попова. 2007. С. 135–149.

ного и регионального (действующих на российском / постсоветском пространстве) масштаба, определяли произошедшие в начале XXI в. изменения в коммуникативном поле историографии²² и складывание в среде российского историографического сообщества ситуации высокой сенсбилизации²³ в области науковедения, т.е. подготовленности к восприятию нового, к переменам в осмыслении феномена научной школы. Свидетельством тому стал все возрастающий массив защищенных диссертаций и исследовательских публикаций²⁴, а также многочисленные научные конференции разного уровня, в том числе организуемые Российским обществом интеллектуальной истории на базе региональных научных центров. Эти конференции выполняли роль своеобразных модераторов и трансляторов интеллектуальной истории как исследовательского проекта, изменяющего историографическую культуру. Проблематика истории научных сообществ становится постоянной на омских конференциях (1995, 1998, 2000, 2003, 2009 г.)²⁵, на конференциях, организованных региональными отделениями РОИИ (Москва (2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012), Саратов (2002), Орел (2005), Ставрополь (2005), Казань (2003, 2006, 2009, 2010, 2012), Пермь (2007), (Ижевск, 2008), Нижний Новгород (2010, 2013), Челябинск (2007, 2011), Чебоксары (2008, 2010) и др. Особо отметим роль состоявшейся в 2002 г. в Саратове конференцию «Научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении», определившую исследовательскую программу, актуализировавшую, пожалуй, «вечные» сюжеты: о

²² Именно на это время приходится создание РОИИ – Центра интеллектуальной истории при Институте всеобщей истории РАН, и на его базе – важных коммуникативных площадок: альманаха интеллектуальной истории «Диалог со временем», периодических историографических сборников: «Мир историка» (Вып. 1–8. Омск, 2005–2013), «Ставропольский альманах РОИИ» (10 выпусков, 2005–2010), «Человек второго плана в истории» и «СОГИТО. Альманах истории идей» (Ростовское отделение РОИИ) и др.

²³ Термин *сенсбилизация* (лат. *sensibilis* – чувственный) для использования в историографии предложен С.М. Куделко: «Сенсбилизация – это степень готовности общественного сознания к восприятию нового, к переменам» (Куделко. 2000. С. 7).

²⁴ О мощности «школьного пласта исследований» можно судить по библиографии, составленной И.Л. Беленьким для фундаментального исследования «Научное сообщество историков России: 20 лет перемен». См.: *Беленький*. 2011.

²⁵ Именно на них было предложено понятие «историографический быт» (Ю.Л. Троицкий), предпринимаются первые опыты анализа социокультурного «бытового» контекста, определявшего стилевые особенности творческого процесса в науке (В.П. Корзун, А.В. Свешников) (см.: *Алеврас*. 2011. С. 531. «Историографический быт» – это внутренний мир науки, «неявно выраженные правила и процедуры научной жизнедеятельности, являющиеся важными структурирующими элементами сообществ ученых» (Корзун. 2000. С. 20; Троицкий. 1995. С. 164–165).

статусе историка в структурированном сообществе, о способах «дела-ния» историка как профессионала, влиянии научной повседневности на конфигурацию научных сообществ, о воздействии современного контекста на ретроспективный анализ этих же сообществ и т.д.

Результатом прошедших с «перелома» 1980–90-х гг. десятилетий следует признать коренные изменения в области изучения истории научных сообществ дореволюционной России. Экспертом здесь может быть известный науковед И.Л. Беленький. Характеризуя в 1978 г. сложившуюся в советской историографии ситуацию, он зафиксировал бессистемность и хаотичность научного аппарата историографии по поводу структурирования историографического пространства дореволюционной России, выявил представление историографов о его дискретности: на поле науки действовали противостоящие друг другу течения и направления, отражавшие и выражавшие борьбу классов²⁶. Выделение направлений и школ в науке по классовому признаку и оценка их прежде всего с точки зрения выполнения «зачисленными» в них историками идеологической и политической функций было принципом советской историографии²⁷. В 2011 г., подчеркивая, что «в итоге, сделано уже немало», историограф, исходя из наличия «целого ряда аналитических (в т.ч. монографических) описаний “школ”», итоживших усилия историографов за полтора столетия, фактически, предложил достаточно стройную схему классификации научных школ по основаниям: 1) подходы к изучению русской истории («запечатлены» в традиционных наименованиях: «скептическая», «государственная» / «юридическая»); 2) «органика бытия в пространстве русской науки и русской культуры» («московская» – славяноведение, антропология, «петербургская» – востоковедение, византиноведение и т.д.); 3) национальная топика науки («русская» – изучение всеобщей истории); 4) персонологический фактор («школа В.О. Ключевского», «школа П.Г. Виноградова», «школа В.И. Ламанского» и т.д.)²⁸. Для нас важно здесь фактическое признание именно за научными школами, а не за «направлениями» и «течениями» (что характерно было для «старой» модели историографического

²⁶ Беленький. 1978. С. 64–65.

²⁷ «Основания этих наименований...», – констатировал И.Л. Беленький, – разнородны: политическая, социальная, общемировоззренческая платформы, объединяющие группы историков; философские и историософские взгляды; метод исследования; суть концепции; предметная область исследований; профессионализм; связь с университетами и другими формальными коллективами; география науки; персонологичность (в имени школы закрепляется имя ее основателя); объективированное (уже в виде историографического исследования) понимание исторической роли того или иного сообщества историков» (Беленький. 1978. С. 65).

²⁸ Беленький. 2011. С. 372.

исследования с ее «репрессивным» отношением к школам) роли эволюирующей «единицы» в развитии исторической науки. Это отражено и в наблюдении о том, что «довольно широкое распространение в историографическом сознании последнего времени получило понятие “научно-педагогическая школа”» (там же). Предложенная читателю библиография научных школ, справедливо охарактеризованная составителем как список, «не претендующий... на полноту»²⁹, свидетельствует, что успешно исследовались в последние годы названные при классификации школы, в том числе и связанные с персональным лидерством. Библиография фактически говорит о реабилитации научных школ. Это наглядно видно на примере изучения школы В.О. Ключевского. Из названных И.Л. Беленьким 26 публикаций, 3 принадлежат авторам – немарксистам (Г.В. Вернадский, Н.И. Кареев, В.И. Пичета), 1 – перу акад. М.В. Нечкиной (1974); 5 написаны в 1990-е годы; 16 – в 2000-е³⁰.

Сегодня в распоряжении читателей целая серия исследований, буквально открывших и доказавших присутствие на поле российской исторической науки второй половины XIX – начала XX в. научных школ лидерского типа: «школа М.С. Куторги», «школа В.О. Ключевского», «школа В.И. Герье», «школа Н.И. Кареева», «школа П.Г. Виноградова», «школа С.Ф. Платонова», «школа А.С. Лаппо-Данилевского», «школа И.М. Гревса» и др. Факт вызывает особое удовлетворение потому, что еще недавно, буквально на рубеже XX–XXI вв., доминирующей тенденцией было отрицание таких феноменов, как «школа Ключевского», «школа Герье», «школа Гревса»: большинство историографов-предшественников не видели этих школ как предмета исследования и не ставили перед собой задачи собственно науковедческого плана.

Что же произошло? В чем причины успешности указанного разворота? Залогом тому как раз и стали описанные выше процессы: серьезное продвижение нашей науки в теоретической области, связанной с науковедением, социологией науки и успешным движением в общем русле антропологизации историографии, позволившем связать «мир науки» и его творцов с «миром повседневности» в единое целое и представить более

²⁹ Составителю важной представляется задача создания каталога-справочника «всех “научных школ” в отечественной исторической науке XIX – начала XXI вв.» (Беленький. 2011. С. 375).

³⁰ Та же тенденция просматривается при обращении к литературе о других историках, с чьими именами связаны научные школы. Но она иная относительно «школ»-направлений: из 27 работ о государственной / юридической школе в последнее десятилетие изданы семь; из 17-ти работ, посвященных скептической школе, в 2000-е годы написаны семь (автор К.Б. Умбрашко).

сложную картину развития науки, ее ландшафт, не сводимый исключительно к творчеству выдающихся личностей, к «горным вершинам».

При обращении к изучению творчества названных историков, их многогранной деятельности как создателей научных школ историографы уже могли опираться на современные представления о научной школе в области гуманитарного знания, на видение в ней открытой системы, представляющей диалектическое единство коммуникативных характеристик, идейно-методологических ориентаций, тематики конкретно-исторических разработок, схолярных практик. Была акцентирована роль личностного знания, поставлены вопросы о развитии историографической компаративистики, получила разработку тема роли лидера и лидерства как социокультурного явления. В научном сообществе получила одобрение идея о том, что понятия «направление», «течение» фиксируют не иерархические уровни, а лишь ориентации самих школ в коммуникационной, политической, философской и тематической сферах. В схолярных исследованиях происходил стремительный подъем «антропологического градуса». Приоритеты все более отдавались культурологическому подходу с его практикой включения историографического знания в культурное пространство эпохи³¹.

Особый вклад в разработку обозначенных аспектов внесли как историографы старшего поколения Н.А. Алеврас, А.С. Антощенко, В.С. Брачева, И.Г. Воробьева, Г.И. Зверева, В.П. Золотарев, Н.В. Иллерицкая, В.П. Корзун, Л.П. Лаптева, А.В. Лубский, С.И. Маловичко, С.И. Михальченко, Б.Г. Могильницкий, М.П. Мохначева, Л.П. Репина, И.М. Савельева, А.Н. Цамутали и др., так и те, кто закрепляет за собой ведущие позиции – В.В. Боярченков, О.В. Воробьева, Н.В. Гришина, Д.А. Гутнов, О.Б. Леонтьева, М.А. Мамонтова, А.В. Малинов, Е.А. Ростовцев, М.Ф. Румянцева, А.В. Свешников, К.Б. Умбрашко, В.А. Филимонов, Д.А. Цыганков и др. Но конкретные историографические практики требовали дальнейшей рефлексии. На наших глазах происходит переход от антропологически ориентированного описания школ и их героев к построению антропологической модели научной школы.

Почти одновременно Н.В. Гришина³², Т.Н. Иванова³³, А.В. Свешников³⁴ актуализировали уже известное ранее определение научной школы как открытой, неформальной, сплоченной социальной группы профессиональных ученых и обратили внимание на такой «школьный» крите-

³¹ Мяжков. 2011. С. 206–214.

³² Гришина. 2010.

³³ Иванова. 2009; 2010.

³⁴ Свешников. 2010.

рий, как самоидентификация ученых и признание школы со стороны научного сообщества и общества в широком смысле этого слова. И если Н.В. Гришина это осмыслила на материале школы В.О. Ключевского, актуализировав проблему закрепления образа школы В.О. Ключевского в социокультурном пространстве образованного русского читателя, А.В. Свешников – на материале школы И.М. Гревса, уделив большее внимание внутришкольной идентификации, то Т.Н. Иванова исследовала оба эти аспекта на материале школы В.И. Герье. Значительный вклад в осмысление последней за рассматриваемые годы был внесен Е.С. Кирсановой³⁵, Д.А. Цыганковым³⁶, а также теми историографами, которые изучали жизнь и творчество учеников В.И. Герье, неизбежно затрагивая в своих исследованиях взаимоотношения учителя и учеников.

Иными словами, на сегодняшний день выработана **«антропологическая» модель школы**. Ее черты, элементы, на взгляд авторов, ярко демонстрирует одна из самых значительных (если не самая значительная) научных исторических школ в России – сформировавшаяся во второй половине XIX века, школа В.И. Герье. Итак, каковы же основные черты школы Герье, по мнению авторов статьи?

1. Школу В.И. Герье по её научной специфике можно определить как школу всеобщей истории. Её парадигмальные истоки восходят к концепции Т.Н. Грановского, а самого Герье можно считать представителем научной традиции Грановского³⁷. Нельзя согласиться с отрицанием того факта, что Герье был учеником Грановского³⁸. К сожалению, в историографии слабо разработаны критерии «научного ученичества». Конечно, «учительство» – не процесс сообщения знаний и «просвещения», но и не просто «процесс профессиональной подготовки»³⁹. Л.П. Лаптева, разумеется, не ошибается в том, что профессиональную подготовку для начала преподавания в высшей школе Герье получил во время командировки в немецкие университеты. Более того, в плане методики исторического исследования его можно считать учеником Л. Ранке и других представи-

³⁵ Кирсанова. 2003; 2007.

³⁶ Цыганков. 2008; Цыганков, 2010.

³⁷ В этой связи, полагаем, нельзя принять утверждение Л.П. Лаптевой о том, что «в профессиональном... отношении Грановский не был учителем Герье» (Лаптева. 2013. С. 48). Тенденциозные выводы о несостоятельности Грановского как ученого, сделанные его недругом В.В. Григорьевым ещё в XIX веке (см.: Григорьев. 1856), на которые ссылается Л.П. Лаптева, были убедительно и неоднократно опровергнуты как современниками (см., например: Малинов. 2008. С. 208, 210), так и историографами (см.: Тимофей Николаевич Грановский... 2006).

³⁸ Лаптева. 2013. С. 47–48.

³⁹ Там же. С. 47.

телей школы немецкого ученого. Однако концептуально Герье – ученик Грановского, последовательно разрабатывавший идею всеобщей истории, сформированную учителем. Ссылки на недостаточно долгое личное общение учителя и ученика, прерванное смертью Грановского, несостоятельны своим формализованным подходом. Иногда и многолетнее обучение и общение не способствует тому, чтобы формальный ученик стал истинным последователем своего столь же формального учителя.

Герье не только с гордостью называл себя учеником Грановского, но и считал себя продолжателем его дела. Как ученый он сформировался в атмосфере, буквально пронизанной «духом Грановского». В университете он тесно общался с П.Н. Кудрявцевым (одно время даже столовался на квартире у профессора). Герье был женат на воспитаннице сподвижника Грановского, автора его первого биографического очерка А.Н. Станкевича, супруга которого была двоюродной сестрой Грановского. Герье внимательно изучил все доступные ему литографированные издания лекций Грановского. Одна из его первых научных статей и последняя монография были посвящены Грановскому. Более того, пиетет к своему учителю Герье привил и своим ученикам. Идею всеобщей истории можно считать общей парадигмой школы Герье. Культ родоначальника этой идеи Грановского сближал всех учеников Герье, несмотря на вариативное многообразие их методологических позиций. Признание истории наукой со своим методом, нацеленности общественознания на открытие законов (относилось в будущее и не всегда полагалось делом собственно истории), идеи исторического прогресса, органического развития прослеживаются в историсофских произведениях большинства учеников Герье.

2. Формирование школы Герье связано со временем профессионализации и специализации русской исторической науки: в 70-е гг. XIX века острый недостаток квалифицированных кадров по всеобщей истории для расширяющейся сети российских университетов, особый интерес общества к проблемам зарубежной истории побудил молодого профессора Московского университета обратить внимание на подготовку ученых, способных не только стать специалистами по проблемной истории, но и учеными-педагогами широкой специализации. Как лидер формирующейся «учительской» школы Герье избирает курс на подготовку энциклопедически образованных, с широким философским подходом профессоров всеобщей истории, способных на высоком научном уровне исследовать и преподавать и античность, и средневековье, и современную историю.

3. В развитии школы Герье выделяются три этапа:

– *первый*: 70-е – начало 80-х гг., когда Герье «школил» «старшее поколение» учеников (Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, С.Ф. Фортунатов);

– *второй*: 80-е – начало 90-х г., время формирования «среднего поколения» (М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, И.И. Иванов);

– *третий*: 90-е гг. XIX – начало XX вв. – становление «позднего поколения» (П.Н. Ардашев, С.А. Котляревский, Е.Н. Щепкин).

4. Наиболее ярко основные черты школы отразились в творчестве Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова, М.С. Корелина, П.Н. Ардашева, составивших её «ядро». К нетипичным ученикам, «*приверженцам*», можно отнести Р.Ю. Виппера, И.И. Иванова, Е.Н. Щепкина, С.А. Котляревского. Кроме того, значительна «*периферия*» школы, которая в то же время достаточно аморфна вследствие свойственной историческим школам интерференции, возникновению феномена «двойного ученичества». К ней можно отнести формально бывших магистрантами П.Г. Виноградова, В.О. Ключевского и др., но в то же время признававших себя и учениками Герье Д.Н. Егорова, М.О. Гершензона, А.И. Соболевского, Н.И. Радцига, А.И. Яковлева, М.М. Хвостова, М.К. Любавского, А.П. Рудакова и др. К этой же «периферии» школы можно отнести писателей, не ставших учеными В.В. Розанова, В.Л. Брюсова, на мировоззрение которых Герье оказал существенное воздействие.

5. Формированию школы способствовали эффективные «школообразующие практики», применявшиеся ее основателем: глубокие по степени обобщения, богатые историографическим анализом лекции Герье, его университетские семинары. Важную роль сыграл в развитии школы вечерний (домашний) семинарий для избранных учеников, обретший в известном смысле более совершенную организационную форму в созданном в 90-е годы Историческом обществе.

6. Особое значение в формировании школы играли культивируемые её лидером индивидуальные методы наставничества. Герье создал определенный *алгоритм* подготовки ученых, «структура» которого включала: *фазу селекции* (отбора), *фазу протекции*, обеспеченную всесторонней (моральной и материальной) опекой избранных, *фазу установления тесного личного контакта* вплоть до «введения» ученика в семью профессора. Важнейшей фазой являлось собственно научное руководство на всех этапах «роста» ученика от определения им научного интереса, осуществления первых исследований (медального, кандидатского), подготовки к магистерскому экзамену и выбора темы диссертации – до магистерского диспута. С особым тактом Герье осуществлял действенный контроль за ходом заграничной командировки, сбором материала, за написанием текста диссертации. Необычным было то, что и после защиты диссертации он продолжал опекать ученика, подыскивая ему место в одном из российских университетов, давая советы по подготовке первых лекций и семи-

наров, оказывая помощь и поддержку в подготовке докторской диссертации. Данная модель работы с учениками, конечно, не была догмой, варьируясь в зависимости от конкретных обстоятельств.

7. Важной чертой школы Герье, определившей ее научный стиль, стало внимание к историческим источникам. Владение методикой исследования последних закладывалось в ставших знаменитыми семинарах. Ученики Герье писали диссертации на основе массива, как правило, открываемых ими в зарубежных архивохранилищах документов и демонстрировали высокий уровень владения приемами исторической критики, строгую доказательность выводов исследований.

8. Другой чертой школы Герье являлось особое внимание ее представителей к историографическим проблемам всеобщей истории, опора на метод системного историографического анализа. Воспитываемый учителем интерес учеников к творчеству предшественников и современных историков, к процессу развития историознания в зарубежных странах и в России был реализован последними в создании разнообразных трудов историографического характера.

9. Научная проблематика представителей школы многообразна, но восходит к разностороннему научному наследию самого Герье, изучавшего и генезис феодализма (продолжение – в трудах П.Г. Виноградова), и историю средневекового католицизма (С.А. Котляревский, М.С. Корелин), и причины и ход Французской революции конца XVIII в. (Н.И. Кареев, И.И. Иванов, П.Н. Ардашев), и т.д.

10. Еще одной особенностью всех представителей школы являются выраженные просветительские идеалы, тесная взаимосвязь их научной и преподавательской деятельности, общественно-просветительские инициативы по организации научных и педагогических обществ, совершенствованию женского и школьного образования.

Итак, школа Герье была дискретным образованием, расцвет которого пришелся на 70–80-е гг. XIX в.; она «отцвела» к началу XX в.; события 1917 года трагическим образом отразились на судьбе школы, ее представителей. Уже в 1880-е гг. рядом с ней стали возникать «дочерние школы» – научные школы учеников Герье: в их деятельности выразилась ярко тенденция к продолжению традиций научной школы учителя.

Поэтому можно заключить, что период расцвета школы сменился не упадком, а перерастанием этой школы в некое научное сообщество, функционировавшее как «незримый колледж», представители которого были и лидерами собственных учительских школ и одновременно входили в более сложные научные сообщества.

В развитии школы особую роль приобретают внутришкольные коммуникации и феномен личного общения. Рассматривая школу Герье как реальную социальную группу, можно обнаружить, что личные взаимоотношения, внутришкольная конкуренция оказывали ощутимое воздействие на эволюцию этого научного сообщества, что привело к выделению внутри него направлений, лишь вариативно схожих с проблематикой и методологией лидера. Сложные, а порой и конфликтные взаимоотношения членов школы повлияли на то, что впоследствии школьная идентичность учеников В.И. Герье ослабевает, процесса коммеморации не происходит. Именно в последнем обстоятельстве нам видится одна из тайн, почему научное сообщество с легким сердцем отказалось от признания «школы Герье» после его смерти.

Парадокс состоял в том, что «виновником» в описываемом явлении оказался, без преувеличения, самый осведомлённый, но как оказалось, и самый субъективный в этом вопросе ученик Герье Н.И. Кареев. Вот его одно из самых цитируемых положений: «Если школу понимать в смысле некоторого единого направления или какой-либо объединяющей всех учеников особенности, *какой-то обособленной школы Герье не было* [выделено нами. – Т.И., Г.М.]. Но была школа в другом смысле. ...у него [у Герье] была особая методическая строгость, “школившая” лиц, у него занимавшихся»⁴⁰. Это высказывание авторитетного Кареева во многом предопределило сомнения последующих исследователей в существовании школы Герье. Немногие ученики В.И. Герье, дожившие до 1917 года, с трудом приспособившаяся к условиям советской власти, не афишировали свою принадлежность к школе Герье, скомпрометировавшего себя в глазах большевиков как идеолог октябристов.

В советской историографии В.И. Герье был не более чем «фигура второго плана»: значимость его научного и педагогического вклада умалчать было невозможно, и потому был избран путь всемерного принижения, фактически – фальсификации реального места ученого в судьбах русской науки и культуры. Не относили его и к «русской школе», известной в зарубежной науке как «Ecole Russe». Об этом не раз говорилось. Опаснее была сложившаяся еще в 1920-е гг. традиция «непризнания» марксистской историографией возможности формирования научной школы вокруг тех ученых, которые не обладали «отчетливой методологической основой», которую готовы были принять их ученики. Именно это положение закрывало путь к постижению таких феноменов как «школа В.О. Ключевского», «школа В.И. Герье» вплоть до начала 1990-х гг.

⁴⁰ Кареев. 1922. № 1. С. 156–157.

В условиях смены парадигмы в истории историографии и формирования новой модели вопрос о значении В.И. Герье как создателя научной школы был актуализован в связи с выяснением его роли в возникновении знаменитой «русской исторической школы». Выявленный и исследованный огромный архивный материал, прежде всего эпистолярное наследие Герье и его учеников, позволят уверенно утверждать, что Герье как талантливый педагог, крупный деятель просвещения и организатор науки способствовал реализации в Московском университете той «школообразующей» традиции, которая имела истоком реформы 1860–70-х гг.⁴¹

Мы вплотную подошли к вопросу о месте школы Герье в научном пространстве России. При решении его полезно учесть идеи, выдвинутые в новейшей литературе⁴².

Г.П. Мяжков видит в Герье непосредственного университетского учителя или соратника ведущих представителей «русской исторической школы» и рассматривает его «как элемент, уточняющий конфигурацию “русской исторической школы”»⁴³. Впервые, по сути, на прямой вопрос, можно ли определить сформированное им научное сообщество, включавшее, по меньшей мере, два «направления» – социально-экономическое (представлено Н.И. Кареевым, П.Г. Виноградовым, Р.Ю. Виппером и др.) и культурно-историческое (М.С. Карсавин, А.П. Рудаков), отличавшиеся методологическими пристрастиями, как «школу Герье», был дан утвердительный ответ. Сам В.И. Герье рассматривался как «исходный» лидер «русской исторической школы» всеобщих историков⁴⁴.

Д.А. Гутнов выделяет два «самобытных и в то же время тесно связанных друг с другом направления» в изучении русской и западной истории исторической школы Московского университета. Под первым на-

⁴¹ Б.Г. Сафронов в серии своих монографий, посвященных профессорам Московского университета, ввел определение московской школы «всеобщих историков», одним из основоположников которой он считал В.И. Герье (Сафронов. 1984. С. 8).

⁴² Событиями, давшими импульс его интенсификации, стали уже названная выше конференция «Наука и власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении» (Саратов, 2002; Цыганков. 2002) и приуроченная к 170-летию историка конференция «Мир историка: Владимир Иванович Герье» (Москва, 2007; см.: Мир историка... 2007). На ней был, фактически, совершен разворот российских историографов к творчеству Герье. Впервые он был представлен не как некая величина «второго» плана, а как выдающийся ученый, педагог, мыслитель, общественный деятель и гражданин. Конференция стимулировала активный исследовательский интерес, реализовавшийся в создании фундаментальных трудов о творчестве ученого.

⁴³ Мяжков. 2000. С. 204.

⁴⁴ Этот вывод был с положительной оценкой рецензентами, которые, однако, подчеркнули, что «тезис “работает” на авторскую концепцию, а значит, его система доказательств должна быть существенно укреплена» (Зверева, Ренина. 2001. С. 369).

правлением он подразумевает школу В.О. Ключевского, под вторым – школу П.Г. Виноградова⁴⁵. В то же время он не отрицает принадлежность к «исторической школе Московского университета» В.И. Герье⁴⁶, что порождает вопрос о признании им существования школы Герье, а также о соотношении между этой школой и школой Виноградова.

А.В. Антощенко предлагает рассматривать одновременное существование в 80-е – начале 90-х гг. XIX в. в Московском университете школ Герье и Виноградова. Он отмечает, что на формирование исторической школы Московского университета оказали воздействие и Герье, и Виноградов и считает, что в становлении Виноградова как ученого определяющая роль «принадлежала его учителю – В.И. Герье»⁴⁷.

Большое внимание школе Герье уделяет *Д.А. Цыганков*. Он вписывает Герье в традицию Московского университета, идущую от Грановского через Герье и далее не только к его ученикам, но и через них – к ученикам учеников⁴⁸. Д.А. Цыганков использует определение «школа Герье» как что-то, если не равнозначное «московской школе историков», то входящее в нее⁴⁹. Он считает, что «Герье заложил основы исторического образования в университете, введя в систему обучения исторические семинары; наладил систему подготовки профессорских стипендиатов и в конечном счете был тем человеком, который придал конкретные организационные черты московской школе историков»⁵⁰. Таким обра-

⁴⁵ Гутнов. 1993. С. 41.

⁴⁶ Там же. С. 40.

⁴⁷ Антощенко. 2008. С. 105-106.

⁴⁸ «Школа Герье представляется в виде своеобразной системы подготовки историков, предполагающей создание единой формы занятий – лекций, семинаров, личных отношений учитель–ученик. В результате возникала особая, не совсем устойчивая профессиональная общность, функцией которой было распространение специальной информации и пополнения рядов ее членов. Вся система была замкнута на личности главы школы, который на первоначальном этапе удерживал общность при помощи различных личных связей, а затем конструировал ее в виде Исторического общества при Московском университете» (Цыганков. 2008. С. 232). В этом определении представляется спорной замкнутость школы на личности Герье и преувеличение роли Исторического общества в конструировании этой школы. Ведь общество возникло в период, когда расцвет научно-педагогической деятельности Герье был уже в прошлом, и связи не замыкались на учителя, а порою шли мимо профессора между его учениками.

⁴⁹ Ср.: «Определенные размышления о московской школе историков – школе Герье содержались в воспоминаниях Н.И. Кареева» (Цыганков. 2010. С. 7). Отождествление школы Герье с московской школой всеобщих историков Цыганков усматривает и в позиции В.П. Бузескула, изложенной в его книге «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века» (Цыганков. 2010. С. 8).

⁵⁰ Цыганков. 2010. С. 23.

зом, Герье рассматривается уже не как основоположник собственной научной школы, а как один из деятелей московской школы историков. При этом автор, по собственному определению, под школой понимает «не единую методологию исследования московских историков, а общую инфраструктуру исторического образования в университете, которую кроме Герье развивали С.М. Соловьев, Н.А. Попов, П.Г. Виноградов и следующие поколения профессоров университета»⁵¹.

На важности личных контактов в школе Герье сосредоточивает внимание *Е.С. Кирсанова*: «Во многом благодаря таким неформальным контактам и возникло уникальное научное объединение, включавшее историков, принадлежавших к разным поколениям и придерживающихся порою разных политических и исторических взглядов, – школа Герье»⁵². Она считает, что на дальнейшее развитие этой школы повлияли «отрицательные психологические особенности характера» Герье⁵³.

Н.А. Алеврас относит школу Герье к традиционной «лидерской», так называемой «учительской школе», где «лидер... являлся не только научным вдохновителем и коммуникационным началом сообщества, но и должностным лицом (например, главой кафедры), для которого успешная подготовка специалиста высшей квалификации становилась частью его служебной деятельности или была важна для его научно-профессионального имиджа»⁵⁴.

Н.В. Гришина обращает внимание на важный факт: «В.И. Герье и П.Г. Виноградов не только стали лидерами собственных научных школ, но и продолжали оказывать идейное и методическое влияние на молодые поколения специалистов по русской истории»⁵⁵.

Таким образом, в современной историографии уже не оспаривается существование особой школы Герье, и, одновременно, принадлежность самого Герье к «русской исторической школе» («Ecole Russe»⁵⁶), московской исторической школе и т.д. Однако остается не до конца проясненным вопрос о том, каково было соотношение между школой Герье, «русской исторической школой» и «исторической школой Московского университета» (или московской исторической школой). Сам Герье позиционируется в историографии как один из лидеров «исторической школы Московского университета» (*Д.А. Гутнов*), основоположник москов-

⁵¹ Там же.

⁵² *Кирсанова*. 2003. С. 16.

⁵³ *Кирсанова*. 2007. С. 171.

⁵⁴ *Алеврас*. 2006. С. 121.

⁵⁵ *Гришина*. 2010. С. 83.

⁵⁶ *Чудинов*. 2009. С. 331–340.

ской школы «всеобщей истории» (Б.Г. Сафронов), «исходный лидер» русской исторической школы (Г.П. Мягков) и лидер собственной учительской школы (Н.Н. Алеврас).

Основные черты научной школы Герье, как мы показали, вполне прояснены, они даны с учетом специфики развития науки всеобщей истории в России. Есть ли выход из описанного положения, когда каждый из приведенных тезисов отражает реально существовавшую ситуацию, достаточно аргументирован. Полагаем, что да, путь к теоретическим обобщениям лежит в доказанном определении, что научные школы являются открытыми системами, а раз так, то им присуще разнообразие внутришкольных ориентаций и даже парадигм. Это приводит к явлению интерференции, взаимопересечению границ научных школ, следствием чего оказывается возможным пребывание тех или иных ученых в двух, а то и трех школах сразу, миграция из одной школы в другую. Эвристическую силу этой идеи блестяще продемонстрировала в своих исследованиях о «субъективной школе» в русской мысли О.Б. Леонтьева⁵⁷.

Описываемая дискуссия, как и те, что разворачиваются по поводу роли, места, взаимоотношений других научных школ в российском научном и интеллектуальном пространстве XIX – начала XX в., не может не выявлять противоречия. Исследуя специфику интеллектуальных сетей в поле исторической науки, одни авторы занимаются реконструкцией экзистенциональных пластов взаимоотношений между видными учеными, делают акцент на сложности, иногда конфликтности этих взаимоотношений, другие авторы делают акцент на целостность школ, гипертрофируя школообразующие признаки и традиции.

За этими крайностями, как нам представляется, стоит ряд важных проблем, ждущих своего исследования как на теоретическом, так и на конкретно-историографическом уровне. И смысл нашей статьи в демонстрации того, что: 1) интенсивное изучение истории научных школ в российском интеллектуальном пространстве, в частности – школы Герье, уже стало своеобразной лабораторией, в которой вызревают новые исследовательские направления; 2) в рамках схолярной проблематики накапливается материал, проливающий свет на особенности циркуляции интеллектуальной культуры, на процессы выучки ученого-историка, и создаются условия, чтобы продвинуться в деле «снятия» означенного выше противоречия.

Пожелаем новых открытий на этом пути.

⁵⁷ См.: Леонтьева. 2005. С. 27-28.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алеврас Н.Н.* Проблема лидерства в научном сообществе историков XIX – начала XX века // Историк в меняющемся пространстве российской культуры: сборник статей. Челябинск: Каменный пояс, 2006. С. 116-125.
- Алеврас Н.Н.* Что такое «историографический быт»? // Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под ред. Л.П. Репиной. М.: Изд-во ЛКИ, 2011. С. 516–534.
- Антощенко А.В.* Учитель и ученик: В.И. Герье и П.Г. Виноградов (к вопросу о Московской исторической школе) // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье. М.: ИВИ РАН, 2008. С. 105-117.
- Беленький И.Л.* К проблеме наименования школ, направлений, течений в отечественной исторической науке XIX–XX вв. // XXV съезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. Калинин, 1978. Ч. II. С. 64–65
- Беленький И.Л.* Российское научно-историческое сообщество в конце XIX – начале XXI вв.: публикации и исследования 1940-х – 2010-х гг. // Научное сообщество историков России: 20 лет перемен / под ред. Геннадия Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2011. С. 343–478.
- Бордюгов Г.* Сообщество историков России: от прошлого к будущему // Научное сообщество историков России... С. 5-14.
- Бурганова Л.А.* Научное сообщество: объективная versus субъективная реальность? // Социальное конструирование реальности: опыт социологических исследований / под ред. Л.А. Бургановой, Г.П. Мяжкова. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. С. 19-34.
- Бухараев В.М.* Историографическая ситуация на рубеже XIX – XX веков: время методологического компромисса? // Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики. Материалы научной конференции. М.: ИВИ РАН, 2006. С. 7–10.
- Бухараев В.М., Мяжков Г.П.* Тропологическая стратегия Хейдена Уайта в ситуации позднего постмодернизма: возможности и пределы // Ученые записки Казанского гос. ун-та. Т. 149. Серия Гуманитарные науки. Кн. 5. Казань, 2007. С. 33–43.
- Войцех Вжозек.* Культура и историческая истина / пер. с польского К.Ю. Ерусалимский. М.: «Кругъ», 2012. 336 с.
- Григорьев В.В.* Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве // Русская Беседа. М., 1856. Кн. III. С. 17-46 (паг. 5-я); кн. 4. С. 1-57 (паг. 4-я).
- Гришина Н.В.* «Школа В.О. Ключевского» в исторической науке и российской культуре. Челябинск: Энциклопедия, 2010. 288 с.
- Гуревич А.Я.* Историк конца XX века в поисках метода. Вступительные замечания // Одиссей. Человек в истории. 1996. М.: Сода, 1996. С. 5-10.
- Гутнов Д.А.* Об исторической школе Московского университета // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. 1993. № 3. С. 40-53.
- Зверева Г.И.* Обращаясь к себе: самосознание профессиональной историографии в конце XX века // Диалог со временем. 1999. Вып. 1/99. С. 250-265.
- Зверева Г.И., Репина Л.П.* Научные школы в историческом контексте: новая книга о «русской исторической школе» // Диалог со временем. 2001. Вып. 6. С. 364–370.
- Иванова Т.Н.* Владимир Иванович Герье: портрет российского педагога и организатора образования. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. 382 с.

- Иванова Т.Н.* Научное наследие В.И. Герье и формирование науки всеобщей истории в России (30-е гг. XIX – нач. XX века). Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. 382 с.
- Кареев Н.И.* Памяти двух историков // *Анналы*. 1922. № 1. С. 155-174.
- Кирсанова Е.С.* Консервативный либерал в русской историографии: жизнь и историческое мировоззрение В.И. Герье. Северск: Изд-во СГТИ, 2003. 209 с.
- Кирсанова Е.С.* О влиянии психологических особенностей характера основателя научной школы на ее развитие // *Изв. Томск. политех. ун-та*. 2007. Т. 310. № 3. С. 134-137.
- Корзун В.П.* Образы исторической науки на рубеже XIX – XX вв. (анализ отечественных историографических концепций). Омск; Екатеринбург: Омск. гос. ун-т; Изд-во Уральск. ун-та, 2000. 226 с.
- Куделко С.М.* Сенсибилизация: опыт расширения терминологического арсенала исторической науки // *Категорiальний апарат iсторичної науки: Харківський iсторіографічний збірник*. Х.: НМЦ «СД», 2000. Вип. 4. С. 4–8.
- Латтева Л.П.* В.И. Герье и его оценка современных университетов Германии // *Диалог со временем*. 2013. Вып. 43. С. 47–60.
- Латтева М.П.* Интеллектуальный контекст методологических «поворотов» гуманитарного знания рубежа XX–XXI веков // *История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков: сб. ст. / под ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной, Ю.В. Красновой*. Челябинск: Энциклопедия, 2011. С. 12–20.
- Леонтьева О.Б.* «Субъективная школа» в общественной мысли России последней трети XIX – начала XX вв.: Проблемы теории и методологии истории. Автореферат дис. ... д.и.н. Казань, 2005. 34 с.
- Лубелко А.В.* Интеллектуальная ситуация в исторической науке после постмодернизма // *Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. / отв. ред. О.В. Воробьева, З.А. Чеканцева*. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 7-22.
- Малинов А.В.* Философско-исторические взгляды М.М. Стасюлевича // *Страницы истории: Сб. науч. ст., посвящ. 65-летию со дня рождения профессора Григория Алексеевича Тишкина / отв. ред. Р.Ш. Ганелин; сост. А.С. Крымская*. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 204–224.
- Мир историка: Владимир Иванович Герье. Материалы научной конференции. Москва, 18-19 мая 2007 г. М.: ИВИ РАН, 2007. 132 с.
- Могильницкий Б.Г.* История исторической мысли XX века: Курс лекций. Вып. III: Историографическая революция. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. 554 с.
- Могильницкий Б.Г.* История на переломе: Некоторые тенденции развития современной исторической мысли // *Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой, Л.П. Репиной*. М.: ИВИ РАН, 2004. 170 с.
- Мяжков Г.П.* Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. 298 с.
- Мяжков Г.П.* Научное сообщество историков дореволюционной России в свете «старой» и «новой» модели историографического исследования // *Диалог со временем*. 2011. Вып. 34. С. 206–214.
- Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации. Сб. статей / под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2005. 288 с.
- Попова Т.Н.* Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. Одесса: Астропринт, 2007. 536 с.

- Репина Л.П. «Новая историческая наука и социальная история. М.: ИВИ РАН, 1998. 282 с.; изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд-во ЛКИ, 2009. 320 с.
- Репина Л.П. Интеллектуальные сообщества как объект и предмет сравнительно-исторического исследования: проблемы методологии // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе. М.: ИВИ РАН, 2007. С. 89–92.
- Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с.
- Сафронов Б.Г. Вопросы исторической теории в работах М.С. Корелина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 153 с.
- Свейшиков А.В. Петербургская школа медиевистов начала XX века Попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. 408 с.
- Соколов Б. Нравы современных российских историков: предпосылки к падению и надежды на возрождение // Научное сообщество историков России: 20 лет перемен; под ред. Геннадия Бордюкова. М.: АИРО-XXI, 2011. С. 321–340.
- Тимофей Николаевич Грановский: Идея всеобщей истории. Статьи. Тексты / под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2006. 282 с.
- Троцкий Ю.Л. Историографический быт эпохи как проблема // Культура и интеллигенция России в эпоху модернизации (XVIII–XX): мат. Второй всерос. науч. конф.: В 2 т. Т. 2: Российская культура: модернизационные опыты и судьбы научных сообществ. Омск, 1995. С. 164–165.
- Цыганков Д.А. «Школа» В.И. Герье // Наука и власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении. Материалы научной конференции. М.: ИВИ РАН, 2002. С. 27–28.
- Цыганков Д.А. В.И. Герье и Московский Университет его эпохи (вторая половина XIX – начало XX вв. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. 256 с.
- Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье и его ученики. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 503 с.
- Чудинов А.В. «Русская школа» историографии Французской революции XVIII в.: выбор пути // Французский ежегодник 2009: Левые во Франции. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 330–347.
- Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины. Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Алетейя, 2003. 320 с.
- Иванова Татьяна Николаевна**, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и культуры зарубежных стран Чувашского государственного университета; tivanovan@mail.ru
- Мягков Герман Пантелеймонович**, доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Казанского (Приволжского) федерального университета; gmyagkov@yandex.ru

Т. В. БЕРНГАРД, В. П. КОРЗУН

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ КАК ФОРМА ТРАНСЛЯЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ меняющиеся функции дисциплины в первой трети хх в. (на материале Сибири)

В статье на материале Сибири предпринята попытка показать роль исторической библиографии как элемента коммуникативного поля исторической науки в формировании её образа. Историческая библиография представлена не только как канал трансляции исторического знания и сохранения интеллектуальной традиции, но и канал цензуры, механизм контроля исследовательского поля исторической науки.

Ключевые слова: историография, историческая библиография, коммуникативное поле, цензура, Сибирь.

1. Историография и историческая библиография: иерархия или дуэт? Историческая библиография, выступает в качестве структурного компонента исторической науки и научных коммуникаций, отражает специфику исторической науки, тенденции и закономерности её развития. Представление о библиографии сферы деятельности и области знания как самостоятельном институте освоения, сохранения и трансляции исторического знания и интеллектуальной культуры, сближает социокультурное предназначение историографии и исторической библиографии. Они пересекаются в пространстве реализации общей для них функции – сохранения историко-научной памяти и передачи научного знания. Происходит это с помощью специфического средства исторической библиографии – способности моделирования (свёртывания) первичного текста (исторического источника или исследования) и замещения его библиографической информацией различных видов, как на уровне отдельной библиографической записи, так и на уровне библиографического пособия. В этом смысле историческая библиография, являясь своеобразным зеркалом процессов, происходящих в исторической науке, одновременно выступает вспомогательным средством её познания, и в тоже время проектирует её будущее.

Библиография – неотъемлемая часть исследовательской культуры историка¹, где учёный выступает не только в качестве потребителя библиографической информации, но и её составителя. Исследователи уже

¹ Михайлова. 1975; Эймонтова. 1975; Алаторцева. 1975; Мохначёва. 1998. С. 10-11; Вохрышева. 2004. С. 237-250; Зиновьева. 2007. С. 16.

давно рассматривают библиографическую деятельность как одну из форм организации научной мысли и исследования. Так, к примеру, в классическом труде В.С. Иконникова «Опыт русской историографии» автор отмечает, что «необходимыми вспомогательными средствами при изучении исторических материалов служат те знания, область которых тесно связана или соприкасается с историей», в частности, историческая библиография «является весьма важным пособием при изучении материалов (русской) истории»². В создаваемых библиографических пособиях историк явно или неявно репрезентует свои ценности и пристрастия. Система культурных ценностей проявляется неоднозначно. Она действует как извне, формируя отношения/запросы в рамках деятельности по созданию библиографических пособий. В то же время, культурные ценности являются и внутренним фактором развития исторической науки и исторической библиографии как её части, поскольку они определяют не только интеллектуальные (исследовательские) процедуры, нормы организации научного труда, но и формы производства этих норм. Таким образом, историческая библиография оказывается включённой и в социальный процесс в самом широком смысле слова, и в автономный процесс развития исторической науки.

Наша гипотеза заключается в предположении, что историческая библиография как дисциплина формирует образы исторической науки и выступает не только отражением этого процесса, последнее зафиксировано в трудах учёных-историков. В связи с этим актуальной для общества, различных его сегментов, в том числе и властных структур, является инструментализация библиографии и переформатирование её дисциплинарного поля в тот или иной период. Указанные сюжеты мы рассматриваем на примере первой трети XX века на материалах Сибири.

Наш подход к этой теме базируется на современных разработках категории образа науки. В силу того, что создание целостного образа исторической науки становится актуальной задачей современной историографии, он немаловажен без так называемых вспомогательных исторических дисциплин, в том числе исторической библиографии, с помощью которой формулируются и транслируются черты образа исторической науки и научных коммуникаций. Структура образа науки в представлении современных исследователей включает в себя: 1) целостное представление о научном знании, своего рода модель науки; 2) представление о науке как социальном институте; 3) совокупность представлений о закономерности

² *Иконников*. 1891. С. 93-94.

стях научного знания и генезисе науки как таковой; 4) представление об идеале научного знания и базовых ценностях научного сообщества³. Образ науки формируется и функционирует в определённых социокультурных условиях. При этом важно учитывать в структуре образа науки когнитивную, оценочную и «футуристическую» составляющие.

Когнитивный компонент, который условно можно обозначить как «образ-знание»⁴, затрагивает предметное поле исторической науки. «Он выступает в форме истинного или ложного, верифицированного или неверифицированного зафиксированного знания»⁵, и являет собой отражённую субъектом картину существующей реальности. По этой причине он («образ-знание») детерминирует остальные компоненты образа. Исходя из этого, можно представить структуру образа исторической науки как трёхчастную:

- знание индивида о различных исторических эпохах, периодах, процессах, событиях, личностях и т.д.;
- знаний об истории, как об институционализированной научной дисциплине (о её предмете, различных её отраслях, функциях, методологическом инструментарии и т.д.);
- знание о субъекте научного творчества (о заметных представителях исторической науки, о нормативно-ценностных и культурно-ценностных ориентациях, принятых в рамках данного сообщества, местах его локализации) и т.д.

«Оценочный компонент образа исторической науки, как особой единицы сознания, условно можно назвать “образ-означение”. Он вбирает в себя значение исторической науки для индивида, в сознании которого он формируется. Именно «образ-значение» встраивает представление об исторической науке в ценностно-смысловую систему человека, определяя их место в ней. Вместе с тем данный компонент находится в тесной корреляции с когнитивным компонентом. Его содержательное наполнение варьируется в зависимости от содержательного наполнения образа-знания. Оценочная интерпретация индивидом исторической науки находится также в прямой зависимости от степени и уровня взаимодействия с данной отраслью научного знания»⁶.

И, наконец, в литературе выделяется «футуристическая», пре-скриптивная составляющая образа исторической науки, которая может

³ Корзун. 2000. С.5-7; Кузнецов. 1985. С. 138.

⁴ См., например, Гришин. 2007. С. 201.

⁵ Корзун, Денисов. 2010/2011. С. 317.

⁶ Корзун, Денисов. 2010/2011. С. 317-318.

быть условно обозначена как «образ-ожидание». «Она вмещает в себя иррациональные компоненты, связанные с “направленностью истории в будущее”. Одновременно данный компонент отражает запросы социума и потребности отдельного индивида, реализацию которых призвана обеспечить историческая наука, ожидания «исторической оценки» определённых временных отрезков, процессов, событий, фактов, по тем или иным принципам имеющих для них особое значение»⁷.

Выделение этих трёх компонентов в структуре образа исторической науки является весьма условным. Формирование образа исторической науки в общественном сознании, как и любого другого образа, не предполагает непременно наличия всех компонентов. Вместе с тем «наличие этих трёх составляющих образа исторической науки в сознании профессионального историка, как видится, является неотъемлемым условием адекватного осуществления познавательной деятельности»⁸.

Принципиальным для авторов данной статьи является обращение к коммуникативным теориям (Ю. Хабермас, Р. Мертон, Т. Кун, П. Бурдьё, Р. Коллинз, М. Кастельс и др.) и соответствующим дефинициям, таким как, например, коммуникативное поле науки. Под коммуникативным полем науки понимается социальное пространство институций и связей, в котором рождаются, функционируют, трансформируются и умирают научные идеи. Коммуникативное поле имеет сложную структуру, представляющую единство внутринаучных коммуникаций (они могут быть как внутридисциплинарными, так и междисциплинарными), и внешних коммуникаций, связанных с социокультурным контекстом, включающим и властный уровень. Структурные компоненты коммуникативного поля носят как личностный, так и институциональный характер. В качестве факторов коммуникации может выступать и отдельная личность, в нашем случае – историк и библиограф, и отдельные институты, как формальные, так и неформальные⁹. Современные историографические практики, основанные на понимании науки как коммуникации, актуализировали проблему циркуляции интеллектуальной культуры и каналов этой циркуляции. Это в свою очередь выдвинуло библиографию из «задворков» современной историографии на почти авансцену историографического исследования, что повышает значимость и самостоятельность данной области знания и «демонстрирует правомерность отказа от иерархического подхода в определении научной роли больших и малых наук»¹⁰.

⁷ Корзун, Денисов. 2010/2011. С. 318

⁸ Там же.

⁹ См. об этом подробнее: Корзун. 2011. С. 293.

¹⁰ Алеврас. 2010.

Нельзя не учитывать и изменений в дисциплинарном поле самой библиографии. Большой интерес представляет культурологическая концепция библиографии М.Г. Вохрышевой, вписывающаяся в современные направления исторических исследований, в частности, в интеллектуальную историю. В центре исследования интеллектуальной истории – интеллектуальная деятельность, её условия и формы¹¹. В основу подхода М.Г. Вохрышевой положена идея о полиморфности библиографии, её многообразии и единстве, ее ключевыми моментами являются, во-первых, представление о библиографии как специфической области деятельности в единстве её практической и познавательной сфер, со своими социальными институтами и системой организованного знания; во-вторых, признание модуса библиографии как одного из важнейших способов отражения, хранения и трансляции культуры от поколения к поколению¹². Такой подход предполагает: рассмотрение библиографических объектов в контексте развития общекультурной ситуации; культурно-ситуационный анализ; персоналогический аспект; аксиологический анализ исследуемых явлений, введение категорий «ценность» и «оценка»¹³.

Информационная ценность библиографических пособий по истории заключается в том, что они, являясь носителем уникального знания об эпохе, при рассмотрении в среде других пособий близких по тематике (в количественном и качественном ракурсах), когда раскрываются междисциплинарные связи, могут рассматриваться и в качестве инструмента визуализации динамики исторической науки, а также «своеобразной формализации и формы бытования научно-исторической мысли»¹⁴. Данное положение особенно оправдано в отношении библиографии, предназначенной для специалистов. Отражённые в ней документы и публикации критически обработаны и без сомнения являются определённой шкалой развития какой-либо проблемы или определённого периода.

Сущностной особенностью 1920-х гг. было то, что создатели библиографических пособий, особенно в первой половине этого периода, как правило, были организационно связаны с историческими объединениями и обществами. Кроме того, и история, и историческая библиография произрастали от одних корней – большая часть авторов библиографических пособий были профессиональными историками, получившими образование в дореволюционный период, что имело определяющее значение при выборе тем и методики подготовки указателей литературы.

¹¹ Репина. 2001. С. 189; 2011. С. 5-6.

¹² Вохрышева. 1993; 2004. С. 307-311.

¹³ Вохрышева. 2004. С. 307-311.

¹⁴ Мохначёва. 1998. С. 10.

В 1920-е гг. «специально-научная» (по терминологии тех лет, в настоящее время научно-вспомогательная) библиография ещё только формировалась как вид. В ней определённым образом синтезировались взгляды на библиографию представителей дореволюционной «академической» школы. Она, согласно представлениям академистов, выполняла двоякую социальную функцию – историко-культурную и научно-вспомогательную. Библиографическая продукция рассматривалась как информационная база для исторических исследований.

Итак, мы исходим из того положения, что в послереволюционную эпоху историческая библиография первоначально развивалась в направлениях, заданных предшествующим периодом. Требования к специально-научной библиографии были достаточно чётко сформулированы в статьях известного литературоведа А.Л. Бёма¹⁵, декабристоведа и библиографа М.К. Азадовского¹⁶. Согласно их воззрениям, составитель библиографического пособия обязательно должен быть специалистом в конкретной области знания. Учёные являлись сторонниками ценностного подхода при подготовке библиографических пособий. Его суть состояла в необходимости учёта общенаучного контекста, в котором указатели литературы производились, и частью которого они становились. Важен был учёт и индивидуальных особенностей автора. Только специалист, по мнению Азадовского, «может правильно разрешить проблему классификации, только специалист сумеет глубоко захватить источники, обнаружив целые ряды новых материалов, наконец, только специалист сможет разрешить проблему отбора, которая всегда в той или иной мере стоит перед библиографом»¹⁷. В этом высказывании не только следование предшествующей традиции. Его взгляд созвучен представлениям части современных специалистов по библиографической эвристике. Библиографический указатель, составленный специалистом, отражает эвристическую логику научного поиска. Аналитичность, ассоциативность, широта и непредсказуемость выхода в смежные отрасли¹⁸ – эти особенности информационного поиска не могут быть повторены «библиографами-энциклопедистами» (выражение М.К. Азадовского), которые не являются исследователями проблемы.

Научное познание, как известно, регулируется определёнными идеалами и нормами, в которых выражены обобщённые представления о целях деятельности и способах их достижения. На каждом историче-

¹⁵ Цит. по: Леликова. 2004. С. 324.

¹⁶ Азадовский. 1931. С. 184-197.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Сляднева. 1987; 1993.; Вохрышева. 2004. С. 102-105.

ском этапе вырабатывается свой (определённый) «образ» познавательной деятельности, представление об обязательных приёмах и процедурах, которые обеспечивают постижение сущности предмета изучения. При своём формировании этот образ испытывает воздействие мировоззренческих оснований, лежащих в фундаменте той или иной науки.

Библиографические пособия являются существенным элементом в прояснении/выяснении динамики и структуры предметного поля исторической науки. В них прочитываются не только общие процессы, происходящие в исторической науке. Выявление и изучение библиографически насыщенных зон, как и зон «библиографического молчания», даёт возможность говорить об информационной картине мира, а через неё о тех идеях, воззрениях, оценках и ценностях, которые непосредственным образом характеризуют определённый отрезок времени.

Содержание любого библиографического источника связано с условиями места и времени его создания и всегда обнаруживает присутствие или, наоборот, отсутствие тех или иных тем, имён, публикаций.

II. Историческая библиография – канал трансляции исторического знания и сохранения интеллектуальной традиции. Теперь обратимся к сибирской библиографической практике 1920-х гг. Основными институтами, в рамках которых развивалась библиографическая деятельность, связанная с историческим изучением сибирского края, были Институт исследования Сибири, местные отделения Русского географического общества – ВСОРГО и ЗСОРГО, Общество изучения Сибири и её производительных сил, юбилейные комиссии, Томский и Иркутский университеты, краеведческие общества и музеи. Анализ бытования исторической библиографии в Сибири, свидетельствует о том, что её эволюция диктовалась не только постановкой перед исторической наукой задач, связанных с разработкой новой проблематики, но и личными (профессиональными) интересами авторов. В рамках научной деятельности сибиреведов происходило обращение к библиографии как неотъемлемой части работы учёного-исследователя. Библиографическая работа преследовала цель информационного сопровождения научных исследований по историческому изучению Сибири. Результатом стали значительные библиографические труды. Составителями указателей литературы были историки и филологи: А.В. Адрианов, М.К. Азадовский, Н.Н. Бакай, В.Д. Вегман, Н.Н. Козьмин, В.П. Косованов, Б.Г. Кубалов, В.С. Манассеин, А.Н. Турунов, П.П. Хороших, Н.М. Ченцов и др.. Отметим, что, несмотря на различие политических взглядов это были представители старой интеллигенции, им были видны существующие лакуны, связанные с

историческим изучением края. Представляя научному сообществу проверенные сведения, сосредоточенные в библиографических пособиях, посвящённых отдельным вопросам изучения истории Сибири, они вносили значительный вклад в развитие сибирского историописания.

Как известно, в этот период формируется марксистское направление в исторической науке. На первый план выдвигаются вопросы классовой борьбы, общественного и революционного движения (100-летие восстания декабристов, 20-летие первой русской революции, 10-летие октябрьской революции), истории победившей партии. Широко разворачивается публикация источников по истории революционного движения, документов царского правительства. Стремительное развитие новой проблематики требовало организации планомерного библиографирования как текущей литературы, так и создания ретроспективной библиографии.

На этом поле мы можем зафиксировать совпадение социального заказа и логики проблемной историографии. Проиллюстрируем данный процесс, обратившись к бурно развивающемуся декабристоведению.

В конце 1923 г. проходила дискуссия о сущности движения декабристов. В 1925 г. историческая наука широко отметила столетие восстания. В период подготовки к юбилейной дате в научный оборот вводилось большое количество архивных документов, публиковались статьи и монографические исследования. Необходимо было систематизировать эти материалы. Появляется ряд указателей литературы, ставивших своей задачей учёт и критическую оценку литературы о декабристах. Всего нами было выявлено девять отдельно изданных, а также внутрикнижных и внутривидеальных библиографических пособия данной тематики, по содержанию связанных с Сибирью¹⁹. Остановимся на одном из них, наиболее репрезентативном с точки зрения рассматриваемой проблемы.

В указателе литературы²⁰, подготовленном к 100-летию юбилею со дня восстания известным сибиреведом М.К. Азадовским в соавторстве с М.А. Слободским, отчётливо проявились подходы, свойственные предшествующей исследовательской традиции. Работа является прикнижным указателем литературы. Следует отметить, что прикнижная библиография обладает рядом достоинств: она тесно связана с содержанием книги; имеет конкретный читательский адрес; опираясь на уже сформировавшийся интерес к теме, способствует его развитию. Это бы-

¹⁹ Азадовский М., Слободской. 1925; То же. Отд. оттиск (Иркутск, 1925); Переселенков; Ченцов. 1927; Ченцов. 1929; Бакай. 1927; Вознесенский. 1926; Дубровский. 1925; Литература о [М.С.] Луние. 1923; Дополнения. 1926.

²⁰ Азадовский, Слободской. 1925.

ла первая попытка полной библиографии о декабристах. В пособии отражались не только печатные материалы, но и архивные дела декабристов, хранящиеся в Иркутском архивном бюро²¹. Внимание авторов привлекли темы, связанные с научной, культурно-просветительной и краеведческой деятельностью декабристов в Сибири.

В указателе отражены сведения о 384 книгах, статьях из сборников, журналов и газет за 1832–1925 гг.²² Во «Введении» к библиографическому указателю авторы в сжатом виде выражают своё кредо – организовать не только свою работу, но и, прежде всего, облегчить работу других исследователей. Читатели рассматриваются как «действующее лицо» в диалоге между авторами и массивом отражённых публикаций. Сведения о целевом и читательском назначении во «Введении» содержат знание о читательской структуре общества на данном историческом этапе. Азадовский и Слободской предназначали свою работу главным образом местным педагогам и историкам-краеведам, занимающимся культурно-просветительной и научной работой. Авторы полагали, что тема «декабристы и Сибирь» будет интересовать читателей не только в юбилейные дни. Особенностью указателя было включение газетных публикаций, которые, по мнению авторов, «являются фундаментальным материалом для изучения, как самого движения декабристов, так и их пребывания в Сибири»²³. На значение библиографирования сибирских газет Азадовский в своё время обратил внимание в докладе на заседании Общества истории, археологии, этнографии при Томском университете²⁴: «Сибирь не имела своей, так называемой «толстой журналистики»... и сибирской прессе пришлось поэтому явиться почти единственной выразительницей надежд и чаяний Сибирского общества, отражением сибирской жизни, и мысли, и успехов сибиреведения..., а также русской литературы и русской политической мысли»²⁵. «К сожалению – писал он, – эти издания, по большей части безнадежно лежат покрытые пылью на полках, гниют в амбарах... между тем они являются ценнейшим пособием для изучения весьма многих вопросов нашего прошлого»²⁶.

²¹ Огородников. 1925.

²² В основную часть указателя включена 331 библиографическая запись. Остальные публикации отражены в «Дополнениях и повторях». Многие из них были сделаны Н.М. Ченцовым.

²³ Азадовский, Слободской. 1925. С.166.

²⁴ Доклад впоследствии был опубликован на страницах журнала «Сибирские записки» (Азадовский. 1919).

²⁵ Азадовский. 1919. С. 107.

²⁶ Азадовский, Слободской. 1925. С. 166.

Любое библиографическое пособие является целостной системой, и каждая часть его выполняет определённую функцию. Чем сложнее структура указателя, тем выше его информативность и поисковые возможности. Классификация – это своего рода система кодирования информации, в которой представлены соотношения смыслов. Она должна соответствовать следующим принципам: соблюдение единства классификации в соответствии со структурой науки; научность; реальность; необходимость многоаспектного раскрытия содержания публикации (документа)²⁷. Азадовский и Слободской построили свой труд в алфавите авторов и заглавий публикаций. Недостаток систематизации они восполнили системой вспомогательных указателей. Азадовский придавал большое значение наличию «ключей», дающих возможность многоаспектного поиска, так как они отражают сведения о публикациях в ином разрезе, чем в основном тексте пособия.

Один из компонентов содержательной структуры библиографии – знание о реальных персонажах истории, жизнь и деятельность которых получила освещение в литературе, различных документах. Это знание обеспечивает во многом сохранение социальной памяти о них. В этом отношении весьма показательны вспомогательные указатели к вышеназванному пособию. В «Указатель собственных имён»²⁸, авторы включили имена, встречающиеся не только в библиографическом описании, но и в аннотациях. Сведения об упоминаемых в пособии лицах не ограничиваются указанием фамилий и инициалов. Именные рубрики содержат знание о псевдонимах (Марлинский см. Бестужев), духовном имени лица (Евгений, митрополит), указывают на профессию, род деятельности (Давиньон, фотограф), общественный статус (Броневский, генерал-губернатор). Библиографические сведения позволяют вынести суждения о мировоззрении персоналии (Рылеев К.Ф., декабрист), включённости в определённые социальные институты (Энгельгард Е., директор Царско-сельского лицея; Лепаревский, комендант Петровского завода; Маслов, жандармский полковник). С помощью подобного рода вспомогательных указателей возможно установление родственных отношений (Попова В.Ф., сестра декабриста Раевского; Анненкова П.Е., жена декабриста; Волконская А.Н., мать декабриста), окружения декабристов (Вольф Ф.Б., доктор декабристов). Используя «Географический указатель» можно проследить места пребывания декабристов в Сибири: Сибирь; Восточная Сибирь: Баргузин, Кяхта, Нерчинск, Олонки, Петровский завод ...; За-

²⁷ Иванов. 1986. С. 217-280.

²⁸ Азадовский, Слободской. 1925. С. 179-181.

падная Сибирь: Боготол, Бухтарминская крепость, Курган, Тара, Тобольск и Тобольская губерния, ...Ялуторовск и т.д.

Таким образом, исследователь мог получить из вспомогательных указателей сведения, позволяющие расширить и уточнить характеристику лиц, персоналий декабристов не обращаясь к первичному источнику.

Авторы подошли к подготовке библиографического пособия с учётом исследовательских интересов учёных, занимающихся историей декабризма. Они считали, что библиографическая работа неотделима от научной, и её нужно осуществлять научными методами, требующими высокой квалификации, используя достижения конкретной науки.

Историческая библиография, будучи устойчивой интеллектуальной традицией, одной из форм диалога между автором настоящим и авторами давними, оказывает влияние на формирование образа исторической науки и даже на некоторые процедуры и структуру исторического знания. Исходя из этого, мы видим в исторической библиографии канал формирования и трансляции интеллектуальной культуры. Этот тезис позволяет актуализировать проблему преемственности, применительно к интересующим нас сюжетам. В то же время мы отдаём себе отчёт, что структура исторической библиографии, её задачи и функции не могли оставаться неизменными в период социальной ломки и перестройки исторической науки в целом.

Государственная идеология как важнейшая составная часть политической системы воплощалась как в проблемном поле исторической науки, так и в исторической библиографии как её части.

Анализ тематики библиографических пособий, изданных в 1920-е гг., их внутренней структуры, предметных рубрик, выделенных авторами, даёт возможность судить о появлении новых смысловых единиц (понятий) в изучении истории Сибири. Приоритеты отданы проблематике, связанной с историей декабризма, революции 1905-1907 гг., Октябрьской революции и гражданской войны. Сравнительный анализ уровня продуктивности разработки этих тем с изучением хронологической глубины материалов, отражённых в библиографических пособиях (год первой и последующих публикаций по теме), позволяет сделать вывод о высокой степени интенсивности их изучения в период подготовки к юбилеям. Так, в указателе Азадовского «Сибирские темы в изучении русского устного творчества»²⁹ первые работы, отражающие политическую ссылку в песнях и легендах, относятся к 1906 г., тема «революция и современность в устном творчестве деревни» к 1923 г. Наполненность рубрик, с одной

²⁹ Азадовский. 1925

стороны, указывает на уровень продуктивности в разработке отдельных тем, например: «Взаимовлияние русского фольклора и устного творчества туземных племён Сибири» – 32 публикации; «Арестантские песни» – 30; «Песни о Ермаке» – 20; «Отражение революции и современности в устном творчестве деревни» – 11; «Политическая ссылка в песне и легенде» – 9. С другой, пособие в совокупности с изучением хронологической глубины, вполне определённо характеризует перегруппировку соотношения научной значимости в изучении тем. Так, в рубрике «Взаимовлияние русского...» (первая публикация 1878 г., последняя 1918 г.) средняя продуктивность составляет 0,78; в рубрике «Отражение революции...» (1923–1925 гг.) – 3,67. Но всё же не будем редуцировать этот процесс. Стоит заметить, что в ходе построения концепции революции историки-марксисты обращались и к литературе противников большевизма, в частности к эмигрантской литературе, где была представлена весьма пёстрая гамма мнений. Для начального периода (1919–1923 гг.) изучения данной темы характерно то, что в процесс рецензирования вовлекались воспоминания и сборники документов, изданные за границей (Париж, Пекин, Прага, Карлин, Мюнхен, Нью-Йорк, Харбин)³⁰ и в России (Общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев). Свою точку зрения высказывали представители различных политических партий. Их суждения имели особую ценность, поскольку они принадлежали к активным участникам событий и помогали восстановить конфликт эпохи.

Полнота и разнообразие сведений, приведённых в библиографических записях, свойственная предшествующей традиции и получившая продолжение в библиографических пособиях, предназначенных для специалистов по истории Сибири³¹, дают возможность получения сведений об организационной структуре исторической науки (Истпарт ЦК ВКП (б), Сибистпарт, Центрархив, юбилейные комиссии, музеи и т.п.), о появлении на определённых этапах (например, начальный период существования советской власти, периоды подготовки к юбилейным датам, связанным с историей революционного движения) авторов, редакторов, составителей – представителей новой исторической науки (М.Н. Покровский, В.И. Невский, А. Панкратова, В. Адоратский, В. Вегман и др.).

³⁰ См., напр.: Вегман. 1922; Дович [Вегман]. 1923; Ямин [Вегман] 1927.

³¹ См., напр.: Турунов, Попова. 1930; Турунов, Вегман. 1928. В области сведений об ответственности библиографических описаний книг, отражённых в указателях, приведены данные об учреждениях и организациях, под руководством которых проходила работа по подготовке и изданию сборников, фамилии составителей и редакторов сборников статей и воспоминаний.

Таким образом, тематические библиографические пособия, в которых сохранены методы библиографирования, свойственные дореволюционной исследовательской культуре, дают возможность определить как общие тенденции развития, так и перспективные «точки» роста в разработке отдельных областей знания.

III. Историческая библиография как канал цензуры. В этой части статьи обратим внимание на изменение акцентов в функциях исторической библиографии. Трансформация функций исторической библиографии связана с ограничением и/или запрещением исторического текста и, как следствие, с манипулированием историческим сознанием. Всё это выразилось в модификации назначения исторической библиографии, её роли как института трансляции знания. Историческая библиография начинает проявлять себя как канал цензуры, связанной с содержательной стороной исторической науки. На общероссийском уровне цензурирование информации, в том числе с помощью библиографии, осуществляли ведомства, так или иначе объединённые Народным комиссариатом по просвещению. Институционально это были: Государственное издательство (ГИЗ), в том числе специальный цензурный орган в его структуре – Политический отдел³²; программно-библиографический отдел³³, библиографическое бюро³⁴ и библиотечный отдел Главполитпросвета³⁵; отделы текущей и основной библиографии отдела внешкольного образования Наркомпроса³⁶. В июне 1922 г. было создано Главное управление по делам литературы и издательств, а затем его отделения в регионах. В задачи Управления входил не только предварительный просмотр всех предназначенных к опубликованию изданий и написание на них отзывов, но и составление списков произведений, запрещённых к распространению.

³² Культура и цензура. 1997. С. 8; История книги. 2001. С. 263.

³³ ГАРФ. Ф. А-2313. Оп. 7. Д. 1. Л. 15. В функции отдела входило редактирование поступающих рецензий на новую литературу. С этой целью привлекались консультанты и «компетентные лица». Иногда вопросы использования библиографического материала согласовывались с ВЧК.

³⁴ ЦДНИ ОО. Ф. 7. Оп.2. Д. 257. Л. 87-88. Наряду с другими видами работ бюро рассылало циркулярные списки книг «не дающих ныне правильной политической установки, ...искажающих линию партии и идеологически не выдержанных, ...содержащих грубые ошибки и дающих неправильное освещение вопросов».

³⁵ Отдел распределял и перераспределял (путём изъятий) информационные ресурсы страны. Он в начале 1920-х гг. выступил инициатором чисток книжных фондов.

³⁶ ГАРФ. Ф. А-2307. Оп.8. Д. 258. Л.4. Сотрудники отдела и приглашённые специалисты давали оценку литературе с точки зрения её пригодности для целей школьного и внешкольного образования. Так, с ноября 1920 г. по апрель 1921 г. было дано 113 отзывов на книги и рукописи, в том числе по истории – 10.

Особо подчеркнём складывающуюся субординацию в новых советских институтах. В октябре 1920 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о руководящей роли партии во всей работе Наркомпроса³⁷. Структурные единицы Наркомпроса, осуществлявшие цензурирование информации, были связаны между собой единой идеологией и кадровой политикой ЦК ВКП (б). Вопросами организации библиографического дела в стране, чисток книжных фондов с помощью списков и указателей не рекомендованной литературы, занимались агитационно-пропагандистский отдел и отдел печати ЦК³⁸. С помощью библиографических средств развивалась идея ограничения не только инопартийного текста (изымаются работы авторов, придерживающихся иных политических взглядов – меньшевиков, конституционных демократов, эсеров), но и историко-партийного текста, цензорскую функцию в отношении которого осуществлял Истпарт и его отделения на местах³⁹.

Что касается региональной структуры органов, осуществляющих цензурирование исторической информации, то институционально это были библиотечные и библиографические секции подотделов внешкольного образования, библиотечные и библиографические секции губернских политико-просветительных комитетов, сибирский и губернские библиотечные коллекторы. При губернских отделах агитации и пропаганды работал библиотечный подотдел, в функции которого входил контроль над изъятием и допустимостью распространения литературы. Библиотечные советы и Объединения заведующих библиотеками направляли деятельность библиотек по изъятию запрещённых книг, в том числе с помощью специально создаваемых комиссий. Надзором за книжным рынком занимались и ГПУ–ОГПУ. Основным критерием общим для всех структурных единиц разветвлённой цензурной системы была идея «ограничения текста» с точки зрения классового подхода. Характерные для дореволюционной библиографии объективизм и гуманизм были осуждены как «вылазки классового врага».

Несомненно, репрессивная библиография, получившая своё воплощение в списках не рекомендованных книг и книг, подлежащих изъятию⁴⁰ была направлена не только против авторов, но и, прежде всего

³⁷ Горяева. 2002. С. 180.

³⁸ См. например: РГАСПИ. Ф. 17. Оп.60. Д. 467, Л. 2; Д. 522. Л. 52-53; Оп. 84. Д. 691. Л. 22, 167, 169.

³⁹ См. например: ГАРФ. Ф. Р-359. Оп. 9. Д. 40. Л. 228.

⁴⁰ Списки литературы, запрещённые к распространению, рассылались в регионы не только Главлитом и ВЧК, но и издавались типографским способом. Они фигурируют под разными названиями, но суть от этого не меняется. Например: «Списки книг,

против читателей. В списках часто не указывался год издания. Думается, делалось это не без умысла. Необходимо было изъять конкретные книги определённого автора или издательства, вне зависимости от года издания, так как многие исторические работы, вышедшие до революции 1917 г., особенно учебная литература, многократно переиздавались (в том числе и после 1917 г.). Библиографические списки, составленные таким образом, служили практическим руководством при не допуске или изъятии книг из библиотек, книжных магазинов и складов.

Анализ сохранившихся списков изъятых книг и протоколов заседаний комиссий по изъятию (Омск, Новосибирск, Томск) позволяет утверждать, что дореволюционные трактовки истории России рассматривались как препятствие на пути к построению «светлого будущего». В практике историописания появляются новые герои и новые образы, поэтому популярные книги, посвящённые Александру Невскому, Владимиру Мономаху, Ивану Грозному и др., в большом количестве издававшиеся до революции 1917 г., были изъяты. Особенно тщательно вычищались фонды школьных библиотек, так как учебная литература, являясь одним из важнейших трансляторов научных идей, влияла на формирование исторического сознания. Неприемлемыми для советской школы оказались не только учебники Н.П. Устрялова, П. Овсянникова, Д.И. Иловайского, А.В. Илпатъевского, но и фундаментальные исторические труды корифеев отечественной историографии. Изъяты были труды С.М. Соловьёва, Н.И. Костомарова, Н.М. Карамзина, П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, А.Е. Преснякова и др.⁴¹. Из библиотек изымались также и библиографические указатели по истории. В рамках создаваемой в стране социально-ценностной классово-идеологической парадигмы историческая библиография постепенно оказывается интегрированной в процесс советского «культурного строительства». С её помощью формировались и закреплялись новые, иные по сравнению с предыдущей традицией, стереотипы и навыки восприятия информации.

Особое значение в 1920-е гг. в формировании массового исторического сознания придавалось критико-библиографическим материалам на страницах периодических изданий. Рецензии и отзывы на книги понима-

подлежащих конфискации», «Списки книг, подлежащих изъятию из продажи» (ГА-ОО. Ф. Р-1152. Оп. 1. Д. 262. Л. 180-200 (об.); Ф. 318. Оп. 1. Д. 585. Л. 25-45); Руководящий каталог по изъятию... 1924; Список книг, рекомендованных, допущенных и отклонённых научно-педагогической секцией ГУС. 1924; и др.

⁴¹ ГАОО.Ф. Р-1152. Оп. 1. Д. 262. Л.49, 87, 95 (об.), 96 (об.), 100, 104, 106 (об.), 109 (об.), 114, 116, 119, 120 (об.), 122, 123, 128, 242, 317 (об.), 318, 319 (об.), 320; ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 636. Л. 141.

лись как неотъемлемая часть библиографии⁴². Через них осуществлялась персонифицированная связь с читателем, чаще всего потенциальным. Библиографические издания были способны оперативно откликаться на актуальные события, широко использовали приёмы коммуникативности с целью воздействия на читателей, на формирование читательских интересов, определённых ценностных ориентаций. В основу всех библиографических методов (отбор, оценка, классификация и т.д.) был положен критерий «идеологического качества» текста и его политической оценки. Приведём лишь несколько примеров. Труд М.Н. Покровского «Русская история с древнейших времён» (Т. 1-4) характеризовался как «единственный» курс русской истории, написанный со «строго выдержанной точки зрения революционного марксизма»⁴³. «Архив русской революции» И. Гессена, с точки зрения рецензента Нурмина, «подчёркивает эволюцию русского либерализма в сторону мракобесия и какой-то черносотенной остервенелости»⁴⁴. Говоря о книге Р.Ю. Виппера «Иван Грозный» М.Н. Покровский считал, что в научном отношении она «ничего не прибавила к русской истории»⁴⁵. Непонятно было для М.Н. Покровского и переиздание «Курса русской истории» В.О. Ключевского тиражом в 50 тыс. экз. «И уж если решено было печатать, – писал рецензент, – то редактирование следовало поручить историку-марксисту, который снабдил бы его соответствующими комментариями», а не Я.Л. Барскову, благоговееющему перед каждым словом своего учителя. «Тут уж марксизмом и не пахнет!» восклицает М.Н. Покровский⁴⁶.

В 1920-е гг. меняется язык науки, что нашло отражение в языке рецензий и отзывов, названиях обзоров и списков литературы, библиографических разделов и рубрик. Язык являлся не только средством отражения и коммуникации, но и одним из факторов, детерминирующих историческое сознание. Весьма показательной на этот счёт оказалась тема Октябрьской революции и гражданской войны. Навязывание авторской (рецензента) точки зрения путём соответствующей оценки факта, явления или события происходило с помощью различных приёмов. Широко использовались метафоры (образы стихии, хищников)⁴⁷, обобщения («революционеры», «контрреволюционеры»)⁴⁸, сравнения и сопоставления

⁴² Брискман. 1976.

⁴³ Рабочий путь. 1924.

⁴⁴ Нурмин. 1921.

⁴⁵ Покровский. 1922.

⁴⁶ Покровский. 1923.

⁴⁷ Вегман. 1922; 1927.

⁴⁸ Неримов. 1925.

(«беспочвенные нытики», «истые революционеры») ⁴⁹. В текстах рецензий и отзывов, названиях работ прослеживается героизация и мифологизация образов большевиков. Используемые с этой целью языковые средства маркированы эмоционально-экспрессивными признаками («сказочно-героический», «изумительная доблесть», «Красная Голгофа») ⁵⁰. В массовое сознание внедрялась идея о неизбежности Октябрьской революции и перерастании её в мировую ⁵¹, насаждалось недоверие к другим политическим силам в изображении событий Октябрьской революции и гражданской войны ⁵². Библиографическая информация оказалась интегрированной в процесс создания образа советской исторической науки, для которой характерны такие черты как классовый подход, принцип партийности, материалистическая основа, прагматизм и утилитаризм.

В сознании читателей, с помощью ценностно-ориентировочной функции библиографии, целенаправленно фиксировались определённые морально-этические нормы. Формировались новые практики исторической библиографии, ориентированной на избирательный подход в отражении литературы. В таком качестве историческая библиография выступала не как институт трансляции исторического знания и сохранения интеллектуального опыта, а как механизм контроля исследовательского поля исторической науки. В данном случае речь идёт о футуристической составляющей образа исторической науки.

«Социально-ориентированное историописание имело целью не просто конструировать национальное прошлое, но выполняло практические задачи удовлетворения потребностей власти и общества в нужном (соответственно ситуации) прошлом, а также контроля над национальной памятью» ⁵³. Библиография использовалась как своеобразный инструмент манипулирования общественным сознанием. В то же время закладывался вспомогательный (с идеологической подкладкой) статус исторической библиографии, что определило её дальнейшее развитие и функциональное предназначение в советской исторической науке и способствовало формированию представления об иерархической подчинённости двух научных сфер – исторической науки и исторической библиографии.

⁴⁹ Вегман. 1923

⁵⁰ Вегман. 1927; 1923.

⁵¹ Вегман. 1923.

⁵² Вегман. 1922. С. 191; 1923. С. 260.

⁵³ Маловичко. 2012. С. 277.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Азадовский М.К. Задачи сибирской библиографии // Сибирские записки. 1919. № 6. С. 97–115
- Азадовский М.К. К методологии марксистской библиографии (По поводу «Библиографии» Н.М. Ченцова) // Каторга и ссылка. 1931. № 5. С. 184–197
- Азадовский М.К. Сибирские темы в изучении русского устного творчества / Кабинет лит. пед. ф-та Гос. Иркут. ун-та. Иркутск, 1925. 23 с.
- Азадовский М., Слободской М. Декабристы в Сибири: Библиогр. материалы // Сибирь и декабристы: статьи, материалы, неизданные письма, библиография / Иркутский Губернский исполнительный комитет; Иркутская комиссия по подготовке юбилея декабристского восстания; под ред. М.К. Азадовского, М.Е. Золотарёва, Б.Г. Кубалова. Иркутск, 1925. С. 166–178; То же. Отд. оттиск. Иркутск, 1925. 19 с.
- Алеерас Н.Н. Отзыв официального оппонента о диссертации Т.В. Бернгардт на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Историческая библиография и конструирование нового образа исторической науки. 1920-е годы (на материалах Сибири)». 2010.
- Алаторцева А.И. Историческая периодика и преподавание исторической науки // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1975. С. 232–237.
- Бакай Н.Н. Сибирь и декабрист Батеньков // Труды Томского краеведческого музея. Томск, 1927. Т.1. С. 38.
- Брисман М.А. Критическая библиография... Есть ли она? // Библиография на страницах периодических изданий / ЛГИК. Л., 1976. Т. XXX. С. 179–207.
- Вегман В. // Сибирские огни. 1927. № 4. С. 219. Рец. на кн.: Борьба за Урал и Сибирь. М., Л., 1926. 388 с.
- Вегман В. // Сибирские огни. 1922. № 5. С. 189–192. Рец. на кн.: Гинс Г.К. Сибирь. Союзники. Колчак / О-во Возрождения России. Пекин: Типогр. Русской духовной миссии, 1921. Т. 1. 325 с.; Т. 2. 606 с.
- Вегман В. // Сибирские огни. 1923. № 3. С. 216. Рец. на кн.: Исторический очерк 27 стрелковой дивизии РККА. Пгр., 1923. 47 с.
- Вегман В. // Сибирские огни. 1923. № 4. С. 193. Рец. на кн.: Колосов Е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания. Материалы. Документы. Пгр., 1923.
- Вегман В. // Сибирские огни. 1923. № 5–6. С. 260–261. Рец. на кн.: Кроль А.А. За три года (воспоминания, впечатления, встречи). Владивосток, 1922. 212 с.
- Вегман В. // Сибирские огни. 1927. № 4. С. 220. Рец. на кн.: Последние дни Колчаковщины: сб. документов. М., Л., 1926. 231 с.
- Вознесенский С. Библиографические материалы для словаря декабристов. Л., 1926. 152 с.
- Вохрышева М.Г. Библиография в системе культуры. Самара, 1993. 193 с.
- Вохрышева М.Г. Теория библиографии. Самара, 2004. 367 с.
- Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991. М., 2002. 400 с.
- Гришин Е.В. Феномен восприятия и его влияние на электоральное поведение // Вестник Московского государств. областного университета. 2007. № 3. С. 199–210.
- Дович. В. [Вегман В.] // Сибирские огни. 1923. № 5–6. С. 262. Рец. на кн.: Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г.: сб. док. / Зензинов В. Париж, 1919. 193 с.
- Дополнения... // Лунин М.С. Общественное движение в России. Письма из Сибири / Музей революции СССР; Ред. и примеч. С.Я. Штрайха. М., Л., 1926. С. 62–63.

- Дубовский К.В.* Декабристы в деле изучения Сибири // Северная Азия. 1925. № 5–6. С. 9–18.
- Зиновьева Н.Б.* Основы современной библиографии. М., 2007. 95 с.
- Иванов Д.Д.* Подытоживающая функция отраслевой библиографии // *Иванов Д.Д.* Избранное. М., 1986. С. 217–280.
- Иконников В.С.* Опыт русской историографии. Т. I. Кн. 1. Киев: Типография Императорского университета св. Владимира, 1891. [1283] с. с разд. паг.
- История книги* / Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприянова. М., 2001. 399 с.
- Корзун В.П.* Коммуникативное поле исторической науки: новые ракурсы историографического исследования // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVII–XXI века: сб. ст. / под ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной, Ю.В. Красновой. Челябинск, 2011. С. 290–302.
- Корзун В.П., Денисов Ю.* Концепт «образ исторической науки»: интеллектуальная традиция и современная когнитивная ситуация // Ейдос: альманах теории и истории исторической науки. Киев, 2010/2011. Вып. 5. С. 306–319.
- Корзун В.П.* Образы исторической науки на рубеже XIX–XX веков (анализ отечественных историографических концепций). Омск; Екатеринбург, 2000. 226 с.
- Кузнецов Б.С.* Образ науки и эвристическая функция философии // Методология науки. Новосибирск, 1985.
- Культура и цензура: мифы и реальность или история борьбы против правды: (От составителей)* // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М., 1997. С. 5–24.
- Леликова Н.К.* Становление и развитие книговедческой и библиографической наук в России XIX – первой трети XX в. СПб., 2004. 415 с.
- Литература о [М.С.]Луние // Лунин М.С. Сочинения и письма / Ред. С.Я. Штрайх. СПб., 1923. С. 116–121.
- Маловичко С.И., Румянцева Н.Ф.* Социально ориентированная история в актуальном интеллектуальном пространстве. Приглашение к дискуссии // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. / Отв. ред. О.В. Воробьева, В.А. Чеканцева. М.: ИРИ РАН, 2012. С. 274–290.
- Михайлова Г.М.* Потребности науки и библиографическое моделирование (На примере советской исторической библиографии) // Библиография в помощь науке. Л., 1975. С. 45–54 (Труды. Т. XVII. Вып. 1).
- Мохначёва М.П.* Журналистика и историческая наука. Кн. I. Журналистика в контексте науковорчества в России XVII–XIX в. М., 1998. 383 с.
- Неримов А.* // Сибирские огни. 1925. № 4–5. С. 220. Рец. на кн.: Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты / Ред. и предисл. В. Вегман. Новосибирск, 1925. 562 с.
- Нурмин.* К эволюции русского либерализма // Красная новь. 1921. № 2. С. 347–349. Рец. на кн.: Архив русской революции / Гессен И.В. Берлин, 1921. 321 с.
- Огородников В.* // Сибирские огни. 1925. № 6. С. 198. Рец. на кн.: Азадовский М.К., Слободской М. Декабристы в Сибири: Библиогр. материалы // Сибирь и декабристы: статьи, материалы, неизданные письма, библиография. Иркутск, 1925. С. 166–178.
- Переселенков С.А.* Дневники и мемуары декабристов // Былое. 1925. № 5 (33). С. 240–262.
- Покровский М.* Красная новь. 1922. № 3. С. 275–276. Рец. на кн.: Виппер Р. Иван Грозный. М., 1922.

- Покровский М. О* V т. «Истории...» Ключевского. Заметка // Печать и революция. 1923. № 3. С. 104. Рец. на кн.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. V. Пгр., 1922.
- Рабочий путь*. 1924. № 251 (2.11). С. 6.
- Ретина Л.П.* «Второе рождение» и новый образ интеллектуальной истории // Историческая наука на рубеже веков. Сб. статей. М.: Наука, 2001. С. 175–192.
- Ретина Л.П.* Интеллектуальная культура как предмет исследования // Диалог со временем. 2011. Вып. 36. С. 5–8.
- Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка КСССР. Оренбург: Кирглавополитпросвет, 1924. С. 6-96.
- Сляднева Н.А.* Библиографическая эвристика художественной литературы и литературоведения. М., 1987. 150 с.
- Сляднева Н.А.* Библиография в системе Универсума человеческой деятельности: Опыт системно-деятельностного анализа. М., 1993. 226 с.
- Список книг, рекомендованных, допущенных и отклонённых научно-педагогической секцией ГУС. М.: Изд-во ВЦСПС, 1924. 8 с.
- Турунов А.Н., Вегман В.Д.* Революция и гражданская война в Сибири. Указатель книг и журнальных статей. Новосибирск, 1928. 140 [X] с.
- Турунов А.Н., Попова Т.Н.* 1905 год в Сибири: Материалы к библиогр. обзору книг и журнальных статей / Предисл. Б. Шумяцкий. М., 1930. 24 с.
- Ченцов Н.М.* Восстание декабристов: Библиогр. / Центархив; Ред. Н.К. Пиксанов. М., Л., 1929. 794 [XIX] с.
- Ченцов Н.М.* Юбилейная литература о декабристах. 1924–1926: Библиогр. указ. / Ред. Н.К. Пиксанов. М.: Изд-во Ком. Акад., 1927. 109 с.
- Эймонтова Р.Г.* Историческая библиография и преподавание истории исторической науки // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1975. С. 141–151.
- Ямин В.Н.* [Вегман В.Д.] // Сибирские огни. 1927. № 4. С. 222–223. Рец. на кн.: Гайда Р. Мои воспоминания. Карлин: Изд-во «Весь мир», 1921. 179 с.
- Бернгард Тамара Викторовна*** – к.и.н., ст. преподаватель, зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, *kafedra-omsk@yandex.ru*
- Корзун Валентина Павловна*** – д.и.н., проф., зав. кафедрой современной отечественной истории и историографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, *korzunv@mail.ru*

К. В. ГЕРШ

ОБРАЗ ИСТОРИКА И ЕГО РЕМЕСЛА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ИСТОРИКА-МЕДИЕВИСТА И. В. ГРЕВСА

В статье сделана попытка реконструкции образа Историка и его ремесла в представлении историка-медиевиста И.М. Гревса (1860–1941). В центре внимания автора – представления ученого о профессиональных и личностных качествах историка, его статусе и роли в научном сообществе, целях и задачах профессиональной деятельности. При воссоздании собирательного образа Историка автор привлекает автобиографический материал, воспоминания и заметки Гревса об учителях, коллегах, учениках, рецензии, историографические введения лекционных курсов, а также некрологи.

Ключевые слова: образ ученого, ремесло историка, профессиональная самоидентификация, учитель – ученик, методы исторического исследования, медиевистика.

Развитие историографического знания и выход его на качественно новый уровень связаны прежде всего с успехами культурологической и антропологической тенденций в исторической науке. Интерес историографов все больше обращен не только к историческим концепциям ученых («готовым знаниям»), но и к возможным способам их получения. Предметное поле расширяется за счет включения таких новых исследовательских единиц, как «историографический быт», «образ науки», «незримый колледж», «культурное гнездо», «межкоммуникационные связи»¹ и т.д. В этой связи наблюдается интерес и к проблеме «образа историка» в историко-научном и культурном пространствах. Исследованием образа историка в русской культуре XIX–XX вв. занимаются И.Л. Беленький², О.Б. Вахромеева³, В.П. Корзун⁴, М.А. Мамонтова⁵.

И.Л. Беленький одним из первых поставил проблему комплексного исследования образа историка. Он предложил систему «обобщенных представлений различной мощности об историках», которые определяются их личностно-психологической стилистикой и стилем научного

¹ Значительная роль в этом принадлежит Омской историографической школе во главе с В.П. Корзун. В последнее время вышли монография и учебное пособие для вузов по историографии и истории исторической науки: Бычков. 2001; Очерки истории отечественной исторической науки... 2005.

² Беленький. 2000; 2005.

³ Вахромеева. 2001.

⁴ Корзун. 1992; 2000.

⁵ Мамонтова. 2000; 1998.

мышления; мировоззренческой и политической ориентацией; этнокультурной и культурно-исторической идентичностью; рангом и статусом в академическом и университетском сообществах; принадлежностью к определенным научным школам, течениям и направлениям; поколенческой стратификацией; профессиональной связанностью с различными сферами политической, общественной и культурной жизни; органической связанностью с основными пространственными конфигурациями отечественной исторической науки: «московским», «петербургским» и другими ее «текстами»; родовой принадлежностью к тем или иным культурно-историческим или политическим эпохам России XIX–XX вв.⁶ Ученый предлагает строить исследования в этом направлении с целью создания «обобщенного образа» историка указанного периода.

Исследуя «образ историка», мы не можем не привязывать его к определенной эпохе, локальному сообществу, идеологии, определенной личности. Важное влияние оказывает и европейская историческая традиция, особенно когда речь идет о рубеже XIX–XX вв. Модели подобных образов динамичны: определенной эпохе присущ свой образ Историка. У нас вызывает возражение лишь рассуждение Беленького вслед за В.П. Визгиным о том, что в методологической теории существует образ «идеального историка», который следует признать за образец, что возможно создать некий «обобщенный образ историка», но, к сожалению, «современная историческая и историографическая практика пока далека от этого»⁷. Но в рамках одного локального сообщества могут вырисовываться разные образы Историка, не совпадающие во многих узловых пунктах. Так, образ И.М. Гревса, созданный его ближайшими учениками – О.А. Добиаш-Рождественской, Е.Ч. Скржинской или Л.П. Карсавиным, не всегда отражал «реальную фигуру» историка. Это связано со многими факторами: историческими подходами, научным кредо, методологическими пристрастиями, философскими взглядами, идеологией и т.д. Не вызывает возражения и то, что образ историка начала и конца XIX века или образ советского историка конца десятих – начала двадцатых годов и 30-40-х гг. не идентичны. По мере становления и развития исторического мировоззрения того ли иного ученого меняется и конструирование этого образа.

Наше внимание обращено к «образу Историка» и его ремеслу в историческом наследии историка-медиевиста Ивана Михайловича Гревса. Интерес к этой проблеме возник в результате знакомства с той частью

⁶ Беленький. 2000. С. 20-21.

⁷ Там же. С. 14, 21-22.

источников, где Гревс давал характеристику собратьям по цеху и оценивал их деятельность. Казалось, это должно отражать прежде всего жизнь и исследовательские пристрастия тех, о ком писал историк. Но при внимательном рассмотрении мы можем увидеть сквозь призму «другого» самого историка, который, пользуясь своей шкалой ценностей, традициями своего локального сообщества, пытался дать оценку и самому себе, выделял значимое и ценное для себя, точнее создавал некий «образ». Человек смотрится в другого человека, как в зеркало, видя в нем свое отражение. Создаваемый образ возникал не на пустом месте. Оценки давались исходя из собственного опыта, сравнительные линии выстраивались в том случае, если они «задевали» историка, и он видел «свое», используя при этом только отрефлексированное знание. По словам Т.А. Павловой, в биографии, как ни в каком ином жанре, автор выражает самого себя через того героя, которому посвящено его исследование, а через себя – и особенности, и требования, и сущность своего времени⁸. Так мы можем конструировать не только портрет того или иного историка, но и тот «образ», который создавал сам пишущий.

Под «образом историка» мы понимаем совокупные представления ученого о профессиональных и личностных качествах историка, его статусе и роли в историческом сообществе, целях и задачах своего ремесла, т.е. о своей профессиональной деятельности и отношении историка к ним. Реконструируется этот образ через анализ биографий, отдельных характеристик историков, созданных Гревсом. В то же время стоит отметить, что понятия «образ» и «идеальный образ» не тождественны друг другу. Идеальный образ априори не должен иметь изъянов и недостатков, он менее всего имеет отношение к реальности, к нему можно стремиться, но достигнуть практически невозможно. Чаще всего это «искусственно» созданный образ. Для «неидеального образа» характерны человеческие несовершенства, различные степени отклонения от идеала. Создавал ли Гревс «идеальный образ» историка и его ремесла?

В наследии Гревса мы не найдем, конечно, ни одного документа, который бы комплексно отражал образ Историка его собственными глазами. Выявить этот конструкт – цель исследователя. При его воссоздании нами будут использованы опосредованные, непосредственные и косвенные источники: автобиографические материалы (так называемые «эго-документы»), воспоминания и заметки об учителях, коллегах, современниках, характеристики историков в рамках историографического обзора университетских курсов, рецензии и некрологи. Такие, казалось бы, «не-

⁸ Павлова. 1995. С. 86.

надежные», «субъективные» источники, в которых запечатлен эмоционально-психологический и интеллектуальный мир личности, его самосознание и индивидуальный жизненный опыт, вышли на первый план не вопреки, а именно благодаря своей субъективности. В нашем случае именно она и явилась предметом исследования. При анализе этой субъективности мы обращали внимание не на воссоздание портретов историков, которые «рисовал» Гревс, а на оценки, особые привлекательные и отталкивающие качества, которые отмечал историк, *автохарактеристики*, саморефлексию⁹. Исходя из этого, высвечивались совокупные представления Гревса – собирательный образ Историка. В этой связи на первый план выступала проблема взаимодействия/столкновения двух (вернее трех) субъектов: с одной стороны, героя биографии – историка со своим мировоззрением, вписанного в свое время и неразрывно связанного со своей научно-исторической, культурной традицией; с другой – историка, создававшего биографию (И.М. Гревса), со своей системой ценностей, испытывавшего столь же глубокую и разностороннюю зависимость от своего времени и своей культуры; с третьей – исследователя, занимающегося изучением данного феномена, на которого также налагает отпечаток время и культурно-историческая среда. При разрешении данной проблемы важна перекрестная верификация: проверка опосредованных источников и их данных непосредственными и косвенными источниками.

При создании биографий и характеристик историков Гревс практически всегда пользовался единой универсальной схемой: «биография и ее влияние на складывание личности ученого»; характеристика главных сочинений и анализ исторической концепции; «метод ученой работы и понимание сущности его науки»; «ученый как человек»¹⁰. Главной задачей историка являлось «правдивое изображение»: «не буду слагать “панегрика”, предвзятого, отвлеченного, мертвенного восхваления; хочу восстановить живого человека, с плотью и кровью его, с духом, наполнявшим конкретную личность»¹¹. При этом важное место занимала способность представить духовную составляющую личности, поэтому

⁹ В этом отношении мы подчеркиваем принципиальное отличие от работы О.Б. Вахромеевой «Опыты истолкования души...» Она предлагает обзор той части архивного материала и опубликованных источников, в которых содержатся характеристики людей науки, культуры и искусства. Автор разбивает на группы весь источниковый материал и ограничивается лишь кратким пересказом содержания наиболее значимых воспоминаний.

¹⁰ По этому принципу построены биографии Фюстеля де Куланжа, В.П. Острогорского, В.Г. Васильевского, А.С. Лаппо-Данилевского и др.

¹¹ Гревс. 1920. Кн. 6. С. 45.

многие его этюды имели подзаголовок – «опыт истолкования души». Попытка восстановить привлекательный «духовный образ» присутствовала даже в небольших вступительных статьях к различным изданиям¹². Духовность историка была стержнем, вокруг которого разворачивалась характеристика его научного мировоззрения. Психологизация была неотъемлемой частью портретов многих ученых: Ренана, Фюстеля де Куланжа, А.С. Лаппо-Данилевского, В.П. Острогорского, В.Г. Васильевского.

Для Гревса эта духовность выростала из религиозности, была тесно связана с ней. В первую очередь он обращал внимание на религиозность историков. При «истолковании души» А.С. Лаппо-Данилевского он подчеркивал, что основная окраска личности дается религиозностью или безбожием¹³. Но глубокая религиозность вовсе не означала набожности. Часто это было даже не христианское мировоззрение, а глубокая потребность веры в бессмертие духа¹⁴. В своей статье «Памяти Ренана» Гревс представил свое понимание религиозности, в дальнейшем, при оценивании других историков, он исходил именно из этого определения: «Под религиозностью в данном случае я разумею потребность верить в высший смысл жизни [выделено автором], заходящий за пределы индивидуального существования отдельного человека, и современного общества и постоянно отыскивать его»¹⁵. Для историка человек – существо религиозное, но в философском смысле. Нет рассуждений о Боге, церкви, обрядовости, но есть вера и идеал, вернее вера в некий идеал. В описании первого университетского учителя И.М. Гревса В.Г. Васильевского встречаем: «...в нем было много глубоко-религиозных элементов в нравственной природе и умственном настроении. Он верил в высший смысл существования и в направление мировой жизни верховным началом к разумной цели. Он строил равновесие своей духовной жизни на идее эволюции мира к совершенству...»¹⁶. Стремление к совершенству и разумной цели, движение в их направлении, осмысление веры – вот идеалы Гревса. Стоит отметить, что это не означало конфликта или разрыва с наукой. Историк называл «замечательной чертой» умение находить компромисс, сочетать, примирять религиозное и научное мировоззрения: «Религия у него не вступает... в конфликт с наукой. Это... очень замечательная черта: уразумение так рано различия целей между ними,

¹² См., например, *Гревс*. 1923. С. 3.

¹³ *Гревс*. 1920. С. 50.

¹⁴ *Гревс*. 1896. Ч. 1. С. 156.

¹⁵ *Гревс*. 1896. С. 214-215.

¹⁶ *Гревс*. 1899 (а). С. 67.

возможности согласования относительной истины, добываемой наукой, со всеобъемлющей правдой религии»¹⁷.

При воссоздании образов Гревс выделял разные типы историков (эта традиция восходила еще к XVIII в.): историк-исследователь, историк-мыслитель, историк-художник, историк-популяризатор, историк-политик и др. Не выстраивая строгой иерархии этих типов, первое место он все же определял четко. Исследовательская доминанта была очевидной – это важнейшая задача и смысл профессии историка. Интересно, что для Гревса отнесение к тому или иному типу было связано не только с результатом работы историка, но и с поставленными им задачами. Для него важна комплексность в исполнении различных функций историка, которая связана с поиском некоего идеального образа. Например, Гизо он определил как историка-исследователя, мыслителя, политика¹⁸. Однако, по мнению Гревса, Гизо не был идеальным историком: в нем преобладал политик. Говоря об идеальном образе, Гревс не случайно любил повторять слова Ренана и разделял его точку зрения: «“Совершенным был бы тот человек, кто одновременно являлся бы поэтом, философом, ученым, нравственным человеком, притом не в известные промежутки и не в различные моменты (это было бы посредственное *совершенство!*) [выделено мной. – К.Г.], но в глубоком взаимопроникновении во всем протяжении жизни, который был бы поэтом в то время, как он является философом, философом и вместе ученым, словом в котором все элементы человечности слились бы в высшей гармонии”. Так должно отразиться в личности то, что составит идеальное совершенство и в человечестве...»¹⁹. Именно соединение различных талантов и создавало совершенного, образцового историка. Эти качества личности Гревс проецировал и на человечество в целом, которое стремится к совершенству и абсолюту. В своей магистерской диссертации он резюмировал: «Историк приходится вырабатывать в себе *синтетический* тип разностороннего исследователя и мыслителя»²⁰.

Важное место ученый отводил профессиональным качествам историка. При анализе биографий и характеристик можно выделить особые качества, на которые Гревс чаще всего обращал внимание, и которые вызывали у него восхищение. Он отмечал оригинальность, яркость, пронизательность ума, несмотря на его недисциплинированность (характерную и для самого Гревса), научное остроумие, огромную ученую

¹⁷ Гревс. 1920. С. 50-51.

¹⁸ Гревс. 1896. С. 106.

¹⁹ Гревс. 1899 (а). С. 73.

²⁰ Гревс. 1899 (б). С. 464.

эрудицию, энциклопедизм. Характеризуя Лаппо-Данилевского он писал: «...энциклопедизм, но истинный, редко встречаемый, могучий по захвату и цельности, и по организованности, настоящая нерушимая база для объединяющего построения системы мира, как она отражается в сознании человека и человечества. Но этот энциклопедизм... был совершенно чужд почти неизбежных недостатков всякого энциклопедизма – поверхностности и эклектической бесхарактерности: у него же чувствовалась повсюду, и в элементах знаний, и в орудиях их синтеза самостоятельная, глубокая и сильная, именно научная мысль»²¹. Вряд ли Лаппо-Данилевский выражал Гревсу на словах суть своего таланта, нет сомнений в том, что это определение исходило из понимания самого Гревса, рисовалось как образ, причем идеальный, который он наблюдал в лице реального человека. Вообще, Гревс очень ценил такое замечательное человеческое качество, как «способность видеть и ценить в других свойства и достоинства, ему не доставшиеся»²². Важное место он отводил «могучему дару исторической интуиции», который «заставляет ... забывать налагаемые на историка оковы и влечет его от сухого регистрирования смены конкретных фактов прошлого к властному оживлению их творческим духом»²³. Умение оживлять историю, видеть в ней не просто череду сменяющих друг друга событий было одним из требований историка, которые Гревс искал у других и порой не находил. Например, в сочинениях Гизо «обнаруживается слабость исторического чувства жизни, нет живого воспроизведения, конкретного оживления прошлого»²⁴. Несовпадение воображаемого и видимого рождало неприятие, проецировало представления Гревса об образе Историка.

Более всего оживлению истории способствовали, по мнению ученого, язык и стиль историописания. При анализе характеристик ученых на первое место Гревс ставил ясность, прозрачность языка и стиля, художественность²⁵. В характеристиках историков они практически всегда стояли рядом, по очередности уступая друг другу место, но имели равное значение. Оценивая таким образом язык и стиль ученых, он подчеркивал, прежде всего, наиболее значимые и образцовые качества для себя. Поэтому его неодобрение вызывали «сухость тона и тяжеловесность

²¹ Гревс. 1920. С. 61-62.

²² Гревс. 1896. С. 43.

²³ Гревс. 1902. С. 943.

²⁴ Гревс. 1896. С. 127.

²⁵ Ср. характеристики Э. Гиббона, Фюстеля де Куланжа, Ренана, В.Г. Васильевского, французской историографии в целом: Гревс. 1896. С. 63, 212, 220, 258-259; 1899. С. 58; 1902. С. 943, 944.

изображения» Ранке, но в то же время «удивительное богатство красок и широта картины», которые историк не преминул упомянуть.

Важное значение для ученого имел выход в свет его трудов. Для Гревса это был идеал, в достижении которого он не преуспел и смело в этом признавался: «В силу, говорю, особенностей (т.е. недоверия к себе, доходившей иногда до болезненности) и в силу обстоятельств (страшной заваленности текущей работой и неблагоприятия в самом течении жизни) я мало оставляю трудов, которые свидетельствовали бы сами собой о моей исследовательской и профессиональной работе. ...Так мне грозит (т.е. образу моему) погружение во мрак. Я не страдаю честолюбием, и все же не хочется совсем пропасть в небытие»²⁶. Именно поэтому, когда речь заходила о наболевшем, ученый живо передавал сожаление, обиду и даже горечь по упущенным возможностям. Так, Гревс рефлексировал по поводу упущенных возможностей своего коллеги и ближайшего друга Лаппо-Данилевского: «Какая обида! Ведь это неверно, неправильно, несправедливо вынашивать труд бесконечное время в недрах своего духа, а не представлять его на суждение заинтересованных, хотя бы по частям, в мере его созревания! Только живой воздух общения с собратьями по труду, их искренняя и воодушевленная критика нормально поддерживает творчество, обостряет познание, закаляет убеждение... Болезненное отношение к собственной работе подрывало много сил, остановило немало результатов»²⁷. По поводу близкого по духу историка Т.Н. Грановского Гревс также отмечал, что «для понимания его значения недостаточно вчитываться в его сочинения. Он сравнительно мало писал, и его сочинения дают лишь очень неполный и бледный отпечаток его знаний и его таланта, служат лишь несовершенным показателем его научно-просветительской роли»²⁸. Такая рефлексия о наболевшем была присуща Гревсу уже с юношеских лет. В оче-

²⁶ ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 2. Ср.: воспоминания учеников – Н.П. Анциферова («...Этот выдающийся ученый <...> совершенно не заботился о печатании своих трудов. Ящики его большого стола были полны рукописями. И.М. работал с изумительной щедростью, лишенной малейшей корысти, направленность его воли была в сторону учеников. Он был идеалом ученого-педагога». ОР РНБ. Ф. 27. Дневники. Т. 1. Л. 24-26) и Добиаш-Рождественской («Лишь тот, кто из году в год следил за Вашей профессорской работой, за непрестанно обновляющимися и всегда широко поставленными, глубоко разработанными темами Ваших семинариев – знает, что не в печатных книгах должен искать он ответа на вопрос о содержании Вашей научной деятельности, но в конспектах неопубликованных Ваших курсов, в заметках и тетрадях Ваших учеников, в их научных работах». *Добиаш-Рождественская*. 1911. С. IV).

²⁷ Гревс. 1920. С. 68.

²⁸ Гревс. 1896. С. 444.

редной раз собираясь написать воспоминания о последних гимназических годах, он писал своей кузине Н.Д. Бекарюковой: «Сколько было разных беллетристических мыслей, и как мало было приведено в исполнении»²⁹. Девятнадцатилетний студент-первокурсник уже тогда столкнулся с проблемой нехватки времени для фиксирования на бумаге хода своей научной жизни, воспоминаний о «прожитом и пережитом», как любил выражаться историк.

Главной целью Гревса был поиск чистой научной истины. Служение науке, а, следовательно, правде-истине ощущалось и осмысливалось как важнейшая ценность и долг. Такое трепетное, почти ритуальное отношение можно обозначить как «научная вера»: «Познание – первый член символа веры естественной религии, ибо оно – первое условие общения человека с миром, проникновения в мир, которое составляет умственную жизнь личности: познавать, значит приближаться к Богу»³⁰. Гревс прекрасно осознавал ограниченность такого идеала: наука может открыть лишь «приблизительную» истину и каждый исследователь должен быть готов к тому, что перед познающим умом человека останутся закрыты конечные проблемы бытия³¹. Такое важное для историка качество, как стремление к истине, он отмечал у многих. Заслуга Ренана, с точки зрения Гревса, в том, что ему рано представилась великая цель – «развитие ума бескорыстным умственным трудом для познания истины и смысла жизни»³²; главная особенность исторических приемов Нибура – стремление «добиться знания и понимания исторической правды»³³; Фюстеля де Куланжа – «проникнутая принципиальностью, чувством долга идея служения правде»³⁴. Подобное свойство Гревс называл идейностью, т.е. «постоянным исканием духовной пищи, жаждой истины, отыскиваемой всеми нитями познания, которые создают положительно огромный умственный капитал»³⁵. Именно таким путем создавалась разносторонняя полнота внутреннего мира. У историка вызывало восхищение умение отстаивать «свою правду», защищаться, биться до конца, так как он сам не имел такой решимости, был застенчив и скромнен. Пример Фюстеля де Куланжа в этом плане был весьма показателен: «Ф. де Куланж стремился

²⁹ Гревс И.М. – Бекарюковой Н.Д. С.-Петербург, 13 ноября 1879 г. // Человек с открытым сердцем... С. 125.

³⁰ Гревс. 1899 (б). С. 619.

³¹ Там же.

³² Человек с открытым сердцем... С. 220.

³³ Там же. С. 77.

³⁴ Гревс. 1902. С. 944.

³⁵ Гревс. 1899 (а). С. 65,73.

только к истине; он долго сомневался, пока искал ее; только когда приходил к убеждению в своей правоте, он проникался последним всецело, и когда затрагивали такие его взгляды, ему казалось, что оскорблена сама правда...»³⁶. Такое поведение заслуживало не только уважения, но и должно было служить образцом для других (Гревса в том числе). В этом смысле и несовершенные истины, добываемые истинным научным трудом, по мнению ученого, делают человека способнее к творческой интуиции и провидению высшей тайны познания³⁷.

Идейность и служение правде невозможны, по мнению историка, без объективности. Именно взвешенный и независимый взгляд должен был служить познанию истины. При характеристике исследовательских приемов это первое, с чего начинал Гревс, каждый историк маркировался по этому принципу. Ученый придерживался взгляда Фюстеля де Куланжа о том, что «...надобно создать новую, правильную, беспристрастную [историю], и для этого забыть личные симпатии и предрассудки современности, погрузиться в подлинные памятники и почувствовать правду в таком чистом источнике, воссоздав ее в виде стройного научного здания, воплощающего достоверную схему прошлого развития, а не фантазию историка»³⁸. Причины субъективности в истории Гревс видел в предвзятых мнениях, которые были вызваны национальными, религиозными или политическими пристрастиями. Он называл это «догматизмом», под которым понимал «доктринерство» – подчинение изложения и построения истории предвзятым философским, религиозным и особенно политическим, часто узким, теориям. «Только отрехшись от современных воззрений, можно уразуметь далекие эпохи, коренным образом отличавшиеся от нынешних»³⁹ – вот то правило, с позиций которого воспринималась своя деятельность и деятельность других. По замечанию Гревса, одной из главных заслуг Ранке была объективность. Свобода от повседневной политической деятельности, отсутствие которой мешало Гизо и ученикам Ранке, во многом помогла Ранке. Звание «Великого историка» по той же причине заслужил у Гревса и Гиббон⁴⁰. Для ремесла историка вообще важна дистанция не только временная, но и территориальная. Именно поэтому, по мысли Ивана Михайловича, русский историк-медиевист гораздо более объективен в своих оценках и выводах, нежели западный историк, занимав-

³⁶ Гревс. 1902. С. 944.

³⁷ Гревс. 1899 (б). С. 620.

³⁸ Гревс. 1902. С. 939.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Гревс. 1896. С. 64.

шийся подобной тематикой: «Русский историк-исследователь и историк-мыслитель может <...>, работая над всеобщей историей, внести в развитие исторических взглядов, в выявление сущности исторических явлений и смысла исторических проблем, оригинальную и свежую, беспристрастную точку зрения, чуждую национальных предпочтений и традиционных предрассудков, от которых часто нелегко освободиться ученому западному»⁴¹. Интересно, что при характеристике западных историков, первое, на что обращал внимание Гревс, это был субъективизм автора. Предвзятость во многом чувствовалась им и во французской, и в немецкой, и в английской историографии. При характеристике русских историков этот фактор отходил на второй план, но не исчезал.

В исторической науке конца XIX – начала XX в. господствовал взгляд на настоящее, как на источник вопросов, ответы на которые можно искать в прошлом. Этого ретроспективного взгляда придерживался и Гревс, который вовсе не противоречил с другим очень важным для историка принципом отрешения от настоящего, вживанием в прошлое. Оба условия – отрешение от настоящего и жизненное единство с его исторической сущностью – историк должен уметь сочетать так, чтобы они взаимно соединяли и дополняли друг друга. Понимание настоящего дает план исследования прошлого, указывает те пункты, на которых преимущественно должна сосредоточиться аналитическая мысль. Но в то же время в деятельность этой мысли историк не должен вносить созданные современностью субъективные симпатии и воззрения⁴².

При рассмотрении проблем субъективности большое значение для Гревса имела связь истории и философии. Историка возмущали философские построения, которые предшествовали историческим. Именно в этом он видел главную причину догматизма Юма и Гегеля. «Юм вносит в историческую работу философскую, предвзятую мысль... сильно узко субъективный элемент и применяет совсем не историческую точку зрения...»⁴³. И схема Гегеля «была взята не из жизни изучения прошлого, а из разума; она налагалась на историю сверху вниз, под нее подгонялись события и явления уже искусственно. Это была идея и схема, навязанная истории... Она не ставила даже вопроса о необходимости исторической проверки; не изучала истории в целом виде, хотя строила ее всю; пользуясь фактами случайно, поскольку они подходили к ней, или же насильственно видоизменяла факты»⁴⁴. Гревс призывал бороться против

⁴¹ Там же. С. 488.

⁴² Гревс. 1902-1903. С. 62.

⁴³ Гревс. 1896. С. 359.

⁴⁴ Там же. С. 250.

«ломки истории под идею», навязанных схем, довлевших над историей, против совершенно ненаучной произвольности – антинаучности. До конца дней он не мог принять «легковесных» построений социологии, исторического материализма и других произвольных схем. История для Гревса – свободная наука, которая не выносит гнета и насилия. Но подобные рассуждения историка вовсе не исключали философского знания и его пользы для истории. Еще в юношеском возрасте историк отмечал одно из главных достоинств историка – философский взгляд на проблему⁴⁵. В этом отношении показателен для него пример Лаппо-Данилевского, который тоже увлекался философскими и теоретическими вопросами науки: «Философ в А.С. Лаппо-Данилевском начинал преодолевать историка, но от первоначального избранного призвания... его *философствование всегда служило целям и интересам истории* (выделено мной. – К. Г.), как он понимал их, и как это понимание развивалось, вырастая в концепцию широкой полноты и стройности»⁴⁶. Философия должна вырастать из понимания истории. Эту мысль Гревс часто называл «строящей», она должна была сопровождаться суровой критической работой. Особое его уважение вызывали теоретические и методологические рассуждения и труды Э. Бернгейма, В. Вундта, П. Виллари, Г. Риккерта, М.Н. Петрова, Н.И. Кареева, А.С. Лаппо-Данилевского, В. Соловьева, С.Л. Франка, Н. Лосского (их работы он предлагал студентам в качестве внеучебных пособий). Философию Гревс больше сводил к теории и методологии истории. И в этом отношении она казалась ему необходимой и незаменимой.

Важным показателем ремесла историка для Гревса было стремление представить цельность рисуемой картины: «Стремление связать детальные разыскания даже в области очень узкого вопроса с широкой задачей освещения общих проблем истории человечества»⁴⁷. Это требование связано с методологическим основанием всемирно-исторической точки зрения, сторонником которой он являлся до конца жизни. Перед студентами в аудитории он так формулировал ее суть: «Важно, что всемирно-историческая точка зрения должна стоять перед глазами всякого, хорошо подготовленного историка, что каждый их них, если он обладает научным вкусом, останавливаясь даже на очень специальном предмете национальной или местной истории, будет всегда спрашивать себя, какое значение будет иметь его исследование для построения общей

⁴⁵ Гревс И.М. – Бекарюковой Н.Д. С.-Петербург, 14 сентября 1879 г. // Человек с открытым сердцем... С. 123.

⁴⁶ Гревс. 1920. С. 60-61.

⁴⁷ Гревс. 1896. С.212.

биографии человечества или которой-нибудь из его ветвей, ясное представление о которых необходимо для позднейшего широкого синтеза общего развития великого целого»⁴⁸. Генетический подход был наиболее плодотворным в исследовании различных проблем, любых периодов и стран, поскольку служил одной цели – познанию человечества в его исторических судьбах. Именно поэтому те историки, которые шли в том же направлении, получали весьма высокую оценку Гревса (например, Гиббон, Фюстель де Куланж, Ренан, В.Г. Васильевский). Всемирно-историческая точка зрения рассматривалась Гревсом не как готовая статичная философская схема построения истории, а как «методологическое обобщение» генетического взгляда на историю⁴⁹.

Одной из задач исторического познания конца XIX – начала XX века был «суд над историей», где лично историку в этом процессе отводились ключевые функции. Требование нравственной оценки при изображении истории являлось важным и для Гревса. При характеристике Эдгара Кинэ историк пояснял смысл, который он вкладывал в эту оценку: «Рассмотрение истории с точки зрения определенного общественного идеала»⁵⁰. Но «судебный процесс» не должен быть слепым и беспощадным. Гревс прекрасно осознавал ограниченность подобной процедуры: «Внесение этого элемента в историческую работу должно сопровождаться большой осторожностью, ...она требует высокого беспристрастия и значительной чуткости от общества, к которому историк обращается»⁵¹. Таким образом, он выстраивал рамки, переход за которые считался одновременно и неэтичным, и неисторичным. Именно поэтому критике были подвергнуты взгляды Г.Т. Бокля, который придавал мало значения нравственному фактору, признавая его почти неподвижным. Мы вновь фиксируем проблему, когда собственные представления сталкиваются с «иной» действительностью.

Стремление «искать в истории настоящее поучение, понимание человеческой природы и смысла жизни» также было важной функцией исторической науки⁵². Принцип античных историков «история – наставница жизни» не потерял своего значения и на рубеже XIX-XX вв., хотя и не в том «элементарном прагматическом смысле». Если античный историк искал в прошлом прямых конкретных образцов мудрости и нравственности, то историк рубежа веков искал в ней уже «уразумения

⁴⁸ Там же. С. 8. Выделение – авт.

⁴⁹ Подробнее см.: *Гревс*. 1902-1903. С. 24-75.

⁵⁰ *Гревс*. 1896. С. 170.

⁵¹ Там же.

⁵² Там же. С. 83.

того, как сложилось настоящее из прошлого, чтобы лучше действовать на это настоящее, зная, как оно выросло»⁵³. По мнению Н.Н. Алеврас, воспитательная роль истории рассматривалась также и в качестве инструмента создания личности-гражданина, человека новой культуры, обладающего национальным самосознанием и умеющим распоряжаться историческим опытом⁵⁴. Тем самым Гревс отмечал качественно новый уровень нравственной оценки в истории.

Наибольшее значение для историка имели проблемы теории и методологии исторической науки, принципы и техники построения текста и истории в целом. Гревс признавал, что методы исследовательской работы и понимание сущности науки всегда были характерными особенностями духовной фигуры выдающегося историка⁵⁵, то есть являлись неразрывной и показательной стороной личности любого ученого. При анализе методологических подходов историков Гревс то и дело видел изъяны, недостатки, конечно, не забывая о достоинствах. Сам ученый не находил в реальной жизни идеального историка, но можно попытаться вычленив некий собирательный образ, который будет вырисовываться из совокупных представлений историка, его оценок «другого».

Гревса часто привлекал не сам текст того или иного исторического сочинения, а способы его построения: «Оригинальность и интерес работы выражаются не в самой хронологической схеме ее, а в том, *как* выбирается материал и группируется в картину, *как* разворачивается в цепь событий и явлений, а этот выбор и построение вытекают из самой основной идеи и задачи работы»⁵⁶. Так историк оценивал главный труд Мишле, который в плане содержания не получил высокой оценки Гревса, но обратил на себя внимание именно методическими приемами построения текста. Вопрос *как* для Гревса был приоритетным.

Исторический источник выступал главным материалом при построении истории. Важнейшими вопросами были такие: как историк владеет критикой источника, как выстраивает свои гипотезы на его основе. Критика источника, установление его достоверности – первое с чего должен начинать настоящий историк. В этом отношении для Гревса практика изучения источника Нибура, основанная на отрицательном и положительном правилах, являлась образцовой. Отрицательное правило Нибура – критика источника: расчленение каждого источника, вы-

⁵³ Гревс. 1902-1903. С. 60.

⁵⁴ Алеврас. 2003. С. 52.

⁵⁵ Гревс. 1902. С. 941.

⁵⁶ Гревс. 1896. С. 158. (Выделение – К. Г.)

деление субъективного элемента. Гревс подводил свою черту: «Стало быть, капитальная основа нибуровского метода состоит в том, что он отличает форму, в которой передается нам история... от действительно совершавшегося, и пытается представить это последнее очищенным и освобожденным от субъективного толкования и коллективного творчества»⁵⁷. Вновь поднимался вопрос о столкновении объективного и субъективного, вымысла и реальности, но уже относительно самого источника. Положительное правило Гревс передал следующим образом: «Когда все источники анализированы, <...> нужно вдуматься в каждый отдельный кусок подготовленного материала, ставить их рядом, представлять их ясно в своей голове, сопоставлять, группировать, проникаться изображаемым в них прошлым, погрузиться в него, понять и представить себе изучаемый исторический период во всей его своеобразности, отрешиться от действительности (современности), пережить прошлое, как настоящее. Потом <...> комбинировать изученный и хорошо понятый материал, строить из него историческую картину»⁵⁸. Этого алгоритма должен придерживаться любой историк: сначала детальное разложение и изучение источника, а после создание общей картины. Гревс выступал и с назидательной функцией – «делай так же!» Но в то же время у него отсутствовало раболепное отношение к букве источника, живая интерпретация при исследовательской работе была немаловажной составляющей. Например, куланжистскому пониманию критики источника «Тексты, тексты и ничего кроме текстов!» Гревс противопоставил свое понимание: «Слепое следование и служение источнику-тексту, может незаметно привести познающий ум к бессилию, привязать его к букве предания, выработать неспособность или нерешительность при открытии его духа: рабство перед источником так же может мертвить понимание прошлого, как подчинение чужому непродуманному взгляду или собственному поверхностному обобщению»⁵⁹.

В исторической литературе распространено мнение о том, что Гревс являлся «подражателем» традиций Фюстеля де Куланжа, строил свою историю на тех же принципах и основаниях, что и «учитель науки»⁶⁰. Но подобные утверждения можно развеять, если внимательно присмотреться к анализу Гревсом методических приемов Фюстеля де Куланжа. Практически ни один из методов французского историка не

⁵⁷ Там же. С. 77-78.

⁵⁸ Там же. С. 80. (Выделение – авт.)

⁵⁹ Гревс. 1902. С. 942.

⁶⁰ Алтаов. 1949; Вахромеева. 2001. С. 39-43.

получил прямого одобрения, Гревс выделял как положительные, так и отрицательные стороны теории критики источника и принципов построения текста. Эти замечания можно отнести и к принципам работы самого Гревса. Во-первых, «нельзя каждому новому исследователю отвергать все, что сделано до него»⁶¹. Необходимо, наоборот, опираться на сложившиеся исследовательские традиции, подходя к ним критически. Одно из главных методологических правил Гревса заключалось в том, что каждая новая работа должна вырастать из всех предшествующих⁶². С подобными высказываниями он обращался к аудитории: «Мы должны знать замечательных ее [исторической науки] деятелей, поддерживать преемственность исторических идей, просвещаться и подниматься близостью и влиянием гениальных представителей той отрасли знания, которой мы служим»⁶³. Т.е. сохранение традиции с помощью преемственности идей и принципов должно стать важной задачей историка. Гревс призывал не к слепому следованию или копированию чужого опыта, а к внимательному изучению и, как следствие, к собственному оцениванию. Именно поэтому каждый свой лекционный курс или научное исследование историк предварял обширным историографическим обзором, который порой занимал половину от всего объема сочинения.

Во-вторых, «не отрицая огромного значения аналитического разыскания <...>, объединяющий синтез необходим не только в конечный момент, когда воссоздается цельный образ изучаемого явления или эпохи; он неизбежен и гораздо раньше, еще на предварительных ступенях... Такие синтетические приемы одни приводят к уразумению настоящей причинности...»⁶⁴. Проблема соотношения анализа и синтеза для Гревса была ключевой. Он всегда ставил перед студентами нелегкую задачу: какие методы выбрать и как умело их комбинировать. «И тот, и другой методы имеют каждый свое преимущество... Синтетический дает возможность охватить одним взглядом обширную картину, изображающую большой период или большое явление. Но он требует... хорошей подготовки, ...помимо обширных специальных знаний и продолжительного опыта большого исторического, философского и даже художественного таланта. <...> Он может преимущественно лишь будить мысль или обобщать предшествующую аналитическую работу. <...> Аналитический вводит в настоящую сущность явления, знакомит

⁶¹ Гревс. 1902. С. 942.

⁶² Гревс. Отчет о занятиях за границей... С. 242.

⁶³ Гревс. 1896. С. 217.

⁶⁴ Гревс. 1902. С. 942.

с его действительной физиономией. Он рассматривает источники, разрабатывает историю изучения вопроса в научной исторической литературе, т.е. идет генетическим путем, не только в изучении самого явления, но и при воспроизведении его изучения в науке. Стало быть, он именно дает возможность получить разнообразные и твердые знания, так как не только будет сообщать результаты, но и раскрывать самый ход и приемы работы, которой они добыты. Я твердо убежден, что такого именно метода надо держаться в общем правиле – он посильнее и плодотворнее. Но требует много времени⁶⁵.

Таким образом, при детальном изучении источника или вопроса Гревс отдавал преимущество аналитическому методу, который отличался глубиной. Но синтез также необходим, причем не только на последней стадии, но и на протяжении всего хода исследовательского процесса. Только сочетание и равновесие обоих методов приводили к плодотворным результатам. В то же время «историк не может уклоняться от правильного пользования вспомогательными приемами <...> – конструкцией, сравнением, аналогией, предварительными синтетическими обобщениями и т.д.»⁶⁶. Гревс вновь подчеркивал, что слепое следование какому-либо одному методу, игнорирование остальных, приводит к односторонности и формализму, никак недопустимым в науке.

В-третьих, Гревс подчеркивал необходимость «орудовать творческим воображением, чутьем, глазомером, комбинированием и дополнением при воспроизведении внутреннего хода исторического процесса. Историк должен не только констатировать, но и *объяснять*. А при выполнении такой задачи и он – наблюдатель и экспериментатор текстов не может обойтись без гипотез, которые одни поднимают мысль над фактом»⁶⁷. Такой антитезис выдвинул Гревс против куланжистского «история – наука “наблюдения”, а не “построения”», считая главным при изложении умение «оживлять» историю. Гипотезы не выступали как нечто статично-нерушимое, а служили определенной цели, могли подтверждаться или отбрасываться в процессе работы над исторической темой. Не случайно в исследовательском таланте Нибура Гревс отмечал «гениальное качество» историка – использовать гипотезу⁶⁸.

Значима для Гревса была проблема предмета истории. Поиск чловека, человеческого лица в нескончаемом историческом водовороте ви-

⁶⁵ Гревс. 1896. С. 492. (Выделение – авт.).

⁶⁶ Гревс. 1902. С. 942-943.

⁶⁷ Там же. С. 943. (Выделение – К. Г.).

⁶⁸ Гревс. 1896. С. 82.

делся ему одной из важных задач: «Вся история звучала у меня личностями, различными индивидуальными образцами...»⁶⁹. Он упрекал Ф. де Куланжа, что тот ставил предметом исследования *общество*, явления жизни народов, а не «*нестроту фактов биографии личностей*»: «Ф. де Куланж желает орудовать большими числами, а на мелкими единицами, рассматривать широкие течения коллективной, массовой жизни, а не оценивать мало значащие в общем ходе истории деяния отдельных людей ... Он рисует себе человека лишь в массе и в постоянной связи с землей, низводя даже гений в положение послушного машиниста, невольного исполнителя не им подготовленных революций...»⁷⁰. В то же время, характеризуя Ранке, Гревс отмечал в качестве недостатка то, что он «изображает историю как дело отдельной выдающейся личности, но не вполне понимает процесс массовой жизни и даже относится с некоторой антипатией к изображению жизни народа»⁷¹. Ни история безликого общества, ни история выдающихся личностей не были приемлемы для Гревса. Он придерживался «золотой середины»: важнее было попытаться вписать личность в эпоху или увидеть эпоху через личность. Большую известность получили, например, «экономические биографии», которые составили основу диссертационного исследования ученого. Диалектическая связь личности, общества и времени в истории красной нитью проходила через все исследования Гревса, именно этому он учил своих учеников. Не случайно на первое место заслуг французской историографии он ставил именно «поиск человека в истории вместо фактов»⁷².

В историке, по мнению Гревса, должен сочетаться талант ученого-исследователя и общественно-педагогического деятеля – «учителя науки». Он придерживался того мнения, что «у нас на родине именно особенно настойчиво и громко надобно “учить науке” еще закрытые для нее умы, привязывать к ней глухие сердца»⁷³. Идеал историка, гармонично сочетавшего качества ученого и педагога, Гревс видел в Т.Н. Грановском, В.О. Ключевском, П.Н. Кудрявцеве. Тайна их духовных образов для Гревса заключалась именно в полноте и цельности, с которыми у них комбинировались в живом единстве превосходные природные дарования. Стремление к этому идеалу было связано с тем, что сам ученый не мог примирить эти качества и признавался, что «по своему научному темпераменту <...> был более профессором, чем кабинетным

⁶⁹ ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Ед. хр. 15/3. Л. 6.

⁷⁰ Гревс. 1902. С. 943.

⁷¹ Гревс. 1896. С. 258. (Выделение – авт.).

⁷² Гревс. 1899 (б). Т. 1. С. 162.

⁷³ Гревс. 1899 (а). С. 31.

ученым, исследовательское рвение <...> горело больше...»⁷⁴. Именно тип учителя, который не порывал связи с наукой и «обеспечивал себя от рутины и омертвения», наиболее привлекал Гревса. Самого Ивана Михайловича ученики называли идеальным ученым-педагогом.

Главной целью университетского преподавателя, по мнению историка, было умение своим «трудом содействовать отысканию истины», «возвещать и выяснять ее перед слушателями», способствовать развитию их мировоззрения, с одной стороны, способствуя развитию в них гражданских (патриотических), с другой – нравственных чувств. Подобная задача посильна лишь тому, кто сам «крепок в научных знаниях и непоколебимо тверд в убеждениях»⁷⁵.

Историк понимал, что достижение этого идеального образа практически невозможно: «трудно встретить отдельную личность, которая соединяла бы в себе все <...> качества. Почти невозможно одному человеку достигнуть высокого и равномерного развития таланта и знания, ума и воображения, трудовой выдержки и идейного энтузиазма, широкой общественности и высшей честности: отсюда – *несовершенства в образе* [выделено мной – К. Г.]каждого выдающегося университетского деятеля», но с другой стороны, «все эти свойства, обнаруживаясь и вырабатываясь в личности, могут приобретать неравную силу, воплощаться различно и сочетаться неодинаково: отсюда множественность типов хорошего профессора»⁷⁶. Именно поэтому и Моммзен, и Ранке, и Фюстель де Куланж, и Васильевский, и Лаппо-Данилевский были выдающимися учителями науки, но *разными* по своим качествам, характеру, темпераменту, подходу и отношению к ученикам. Выдающийся профессор еще не означал идеального профессора.

Гревс подчеркивал особенность, неповторимость, уникальность дарования педагога. Он отмечал: «В.Г. Васильевского нельзя было назвать хорошим лектором в обычном понимании этого слова», но он «смело и серьезно может и должен быть назван *«хорошим профессором»*, поражающим не блеском, но глубиной своих дарований <...>, именно научным воздействием на людей...»⁷⁷. Своеобразный тип учености Гревс видел и в Моммзене, который «никогда не был блестящим лектором и популярным профессором, но всегда был *превосходным руководителем в научной работе*, группировавшим около себя выдаю-

⁷⁴ ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 2об.

⁷⁵ Гревс. Первая вступительная лекция в университете, январь 1890 г. С. 225.

⁷⁶ Гревс. 1899 (а). С. 32-33.

⁷⁷ Там же. С. 34. (Выделение – авт.).

щиеся ученые силы...»⁷⁸. Фюстель де Куланж также был «превосходный профессор, приносивший в аудиторию огромные знания, редкую добросовестность, глубину и энтузиазм и отличавшийся выдающимися дарованиями лектора и учителя науки»⁷⁹. Живой талант, трепетное отношение к своей деятельности, как к долгу и служению науке, превосходные результаты в работе были для Гревса важнее, чем недостижимые идеалы.

Требовательность Гревса к выполнению почетной миссии – профессорства исходила из тех правил, которые он предъявлял к себе и окружающим. Оценивая общественный труд Васильевского, Гревс обозначил необходимость для каждого профессора «определенного общественного идеала, способность проводить его постоянно и стойко <...>, обладание нравственным характером, который авторитетно действовал бы...»⁸⁰. Совокупность требуемых от профессора интеллектуальных и моральных качеств делала из него истинного учителя науки и учителя жизни, общественного педагога в широком смысле и ставило его на желанную высоту. Помимо этого требовались «основательная и твердая ученость», специальная подготовка и постоянное ее усовершенствование, движение за прогрессом в науке. Интеллектуальность университетского преподавателя должна была основываться на базе общего научного образования – «*философского мировоззрения*».

Профессор не мог достичь главной цели – воспитывать наукой своих учеников, если сам не проникался «бескорыстной жадной общей истины, которая связывала его постоянным *одушевлением*». Он также должен «любить и чувствовать юношество, к которому он обращался, чтобы понять его высшие интересы, следить за ним и симпатизировать ему». Историк призван служить лучшим потребностям растущих поколений с помощью слова и личного общения, поэтому он «должен был обладать нелегким искусством сближать их членов с наукой, зажигать их силой речи, уметь выбирать, строить, излагать научный материал так, чтобы он входил в сознание слушателей, возбуждая ум, волнуя чувство, перерождая душу». Это могло дать результат, только будучи применено с энергией и последовательностью, без которых «нельзя было образовать *школы*, а школа – это упрочение этого дела, залог преемства его идеи»⁸¹.

Создание своей школы – заветный результат деятельности профессора, его исследовательского труда и педагогических способностей. При

⁷⁸ Гревс. 1896. С. 317. (Выделение – К.Г.).

⁷⁹ Гревс. 1902. С. 937.

⁸⁰ Гревс. 1899 (а). С. 32.

⁸¹ Там же. С. 31-32. (Выделение – К. Г.).

характеристике историков Гревс отмечал учительский талант, умение сплачивать вокруг себя студентов и молодых ученых, передавать опыт будущему поколению, «хранить и развивать традицию чистой научной культуры, передавать в грядущее элементы вечного»⁸². Важную роль в создании научной школы играла семинарская система занятий, которая стала складываться в последнюю треть XIX в. Немецкие ученые, несмотря на многие изъяны в методике построения истории, заслужили уважение Гревса, так как для них создание школы было главным делом: «Отношения профессоров к студентам характеризуются там плодотворной близостью и серьезностью; он [профессор] вместе с ними работает над занимающими его вопросами и создает маленькую школу вокруг себя»⁸³. Уникальный учительский дар находил Гревс у создателя семинарской системы в Германии Ранке: «Чтобы понять, какой он учитель, нужно было присутствовать на его исторических семинариях. <...> Учитель передавал ученикам свои выводы, так создавалась и росла историческая традиция»⁸⁴. Во Франции Фюстель де Куланж «...создавал в специально устроенном им семинарии образцовую ученую школу»⁸⁵. В России, по Гревсу, фундамент для исторического семинария в Петербургском университете заложил Васильевский: «Он посвящал свои практические занятия чтению и интерпретации какого-нибудь памятника <...>, или предлагал студентам производить небольшие историко-критические исследования по первоисточникам, задавался целью систематически разобрать какое-нибудь капитальное ученое сочинение или историографический вопрос... Это был *важнейший элемент* [выделено мной. – К. Г.] его профессорских забот»⁸⁶. В Московском университете проводниками семинарской системы были профессора всеобщей истории В.И. Герье и П.Г. Виноградов: «Оба профессора <...> группируют около себя известное число молодых ученых, бывших их слушателями и остающихся учениками, которые работают под их руководством, и из которых с течением времени может образоваться маленькая школа историков с “культурно-историческим” направлением преимущественно из ближайших учеников профессора Герье, с “социально-экономическим” под влиянием особенно профессора Виноградова»⁸⁷.

⁸² Гревс. 1923. С. 258.

⁸³ Гревс. 1896. С. 319.

⁸⁴ Там же. С. 261.

⁸⁵ Гревс. 1902. С. 937.

⁸⁶ Гревс. 1899 (а). С. 58.

⁸⁷ Гревс. 1896. С. 465. См. также с. 461, 464.

Но казенная обстановка университетских занятий, по мнению Гревса, не могла в полной мере сблизить учителя и учеников. Их сотрудничество продолжалось в неформальном общении (очень часто в позднее время на дому у преподавателя), которое приносило большую пользу и радость не только студентам, но и профессору. Такое состояние Гревс называл «духовным союзом». Поиск духовности вновь выступает на первый план. При описании учительского таланта Лаппо-Данилевского Гревс обращал внимание на эту особенность: «Общение его с учениками выражалось не в одних лекциях, семинариях, отдельных советах, но и в постоянном духовном союзе. Времени для них он не щадил и не жалел»⁸⁸.

Модели взаимоотношений учителя и учеников были различными. Гревсу было чуждо высокомерие и надменность, поэтому эти качества он не принимал и у учителей-профессоров. Ученый, отмечая неприемлемые качества для научного руководителя и наставника, тем самым противопоставлял им свое представление образа Историка. Неприятное впечатление у еще молодого Гревса вызвало отношение французского ученого Поля Гиро к своим ученикам: «Он критикует работу с большой строгостью, даже придирчивостью, лишь неохотно хваля хорошую и тяжело обрушиваясь на недостатки плохой. Тон его обращения резкий и обыкновенно недовольный; замечания часто колкие, ответы нередко саркастические»⁸⁹. Напротив, описывая Васильевского, он подчеркивал, что «равнодушие к студентам у него не было никогда, точно также как не было поверхностности, подозрительности, неприятного отношения свысока»⁹⁰. Или Фюстель де Куланж, который «заблуждался часто, но всегда был искренен и никогда не стремился давить учеников своим авторитетом»⁹¹. Таким образом, заинтересованность в каждом ученике, близость, отзывчивость, искренность, уважение к личности каждого, запас снисходительного терпения, умение искренне радоваться даже небольшим успехам учеников, полная самоотдача, желание помочь найти им собственный путь исследования, наставничество – важные качества профессора для Гревса: это была «цель, которая давала смысл, служила источником сильной поддержки духа: то было преподавание, радость в учениках»⁹². По словам Гревса, именно ученики лучше всех

⁸⁸ Гревс. 1920. С. 71.

⁸⁹ Гревс, Погодин. 1892. С. 205-206.

⁹⁰ Гревс. 1899 (а). С. 60.

⁹¹ Гревс. 1902. С. 944.

⁹² Гревс. 1920. С. 70.

смогут описать сокровища сильного, тонкого и особенного таланта своего учителя. Только в них вложен весь труд и вся жизнь профессора: сохранение, передача и преумножение традиции. Гревса призывал всех учеников оставлять воспоминания о своих учителях.

Итак, анализируя источники различного происхождения, мы попытались вычлнить опосредованный образ Историка, каким его представлял И.М. Гревс. Этот образ создавался как конструкт желаемого, не всегда совпадавший с действительностью (т.е. личностью самого Гревса). В образе Историка ему важно было создать «правдивое изображение», проявить возможность психологического взгляда. Духовность задавала стержень, вокруг которого было сосредоточено содержание личности. Религиозность выступала как потребность веры в высший смысл. При этом научное и религиозное мировоззрения должны были составлять стройное единство.

Историк-универсал, сочетавший в себе исследователя, мыслителя, художника, популяризатора, являлся совершенным идеалом, к достижению которого должен стремиться каждый профессионал, обладая оригинальностью и проницательностью ума, научным остроумием, исторической интуицией, ученой эрудицией, энциклопедизмом, умением «оживлять историю», прозрачностью и ясностью языка. Это, безусловно, проявлялось посредством оживленной издательской деятельности, внутри- и межсетевое общения, что способствовало научному росту.

Служение науке ощущалось и осмысливалось как важнейшая ценность и долг. Целью историка был поиск чистой научной истины. Такое почти ритуальное отношение можно обозначить как «научная вера». Сам историк называл это «идейностью» – постоянным исканием духовной пищи, жажды истины, отыскиваемой всеми нитями познания, которые создавали огромный умственный капитал. Объективность, стремление изображать исторические события беспристрастно являлись важным показателем этой идейности. Но субъективность часто мешала истинному взгляду. Причины ее историк связывал с «догматизмом» или «доктринерством», т.е. национальными, религиозными или политическими пристрастиями. Двояким было отношение историка к философии. С одной, стороны, он не принимал любые схемы, довлевшие над историей, с другой – считал философию необходимой для исторической науки, в большей степени как методологическое основание.

Непрерывным требованием являлась целостность рисуемой исторической картины, вытекающая из всемирно-исторического принципа построения истории. Сегодня мы бы обозначили это как сочетание мик-

ро- и макроподходов. Важным показателем ремесла историка было умение давать нравственную оценку историческим событиям и людям, но от историка требовалась большая осторожность, высокое беспристрастие и значительная чуткость.

Принципиальное значение для Гревса имели проблемы теории и методологии исторической науки. Правила, которые историк предъявлял к себе и окружающим, исходили, безусловно, из собственного понимания и видения путей построения истории. Тщательная критика источника вовсе не означала перед ним раболепства, которое мертвило понимание прошлого, подчиняло чужому непродуманному взгляду или собственному поверхностному обобщению. Обязательным было обращение к предшествующему опыту, учет всех достоинств и недостатков, трезвая и взвешенная критика. Важным являлось умение историка сочетать и уравнивать различные исследовательские методы и приемы: анализ и синтез, сравнение и обобщение и т.д. Причем синтез был характерен не только для последней стадии обобщения, но и для предварительных выводов. При разработке любой проблемы историк должен прибегать к гипотезам, доказывая и опровергая их в процессе исследования. Ученый должен не просто констатировать, но и *объяснять*, таким способом оживляя историю, придавая ей эмоциональный оттенок. Предметом исторической науки для Гревса выступал человек в неразрывной связи с обществом. Важным принципом исследовательской работы историка была способность «видеть эпоху через личность».

Идеал для Гревса – тип ученого-профессора, главный результат деятельности которого – создание собственной научной школы, сохранение и передача традиций будущему поколению. Созданию школы (и «научению») способствовало общение учителя и учеников на лекциях, семинарских и практических занятиях, неформальные встречи за стенами университета – все это Гревс называл «духовным союзом». Ему представлялся образ профессора-наставника, который был отзывчив, искренен, заинтересован в каждом ученике, поддерживал своим авторитетом, строил отношения на равных и полностью отдавался работе.

Так нам рисуется «образ Историка», каким его видел И.М. Гревс. Он всегда был приближен к действительности и, безусловно, исходил из системы ценностей самого историка и его времени. Все ученые, которых характеризовал Гревс, оценивались исходя из мысленной конструкции – «цельного» образа Историка. Стоит заметить, что Гревс при создании характеристик историков руководствовался именно образом, созданным в процессе работы, видоизменявшимся со временем и состоявшим из различных элементов, а не брал за образец конкретного историка.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алеврас Н.Н.* Очертания культурного пространства русской историографии XIX века // Исторический ежегодник, 2002-2003 / Под ред. В.П. Корзун и А.В. Якуба. Омск, 2003.
- Алпатов М.А.* Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М.-Л., 1949.
- Беленький И.Л.* Биография и биографика в отечественной культурно-исторической традиции // История через личность: Историческая биография сегодня / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Круг, 2005. С. 37-54.
- Беленький И.Л.* Образ историка в русской культуре XIX–XX вв. (Предварительные соображения) // Историк во времени. Третьи Зиминские чтения. М., 2000. С. 14-26.
- Бычков С.П., Корзун В.П.* Введение в историографию отечественной истории XX в.: Учеб. пособие. Омск: Издательство ОмГУ, 2001.
- Вахромеева О.Б.* «Опыты истолкования души»: воспоминания И.М. Гревса об учителях, коллегах и учениках // Историография и источниковедение отечественной истории. СПб.: Техника, 2001. С. 271-275.
- Вахромеева О.Б.* Человек с открытым сердцем // Санкт-Петербургский университет. 2001. № 12-13.
- Гревс И.М.* Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования души) // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6.
- Гревс И.М.* История средних веков. Лекции, читанные на Санкт-Петербургских Высших Женских Курсах в 1895-1896 гг. Сост. Слушательницами 3-го курса. СПб.: лит. Богданова, 1896. Ч. 1.
- Гревс И.М.* Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки. Набросок воспоминаний и материалы для характеристики // ЖМНП. 1899 (а). № 8.
- Гревс И.М.* Очерки из истории римского землевладения. (Преимущественно во время империи). Т. 1. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1899 (б).
- Гревс И.М.* История происхождения, развития и разложения феодализма в Западной Европе. По лекциям проф. И.М. Гревса. Сост. Слушательницей С. Сопридовой. СПб.: литография Богданова, 1902–1903. 503 с.
- Гревс И.М.* Памяти В.Э. Крусмана // *Анналы*. 1923. № 2.
- Гревс И.М.* Предисловие от редактора // *Вебер М.* История хозяйства. Очерк всеобщей социальной и экономической истории. Пг.: Наука и школа, 1923.
- Гревс И.М.* Фюстель де Куланж Ж. // *Энциклопедический словарь* / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1902. П/т. 72.
- Гревс И.М., Погодин П.Д.* Очерки современного исторического преподавания в высших ученых заведениях Парижа // Историческое обозрение. СПб., 1892. Т. 4.
- Гревс И.М.* Первая вступительная лекция в университете, январь 1890 года // Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) / Авт.- сост. О.Б. Вахромеева. СПб., 2004.
- Гревс И.М.* Отчет о занятиях за границей. Часть 1. (Неаполь 5 марта / 21 февраля 1891 года) // Человек с открытым сердцем...
- Добиаши-Рожественская О.А.* Предисловие // К 25-летию учено-педагогической деятельности И.М. Гревса. Сб. статей его учеников. СПб., 1911.
- Корзун В.П.* Образ ученого в отечественной историографической традиции рубежа XIX–XX вв. // Научная конференция памяти Н.М. Ядринцева. Историография и методология истории. Омск, 1992. С. 19-22.

- Корзун В.П.* Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. (анализ отечественных историографических концепций). Омск; Екатеринбург: ОмГУ; Изд-во Уральского ун-та, 2000.
- Мамонтова М.А.* Образ русского историка в представлении С.Ф. Платонова (В.О. Ключевский и К.Н. Бестужев-Рюмин) // Отечественная историография и региональный компонент в образовательных программах: проблемы и перспективы: Материалы науч.-метод. конф. Омск, 2000. С. 63–66.
- Мамонтова М.А.* К вопросу об образе С.Ф. Платонова (по материалам периодической печати 80-х гг. XIX в – первого десятилетия XX в.) // Научные сообщества в социокультурном пространстве России (XVIII–XX вв.): Материалы Третьей всероссийской науч. конф. «Культура и интеллигенция России: социальная динамика, образы, мир научных сообществ (XVIII–XX вв.)». Т. 1. Омск, 1998. С. 116–119.
- Очерки истории отечественной исторической науки XX века: Монография / Под ред. В.П. Корзун. Омск: Издательство ОмГУ, 2005.
- Павлова Т.А.* Психологическое и социальное в исторической биографии // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М.: ИВИ РАН, 1995.
- Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) / Авт.- сост. О.Б. Вахромеева. СПб., 2004.
- Герш Ксения Вадимовна*** – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и методики преподавания истории Кузбасской государственной педагогической академии; *bambizova@mail.ru*

Л. П. РЕПИНА

ИСТОРИК В ПОИСКЕ К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю. Л. БЕССМЕРТНОГО

Статья посвящена 90-летию со дня рождения выдающегося отечественного историка Юрия Львовича Бессмертного (1923–2000). Автор предпринимает попытку выявить специфику и проследить логику развития предложенной ученым исследовательской программы изучения частной жизни, внутреннего мира и поведения людей прошлого, а также его размышлений о возможных путях перехода от анализа «необычных казусов» к пониманию своеобразия исторической целостности.

Ключевые слова: Ю.Л. Бессмертный, казуальный подход, микроистория, индивидуальное – уникальное – случайное в истории, микро- и макроисторический анализ, проблема интеграции, типы исторического знания, «иная история».

*Пришло время переосмысления самых основ
исторического знания...
Сегодня мы вправе думать, что единственная
истина в истории – это вечный ее поиск.¹*

Неустанный творческий поиск, открытость и постоянное движение мысли характеризуют стиль жизни и исследовательской деятельности выдающегося отечественного историка Юрия Львовича Бессмертного (15.08.1923–30.11.2000). Названия двух из многочисленных публикаций ученого – «Историк в поиске» и «Продолжаем наш поиск» – отражают это свойство его творческой натуры, устремленность к новому в науке.

Не ставя перед собой невыполнимой задачи проанализировать богатое по конкретному и концептуальному содержанию наследие историка в одной статье, я собираюсь сосредоточиться здесь на тех важнейших для современного исторического знания эпистемологических и методологических проблемах (центральных как для «другой социальной истории», так и для культурно-интеллектуальной истории), в разработку которых Ю.Л. Бессмертный внес неоценимый вклад, и прежде всего попытаться выявить специфику и проследить логику развития предложенной им оригинальной исследовательской программы изучения частной жизни, внутреннего мира и поведения людей отдаленных эпох, а также его размышлений о возможных путях перехода от анализа «необычных казусов» к пониманию своеобразия исторической целостности («этого странного прошлого»).

¹ Бессмертный. Продолжаем наш поиск. 1999. С. 11.

Выступая на Второй ежегодной конференции Общества интеллектуальной истории «Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории» (2000 г.), Ю.Л. Бессмертный специально остановился на проблеме глубоких качественных переломов в познавательных подходах историков, на резкой смене «используемых дискурсов, метафорики, самой логики анализа». Рассматривая такой эпистемологический поворот на материале современной медиевистики, он связал его с попытками познать Средневековье с помощью «набора мыслительных приемов», характерных для людей того времени, а не для современности исследователя, т.е. дополнить «эго-логический анализ» прошлого «альтерологическим», который позволяет «глубже осмыслить своеобразие людей прошлого, их принципиальную непохожесть на нас, необходимость для их понимания избавиться от представления об их, так сказать, неизбежной “недоразвитости” по сравнению с нами»².

В русле обсуждаемого подхода разрыв между средневековой и новоевропейской культурами выступает как гораздо более глубокий, чем это представлялось при «эволюционистской постановке вопроса», и, в конечном счете, основы новоевропейской культуры «оказываются не столько преемственным продолжением средневековых, сколько их отрицанием». В этом сдвиге в мыслительных подходах Ю.Л. Бессмертный обоснованно видел «еще одно свидетельство в пользу решительного отказа от эволюционистски-преемственной позиции, исходя из которой феномены прошлого интерпретируются в рамках семантического ряда, единого с их аналогами более позднего времени. Прерывность выступает здесь как характерная черта не только онтологических, но и эпистемологических процессов»³.

Таким образом, размышления Ю.Л. Бессмертного об «инаковости», «другости» людей Средневековья оказываются непосредственно связаны с радикальным обновлением подходов и переосмыслением самого предмета культурно-интеллектуальной истории. Именно здесь, подчеркивает автор, «открывается возможность самопознания современного человека как *главного предназначения истории вообще*»⁴. Ведь исследователь прошлого «призван, в первую очередь, помочь своему современнику понять, кто он есть, чем отличается от своих предков, зачем явился в этот мир и ради чего живет»⁵.

² Бессмертный. К изучению разрывов в интеллектуальной истории... С. 34-35.

³ Там же. С. 36.

⁴ Бессмертный. Другое Средневековье... 2003. С. 79. См. также: Человек в мире чувств... С. 23.

⁵ Человек в мире чувств... С. 7.

Говоря о новых тенденциях в мировой историографии, Ю.Л. Бессмертный подчеркивал: «Не преемственность и эволюция, не сопоставимость и трансформация, но прерывность и неповторимая инакость каждого из исследуемых феноменов все чаще заполняют интеллектуальное поле историка. Это предполагает принципиальную ломку всего понятийного инструментария»⁶. И, разумеется, особенно радикальная корректировка понятийного аппарата предстоит исследователям отдаленного прошлого. Акцентирование «разрывов» в истории, инакости прошлого, специфики логического «кода» людей иных эпох позволило говорить о концептуально-эпистемологическом повороте в творчестве ученого⁷, проявившемся в работах конца 1990-х годов (включая незавершенные тексты, опубликованные уже посмертно⁸). Стоит, однако, заметить, что эксплицированная в них идея «странного прошлого» имеет свои истоки в более ранних исследованиях Ю.Л. Бессмертного, посвященных проблемам демографической истории. Размышления о том, «как общая система поведенческих стереотипов сказывалась на демографическом поведении», выводили на более общие вопросы познания прошлого. Историк так писал об этом: «Исходя из нашей логики, системность картины мира на каждом из этапов истории как будто бы самоочевидна. Но современники над нею, естественно, не задумывались и по ее поводу не высказывались. Как раскрыть “код” их неотрефлексированной и не вербализированной логики? Как понять ее внутреннюю системность?»⁹.

В своих «демографических» работах первой половины 1990-х годов Ю.Л. Бессмертный специально, неоднократно и настойчиво обращал внимание коллег и читателей на то, что анализ поведения в демографической сфере представляет особый *методологический* интерес именно в силу того, что «выбор решений, больше, чем где бы то ни было, может зависеть здесь от личностных склонностей, выражающих

⁶ *Бессмертный*. Это странное, странное прошлое... 2000. С. 43. В этом плане примечательно краткое рассуждение Ю.Л. Бессмертного о заголовке его собственной главы «О мире чувств и внутреннем мире человека прошлого», представленной «вместо заключения» к коллективному труду: «ни одно из фигурирующих в приведенном заголовке понятий не рассматривается как всеобщее; именно сквозь *изменение* их наполнения хотелось бы осмыслить своеобразие человека того или иного времени». См.: *Человек в мире чувств...* 2000. С. 571.

⁷ См. дискуссию вокруг последних работ Ю.Л. Бессмертного в разделе «Иная “Иная история”?» в альманахе «Казус»: Казус. 2003. М., 2003. С. 479-594.

⁸ См.: *Бессмертный*. Странное счастье рыцаря. 2002; Индивид и понятие частной жизни... 2003; О понятиях «Другой», «Чужой», «Иной»... 2003; Другое средневековье, другая история средневекового рыцарства... 2003; и др.

⁹ *Бессмертный*. Новая демографическая история. 1994. С. 248.

особенности данного индивида, а индивидуальные отклонения от принятых стандартов поведения могут встречаться чаще всего»¹⁰. Вполне логичным в плане развития этих идей выглядит и расширение исследовательского ракурса в плане изучения всех сторон частной жизни людей прошлого во второй половине 1990-х годов. По существу, хотя и в разных формулировках, историк неизменно исходил из того, что «частная жизнь каждой эпохи выступает как один из важнейших показателей своеобразия и общества, и человека. Именно поэтому *анализ частной жизни – один из важнейших путей осмысления прошлого и, соответственно, один из главных каналов нашего самопознания*»¹¹.

На мой взгляд, такое понимание сверхзадачи исторического познания, которое обращало его к человеку-современнику (отсюда и стремление «дойти» до конкретного человека», до конкретных людей, способных поведать о времени, о себе и своей частной жизни»¹²), неизбежно направляло исследовательский поиск к особой версии микроистории¹³, акцентирующей *индивидуальное, нестандартное, неординарное, своеобразное, отклоняющееся от стереотипа, редкое, странное, уникальное* – как особенно наглядно раскрывающее социальную практику и культурную самобытность своего времени¹⁴.

Соответствующая такому подходу познавательная процедура заключалась в сравнении представлений авторов анализируемых текстов с теми, что укоренены в «собственном сознании» исследователя, но с упором не на сходства, а на различия. При этом допускается, что теоретически возможны по крайней мере два результата сравнения: «Один – когда представления анализируемых авторов оказываются *соизмеримыми и сопоставимыми* с позднейшими (т.е. поддающимися включению в единый с этими позднейшими представлениями семантический ряд). Другой – когда такая соизмеримость оказывается невозможной, так что рассмотрение этих представлений в рамках единой эволюционистской модели становится *немыслимым*»¹⁵. По убеждению Ю.Л. Бессмертного, внутренний мир человека прошлого было бы «прометчи-

¹⁰ Бессмертный. Новая демографическая история. 1994. С. 248.

¹¹ Человек в мире чувств... 2000. Глава 1: Проблема. С. 8.

¹² Там же. С. 12.

¹³ Показательно, что Карло Гинзбург счел необходимым отметить: «видение микроистории русскими исследователями отлично от ее интерпретации итальянскими историками и поэтому для них интересно». (Гинзбург. 2006. С. 343).

¹⁴ Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 18. В этом плане стоит выделить отношение к *случайному* как «*привилегированному предмету исследования*». (Бессмертный. Продолжаем наш поиск. 1999. С. 10).

¹⁵ Бессмертный. Рыцарское счастье – рыцарское несчастье... 2003. С. 55.

вым представлять в виде конструкции, которую можно воссоздать методом эволюционной ретроспекции»¹⁶.

Открывая первый выпуск альманаха «Казус», вышедший в свет в 1997 г., Ю.Л. Бессмертный изложил программные цели и принципы оригинальной модели казуального подхода¹⁷. Думаю, что это развернутое теоретическое обоснование исследовательской программы заслуживает внимательного рассмотрения в свете современной историографической ситуации. Прежде всего, стоит привести перечисленные автором «оправдания» предлагаемого им подхода.

Во-первых, указав на многозначность самого слова *казус*, автор проекта счел необходимым отметить, что это общее понятие «подразумевает при разговоре о прошлом прежде всего нечто конкретное, поддающееся более или менее подробному описанию». Однако в рассказе о «различных “случаях”, наполняющих человеческую жизнь» и дающих читателю возможность почувствовать «аромат времени», он видел «ближайшую», но не главную задачу предпринимаемого издания¹⁸.

Во-вторых, был сделан акцент на анализ ситуации выбора, проблемы возможностей, существовавших у индивида в разных обществах, и роли неординарных действий отдельно взятого человека в изменении принятых в обществе стереотипов: «Соглашусь, что индивидуальное поведение может изучаться и через анализ случаев, в которых человек выбирает между различными вариантами принятых норм. Но наиболее показательны все-таки казусы, в которых персонаж избирает вовсе не апробировавшийся до сих пор вариант поведения. Это может быть поведение, пренебрегающее нормами или, наоборот, абсолютизирующее их (и потому шокирующее окружающих попыткой воплотить недостижимые для большинства идеалы). В таких случаях виднее, *что может человек данной группы в данное время и в данной конкретной ситуации*; этот тип казусов показательнее для решения нашей сверхзадачи – осмысления возможностей отдельного человека на разных этапах исторического прошлого»¹⁹. И в связи с этим ставилась задача изучить общественный резонанс исключительных и случайных событий, и соответственно – дать ответ на вопрос «какие условия в разные периоды прошлого способствовали такому резонансу уникальных казусов (включая в их число и нестандартные поступки отдельных индиви-

¹⁶ Бессмертный. Рыцарское счастье – рыцарское несчастье... 2003. С. 75.

¹⁷ См.: Бессмертный. Что за «Казус»?.. 1997. С. 7-24.

¹⁸ Там же. С. 7.

¹⁹ Споры о «Казусе»... 1997. С. 306.

дов)»²⁰. Наличие общественного резонанса, сохраняющего необычное событие в социальной памяти, рассматривалось как необходимое условие превращения просто странного эпизода в исторический казус. Вопрос о возможности для *отдельного человека* влиять на ход событий фактически переформулировался как вопрос о том, когда и где возможность выбора индивидом своего решения в имеющемся у него «пространстве свободы» «становится значимой и, соответственно, приобретает значимость для всего окружающего мира»²¹.

В-третьих, анализ казусов позволяет увидеть «то, что *особенно* как раз для данной эпохи», он «невиданно приближает к тому Другому, которого стремится рассмотреть в прошлом всякий историк»²². Ю.Л. Бессмертный видел в микроистории незаменимый ракурс анализа, способный «выявить зреющие подспудно интенции индивидуального поведения, чреватые изменением сложившихся стереотипов», причем не только анализа девиантных (или уникальных) ситуаций, но «всякого конкретного казуса, всегда окрашенного индивидуальностью его участников, так же как и всякого индивидуального выбора, обусловленного духовной или – что не менее важно – телесной реакцией индивида»²³.

Согласимся с тем, что «многие фундаментальные вопросы лучше всего исследовать с помощью “микроскопа”»²⁴. Вписывая казуальный подход в общую тенденцию микроистории с ее «пристрастием к выбору очень небольших исторических объектов», Ю.Л. Бессмертный подчеркивал: «Исследование не привлекавших раньше внимания подробностей позволяло увидеть этот объект в принципиально новом свете, рассмотреть *за ним* (курсив мой – Л. Р.) иной, чем виделся предшествующим поколениям исследователей, круг явлений». Именно этот «круг явлений», который исследователь стремится рассмотреть *за* объектом своего микроанализа, *за* казусом, оказывается главной проблемой. Полнота анализа в итальянской микроистории 1970-х –1980-х гг., избравшей межличностные отношения в качестве основного предмета исследования, давала возможность выяснить причины и мотивы действующих лиц, но при этом способ включения изученного микрообъекта в более широкий социальный контекст оставался под вопросом²⁵. Тем не менее, заметим, что еще в конце 1980-х гг. преимущества антропологического подхода виделись Ю.Л. Бес-

²⁰ Бессмертный. Что за «Казус?... С. 9.

²¹ Человек в мире чувств... 2000. С. 572.

²² Бессмертный. Что за «Казус?... С. 10.

²³ Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 21.

²⁴ Шлюмбом, Кром, Зоколл. 2003. С. 26.

²⁵ Бессмертный. Что за «Казус»?... С. 11.

смертному в комбинации двух моментов: «во-первых, в признании системно-структурной целостности мира, в котором действует индивид, – целостности, воздействующей на всю совокупность поведенческих импульсов и находящейся при этом в состоянии почти постоянного изменения; во-вторых, в признании активной роли индивида, всегда сохраняющего ту или иную свободу реакций на сложившуюся обстановку и потому активно участвующего в изменении этой социальной целостности»²⁶.

Как все же можно в микроаналитической перспективе увидеть то, что выходит за пределы чувствительности ее «оптики»? По признанию Ю.Л. Бессмертного, параллельное применение микро- и макроанализа «выступает как трудно достижимый идеал. Ведь взгляд на какой бы то ни было феномен прошлого “с близкого расстояния” не способен воспроизвести одновременно и “общий план”: для этого нужен совсем иной “объектив”, который, увы, будет скрадывать детали»²⁷.

Положительно оценивая антифункционалистский пафос «другой социальной истории», Ю.Л. Бессмертный, однако, считал, что ее сторонники в вопросе о связи между поведением индивида и социальным контекстом «существенно сужают его пространственные рамки»²⁸. Эффективность анализа казусов, проявляющих нетипичные поступки и действия конкретных людей, виделась ему именно в раскрытии взаимодействия индивидуального выбора и общепринятых моделей поведения и, соответственно, в ориентации на реализацию принципа «дополнительности» микро- и макроанализа, на поиск путей их сопряжения. С этим связана и идеальная, с его точки зрения, форма повествования: сначала – в виде *зачина* – рассказ о конкретном казусе, затем попытка «осмыслить контекст» рассмотренного случая. Здесь анализ действий индивида как бы пересекается с анализом социальной ситуации и более протяженных общественных процессов. Изучение конкретного фрагмента сменяется исследованием его социального резонанса и последствий. В этой части... рассказ уступает место обзору накопленных по данному вопросу научных сведений, с тем чтобы на этой базе можно было бы осмыслить суть и последствия изученного казуса. Именно здесь эксплицитно или имплицитно освещается роль индивида в общественном развитии»²⁹.

Между тем, практически единодушное признание аналитиками искусственного характера разделения микроистории на социальную и

²⁶ *Бессмертный*. К изучению матримонимального поведения... 1989. С. 11.

²⁷ *Бессмертный*. Что за «Казус»?... С. 14.

²⁸ Там же. С. 18.

²⁹ Там же. С. 20.

культурную³⁰, не отменяет проблемы различий между двумя конкурентными стратегиями контекстуализации исторических казусов, или «между теми, кто ищет “объяснения”, и теми, кто стремится к “интерпретации”»³¹. Взяв на себя труд разобраться во взаимоотношениях между двумя направлениями, Симона Черутти указала, в частности на то, что тенденция со стороны социально ориентированных «микроисториков» к выстраиванию культурного контекста проявилась в возникшем у них интересе к интеллектуальной истории, а «разрыв между микроисториками обозначился по вопросу о весьма тесной связи между поведением и разными культурами, между социальным выбором, моделью поведения и культурными “ресурсами” людей прошлого»³². При этом какая-либо предзаданность в определении того, что должно являться «релевантным» контекстом анализа, решительно отвергается.

Главный вопрос – как *включить* необычные, нестандартные казусы в общий контекст. Рассматривать ли их «как “частные модуляции” общих процессов» или «как исключение, лишь подтверждающее обратное правило»? Иной подход, предложенный Ю.Л., состоит в том, что, сталкиваясь с индивидуальным, необычным, нестандартным, следует «осмыслить в нем то, что составляет его собственную специфику и что не вмещается в массовое и повторяющееся»³³. Именно этот подход придает нестандартному казусу самостоятельное познавательное значение.

Итак, отправной пункт для «проникновения в мотивацию и последствия человеческих действий» – нарушение правил поведения и отношение к ним, в казусах, где «отклонение от принятых норм оказывалось наиболее явным или даже вызывающим»³⁴. Здесь осуществлен переворот перспективы: ведь для Ю.Л. Бессмертного интересна сама возможность таких исключений из правил, их «демонстрирующая сила», воздействие на окружающих, способность вызывать подражание. Этот момент был также осмыслен им в более ранних работах. Отмечая, что в брачно-семейных отношениях, охватывающих «наиболее эмоционально насыщенные стороны жизни» велика роль индивидуальных отклонений от стереотипа, историк делал вывод: «Если эти отклонения имеют под собой более или менее прочную базу (т.е. не являются случайными), они сохраняются и воспроизводятся, обретая вес и влияние»³⁵. Позднее про-

³⁰ Грэнди. 1996; Гинзбург. 2006; Черутти. 2006; и др.

³¹ Черутти. 2006. С. 354.

³² Черутти. 2006. С. 358.

³³ Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 18.

³⁴ Человек в мире чувств... 2000. С. 573.

³⁵ Бессмертный. К изучению матримониального поведения... 1989. С. 110.

блема контекстуализации предстает для него в ином свете, отражая сомнения, порожденные накопившимся в историографии материалом и опытом собственных исследований: «Я тоже – за поиски контекста истории в целом и я против замыкания в узких сюжетах. Я – за поиски контекста, в котором случилось то или иное событие или казус. Я только против того, чтобы такой контекст формулировался любой ценой, даже там, где его на данный момент невозможно уяснить. Мне кажется правильнее признавать, что *в ряде случаев такой контекст может оставаться большее или меньшее время неясным* (курсив мой – Л.Р.), а пресловутый синтез невозможным. И пока это так, вполне оправдан анализ отдельных или даже уникальных казусов. Более того. Именно сквозь такие уникальные казусы может иногда особенно ясно проступить стержень, суть, своеобразие социального целого»³⁶.

Значимый момент исследовательской программы Ю.Л. Бессмертного оказался созвучен идеям, высказываемым всеми сторонниками «другой истории» – интерес к культурному измерению прошлого и изучению мнений и намерений действующих лиц, их собственных мотивировок, представлений и всей культурной оснастки, тех индивидуализирующих различий, которые превращали жизненный опыт каждого человека в уникальный. По убеждению ученого, «в рамках казуального подхода каждый исторический персонаж видится заведомо отличным от действующих параллельно с ним персонажей (даже если речь идет о равноправных членах одной и той же общественной группы); эти отличия складываются за счет бесконечного многообразия конкретных жизненных ситуаций, особенностей их восприятия и реакций на них со стороны их участников, многоликости социальных ролей, достающихся отдельным людям, не говоря уже об их психофизических и когнитивных различиях»³⁷.

Кстати, определяя специфику предлагаемой им версии микроисторического анализа, Ю.Л. Бессмертный обратил внимание именно на «интерес к возможностям и функциям отдельного человека *в разные эпохи* и к соответствующим казусам, в которых выявляется *противостояние* конкретного астеур и окружающей его социальной среды». Понимание этого *противостояния* он связывал с реализацией поставленной для казуальных исследований сверхзадачи – ответом на вопрос о том, в каких пределах индивид обладал свободой воли, «насколько мог противостоять групповым стереотипам и общему “ходу вещей”»³⁸.

³⁶ Бессмертный. Другое Средневековье... 2003. С. 82.

³⁷ Споры о «Казусе»... 1996. С. 307.

³⁸ Там же. С. 307-308.

Здесь мне представляется важным обратить внимание на то, что один из отмеченных Ю.Л. Бессмертным позитивных моментов микроистории состоял «не в узколокальных рамках анализа, но в резком увеличении числа анализируемых “параметров” человеческого поведения»; объект микроистории для него специфичен «не только своей неповторимостью, но и особенно богатым содержательным наполнением», в результате чего «историческое повествование не заполняется целиком (как при постмодернистской парадигме) рефлексией познающего субъекта: в поле зрения оказывается и сам познаваемый субъект»³⁹.

В целом дилемма микро- и макроанализа в истории, создаваемая противоречием структур и действий, повторяет (со значительным временным лагом) ситуацию двух аналогично маркируемых перспектив в познании физического мира, требующих двух разных типов объяснения и способов исследования, с тем значимым различием, что «микрочастицы» социального мира имеют собственные интересы и способны переживать, мыслить, интерпретировать, выстраивать жизненные стратегии.

Важный момент состоит в том, что индивиды «хотя и ориентируются на писанные и неписанные нормы поведения, всегда привносят в их реализацию нечто свойственное им и только им», и «“нормой” человеческой деятельности выступает скорее *нарушение* нормы, а не ее точное воспроизведение»⁴⁰. И здесь возникает еще ярче выделяющаяся категория «странных людей», тех, кто «поражал современников своей непохожестью на других. Такие *незаурядные* люди существовали... во все времена. Принятые правила поведения – в том числе и в частной жизни – были им не указ. Они действовали “по-своему”, вызывая то недоумение, то возмущение, то восхищение окружающих. В любом случае с них могло начаться нечто новое, невиданное и в межличностных отношениях, и в самой человеческой индивидуальности»⁴¹. В силу этого такие «странные люди» привлекают особое внимание исследователей, стремящихся осмыслить роль человеческой индивидуальности в истории.

Версия казуального подхода, предложенная Ю.Л. Бессмертным, будучи ориентирована на понимание сложного взаимодействия структур и акторов, на максимальный учет обратной связи с контекстами разного уровня, предполагает как одну из ключевых задач определение степени соответствия между реальным поведением конкретных индивидов и общественными нормами, акцентируя при этом преобразую-

³⁹ Бессмертный. Некоторые соображения... 1995. С. 19.

⁴⁰ Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 17-18.

⁴¹ Человек в мире чувств... 2000. Глава 1: Проблема. С. 13.

щую и интерпретирующую функцию конкретного индивида, «посвоему выбирающего линию поведения»⁴². В свое время именно тезис о «двудеином» видении прошлого, при котором требуется «с одной стороны, исследование общественных и групповых стереотипов и структур, а с другой – своеобразия каждого доступного... анализу изолированного казуса и фигурирующего в нем индивида», вызвал критику в отечественной историографии с позиции так называемого «экзистенциального» варианта персональной истории, в центре внимания которого оказывается «динамика внутреннего мира индивида, а не его “внешние” деяния, его сознание, а не его общественная практика», а поиск «интегрирующей технологии микроанализа и макроанализа» представляется ведущим к «утрате ценных качеств одной из исследовательских методик» и описывается метафорой «методического “сэндвича”»⁴³. Между тем такая технология успешно применялась.

В осознании комплементарности процедур микро- и макроанализа Ю.Л. Бессмертный видел близость казуального подхода к «другой социальной истории». Впрочем, автор не ограничился программными заявлениями, но также «предъявил» модель их реализации в своих собственных исследованиях конкретно-исторических казусов, интерпретируя «неповторимо индивидуальное в рамках некоторого контекста» и пролагая таким образом трудный путь к постижению «взаимосвязей отдельных индивидов с более обширным социальным целым»⁴⁴.

В заключительном слове после обсуждения его программной статьи Ю.Л. Бессмертный значительно глубже раскрыл социокультурную направленность своего подхода, согласно которому исследователь, изучая действия людей прошлого в любой сфере, в первую очередь должен интересоваться тем, как они сами понимали свою деятельность, «как к ней относились, насколько стандартно вели себя в ней, в какой мере (и насколько успешно) пытались ее перестроить и т.д. <...> Там где удастся с достаточной полнотой осмыслить заботы, чаяния и приоритеты отдельных действовавших в прошлом лиц, историк получает, на мой взгляд, редкостную возможность максимально приблизиться к главному предмету своих изысканий – человеку других эпох. В подобных случаях откры-

⁴² Споры о «Казусе»... 1996. С. 307. Базовые позиции вопросника: «как человек прошлого делает свой *выбор*, какими мотивами руководствуется, как претворяет в жизнь свои интенции и – что особенно интересно – насколько он способен при этом проявить свою индивидуальность и в какой мере оставить на происходящем свой индивидуальный “отпечаток”». См.: Бессмертный. Продолжаем наш поиск. 1999. С. 11.

⁴³ См.: Володихин. 2001. С. 386-387.

⁴⁴ Бессмертный. Это странное ограбление... 1997. С. 37.

ваются самое заветное в прошлом, а *средостение, извечно отделяющее историка от изучаемых героев, становится наименее непрозрачным* (курсив мой – Л.Р.). И даже если исследователю открываются при этом всего лишь один-два субъекта из отдаленного прошлого, осмысление их образов дает колоссально много для понимания всего их мира. Это – как телескоп, позволивший рассмотреть пусть лишь одно живое существо на далекой планете. Конечно же, на той планете могут быть и совсем другие “гуманоиды”. Но даже рассмотрев лишь одного из них, мы уже совершили бы гигантский прорыв в познании другой жизни... Объясняется это тем, что стержнем любого сообщества одухотворенных существ выступает его культурная уникальность. *Именно ее важно постичь как в мирах иных, так и в каждой из эпох прошлого.* Поэтому одна из важнейших задач исторического познания – в том, чтобы осмыслить конституирующие элементы культурного универсума прошлого, включая естественно в первую очередь своеобразие восприятия и поведения людей и их психофизические, ментальные, когнитивные и иные особенности. Если казуальный анализ позволяет сделать это по отношению хотя бы к отдельным людям той или иной эпохи, он уже оправдывает себя и может считаться одним из перспективных инструментов историка»⁴⁵.

Этот яркий фрагмент заключительного слова заслуживает самого внимательного прочтения. Обращение к своеобразной «телескопической» оптике, призванной выявить культурную уникальность «сообщества одухотворенных существ», фиксирует точку нового поворота в теоретико-методологической рефлексии Ю.Л. Бессмертного, которая, хотя и опиралась на казуальный проект, но по существу выходила за его рамки, и это возвращает нас к размышлениям историка (к несчастью, не завершенным) о «странном прошлом», вызывающем удивление исследователя как немыслимое в собственной логике, о принципиально иных логических основаниях миропонимания и поведения людей отдаленных эпох, о необходимости отказа от интеллектуального насилия над прошлым, проистекающего из «достаточно самонадеянной позиции, в основе которой уверенность, что люди прошлого были подобны нам по своему внутреннему миру и восприятию»⁴⁶.

Ю.Л. Бессмертный последовательно искал *«методологию перехода от наблюдений над единичным к суждениям, значимым для той или иной исторической целостности»*⁴⁷, справедливо считая вопрос «о воз-

⁴⁵ Споры о «Казусе»... 1996. С. 316-317.

⁴⁶ Бессмертный. Странное счастье рыцаря... 2002. С. 54.

⁴⁷ Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 19. См. подробнее: Бессмертный. Проблема интеграции микро- и макроподходов... 1999.

возможности и способах сочленения анализа надындивидуального и единичного «одним из самых “проклятых” для историка»⁴⁸. В пространстве истории частной жизни сам ее предмет, понимаемый им как *двудеинный*, оправдывал «двойственность познавательных приемов при ее изучении», что означало, с одной стороны, исследование социальных стереотипов и структур, а с другой – своеобразия каждого доступного анализу изолированного казуса и фигурирующего в нем индивида. «Осмысливая поведение такого индивида, важно принять во внимание и то, что на него воздействуют большие структуры, охватывающие многих участников данного социума, и то, что ни одна из таких структур не “поглощает” действующих в них индивидов полностью, оставляя место для проявления ими субъективного, частного, личного. Это воздействие на индивидуума со стороны социальной группы и – отдельно – со стороны его собственной субъективности, по определению, имеет разную природу и реализуется как бы в разных “регистрах”. Для анализа каждого из этих регистров необходима своя методика»⁴⁹.

Предложенная Ю.Л. Бессмертным гипотеза о «возможных путях интеграции, с одной стороны, нестандартных, с другой – типичных казусов в частной сфере» исходит из «представлений о человеческом обществе как о *не вполне интегрированной системе*», поскольку «все составляющие общество индивиды обладают возможностью действий, которые самой системой не предписываются», и «даже в идентичных социальных условиях не найти соответствующей идентичности в поведении индивидов; и, наоборот, идентичное поведение индивидов не обязательно предполагает тождественности его общих социальных предпосылок». Разъемы внутри такой системы оказываются способны «вмещать “чужеродные”, *выламывающиеся* из нее феномены, а самая система выступает при этом как, в известной мере, дискретное образование, содержащее в себе прерывности. Такое видение органично согласуется с представлением о возможности возникновения внутри общества “незапрограммированных” ситуаций и казусов, о возможности девиантного поведения отдельных индивидов, возможности появления нестандартных личностей, “странных людей” и т.д. и т.п.». Более того – «и нестандартные казусы, и девиантное поведение, и вообще определенная фрагментарность и несогласованность исторических феноменов выступают как неизбежность, как норма»⁵⁰. Такое видение подразуме-

⁴⁸ Бессмертный. Некоторые соображения... 1995. С. 6.

⁴⁹ Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 20.

⁵⁰ Там же.

вает множественность подходов к прошлому, и в результате, вместо принципа «или – или» в изменившемся познавательном процессе начинает работать совсем другой принцип: «и – и»⁵¹. Речь, таким образом, идет о необходимости *дополнять* традиционный макроанализ микроанализом, с помощью которого «можно попытаться понять, как возможности общественного развития реализовывались в действиях конкретных персонажей, как и почему эти персонажи выбирали из всех возможных свою собственную “стратегию” поведения и почему отдавали предпочтение тем или иным решениям, в том числе и таким, которые порой выглядят безумными, на взгляд нашего современника»⁵².

Добиться «двуединства макро- и микроанализа» можно только в том случае, если ни один из этих исследовательских ракурсов не рассматривается «как подчиненный или второстепенный, “растворяясь” в другом. Оставаясь неслиянными, они дополняют друг друга, создавая как бы “двухслойное”, *двуединое видение прошлого*, выступающее в виде *существования* двух его взаимодополняющих форм». И сразу же – принципиально важное дополнение: «Неслиянность этих двух форм видения не противоречит их *мысленной интеграции* (курсив мой. –Л.Р.)»⁵³. Согласно предложенному Ю.Л. Бессмертным методу, историк частной жизни должен «“смотреть в оба”, чтобы осмыслить, с одной стороны, макрофеномены (в том числе стереотипы), с другой – микромир, включающий не только индивидуализированное воплощение тех же стереотипов, но и не подчиняющиеся стереотипам уникальные поведенческие феномены»⁵⁴.

Итак, от историка требуется сочетать две исследовательские процедуры. Логика первой из них – микроаналитической – направлена на то, чтобы выявить интенции автора изучаемого текста («что за человек этот автор и ради чего он *так* писал»), «уяснить, как он сам относится к нестандартному поведению своих героев, насколько он сам не традиционен в своих оценках и высказываниях, в какой мере кажутся ему допустимыми (и заслуживающими подражания) поступки его героев, когда они расходятся с принятым поведенческим каноном, и как далеко можно, на его взгляд, от этого канона отойти»⁵⁵. Все это помогает осмыслить данный конкретный казус, но явно недостаточно, поэтому необходима вторая процедура – изучение того самого «существующего

⁵¹ Бессмертный. Это странное, странное прошлое... 2000. С. 45-46.

⁵² Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 21.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же. С. 22.

⁵⁵ Там же.

канона», стереотипной модели поведения в данной социальной среде в соответствующих обстоятельствах. И ее логика требует выйти за рамки описанного в тексте казуса, чтобы на основе «серийных данных» «уяснить, насколько укоренен этот поведенческий стереотип в сознании членов данной группы (или общества в целом), как связан он с другими, современными ему, канонами поведения и насколько отступление от принятых правил угрожает в данном случае сохранению некоторого комплекса социальных установлений вообще»⁵⁶.

В результате соединения результатов обеих исследовательских процедур предполагается понять, насколько уникальным был рассматриваемый вариант поведения в данных обстоятельствах, «каков мог быть его резонанс, его пространственное распространение, его социальные последствия для данной социальной группы и т.п.»⁵⁷. Историк способен уяснить лишь то, как интерпретировали людские поступки того или иного времени авторы – их современники, которые, однако, «при всей своей субъективности, могли “выдумывать” лишь то, что как-то соотносилось с миром их возможных читателей. Следовательно, и прочтение этих авторов сегодняшним историком (речь идет, разумеется, о добросовестном ученом, а не о шарлатане) – не “гадание на кофейной гуще”, но релевантное обсуждение прошлого»⁵⁸.

И, наконец, несколько глубоких рассуждений по поводу двух важнейших эпистемологических и этических проблем исторического знания: единственной «исторической правды» и «ответственности историка». Ю.Л. Бессмертный решительно подчеркивал, что «казусный анализ отдельных феноменов рассчитан как раз на их углубленную проработку и на осмысление *реальной многозначности* каждого из них. “Единственность” истолкования априорно оказывается в таком случае под вопросом, несмотря на то, что множественность смыслов ничуть не угрожает здесь “исторической правде”. Ей угрожает, наоборот, утверждение безусловности одного единственного истолкования. Я склонен поэтому думать, что самая высокая гражданская ответственность историка совместима сегодня с иным, чем раньше, взглядом на познание прошлого. Такая ответственность не мешает констатировать фактическое *существование* разных вариантов исторического знания, того, которое исходит из функционального единства всех элементов общественного целого, и того, которое признает его “недостаточную системность”,

⁵⁶ Человек в мире чувств... 2000. Глава 2: Метод. С. 23.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Человек в мире чувств... 2000. С. 572-573.

дискретность, прерывность и возможность существования внутри этого целого “разъемов”, автономных фрагментов, “чужеродных элементов”, незапрограммированных казусов и пр. Рождение и утверждение этого варианта исторического знания – не случайность, не модное поветрие, но *следствие переосмысления как предмета исторического исследования, так и самого исследовательского процесса*⁵⁹.

Речь идет об ином взгляде на прошлое, которое рассматривается «не столько как последовательная смена преемственно связанных исторических этапов, сколько как *совокупность самодостаточных пластов*, более или менее обособленных друг от друга (С. 80/С.81), причем каждый такой пласт прошлого «*требует имманентного истолкования*, исходя из его собственных идеалов, его собственных критериев и ценностей»⁶⁰. Такой тип исторического знания соответствует современному общегуманитарному и общенаучному контексту.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бессмертный Ю.Л.* Другое Средневековье, другая история средневекового рыцарства (материалы к лекции) // Homo Historicus. К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного / Отв. ред. А.О. Чубарьян. Кн. I. М.: Наука, 2003. С. 72-99.
- Бессмертный Ю.* Индивид и понятие частной жизни в средние века (в поисках нового подхода) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. М., 2003. С. 484-491.
- Бессмертный Ю.Л.* К изучению матримониального поведения во Франции XII–XIII вв. // Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. 1989. М.: Наука, 1989. С. 98-113.
- Бессмертный Ю.Л.* К изучению разрывов в интеллектуальной истории западноевропейского Средневековья // Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории. Материалы научной конференции. Москва 20-22 ноября 2000 г. / Отв. ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2000. С. 34-36.
- Бессмертный Ю.Л.* Метод // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М.: РГГУ, 2000.
- Бессмертный Ю.Л.* Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории. Представления о власти. 1995. М.: Наука, 1995. С. 5-19.
- Бессмертный Ю.Л.* Новая демографическая история // Одиссей. Человек в истории. Картина мира в народном и ученом сознании. 1994. М.: Наука, 1994. С. 239-256.
- Бессмертный Ю.* О понятиях «Другой», «Чужой», «Иной» в современной социальной истории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. М., 2003. С. 492-497.
- Бессмертный Ю.Л.* Проблема интеграции микро- и макроподходов // Историк в поиске. М., 1999.

⁵⁹ *Бессмертный.* Это странное, странное прошлое... 2000. С. 46.

⁶⁰ *Бессмертный.* Другое Средневековье... 2003. С. 80-81.

- Бессмертный Ю.Л.* Продолжаем наш поиск // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1999. М.: РГГУ, 1999. С. 9-12.
- Бессмертный Ю.* Рыцарское счастье – рыцарское несчастье (Западная Европа, XII–XIII вв.) // В своём кругу. Индивид и группа на Западе и Востоке Европы до начала нового времени. М.: ИВИ РАН, 2003.
- Бессмертный Ю.Л.* Странное счастье рыцаря // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. М., 2002. С. 53-72.
- Бессмертный Ю.Л.* Что за «Казус»?.. // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М.: РГГУ, 1997. С. 7-24.
- Бессмертный.* Это странное ограбление... // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М.: РГГУ, 1997. С. 29-40.
- Бессмертный Ю.Л.* Это странное, странное прошлое... // Диалог со временем. 2000. Вып. 3. С. 34-46.
- Володихин Д.М.* Нарратив побеждает // Диалог со временем. 2001. Вып. 5. С. 385-389.
- Гинзбург К.* Моя микроистория // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2005. М.: Наука, 2006. С. 343-353.
- Гренди Э.* Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996.
- Споры о «Казусе». [*Бессмертный Ю.Л.*] Ответы на вопросы // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М.: РГГУ, 1997. С. 303-320.
- Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М.: РГГУ, 2000. 582 с.
- Черутти, Симона.* Микроистория: социальные отношения против культурных моделей? // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2005. М.: Наука, 2006. С. 354-375.
- Шлюмбом Ю., Кром М., Зоколл Т.* Микроистория: большие вопросы в малом масштабе // Прошлое – крупным планом: современные исследования пр микроистории. СПб.: Алетей, 2003. С. 7-26.
- Репина Лорина Петровна*** – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института всеобщей истории РАН, зав. Отделом историко-теоретических исследований, руководитель Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН, зав. кафедрой Теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ; lorinarepina@yandex.ru.

Т. А. ТОШТЕНДАЛЬ-САЛЫЧЕВА

ГАРМОНИЯ ЛИЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО В ТВОРЧЕСТВЕ БИРГИТТЫ УДЕН

В статье впервые предпринята попытка комплексного анализа творческой биографии и общественной деятельности крупного шведского историка, почетного профессора Лундского университета Биргитты Уден. Автор опирается как на многочисленные научные и публицистические труды историка, так и на личные беседы с ней.

Ключевые слова: *Биргитта Уден, шведская историография, междисциплинарность, историк и общество, социальная функция истории.*

Шведский историк Биргитта Уден (Birgitta Odén) – ученый европейского масштаба. Кроме Шведской королевской академии литературы, истории и древностей (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), она состоит членом Европейской (Academia Europaea) и Финской академий. (Suomen akatemia)¹. Для Швеции фигура «grand old lady» исторической науки, как называют Б. Уден, – особая. В 1965 г. она первой из женщин страны получила кафедру ординарного профессора истории, став при этом и первой женщиной – профессором Лундского университета. Уден – почетный доктор теологии Лундского университета, в котором занимала также пост декана гуманитарного факультета.

Послевоенная историческая наука Швеции не может быть понята без анализа творчества профессора Б. Уден, чьи труды не только отражали, но порой и определяли направление развития национальной исторической мысли. Список ее работ, включающий более 200 названий монографий, брошюр, статей, эссе, не считая множества публицистических выступлений, поражает не только количеством написанного, но и разнообразием тематики. Б. Уден принадлежит к той категории настоящих ученых, которой не известен «синдром конечной остановки» – она всегда в поиске и продолжает осваивать новые творческие вершины. Об этом свидетельствует хотя бы то, что после ухода на пенсию в 1987 г. Уден опубликовала почти в два раза больше работ, чем до этого².

¹ Европейская академия была создана в 1988 г. как свободная ассоциация ученых в различных областях знания. В 1990 г. Биргитта Уден стала первой женщиной, избранной в Финскую академию.

² Кроме трудов самой Б. Уден важным источником для написания данной статьи стали личные беседы с героиней моего исследования, а также многократные телефонные разговоры, которые велись на протяжении более двадцати лет.

На творчество Б. Уден, по ее словам, повлияли норвежский социолог Стейн Роккан (Stein Rokkan), философы – британец Карл Поппер и швед Хокан Тёрнебум (Hekan Törnebohm), шведский географ Тоштен Хэггерстранд (Torsten Hägerstrand), историки-теоретики – швед Рольф Тоштендаль (Rolf Torstendahl) и норвежец Оттар Даль (Ottar Dahl), шведские историки Стуре Булин (Sture Bolin) и Эрик Лённрот (Erik Lönnroth).

Биргитта Уден родилась 11 августа 1921 г. в Уппсале, выросла в Стокгольме, окончила докторантуру в Лунде, куда она переехала в 1941 г. и где осталась навсегда. Родители Биргитты (отец – профессор химии и мать – близкая к кругу людей искусства) в равной степени обусловили интерес дочери как к естественным, так и к гуманитарным наукам. Сама Б. Уден считает, что в каждом человеке одновременно живут натуралист и гуманист³. Кстати сказать, отец Биргитты Свен Уден свободное время посвящал собиранию книг по XVIII в., а его друг государственный антиквар Бенгт Турдеман (Bengt Thordeman) поведал юной Биргитте о семинаре лундского профессора С. Булина (1900–1963), научные интересы которого подошли ей «как перчатка на руку»⁴. В статье 1973 г. Биргитта Уден назвала своего учителя «одним из самых гениальных историков нашего времени»⁵.

В 1955 г. Б. Уден защитила диссертацию на тему: «Налогообложение и издержки страны. Государственные финансы и финансовое управление в последней трети XVI века»⁶. Эта книга – плод скрупулезной подготовительной работы в архивах. В ней она первой из исследователей ввела в научный оборот, среди прочих источников, документы из так называемой Красной серии, которые потребовали невероятного труда по их систематизации и обработке, и, безусловно, критического осмысления. Две последующие книги: «Торговля медью и государственная монополия: штудии по истории шведской торговли в последней трети XVI века» и «Государственная торговля и финансовая политика в 1560–1595 годы»⁷ методологически, тематически и хронологически продолжали фундаментальное диссертационное исследование Б. Уден. В этих работах она проявила себя как последователь шведской либе-

³ *Över gränser...* S. 1.

⁴ Расшифровывая это образное выражение, Биргитта поясняет: «Он интересовался количественными методами, теорией, и он действительно широко смотрел на историю и вовсе не был сконцентрирован на пустяковых деталях». *Ibid.* S. 2.

⁵ *Odén.* 1973 (б). S. 155.

⁶ *Odén.* 1955.

⁷ *Odén.* 1960; 1966.

рально-критической традиции, основателями которой в начале XX столетия стали братья Лауриц и Курт Вейбулли⁸.

В 1950 – первой половине 1960-х гг. Б. Уден занималась исключительно экономической историей XVI века. Это было естественно, ибо она вышла из семинара профессора С. Булина, который, в свою очередь, был учеником Л. Вейбулля. Влияние С. Булина, и прежде всего использование вслед за ним математических моделей для обработки исторических данных, позволили Уден показать превращение натурального налога, взимаемого с крестьян, в предметы торговли и, соответственно, в деньги.

Более 10 лет Уден писала работы, хронология которых в основном ограничивалась XVI веком. Причины этого носили внутринаучный характер: был резон продолжить блистательно освоенную на материале Средневековья тематику, разрабатываемую видным шведским историком Эриком Лённрутом⁹. Кроме этого, решающую роль в определении направления научного поиска сыграл ученик Л. Вейбулля и С. Булина Свен А. Нильссон, который «ввел ее в финансовую (бухгалтерско-учетную) действительность Швеции XVI века»¹⁰. Интересно, что критикуя в своих публикациях не столько теоретические взгляды, сколько неточности эмпирического материала Эли Ф. Хекшера (к тому времени уже покойного патриарха шведской экономической истории), Уден косвенно оспаривала идеи либеральной историографии, недооценивавшей, в частности, роль государства в управлении экономикой.

Относительно первого этапа научной деятельности Б. Уден можно выделить два момента. Изначально в ней была заложена тенденция междисциплинарности – история, география, экономическая и социальная история. И за первые десять лет пути становления Биргитты Уден как первоклассного историка ею была пройдена прекрасная школа в рамках либеральной эмпирико-критической традиции учеников братьев Вейбуллей, как раз в конце 1950-х гг. завоевавших ключевые позиции в шведской исторической науке.

⁸ В российской историографии это направление часто называют позитивистским, что не соответствует шведской историографической практике, согласно которой вейбулльская школа, близкая по взглядам к Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобосу, работала с историческими текстами и требовала исключения из них всего, что не находило подтверждения в источниках. При этом братья Вейбулли были эмпириками и не стремились к генерализации. Шведские ученые видят отличие вейбулльской либеральной скандинавской школы от позитивистской традиции в духе О. Конта и Г.Т. Бокля в том, что последняя частностям предпочитала обобщения. (*Torstendahl*. 1964. S. 318, 319, 367, 368).

⁹ *Lönroth*. 1940.

¹⁰ *Torstendahl, Odén*. 2012. S. 129.

Правда, по прошествии многих лет, в 1992 г. Б. Уден, отмечая положительные стороны эмпирико-критического направления в шведской историографии, стремившегося к точному прочтению источников и многократно верифицированным фактам, все же назвала ошибкой молодости скепсис по поводу источников, которые нельзя было подвергнуть математической обработке. Имея огромный опыт работы в разных направлениях научного поиска, она признавала, что историку совершенно необходимо обладать и некоторой долей фантазии.

Первые признаки поворота к новой проблематике обозначились в статье «Социальная история в фокусе зрения» (1963). Биргитта Уден высказалась в пользу взгляда на социальную историю не как на отдельную дисциплину, а как на один из аспектов исторической науки. Переход к социальной проблематике завершился после получения Уден в 1965 г. кафедры профессора истории в Лундском университете и выразился в том, что она начала изучать шведскую эмиграцию XIX – начала XX века. Уден горела желанием исследовать социальные изменения в обществе. Изучение эмиграции заинтересовало ее как вариант междисциплинарного взаимодействия истории и культурной географии (в последней уже были освоены новые интересные методы и теории). Необходимо отметить, что нацеленность Уден на изучение социальной истории предшествовала вторжению марксизма в общественные и научные сферы Швеции.

Уден показала несостоятельность бытовавшей в то время точки зрения об исключительном значении аграрного фактора (наряду с демографическим компонентом) для выяснения причин отъезда шведов в Северную Америку. Не отрицая важности структурных изменений на селе, а также стремительного роста населения в Швеции того времени, Уден настаивала на особом внимании к связи между эмиграцией и урбанизацией¹¹. Заканчивая в начале 1970-х гг. активную разработку социальных аспектов шведской эмиграции, она выступала как глубокий знаток новых теорий и методов, освоив современные социально-антропологические и географические новации, моделирование, тесно связанное с так называемой диффузной теорией, широко распространенной в США. Эта теория позволяла проследить процесс эмиграции по регионам, установить, каким образом налаживались контакты между жителями различных областей, зачастую удаленных друг от друга, а также вскрыть механизмы формирования поведенческих стереотипов¹².

¹¹ *Odén*. 1963 (a). S. 264.

¹² Среди шведских историков, эту теорию применял работавший в то время в Уппсале С. Окерман. Несомненно также влияние на Б. Уден шведского географа Т. Хэггерстранда. *Emigrationen fra Norden indtil Første Verdenskrig...* S. 51-58.

Вторая половина 1960-х – переломный момент для всей шведской историографии, начало ее освобождения из оков провинциализма и первых шагов по освоению достижений общественных наук, прежде всего социологии, влияние которой пришло из-за океана. Это было время дискуссий о возможности использования социологических теорий, а сами тенденции их применения четко обозначились лишь в 1970-е гг. Нельзя сказать, что кто-то из шведских историков выступал категорически против (скорее это было молчаливое сопротивление), однако именно Б. Уден, Р. Тоштендаль, Бу Энгрен и С. Окерман первыми не только выступили «за», но и сами начали использовать методы социологии в своих исследованиях. С различной степенью интенсивности эти методы применялись в коллективных проектах по эмиграции и по так называемым народным движениям.

«В вопросах методологии я хотела бы ратовать за более четкие модели объяснений, желательно выработанные в связи с теоретическими построениями общественных наук, вместо или в дополнение к слабо специфицированным, с налетом эмпиризма “событийным образцам”, которые играют столь большую объясняющую роль в историческом исследовании», – писала в 1968 г. Уден в программной статье «Клию между двух стульев»¹³. Еще раньше, в статье 1963 г. Б. Уден, как бы в предчувствии будущих дискуссий, писала о взаимосвязи между общественными науками и новыми областями исторической науки, выделяя такие сотрудничающие пары, как «социология–социальная история», «национальная экономика–экономическая история». Уден настаивала на том, что достижения социологии должны подвигнуть историков на изучение прошлого «с частично измененной целевой установкой и с помощью новых методов»¹⁴. В статье «Место истории в изучении общества» Б. Уден утверждала: «Совершенно очевидно, что нам, историкам, необходимы импульсы со стороны обществоведческих моделей, и прежде всего в отношении трех вещей: при нашем выборе объектов исследования, при нашем решении, какие факты считать важными, и при построении объяснений»¹⁵.

Указывая на субъективность любого утверждения, отстаиваемого тем или иным историком, Б. Уден подчеркивала, что «историку просто необходимо быть знакомым с теми исследовательскими результатами, которые достигаются в соответствующих общественных науках. Это требует постоянного внимания, иначе существует очевидный риск того,

¹³ *Odén*. 1968 (a). S. 197.

¹⁴ *Odén*. 1963 (б). S. 405-406.

¹⁵ *Odén*. 1968 (б). S. 41.

что среди историков станут господствовать вышедшие из употребления и давно отброшенные эмпирические знания этих дисциплин, знания, которые постепенно просочились в окружающий мир по внеучным каналам и стали расхожим товаром». В качестве примера подобных сомнительных общих мест, подхваченных историками из смежных отраслей гуманитарного знания, Уден приводит «псевдомарксистские представления о частно-экономических мотивах политических действий и вульгарные утверждения из арсенала психоаналитиков»¹⁶.

Отмечая, что не все из универсальных теорий, находящихся на вооружении социальных наук, достаточно проверены, Уден все же призывает применять их при анализе исторических ситуаций: «Мы не можем быть свободны от подобных теорий, какими бы запутанными они нам ни казались»¹⁷. Прийти к подобным выводам ей во многом помогли конкретные разработки проблем шведской эмиграции. Для нее стало очевидным, что без учета экономической теории конъюнктур историк неизбежно придет к переоценке случайных мотивов эмиграции и непременно оставит без внимания всеобщие причины, остающиеся за пределами исторического материала. Однако, радуя за применение историками теорий общественных наук, Уден не устает подчеркивать: «Никогда модели не должны замещать недостающих звеньев в объяснениях»¹⁸.

Возвращаясь к взаимоотношениям между гуманитарными дисциплинами, Б. Уден выделяет пять критериев для определения междисциплинарных границ: «административная принадлежность дисциплин, протяженность предметного ареала, непохожесть источникового материала, особенности методов, различия теорий и задач». При этом она обращает внимание на то, что аналитическая граница между науками определяется их целеполаганием. Подходя с этим критерием к оценке научной пары «история–обществоведение», она заявляет: «История работает с обществом прошлого как с *целью* исследования и использует законы, примеры и теории как *средство* для объяснения связи в рамках конкретной действительности. Обществоведение в качестве *цели* берет теории и закономерности и использует конкретную действительность (в том числе историческую) как *средство* для проверки гипотез»¹⁹.

Биргитту Уден искренне волновала судьба исторической науки как таковой, ее место среди других отраслей гуманитарного знания. Исто-

¹⁶ Historisk tidskrift. 1968. Nr. 2. S. 193-194.

¹⁷ Ibid. S. 194.

¹⁸ Statsvetenskaplig tidskrift. 1968. Häfte 1. S. 42.

¹⁹ Odén. 1973 (a). S. 148.

рия, с ее точки зрения, шире, чем прошлое политики. Это и прошлое экономики, и прошлое социальной жизни, и прошлое культуры, и прошлое религии, и прошлое психологии. История – это наука об обществе, изучаемая вглубь по временной оси. Однако временной, или хронологический, барьер, считает Б. Уден, не должен быть железным занавесом, отделяющим социальную науку от истории.

Социальные науки подразделены на множество специальных дисциплин. То же случилось и с историей: внутри нее продолжают специализация и разделение на экономическую²⁰, политическую, социальную историю, историю предприятий, психоисторию и др. Отмечая это, Уден задается вопросом: что же станет с интегрирующей ролью истории? Она категорически против перспективы исчезновения истории как самостоятельного предмета и спорит с теми учеными, которые считают, что история как синтезирующий предмет существует лишь в качестве общей идеи, но не нужна при конкретной научной работе. Точка зрения Удена иная: «Главная исследовательская проблема сегодняшнего дня не в том, как нам достичь специализации – это направление очевидно; оно развивается своим путем в силу внутренней необходимости. При этом методики исследования становятся все более специальными и труднодоступными для отдельного исследователя. Проблема же, напротив, состоит в том, как мы сможем достичь столь же необходимой интеграции между специализированными ветвями»²¹. Особую роль, по мнению Удена, играет история как университетский предмет; именно ей принадлежит интегрирующая функция по отношению ко всем другим смежным дисциплинам.

Сдвиги в обществе второй половины 1960-х гг., выразившиеся в общей радикализации политических взглядов, привели к росту интереса к марксизму, прежде всего в студенческой среде, что не могло не затронуть академические научные круги. Сторонники марксизма увлеченно пропагандировали теорию К. Маркса, но их теоретические построения вызвали к жизни всходы не только марксистской мысли: гуманитарная наука Швеции ответила на вызов марксистов увлечением теорией среднего уровня, отцом которой был американский социолог Р. Мертон²².

²⁰Здесь следует иметь в виду, что институционально в Швеции экономическая история находится на обществоведческих факультетах, тогда как история всегда входит в состав гуманитарных факультетов университетов. Такое положение вещей Б. Уден называет логической аномалией.

²¹ *Odén*. 1968 (6). S. 27-28. Эту мысль Б. Уден отстаивает вслед за одним из своих авторитетов, шведским философом Хоканом Торнебумом.

²² Взрыв интереса к идеям Р. Мертона в Европе произошел после повторного издания его книги «Социальная теория и социальная структура» (1949) в 1968 г.

Биргитта Уден не могла не откликнуться на призыв к поиску новых теорий. Ею был подготовлен курс лекций по истории шведской исторической мысли. Накопленный исследователем и педагогом теоретический багаж объективно требовал осмысления. Кроме того, перед ней стояла практическая задача ответить на вопросы студентов, не желавших быть адептами консервативных, либеральных и даже социал-демократических взглядов маститых историков Швеции. Эти объективные и субъективные причины привели Б. Уден к написанию работ по методологии и историографии.

Ориентация скандинавской историографии на теоретические проблемы связана для Биргитты Уден с именами таких научных авторитетов, как О. Даль и Р. Тоштендаль. По ее мнению, эти историки предложили новый тип историографического исследования, для которого целью анализа была научная позиция того или иного ученого, они утверждали, что историки редко формулируют свои нормативные «правила игры», но большинство из них, независимо от того, осознают они это или нет, в действительности базируются на определенных теоретических принципах. Уверовав в правоту этого утверждения, Уден начала изучать ход историко-философской мысли в Швеции, сконцентрировав основное внимание на XX веке. «История как процесс исследования на коллективном уровне есть историографический анализ, где объясняющие модели имеют в виду не индивидуальный вклад ученого, а поведение коллектива исследователей», – писала она в статье, опубликованной в 1973 г.²³

Заслуживает внимания вывод Уден о взаимодействии двух векторов научной мысли – индивидуального и коллективного. Это взаимодействие, по ее мнению, и называется плюралистическим научным взглядом: «Я совершенно убеждена, что фундаментальные изменения исторического научного процесса всегда происходят благодаря уникальному вкладу уникального человека в уникальной ситуации (единолично или в команде). Однако значение этих изменений всегда зависит от способности коллектива научного сообщества критически оценивать, а также терпимо принимать ростки нового, которые вначале проявляются в форме критики и оппозиции, но однажды могут стать основанием для объединения исторического научного содружества в период нового консенсуса»²⁴.

Идеи, высказанные Уден в ряде статей²⁵, нашли свое завершение в историографической монографии о Лаурице Вейбулле и окружавшей

²³ *Odén*. 1973 (б). S. 156.

²⁴ *Ibid*. S. 158.

²⁵ *Odén*. 1973 (a); 1975 (a); 1975 (б); 1978.

его научной среде²⁶. В этой книге ясно прозвучала столь важная для творчества Уден мысль о зависимости ученого от современного ему общества. Автор показала большое значение методологических и теоретических проблем, встающих перед всяким исследователем, стремящимся определить зависимость ученого от его коллег из сложного социального переплетения, именуемого научным сообществом.

Понятие «научное сообщество», так же как и термин «парадигма», были заимствованы из книги Т. Куна «Структура научных революций» (1962). Ученый, согласно теории американского социолога, может быть оценен только во взаимосвязи с научным сообществом, все члены которого придерживаются определенной парадигмы. Таким образом, Кун включал влияние социальных факторов в объяснение развития науки. Уден исходила из концепции Т. Куна и в еще большей степени американского социолога немецкого происхождения А.О. Хиршмана при написании книги о выдающемся представителе историко-критического направления Л. Вейбулле, с которым, как считает Уден, связана смена парадигм в шведской историографии.

Творческая лаборатория ученого показана во взаимодействии с окружавшей его научной атмосферой²⁷. Исходная гипотеза, выдвинутая Уден в статье «Слава, память и научная теория»²⁸, заключалась в том, что «научные изменения происходят не в результате случайных действий исследователя, а посредством интеллектуального “перекрестного опыления” в рамках большой, часто междисциплинарной, контактной сетки»²⁹. Уден исследует источники, импульсы, идеалы, питавшие Л. Вейбулля в период творческого становления, указывая при этом на важность субъективных моментов, к которым относит его дружбу с датским историком Эриком Арупом и тесное сотрудничество с младшим братом Куртом. Опираясь на признание Л. Вейбулля, который называл себя «современным человеком, обладающим знанием о прошлом и историческим чуть-

²⁶ *Odén*. 1975 (6). Книга посвящена мужу Б. Уден – Уно Дунеру (Uno Dunér, 1887–1983), человеку во многих отношениях замечательному: профессиональный военный, увлекавшийся изучением средневековой архитектуры, после выхода в отставку он серьезно и успешно занимался живописью. Дунер был другом Л. Вейбулля. У нас в стране рецензия на эту книгу Б.Уден была опубликована А.С. Каном в «Общественных науках за рубежом» (Сер. 5. 1977. № 5).

²⁷ Хотелось бы обратить внимание на характерный для Б. Уден подход к историографическому исследованию с точки зрения социологии науки, в отличие, например, от Р. Тоштендаля, в работах которого аналитическому рассмотрению подвергаются теоретические позиции того или иного историка.

²⁸ *Scandia*. 1973. Bd. 39. S. 139-149.

²⁹ *Odén*. 1975 (6). S. 275.

ем», Б. Уден подчеркивает его балансирование между радикализмом и традицией, причем радикализм Вейбулля, по словам Уден, был связан с «глубокой, почти романтической лояльностью к прошлому»³⁰.

Братья Вейбулли создали школу критики источников³¹. Б. Уден считает, что вейбулльская школа представляла собой либеральное историческое видение со значительным упором на рационалистическое понимание. Благодаря усилиям братьев Вейбуллей и Э. Арупа в 1928 г. начал издаваться исторический журнал эмпирико-критического направления «Скандия» (глав. ред. – Л. Вейбуль), условия возникновения которого внешне были сходны с ситуацией вокруг «Анналов» М. Блока и Л. Февра. Рассмотрению истории и значения появления нового издания в противовес официальному журналу Шведского исторического общества (ШИО) консервативно-националистического толка «Хистуриск тидскрифт» Б. Уден посвятила отдельную статью «“Скандия” – журнал с иным пониманием»³², в которой показала общие и отличительные черты шведского и французского журналов. Значительную роль в становлении нового направления в шведской историографии сыграли ученики братьев Вейбуллей, и среди них С. Булин.

С середины 1970-х гг. к сюжетам по методологии и историографии добавилась другая, сквозная для всего творчества Уден тема – высшее гуманитарное образование и подготовка научных кадров в этой сфере, получившая наиболее полное отражение в итоговой книге «Изменения в подготовке ученых в 1890–1975 гг. История, политология, культурная география, экономическая история»³³. Эта работа прекрасно иллюстрирует включенность Уден в совершенствование общественных механизмов, ее желание внести лепту в улучшение университетского образования в Швеции. Поскольку университеты страны управляются государственными структурами, то данная работа напрямую связана с проблемами взаимоотношения личности и государства.

В книге Б. Уден впервые рассмотрела вопросы обучения и воспитания исследователей в области гуманитарных дисциплин. Главной за-

³⁰ Ibid. S. 277.

³¹ В отечественной исторической литературе ее иногда называют гиперкритической школой, однако тот факт, что в Швеции эти слова отражали негативное отношение к братьям Вейбуллям, так как использовались их противниками, побудил меня отказаться от употребления этого термина.

³² Historia och samhälle... 1975. S. 179–208.

³³ Odén. 1991 (б). Выходу книги, как всегда, предшествовали другие публикации: в 1980 г. Уден закончила двухтомную ротاپринтную предварительную версию монографии. Odén 1982 (а); 1989 (б).

дачей автора был показ изменений в подготовке научных работников по указанным предметам за 85 лет. Эти изменения выразились как в количественных показателях, так и в качественно новых условиях работы, постепенно превративших элитные высшие школы в университеты общества с равными возможностями, открытые для всех желающих³⁴.

Методологически книга вобрала в себя как либеральные позитивистские традиции ученых-шестидесятников, к которым принадлежала и сама Уден, так и теоретические взгляды представителей студенческого бунта против «позитивизма», требовавших введения альтернативных курсов в герменевтическом или марксистском ключе. Б. Уден утверждала: «Те профессора и доценты, которые в 1960-х гг. структурировали и формализовали содержание научного образования, принадлежали в подавляющем большинстве к поколению исследователей, сформировавшемуся под влиянием либеральных мировых образцов и получившему образование в рамках широко трактуемого позитивистского научного идеала. Хорошо известно, что в конце 1960-х гг. наступило десятилетие, когда студенты встали в оппозицию к этим истокам»³⁵. Книга о подготовке гуманитарных научных кадров Швеции написана Уден на базе освоенного ею арсенала современной социологии, в которой для нее неоспоримым авторитетом был Т. Кун, перенесший внимание исследователя с индивида и идей на традиции и культуру: «Образование, тренировка, окружающая среда переносят традиции от поколения к поколению»³⁶. Среди шведских ученых она выделяет таких историков-теоретиков, как Р. Тоштендаль, С.-Э. Лиедман, Т. Фрэнгсмюр, Р. Бьёрк. Уден подчеркивает: «Те изменения, которые переживает среда обучающихся исследователей в течение длительного, наиболее изученного периода, позволяют, если попытаться рассмотреть двойную перспективу, объяснить как внутринаучную, так и общественную стороны»³⁷. Отрицая традиционный взгляд на функционирование университетов лишь с точки зрения внутринаучных интересов, она считает, что университеты интегрированы в общество и серьезно зависят от происходящих в нем процессов³⁸.

Книга, посвященная истории развития четырех гуманитарных дисциплин в Швеции за почти вековой отрезок времени, под пером мастера превращается в увлекательное теоретически насыщенное исследование как по вопросу об организации шведского социально-гуманитарного

³⁴ *Odén*. 1982. S. 327.

³⁵ *Ibid.* S. 10.

³⁶ *Ibid.* S. 10.

³⁷ *Ibid.* S. 27.

³⁸ *Ibid.* S. 40.

знания, так и в историографическом плане. К тому же широта охвата проблем, географические и временные рамки работы позволили автору вписать шведскую науку в мировой контекст.

Рассуждая о взглядах Уден на историю структурирования гуманитарного знания в Швеции, нельзя не отметить следующий факт: в 1970-х гг. профессор Уден была членом созданного при правительстве специального комитета, в задачи которого входило оказание помощи исполнительной власти страны в выработке оптимальной политики в воспитании научных кадров по общественным наукам³⁹. На этом примере еще раз можно убедиться в том, насколько научные интересы Б. Уден сочетались с практическими задачами современного общества.

Следующая конкретно-историческая тема, которой Уден начала интересоваться в конце 1960-х гг., тоже связана с проблемой взаимодействия человека с современным обществом. Речь идет о взгляде историка на окружающую среду. Нет необходимости напоминать, что вопросы загрязнения окружающей среды стали дебатироваться в 1960-х гг. повсеместно в силу сугубой актуальности для биологического выживания человека. Государство в демократическом обществе осознало ответственность в этих вопросах⁴⁰. Выдвижение проблем окружающей среды на первый план, как для ученых-естественников, так и для гуманитариев, было продиктовано объективными причинами.

Одна из субъективных предпосылок перехода Уден к написанию работ об окружающей среде вытекала из уже освоенного поля социальной истории в связи с проблемами шведской эмиграции, подводившими исследователя вплотную к историко-демографической тематике. Однако в этой области уже успешно работал С. Окерман, и Биргитта Уден, не желая конкурировать с ним, предпочла проблематику окружающей среды⁴¹. Надо сказать, что Уден об окружающей среде написала не так уж

³⁹ В рамках работы подготовительной группы (под председательством Б. Уден) при Исследовательском совете по гуманитарно-общественным наукам (Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet – HSFR) был издан отчет о положении научных исследований на рубеже 1984-1985 гг. в исторической науке, где сообщалась информация по истории, экономической истории, истории идей и учений, а также истории церкви (Histotieämnena... 1986). В том же году был издан отчет правительству Исследовательского совета по гуманитарно-общественным наукам, рабочую комиссию которого возглавляла Уден. (Kulturvetenskaperna i framtiden... 1986, Jan.).

⁴⁰ По мнению Уден, плановая экономика Советского Союза не стала гарантией в защите окружающей среды. Это показали исследования двух шведских ученых – Л. Лундгрена и К. Гернера. См.: *Odén*. 1992. S. 13.

⁴¹ Переход к изучению окружающей среды стимулировался и облегчался тем, что эта тема, которая прежде всего интересовала ученых-естественников и требова-

много, но значение ее инициатив велико. Так, под непосредственным влиянием Б. Уден была написана книга о состоянии окружающей среды в СССР, в которой Кристиан Гернер и Ларс Лундгрэн объединили свои знания в области советологии и истории окружающей среды⁴².

При подготовке к XIV Международному конгрессу историков в Сан-Франциско (1975) на базе Лундского университета был создан шведский комитет, в который вошла и Уден. Ларс Лундгрэн, Биргитта Уден и Сверкер Уредссон подготовили доклад «Методы изучения человека в окружающей среде»⁴³. Это была первая публикация Уден на новую тему, которая впоследствии нашла отражение в предпринятом по ее предложению на исторической кафедре Лундского университета проекте «Природа и общество», а также в ее педагогической практике. Она изыскала средства для эксперимента в преподавании истории окружающей среды для шведских учителей разного уровня. Под ее руководством были защищены две докторские диссертации по данной проблематике⁴⁴. «Политизация проблемы окружающей среды, природа как идея и идеология, примеры реакции многих людей на постепенное ухудшение природной среды и окружающей среды на производстве выступают как наиболее неотложные задачи для историков, историков идей и экономических историков», – писала Уден во введении к учебнику «История окружающей среды»⁴⁵.

В одной из своих первых работ на эту тему Уден обращала внимание на широту термина «окружающая среда», которая подразделяется на природную и человеческую, или социальную. Авторы статьи «Использование природы как политика»⁴⁶ интересовал человеческий аспект этой проблемы. В написанной по материалам выступлений на конференциях 1988 и 1989 гг. статье «Окружающая среда как история» Уден обращает внимание на понятие «окружающая среда», пришедшее на смену понятию «природа» только в 1960-х гг. «Переход от *природы* к *окружающей среде*, – заявила Б. Уден, – является не только языковым видоизменением. Это и понятийное видоизменение, которое отмечает сдвиг нашего виде-

ла определенных знаний именно с этой стороны, привлекла внимание брата Б. Уден, занимавшегося физикой Земли и метеорологией. Сванте Уден предоставил сестре много интересных материалов о кислотных дождях. *Odén*. 1992. S. 12.

⁴² *Germer, Lundgren*. 1978.

⁴³ *Methods in the Study of Man in his Environment...* 1975.

⁴⁴ О загрязнении вод на рубеже XIX–XX вв. (Ларс Лундгрэн) и о движении за охрану природы (Ян Теландер).

⁴⁵ *Karlegård, Toftenow*. 1990. S. 7-8. См. также: *En ren framtid...* 1988.

⁴⁶ *Lundgren, Odén, Oredsson*. 1979. Б. Уден написала раздел «Человек и окружающая среда как проблема большой временной длительности».

ния отношений “человек–окружающая среда”»⁴⁷. Отмечая постепенную политизацию термина, Б. Уден пишет, что именно в 1960-х гг. родился новый сплав естественнонаучного и обществоведческого взгляда на окружающую среду. Важной ее частью постепенно стала окружающая среда на производстве. Типичным для нового понятия явилось то, что во главу угла был поставлен человек, его здоровье, психика, права и обязанности. «Понятие “окружающая среда” на самом деле является антропоцентристским в отличие от биолого-экологического понятия “природа”», – писала Уден, указывая, что это понятие исключает нейтральное к нему отношение и требует определенной авторской позиции⁴⁸.

Четко занятая гражданская позиция как нельзя лучше характеризует ученого Б. Уден. Следует отметить, что проблема окружающей среды, как и хронологически следующая за ней проблема пожилых людей в обществе еще в большей степени, чем предыдущие темы, отражают активность ученого с точки зрения выбираемых для исследования общественно значимых вопросов.

С точки зрения новых подходов к науке, ее внутреннего развития, нельзя не отметить важнейшую деталь при изучении окружающей среды – имманентную междисциплинарность. При разработке проблемы окружающей среды междисциплинарность проявилась не только в том, что этой темой ученые занимались на базе различных наук – истории, географии, археологии, этнологии, экономической и аграрной истории, социальной антропологии, истории идей и ментальности, правоведения и других, но и в том, что формулировка этой проблемы позволила осуществиться ранее, казалось, невозможным надеждам на связь естественнонаучной и гуманитарной линий в науке. Еще в 1959 г. английский физик и писатель Ч. Сноу в книге «Две культуры» высказывал неподдельное беспокойство по поводу невозможности преодоления пропасти между естественными и гуманитарными научными сообществами, принадлежащими к различным культурам и говорящими на различных языках⁴⁹.

При рассмотрении вопросов окружающей среды ученые вынуждены заниматься не какой-то одной областью – человек или природа, но их взаимоотношением, т.е. междисциплинарная граница проходит не по смежным дисциплинам гуманитарных наук, а между различными по своей природе науками – естественными и общественными. Однако, по

⁴⁷ *Odén*. 1989 (b). S. 2.

⁴⁸ *Ibid*. S. 5. Интересно замечание Уден по поводу движения «Гринпис», у которого, по ее мнению, на первом месте стоит природа, а не человек.

⁴⁹ *Odén*. 1989 (a). S. 19.

мнению Б. Уден, призыв Ч. Сноу к объединению двух культур не выдержал в 1960-х гг. «вьюги специализации»⁵⁰.

Процессы, которые происходили с науками, занимавшимися историей окружающей среды, сродни по своим претензиям на тотальность с процессами внутри бщественведческих дисциплин, пытавшихся разрешить дихотомию – социальная история и история социума⁵¹. Ведь история общества включает в себя не только социальные отношения между людьми, но и политические и идеологические, внутри которых разыгрывается человеческая драма. Таким образом, чтобы написать историю общества, необходимо писать тотальную историю. Именно эта перспектива вдохновляла Уден, хотя она не без опаски отмечала усиливавшуюся внутринаучную специализацию в противовес призыву Э. Хобсбоума к универсализму: «Расширение перспективы от специализации к большей тотальности в рамках различных традиций, очевидно, отразилось на сообществе ученых. Границы между различными дисциплинами стерлись. Это, с одной стороны, привело к целенаправленному междисциплинарному или межнаучному сотрудничеству, но, с другой – к определенным противоречиям и охране своей научной вотчины»⁵².

Универсальность проблем окружающей среды делает невозможной, по мнению Уден, их принадлежность к какой-то одной дисциплине или к специальному факультету: они принадлежат всему университету и касаются каждого, точно так же, как загрязнение окружающей среды поражает не отдельную страну или регион, а всю планету людей.

Назвав в одной из своих работ Библию самой древней «историей окружающей среды»⁵³, Уден скептически отнеслась к возможности в полном объеме написать тотальную научную историю окружающей среды, хотя и выразила надежду на то, что экологическое сознание может пропитать формулируемые людьми проблемы и исторические представления и расширить понимание того, что экологическая ответственность – не пустая риторика. Она затрагивает каждого в той нише, в которой человек осуществляет свои проекты с целью приспособить жизнь своих потомков к ограниченным ресурсам и последствиям длительного загрязнения окружающей среды.

Занимаясь историей окружающей среды, Б. Уден дополнила и усилила социальное звучание темы, начав писать о проблемах стариков в

⁵⁰ *Odén*. 1992. S. 14.

⁵¹ *Hobsbawm*. 1971.

⁵² *Odén*. 1991 (B).

⁵³ *Odén*. 1992. S. 14.

Швеции. Ее первые статьи на эту тему появились в 1970-х гг.; основные же работы этого направления были опубликованы в 1980-1990-х гг.⁵⁴ Взаимоотношения между поколениями, проблемы детства, старости, смерти, в том числе и добровольный уход из жизни, – наиболее типичная тематика Б. Уден после ее выхода на пенсию.

Накануне этого события, 27 мая 1987 г., Б. Уден выступила в Домском соборе Лунда с соответствующим торжественному событию докладом «История детства и старости», вскоре опубликованным в виде отдельной брошюры. В этом докладе в сжатой форме отразились основные мысли, в дальнейшем ставшие предметом отдельного рассмотрения в ряде статей. По существу, лекция Уден в Домском соборе стала программой деятельности в ее «третьей жизненной стадии». В ней были намечены проблемы изучения взаимоотношений поколений в шведском обществе на различных исторических этапах его развития.

Из доклада Б. Уден становится очевидным, что для нее долг гражданина и профессионального историка требует устранить любую идеализацию прошлого, показать истинное положение вещей, будь то случаи, когда мать бросает своего ребенка или грубость и жестокость в семье по отношению к старикам. Уден рассуждает о позиции историков при их встрече с мифом о прошлом как о «золотом веке» и «потерянном рае», мифе, используемом в интересах современного общества.

Опираясь на разные научные подходы, можно предположить два варианта решения вопроса. Первый, лежащий в русле вейбулльской эмпирической школы критики источников, к которой долгие годы принадлежала и сама Уден (по крайней мере, до конца 1960-х гг., когда это направление утратило свои четкие очертания), рекомендует историку искать истинную действительность, независимо от того, как эти знания могут быть использованы. Другой вариант был предложен новым поколением историков, причисляющих себя к герменевтической традиции. Их задача – понять значение и смысл мифов для того общества, в котором эти мифы существовали. Этим историков не интересовало, ложные или правдивые это были мифы; их волновало происхождение этих мифов, их значение для поведения людей. Однако Б. Уден отмечает и третью точку

⁵⁴ В международной историографии интерес к взаимоотношениям поколений и истории семьи возрос после публикации в 1965 г. книги П. Ласлетта «Мир, который мы потеряли». В Швеции первыми, наряду с Б. Уден, опубликовали свои работы историки из Уппсалы: С. Окерман (Sune Åkerman, 1977), А.-С. Чельвемарк (Ann-Sofie Kälvevärd, 1977, 1978) и Д. Гонт (David Gaunt, 1976). Значительный вклад в изучение этой темы внес датский историк Х. Кр. Юхансен (Hans Chr. Johansen, 1976). См.: *Odén*. 1990. P. 160.

зрения, автором которой является известный американский историк У. Мак-Нил, призывавший «оберегать и реставрировать» исторические мифы. Это важно, по его мнению, с целью сберечь функцию мифов как заменителя для ослабленных инстинктов человека, как связующего клея для общественного здания. Развивая идею американского ученого о необходимости существования мифов с тем, чтобы сохранять живыми моральные нормы самого общества, Уден указывает на шведский миф о счастливом развитии по пути демократии, который поддерживает в людях веру в это общество и способствует восприятию его правил игры. «Задачей историка является замена основанных на вере мифов эмпирически апробированными обобщениями, которые показывают нам, как функционировало общество в разные времена, где мы находимся сегодня и куда мы движемся»⁵⁵, – формулирует свою точку зрения Б. Уден.

Ссылаясь на макроисторическую стадиальную теорию детства Филиппа Ариеса, Б. Уден одновременно критикует его слишком грубые обобщения, вследствие которых стираются классовые различия и пропадают региональные особенности. Отмечая вклад социолога Эрнеста Берджеса, который почти одновременно с выходом в свет книги Ариеса сформулировал стадиальную теорию старости, Уден подчеркивает, что история старости изучена гораздо меньше, чем история детства. Кроме того, Уден считает, что в буржуазную эпоху социальное положение стариков (в отличие от детей) претерпело изменения в сторону ухудшения положения престарелых людей в обществе⁵⁶. Б. Уден была первым историком, поднявшим в статье «Отношения между поколениями. Правовое положение в 1300–1900 гг.» проблему психического и физического насилия по отношению к людям старшего поколения⁵⁷.

Работы Б. Уден по проблеме «стариков» в обществе можно разделить на эмпирические, историографические и обзорно-теоретические. Всем трем типам присуща ярко выраженная социальная ориентация; особенно четко она прослеживается в теоретических статьях. Уден отмечает, что социальные отношения пожилых людей были предметом исследования историков и этнологов, в то время как институты, ответственные за положение стариков в обществе, стали темой прежде всего для историков идей, социологов и историков архитектуры. Пограничное положение этой тематики позволило историкам плодотворно использовать методы социологии, гериатрии и социальной медицины⁵⁸.

⁵⁵ *Odén*. 1987. Del. 1.

⁵⁶ *Ibid*. Del. 2.

⁵⁷ *Odén*. 1991 (r). S. 110.

⁵⁸ *Odén*. 1991 (a). S. 67, 68.

В конце 1970-х гг. Уден возглавила междисциплинарный проект «Старики в обществе: прошлое, настоящее, будущее»⁵⁹. Результаты совместной работы ученых были опубликованы в 1982–83 гг. в двухтомном труде, опиравшемся на теоретические основы различных дисциплин – истории, социологии, медицины. Авторы изучили такие важные вопросы, как демографическая ситуация, производственная деятельность, отношения стариков в семье и социуме. Сверхзадачей проекта было решение вопроса, каким образом можно задержать переход стариков из независимой активной части общества в категорию зависимой группы; исследовался культурный, человеческий, интеллектуальный, производительный потенциал пожилых людей, который может быть еще востребован⁶⁰.

Окончание работы над этой темой было отмечено публикацией в 1993 г. книги «Стареть в Швеции», в которой трое ученых – историк, гериатролог и социолог – представили далеко не однозначные, оказавшиеся в определенном противоречии с изначальным замыслом выводы. Самый молодой из авторов социолог Л. Торнстам занял критическую позицию относительно перспективы активизации роли пожилых людей в обществе⁶¹. В результате было принято решение о том, что три раздела книги должны рассматриваться как отражение взглядов каждого из авторов в отдельности. В своей части «Временная перспектива» Б. Уден активно использовала идеи футурологии для изучения влияния общества на индивида. Она также считала плодотворным для разработки данной тематики подход, основанный на идее *la longue durée* Ф. Броделя.

Вкладом Уден в изучение проблем старости явилась предложенная ею на конференции 1988 г. в Кембридже периодизация истории пожилых людей в Швеции, получившая дальнейшее развитие на конференции 1991 г. в Йувэсколе. Автор выделяет пять периодов: 1) средневековое крестьянское общество с доминантой церкви, наблюдаемое со времени областных законов до 1734 г., 2) переходный период, охватывающий XVIII в. – первую половину XIX в., с экспериментами государства в обществе с разрушающейся аграрной структурой, 3) период 1850–1950-х гг., когда старая коммунальная система заботы о бедных превратилась в политическую проблему в обществе, изменявшемся под напором индустриализации, урбанизации и развития капитализма, 4) с 1950-х гг. по настоящее время, когда экономические успехи страны позволили сформировать заботу о тех, кто внес вклад в строительство самого общества всеобщего

⁵⁹ De äldre i samhället... 1978. Официально проект стартовал в 1980 г.

⁶⁰ Odén, Svanborg, Tornstam. 1982–1983.

⁶¹ Odén, Svanborg, Tornstam. 1993. S. 11.

благополучия, 5) период пересмотра настоящего с перспективой на будущее, когда в связи с возросшими экономическими затратами коллективистская и солидарная политика общества всеобщего благополучия начала подвергаться сомнению⁶².

Социальные проблемы семьи в связи с ростом численности населения и увеличением в обществе доли престарелых показали Б. Уден чрезвычайно интересным полем для новых исследований⁶³. С ухудшением экономической конъюнктуры в Швеции 1990-х гг. эта тема приобрела еще большую актуальность для Уден, всегда ориентированной на общественно значимые проблемы. Ее искренне беспокоит проявившаяся в эти годы практика буржуазного правительства Швеции брать деньги для поддержания экономической стабильности из бюджетных поступлений, ранее расходовавшихся на социальную помощь населению.

Комплекс экономических, психологических и моральных аспектов, сопряженных с жизнью пожилых людей, как в прошлом, так и в современном социуме, оказался в центре внимания историка. Уден написала по этим проблемам ряд научных статей, а в 2012 г. они вышли отдельной книгой «Старики сквозь время. Взгляд историка на старость и политику по отношению к старикам». Отмечая во введении способность автора «обновлять и углублять проблематику», известный историк, коллега и друг Б. Уден Эва Эстерберг пишет: «Статьи являются результатом несомненной возрастом креативности Биргитты Уден и ее неистребимого желания мыслить по-новому»⁶⁴.

Исследования проблем старости в конце 1990-х подтолкнули Уден к изучению не только социальных, но экзистенциальных и психологических проблем старости и послужили отправной точкой к написанию работ, связанных с добровольным уходом людей из жизни. Уден выпустила книгу «Устать от жизни», которая подытожила ее участие в проекте Лундского университета «Добровольная смерть». Публикация Б. Уден состоит из четырех эссе, написанных в жанре микроистории⁶⁵. Для нее, главным образом работавшей с макроисторическими общественными проблемами, подобный подход является исключением.

Следуя за определением, которое дал Джованни Леви (микроистория – это способ рассказывания истории, а не теория и методология),

⁶² Ibid. S. 19-20.

⁶³ *Odén*. 1990. P. 160.

⁶⁴ *Odén*. 2012. S. 8, 10.

⁶⁵ *Odén*. 1998. Книга посвящена Эве Эстерберг – другу и коллеге, занявшей место профессора истории Лундского университета после ухода Уден на пенсию.

Уден отмечает, что при таком подходе к подаче материала нельзя посчитать число отдельных случаев в длительной временной перспективе, т.е. трудно подняться до обобщений⁶⁶. Изучив труды предшественников, таких как социолог Эмиль Дюркгейм, выпустивший еще в 1897 г. знаменитую книгу «Суицид» (*Le suicide*) и историк-демограф Питер Ласлетт, написавший «Мир, который мы потеряли» (1965), Биргитта Уден и в своем микроисторическом исследовании не оставляет важнейшую для нее общественную перспективу, подчеркивая центральное место, которое занимает гипотеза о непосредственной связи частоты самоубийств с общим здоровьем или нездоровьем общества⁶⁷. Говоря об источниках своего исследования о самоубийстве, Уден называет труды коллег, а также ссылается на авторитет российского ученого Арона Гуревича, чьи книги широко известны в Швеции⁶⁸.

Четыре микроистории, изложенные и проанализированные Б. Уден охватывают значительный временной отрезок: вначале это рассказ о самоубийстве и отношении к нему в дохристианскую эпоху, затем повествование переносит читателя в XVII век, в котором господствовали суеверия, третий рассказ разбирает факт добровольного ухода из жизни в XVIII в., когда законодательство и практика по отношению к самоубийцам постепенно смягчались, и, наконец, последнее эссе касается самоубийства Офелии и безумия Гамлета в трагедии Шекспира. Впервые поставленный на сцене в 1600 г. «Гамлет» долгое время был наименее играемой трагедией великого английского драматурга, и, как пишет историк, автор сделал героиню сумасшедшей только для того, чтобы оправдать ее достойные похороны, иначе тело Офелии не могло бы быть погребено на церковном кладбище, а только за его пределами.

Стоит отметить несколько важных моментов в связи с исследованием Б. Уден истории самоубийства. Автор на конкретно-историческом материале доказывает скоропалительность бытовавшего представления о том, что самоубийство приветствовалось в дохристианскую эпоху⁶⁹, и

⁶⁶ Остановливаясь на понятии «микроистория», пришедшем, по ее мнению, из антропологии, она называет книгу Бенгта Анкарло в качестве первого примера работы в Швеции в этой области. *Ankarloo*. 1988.

⁶⁷ Уден приводит пример о резком снижении количества самоубийств в Советском Союзе и в странах Балтии в кульминационные перестроечные годы (1985 – 1988), почерпнутый ею из защищенной в 1997 г. в Стокгольме диссертации эстонского врача Айри Вэрник. (*Odén*. 1998. S. 7).

⁶⁸ В книге «Образы прошлого. Сборник памяти А.Я. Гуревича» (СПб. Центр гуманитарных инициатив, 2011) напечатана статья Б. Уден «Вопрос Гуревича».

⁶⁹ *Odén*. 1998. S. 21.

категорически высказывается в пользу компаративистских исследований, а также делает выводы, возвращающие нас в современность. По мнению Уден, вовсе не изменения законодательства и культурного дискурса играли главную роль при объяснении причин добровольного лишения себя жизни: «Решающим, напротив, является возрастание роли “внутреннего я” в противовес “личности” – сложный процесс изменений, достигший кульминации в наше время, когда индивид именем свободы начал требовать право на собственную смерть, в то время как общество постепенно отказалось от ответственности за жизнь “индивида”... и нарциссистское “я” сегодня готово единолично решать: to be or not to be»⁷⁰.

От экзистенциальных вопросов добровольного ухода из жизни Уден перешла к еще менее изученному явлению – утешению, которое может получить человек, находящийся на пороге смерти. В 2009 г. вышла ее работа «Смерть и утешение в исторической перспективе», которую Биргитта Уден посвятила памяти коллеги и подруги, профессора психологии из Дании Пие Фрумхольт (Pia Fromholt).

Как пишет Уден, смерть неоднократно становилась предметом изучения теологов, философов и медиков; проблема же утешения редко рассматривалась, а сам термин «утешение» вообще подвергался сомнению с точки зрения научной релевантности. Среди ученых-историков интерес к теме смерти пробудился довольно поздно. Уден поясняет: «Смерть в своей постели не была политическим вопросом, а смерть на поле брани касалась в большей степени цифр, а не культуры»⁷¹. Эту проблематику историк может освоить только в тесном сотрудничестве с учеными из смежных, иногда не очень близких дисциплин, во всяком случае, не только в гуманитарной сфере. Уден признает, что первыми из историков изучением смерти начали заниматься французские ученые, работавшие в духе школы «Анналов» (М. Вовель и Ф. Ариес); кроме того, она ссылается на Норберта Элиаса и шведскую коллегу Эву Эстерберг. В 2004 г. центральной темой на 15-й ежегодной конференции историков стран Северной Европы была «Смерть как катарсис. Северо-европейский взгляд на культуру смерти и историю ментальности». Задачу нового исследования Уден формулирует следующим образом: «Соотнести формирование утешения с представлениями о содержании смерти»⁷².

Указывая на то, что отношение к смерти менялось с течением времени и коррелировалось со степенью религиозности общества, Уден

⁷⁰ Ibid. S. 83.

⁷¹ *Odén*. 2009. S. 8.

⁷² Ibid. S. 10.

выделяет его основные этапы: в аграрном обществе за умирающими ухаживали родственники, в XIX в. появились отдельные клиники, а с началом строительства государства всеобщего благосостояния в больницах организовывались специальные отделения, в которых старики умирали, как правило, в одиночестве. Таким образом, смерть как бы замалчивалась и становилась невидимой. После Второй мировой войны молчанию был положен конец, однако наступила эпоха секуляризованного индивидуалистического общества. Исследования показали, что рожденные в 1930-х гг. и не получившие религиозного образования, а посему не верящие в Бога и загробную жизнь шведы, достигнут преклонного возраста к концу первого десятилетия XXI в. Поэтому Уден ставит такие вопросы: «Как изменилось содержание предсмертного утешения за время культурных изменений ментальности? Означает ли возросшая секуляризация, что психотерапия возьмет на себя роль церкви? Не стоим ли мы на пороге новой религиозности?» Она подчеркивает, что вопрос о формах утешения и его содержание является крайне важным как для самих людей, так и для здравоохранения, и политиков. Б. Уден обращает внимание читателя на тот факт, что невозможно утешить человека, стоящего на пороге небытия, обещанием, что этого не случится, кроме того «утешение необходимо как для того, кто умрет, так и для тех, кто останется жить»⁷³. И если способы утешения для переживших смерть близкого человека все же рассматривались в работах теологов, этнологов и историков, то формы утешения для умирающих почти не описывались, за исключением случаев практики ухода за больными.

Уден останавливается на традициях утешения от античности до наших дней. Отправная точка ее рассуждений – Гиппократ с его триадой: вылечить, смягчить боль, утешить, однако в изучении утешения все исследователи опираются на философа, теолога и поэта VI в. Бозция, написавшего в трактате «Об утешении философией»: «Если ты ждешь помощи от врача, ты должен показать ему свою рану»⁷⁴. Традиции позднеримского мыслителя в современной Швеции следовала Астрид Нурберг (Astrid Norberg), предложившая общую для применения ко всем страждущим модель утешения⁷⁵, которой пользуется и Б. Уден.

Итак, нуждающийся в помощи «показывает» свои раны, а утешающий должен уметь выслушать. Однако, как вытекает из опыта Уден, не только слово входит в арсенал для утешения – к нему принад-

⁷³ Ibid. S. 14-15.

⁷⁴ Ibid. S. 16.

⁷⁵ Norberg. 1999.

лежит и физическое прикосновение. Существенным является воздействие на психику умирающего человека музыки, изобразительного искусства, поэзии. В крайних случаях, при невыносимых страданиях смерть могла восприниматься как утешение, но в современном секуляризованном обществе мысль о радостях загробного мира уже не способна в полной мере дать утешение. К тому же новейшие методы врачевания продлевают жизнь, и в этом случае смерть тоже не воспринимается как утешение. В разделе, озаглавленном «Писать о собственной смерти», Уден утверждает свое видение умирающих как субъекта исследования: автор считает необходимым «дать им возможность своими словами описывать собственное умирание с тем, чтобы попытаться выяснить, что же является *самым важным* для них *самих*» в этой ситуации⁷⁶.

Наиболее известным случаем обнародования мыслей о жизни накануне собственной смерти являются письменные и аудиозаписи швейцарского журналиста Петера Нолля. Уден приводит примеры, когда шведский социальный работник и журналист Биргитта Эк писала дневники и письма о приближающейся смерти, а коллега с юридического факультета Лунда Анна Кристенсен, незадолго до смерти подготовила две статьи, опубликованные уже после ухода автора в мир иной, и, наконец, Уден рассказывает о своей переписке с датским психологом и личным другом Пией Фрумхольт. Неизлечимо больная, П. Фрумхольт писала Б. Уден, зная, что последняя занимается проблемами добровольного ухода из жизни и утешения, в котором нуждаются люди на пороге неизбежной смерти. Она разрешила использовать эти письма в научных целях в качестве одного из источников. В одном из посланий умирающей подруге Б. Уден называет их обеих «геронтологами-гуманитариями»⁷⁷.

На что может опереться человек, ощущающий приближение неизбежного и скорого прощания с жизнью? Это прежде всего интеллектуальный труд. Умирающая подруга интересовалась ходом работы Уден на тему «Смерть и утешение», давала советы, делилась опытом. Они обсуждали «разбег», который делает смерть перед последним прыжком, «рациональную» смерть путем самоубийства, опыт пребывания в хосписе как вариант достойного конца. Как показывают исследования, проводившиеся в Гётеборгском университете, умирающие люди в наше время не слишком интересуются вечной жизнью. Им необходимо понять смысл собственного земного пребывания⁷⁸, их угнетает перспектива потери

⁷⁶ Odén. 2009. S. 28.

⁷⁷ Ibid. S. 32.

⁷⁸ Ibid. S. 59.

важнейших отношений с теми, кого любишь. «Важнейшие отношения» Уден связывает с любовью, той, которая, по словам шведского историка и философа Э.Г. Гейера, «шествует по всему миру» и которая, как считал выдающийся писатель Швеции Стиг Дагерман, «лучше, чем утешение, и больше, чем философия, она составляет смысл жизни»⁷⁹.

Говоря об утешении перед смертью в современном секуляризованном обществе, в котором не всегда помогает мысль о загробном мире, и в котором утрачены адекватные формы утешения для тяжелобольных, Уден подчеркивает значение интеллектуального труда; именно он дает стимул – используя оставшееся для жизни время, завершить начатые проекты. Автор заканчивает книгу следующими словами: «Только в любви может быть найдено утешение перед неизбежной смертью»⁸⁰.

К собственному 90-летию Б. Уден выпустила книгу о своем учителе: «Стуре Булин – историк в период Второй мировой войны»⁸¹. Таким образом, юбилейный аккорд ее монографического наследия прозвучал в историографической тональности. Побуждающим импульсом к написанию работы о С. Булине было не столько желание познакомить читателя с основными этапами творчества выдающегося ученого Швеции, но, главным образом, стремление дать аргументированный ответ на несправедливую критику в его адрес, прозвучавшую в монографии Сверкера Уредссона «Университет Лунда во время Второй мировой войны». Автор этой книги утверждает, что Булин был «активным антидемократом, расистом и, кроме всего прочего, идеологом Шведского национального союза молодежи»⁸² (Sveriges nationella ungdomsförbund), который, как известно, постепенно скатился на пронацистские позиции. В статье «Шведские теологи в период нацизма» Уредссон выделяет ключевые слова, которые, по его мнению, определяют нациста: «антидемократичный, склонный к насилию, придерживающийся расистских, антисемитских взглядов и враждебный свободе в обществе и его культурной жизни»⁸³. Б. Уден категорически не согласна с приписыванием Булину подобных взглядов.

Коротко остановившись на биографических сведениях, описав консервативные политические взгляды С. Булина, Б. Уден обращает весь пафос ученого на защиту репутации любимого учителя. Делает она это по всем правилам той исторической школы, основы которой заложили братья Вейбулли. Принадлежащая старшему из братьев, Лаурицу,

⁷⁹ Ibid. S. 60.

⁸⁰ Ibid. S. 63.

⁸¹ Oden. 2011. S. 101.

⁸² Oredsson. 1996. S. 131-132.

⁸³ Oredsson. 1997. S. 167.

максима, на которой впоследствии воспитывались все студенты семинара профессора Булина гласит, что «ни политика, ни религия не должны влиять на выводы историка. Говорить должны только факты»⁸⁴.

Следуя заветам вейбулльской школы критики источников, Биргитта Уден начинает свою аргументацию с историографии вопроса и представляет перечень оценок профессиональных качеств и политических пристрастий С. Булина, данный его друзьями и коллегами. Она упоминает эпитет «гениальный», прозвучавший в адрес Булина из уст Л. Вейбулля в связи с защитой его учеником диссертации (1927). После внезапной кончины С. Булина в феврале 1963 г. ведущие шведские газеты откликнулись на его смерть. Некрологи были написаны такими видными историками Швеции, как Эрик Лённрут, Свен Ульрик Пальме, Нильс Руннеблю и Йеркер Русен. Среди авторов траурных публикаций был и личный друг покойного, выдающийся социал-демократ, премьер-министр страны Таге Эрландер. Уден опирается также на исследования историков Э. Вэрэнстама⁸⁵ и Р. Тоштендаля. Последний в своей монографии, в частности, пишет, что Стуре Булин был роялистом, убежденным консерватором, отстаивал важность национальных чувств у людей разных государств, что, однако, не делало его сторонником немецкого фашизма. Идеи Булина были почерпнуты, прежде всего, у французских консервативных политических мыслителей XIX в. Жозефа де Мэстра и Луи де Бональда⁸⁶.

По отношению к оценкам Уредссона политических воззрений С. Булина Б. Уден применяет термин «фактоид» (*faktoid*), введенный шведским литературоведом Мартином Чюльхаммаром (*Martin Kuhlhammar*) для обозначения непроверенных, ложных фактов и домыслов. Она проводит аналогии с ситуацией, в которой оказался пишущий в жанре популярной истории журналист Херман Линдквист (*Herman Lindqvist*), ошибочно приписавший нацистские взгляды видному экономическому историку Карлу-Густаву Хильдебранду (*Karl-Gustaf Hildebrand*). Но Хильдебранд был еще жив и смог постоять за себя⁸⁷. За поэта, лауреата Нобелевской премии Вернера Хейденстама, которого

⁸⁴ *Oden*. 2011. S. 53.

⁸⁵ *Wärenstam*. 1965.

⁸⁶ *Torstendahl*. 1969. S. 120, 152, 180.

⁸⁷ В результате первые 200 тыс. экземпляров тиража книги Х. Линдквиста были пущены под нож, а автор публично принёс свои извинения. Затем книга была напечатана без фактоида. Аналогичная ситуация произошла и с мемуарами Линдквиста, в которых он позднее попытался защищать свою ошибочную позицию. Это было замечено до поступления мемуаров в продажу, и весь тираж был уничтожен. Работа увидела свет на год позже и с внесенными исправлениями.

подозревали в симпатиях нацистскому режиму, вступился М. Чюльхаммар. Роль защитницы С. Булина взяла на себя Б. Уден. Она поставила перед собой задачу «проверить, являются ли утверждения Уредссона о том, что Булин был другом Германии, антисемитом, расистом и антидемократом, фактами или фактоидами»⁸⁸, и приводит свои аргументы, доказывая «фактоидальности» позиции своего оппонента⁸⁹.

Для Стуре Булина профессиональные научные критерии с молодых ногтей стояли на первом месте. В этой связи интересен тот факт, что, несмотря на консервативную среду, из которой вышел Булин, его выбор научного руководителя в университете Лунда выпал на либерала Лауритца Вейбуля⁹⁰. «Если попытаться суммировать политические взгляды Стуре Булина периода его юности, исходя из его собственных “официальных слов”, а также опираться на идеологический анализ, проделанный Тоштендалем, то получается, что Булин ни в коем случае не симпатизировал немцам; он был дружески настроен по отношению к французам и французскому национализму», – заключает Б. Уден⁹¹.

Говоря о педагогических принципах своего учителя, Уден рассматривает его взгляды на воспитание будущих историков: «собственные идеи и самостоятельная работа» требовались уже на семинарах Булина для первокурсников, в то время как другие профессора предпочитали метод жесткого научного руководства. В 1950-х гг. в Лунде была создана суденческая организация «Сыны Стуре Булина» (“Sture Bolins rågar”), члены которой долгие годы сохраняли память о «звезде мирового масштаба» – «историке, ставившем своей целью написание всемирной истории, а в качестве средства достижения этой цели использовавшем остроту своего ума»⁹². И если к сынам С. Булина в первую очередь можно отнести таких его выдающихся учеников, как Свен А. Нильссон, Артур Атман и Гуннар Т. Вестин, то Биргитта Уден по праву может быть названа его любимой дочерью.

Творчество Биргитты Уден за почти 60 лет научных изысканий можно с полным основанием назвать значительным, а ее вклад в историографию – выдающимся и плодотворным. В ее лице историческая наука Швеции имеет ученого многогранного, постоянно находящегося в поиске и до некоторой степени не перестающего учиться. В ее работах

⁸⁸ *Oden*. 2011. S. 25.

⁸⁹ *Ibid.* S. 29, 32, 37-39, 53, 56, 81.

⁹⁰ *Ibid.* S. 13.

⁹¹ *Ibid.* S. 35.

⁹² *Ibid.* S. 72.

легко найти следы не только разных методологических и инструментальных подходов, но и явное взаимодействие с другими гуманитарными и даже естественнонаучными дисциплинами. Она высказывала идеи, позднее претворявшиеся в жизнь, как в случае с коллективными научными проектами⁹³. В работе 1989 г.⁹⁴ она поднимала ставший затем злободневным вопрос о популярности исторических исследований без потери критерия научности. Дилемма «точность настоящей науки» или «живость изложения» решалась Уден в пользу удачного сочетания того и другого. Продолав путь от принципов отцов-основателей вейбульсской школы через настойчивые постижения теорий и методов социальных наук, Уден приблизилась в работах 1980–1990-х гг. к представлениям школы «Анналов», ближе всего восприняв взгляды Фернана Броделя. В 1968 г. Б. Уден писала о себе, что она не «теоретик, а практик» с «недостаточной философской подготовкой», а почти через 20 лет ратовала за большую генерализацию и теоретическую оснащенность исторической науки, подчеркивая при этом, что не является сторонницей идиографического метода⁹⁵.

За долгие годы работы Б. Уден неоднократно меняла темы исследований, всякий раз оказываясь тесно связанной с проблемами современного ей общества. Каковы бы ни были причины перехода от одной темы к другой, будь то на первых порах ее одновременное внимание как к естественным, так и гуманитарным наукам, затем смена тематики под влиянием педагогических задач и интереса самих студентов, а также ее собственного желания постичь теоретические корни и вписать себя в канву национальной исторической науки, и даже такие случайные моменты, как стремление избежать тематического пересечения с другими историками, Уден всегда отличала высокая гражданская ответственность. Ученый всегда сочетался в ней с гражданином.

Деятельность Б. Уден порой напоминает труд врача, который в интересах науки если не проводит опасный эксперимент на себе, то, меньшей мере, наблюдает за собственным организмом в период болезни. И, когда читаешь ее строки о сохранившемся (несмотря на отмену закона, обязывавшего детей заботиться о престарелых родителях) чувстве ответственности современных детей за своих стариков, слышишь голос самой Биргитты, ощущаешь ее личную заинтересованность в решении этой проблемы: «Назовите это любовью. Назовите это жалостью.

⁹³ *Odén*. 1963 (б). S. 420.

⁹⁴ *Odén*. 1989 (г). S. 169–170.

⁹⁵ *Odén*. 1968 (б). S. 25; *Över gränser...* S. 4.

Назовите это большой совестью. Чувство ответственности существует. Изменились лишь его формы и содержание»⁹⁶.

В 2005 г. в связи с присуждением Б. Уден «Большой премии по геронтологии» журналист С. Столь (Solveig Ståhl) написала, что «Уден всегда опережала свое время и искала исторические корни современных общественных проблем»⁹⁷. И с этим нельзя не согласиться.

Практическая деятельность Б. Уден, сопряженная с работой в правительственных и научных комитетах, ее уверенность в том, что ученые-историки должны влиять на политиков⁹⁸, сочетались с твердым убеждением, что историка должен характеризовать не только критический подход к действительности, но и стремление к созиданию чего-то нового⁹⁹. Еще в статье «История и общество» (1968) Уден призывала Клио не уподобляться вечно оборачивающейся назад жене Лота и ратовала за обращенность музы истории к проблемам современного общества¹⁰⁰.

Выражая твердую уверенность в интегрирующей функции истории, Б. Уден неоднократно выдвигала требование достижения взаимодействия между различными историческими дисциплинами, выступала противницей ухода в узкую специализацию, понимая под ней мелкотемье и ограниченность рамками небольшого хронологического периода.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть отличительную черту методики Б. Уден – абсолютно естественно вытекающую из ее научного подхода междисциплинарность. Обращает на себя внимание заглавие выпущенной к ее 65-летию книги «Преодолевая границы», в которой коллеги Биргитты Уден отмечают ее плюрализм, готовность и способность поддерживать новые идеи и открывать новые исследовательские поля, преодолевая тем самым границы отдельных дисциплин¹⁰¹. Сама Б. Уден в предисловии к шведскому изданию книги Питера Бёрка о школе «Анналов», писала: «На тех, кто решался преодолевать границы, смотрели скептически, как на дилетантов и узурпаторов, что, надо отдать должное, имело место. Это заложено в самой природе междисциплинарности»¹⁰². Вместе с тем она подчеркивала, что именно такой «дилетантизм» предполагает достижение синтеза.

⁹⁶ *Odén, Svanborg, Tornstam.* 1993. S. 79.

⁹⁷ *Stål.* 2005. S. 22.

⁹⁸ *Odén.* 1968 (a). S. 209.

⁹⁹ *Över gränser...* S. 8.

¹⁰⁰ *Odén.* 1969. S. 87.

¹⁰¹ *Över gränser...* S. IX.

¹⁰² *Burke.* 1992. S. 13.

Б. Уден неизменно проповедовала общественную значимость исторической науки: «Я считаю, что история всегда выполняет общественную функцию... Историки должны показывать рамки альтернативного истолкования фактов и поднимать их до уровня дискуссии так, чтобы было видно, каковы эти альтернативные возможности для толкования изменений в обществе»¹⁰³. За те 20 с лишним лет, что Биргитта Уден была профессором, произошли огромные сдвиги от элитарной профессорской замкнутости университетов до утверждения новой организации профессиональных историков и достижения массовости высшего образования. В это изменение внесла свой вклад и Б. Уден: с ее помощью были созданы материальные и институциональные предпосылки новых исследований внутри и вне традиционных для историков рамок.

Б. Уден осознанно занимает ответственную гражданскую позицию, ощущая тесную связь истории с жизнью. Ею движет желание, используя профессиональные знания, приносить пользу обществу, будь то работа в совещательном органе при правительстве, где с ее участием создавались программы высшего образования и подготовки кадров в области гуманитарных наук, или исследования по проблемам окружающей среды и положению стариков. Отмечая с некоторым сожалением, что иногда она много «прыгала», меняя тематику исследований, Уден заключает: «Это не я, это общество прыгало».

Однажды, говоря об истории ментальностей, она заметила: «Сама я больше интересуюсь ментальностью, которая приводит к действию». Б. Уден выполнила профессиональный и моральный долг как перед своими предшественниками, так и перед обществом в целом, еще раз продемонстрировав, что ее творчество всегда было пронизано гармонией личного и общественного.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ankarloo B. Att stilla herrevrede. Trolldomsdåden på Vegeholm 1653–1654. Stockholm, 1988.

Burke P. Annales-skolan. En introduktion. Göteborg, 1992.

De äldre i samhället: förr, nu och i framtiden. Presentation av ett projekt // Humanistisk Forskning, 1978. Nr 1.

Emigrationen fra Norden indtil Første Verdenskrig // Beretning foredrag og forhandlinger ved det nordiske historikermøde i København 1971, 9–12 august. København, 1971.

En ren framnid. Vårt ansvar för miljön. Malmö, 1988.

Gerner K., Lundgren L. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960–1976. Helsingborg, 1978.

Historia och samhälle. Studier tillägnade Jerker Rosén. Malmö, 1975. S. 179–208.

¹⁰³ Över gränser... S. 3.

- Historieämnen – en lägesrapport av beredningsgruppen för historia vid HSFR // HSFR-NYTT. Stockholm, 1986.
- Hobsbawm E.J.* From Social History to the History of Society // *Daedalus*. 1971. Vol. 100. N 1. P. 20-45.
- Karlegård C. Toftenow H.* Miljöhistoria. Lund, 1990, S. 7-8.
- Kulturvetenskaperna i framtiden. HSFR: s rapport till regeringen. Stencil HSFR. 1986, Jan.
- Lönnroth E.* Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier över skatteväsen och länsförvaltning. Göteborg. 1940.
- Lundgren L., Odén B., Oredsson S.* The Use of Nature as Politics. Lund, 1979.
- Methods in the Study of Man in his Environment. Report for the XIV International Congress of Historical Science. Sector II: Methodological Problems. Berkeley, 1975.
- Norberg A.* Fenomenet tröst. Utveckling av en teoretisk modell. Projektansökan. 1999.
- Odén B.* Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Lund, 1955.
- Odén B.* Kopparhandel och statsmonopol: studier i svensk handelshistoria under senare 1500-talet. Stockholm, 1960.
- Odén B.* Emigration från Norden till Nordamerika under 1800-talet. Aktuella forskningssuppgifter // *Historisk tidskrift*. 1963 (a). Nr. 3.
- Odén B.* Socialhistoria i blickpunkten // *Historisk tidskrift*. 1963 (6). N 4.
- Odén B.* Kronohandel och finanspolitik 1560–1595. Lund, 1966.
- Odén B.* Clio mellan stolarna // *Historisk tidskrift*. 1968 (a). N. 2.
- Odén B.* Historiens plats i samfundsforskningen. Ett diskussionsinlägg // *Statsvetenskaplig tidskrift*. 1968 (6). Häfte 1.
- Odén B.* Historia och samhälle // *Människa och materia*. Lundaforskare föreläser. Lund, 1969.
- Odén B.* Åra, minne och vetenskapsteori // *Scandia*. 1973 (a). Bd. 39.
- Odén B.* Historia som forskningsprocess // *Scandia*. 1973 (6). Bd. 39.
- Odén B.* Det moderna historisk - kritiska genombrottet i svensk historisk forskning // *Scandia*. 1975 (a). Bd. 41.
- Odén B.* Lauritz Weibull och forskarsamhället. Lund, 1975 (6).
- Odén B.* Scandia - tidskrift för en annan uppfattning // *Historia och samhälle*. Studier tillägnade Jerker Rosén. Malmö, 1975 (b).
- Odén B.* Forskarutbildningens resultat 1890-1975. Preliminär version. Delrapport 9:1 inom UHÅ – projektet «Forskarutbildningens resultat 1890–1975». Lund, 1982; Delrapport 9:2, Lund, 1982.
- Odén B.* Barndomens historia – och ålderdomens. Lund, 1987. Del.1.
- Odén B.* Annales - skolan och det svenska forskarsamhället. (Предисловие к переводу с французского: Le Goff J., Nora P. Att skriva historia. Stockholm, 1978).
- Odén B.* Ekologiska frågor i ett historiskt perspektiv // *Biologen*. 1989 (a). Nr 3.
- Odén B.* Forskarutbildning och politik // *Universitet och samhälle*. Festskrift till Eskil Björklund. Stockholm, 1989 (6).
- Odén B.* Miljön som historia // *Historisk tidskrift för Skåneland*. 1989 (b). Nr 2.
- Odén B.* Vad kan vi veta om en försvunnen värld? // *Kan vi lita på vetenskapen? En bok om vetenskapen och sanningen*. Stockholm, 1989 (r).
- Odén B.* Studying the elderly in society // *Swedish research in a changing society*. The Bank of Sweden. Tercentary Foundation 1965–1990 / Ed. by Kjell Härngvist, Nils-Erik Svensson. Hedemora, 1990.
- Odén B.* Äldre som tema i historisk forskning // *Socialmedicinsk tidskrift*. 1991 (a).

- Odén B.* Forskarutbildningens förändringar 1890–1975. Historia, Statskunskap, Kulturgeografi, Ekonomisk historia. Lund, 1991 (6).
- Odén B.* Människan och miljön: Historiografiska traditioner och trender // Människan och miljö. XXI Nordiska historikermötet 1991. Umeå, 1991 (B).
- Odén B.* Relationer mellan generationerna. Rättsläget 1300-1900 // Maktpolitik och husfrid. Studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad. Lund, 1991 (r).
- Odén B.* Miljöhistoria i ett långsiktigt perspektiv // Historielärarnas Förening: Aktuellt om historia. 1992.
- Odén B., Svanborg A., Tornstam L.* Att åldras i Sverige. Stockholm, 1993.
- Odén B.* Leda vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia. Lund, 1998.
- Odén B.* Döden och trösten i historiskt perspektiv. Lund, 2009.
- Oden B.* Sture Bolin – historiker under andra världskriget. Stockholm. 2011.
- Odén B.* Äldre genom tiderna. Åldrande och äldrepolitik som en historiker ser det. Stockholm, 2012.
- Odén B., Svanborg A., Tornstam L.* Äldre i samhället: förr, nu och i framtiden. Del.1: Teori och forskningsansatser; Del.2: Probleminventeringar. Stockholm, 1982, 1983.
- Odén B., Svanborg A., Tornstam L.* Att åldras i Sverige. Stockholm: Natur och kultur, 1993.
- Oredsson S.* Lunds universitet under andra världskriget. Motsättningar, debatter, hjälpinsatser. Lund, 1996.
- Oredsson S.* Svenska teologer under nazitiden // Svensk teologisk kvartalskrift. 1997.
- Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén. Lund: Lunds universitet, 1987. 509 s.
- Stål S.* Sticker ut hakan i äldredebatten // Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 2005. N 2.
- Torstendahl R.* Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–1920. Stockholm, 1964.
- Torstendahl R.* Mellan nykonservatism och liberalism. Idébrytningar inom högern och bondepartierna 1918–1934. Stockholm, 1969.
- Torstendahl R., Odén B.* Den weibullska riktningen. // Historieskrivningen i Sverige. Lund, 2012.
- Wärenstam E.* Sveriges nationella ungdomsförbund och högern 1928–1934. Stockholm, 1965.
- Тоштендаль-Салычева Тамара Алексеевна** – кандидат исторических наук, директор Российско-шведского учебно-научного центра РГГУ; *tamarats@inbox.ru*

В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ

Ю. С. ОБИДИНА

КУЛЬТ ДИОНИСА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АНТИЧНОГО ПОЛИСА ВООБРАЖАЕМОЕ, СИМВОЛИЧЕСКОЕ И РЕАЛЬНОЕ

В статье выделяются наиболее релевантные в плане содержания семантические блоки и отдельные мотивы культа Диониса. Культурные вариации мифологема Диониса рассматриваются с диаметрально противоположных позиций – народной культуры (того, что не нашло отражения в теоретической рефлексии орфической и философской редакции, а осталось на уровне мифологема) и, собственно с точки зрения мистериальной разработки мифа о Дионисе.

Ключевые слова: бессмертие, Дионис, Загрей, мистерии, мифологема, орфики.

В культе Диониса и последующих его трансформациях традиционно выделяют три направления: «слияние с традиционными земледельческими верованиями и с погребальными обрядами; подчинение дионисийских мистерий государственному регулированию и зарождение трагедии; реформа культа Диониса орфиками и создание на основе дионисийской мифологии их грандиозной религиозно-нравственной системы»¹.

Особое значение для рассмотрения культа Диониса в социокультурном пространстве античного полиса приобретает изучение сближения дионисийского культа с культом Аполлона. Отношения между Дионисом и Аполлоном – одна из любопытнейших страниц истории греческой религии и культуры. В этих отношениях разворачивается борьба, наложившая неизгладимую печать на всю греческую культуру. «Из обеих божественных потенций слагается эллинский пафос эстетического и этического строя. Без воздействия Диониса Аполлон не совершил бы той могучей реформации, которая преобразила и очеловечила греческое нравственное сознание»².

О «дионисийском» и «аполлоновском» началах в древнегреческой культуре написано много³. В связи с этим встает важный вопрос методологического характера. Аполлоновское восприятие мира в числе и мере оказывается в этом случае состоянием интроспекции, результатом

¹ Макаров. 1999. С. 19.

² Иванов. 2000. С. 145.

³ См.: Ницше. 1912. Т. 1. С. 87-163.

интуитивного постижения мира идей⁴. Аполлоновское начало — критическое и рациональное, дионисийское — творчески-чувственное и органически-иррациональное. Подавление Диониса Аполлоном порождает трагедию, трагическое мировосприятие, которое, по Ф. Ницше, является движущей силой развития культуры. Категория «аполлоновского и дионисийского» давно уже стала «философским и культурологическим штампом, принимаемым, тем не менее, без доказательств»⁵. Однако поляризация этих богов — явление достаточно позднее. Культурное их объединение, как отмечает А.Ф. Лосев, произошло в Дельфах⁶.

Именно из дельфийско-орфических корней развивалось в течение веков то умозрение о метафизической природе и взаимоотношениях Аполлона и Диониса, которое в форме, близкой к философеме, нашла более или менее определившаяся в мистических кругах философская школа неоплатоников. Согласно этой концепции, «Аполлон — это начало единства, сущность его — монада, тогда как Дионис знаменует собой начало множества, что миф исходит из понятия о божестве как о живом всеединстве, изображает как страсти бога страдающего, растерзанного»⁷.

Социокультурный полиморфизм культа Диониса весьма сложен и неоднозначен. Символика этого культа была детально исследована в работах Вяч. Иванова. По его мнению, «чем глубже мы вникаем в дионисийские мифы, тем более убеждаемся, что во всех них запечатлелась мистическая истина Дионисовой религии: истина раздвоения бога на жертву и палача, на богоборца и трагического победителя, на убиенного и убийцу». Эта мистика оргиастического безумия «мало говорит рассудку, как всякая мистика: но как символ, она непосредственнее, чем логика догмата, представляет нам доступной загадочную сущность вечно самоотчуждающегося под чужой маской, вечно разорванного и разлученного с самим собой, вечно страдающего и упоенного страданием, «многоликого» «многоименного» Диониса, бога «страстей»⁸.

Семантический аспект Дионисова культа нашел отражение в исследованиях А.Ф. Лосева. Он пишет, что «античность знала многих Дионисов. Три Диониса находим у Филодема⁹, до четырех Дионисов называют Цицерон и Лид¹⁰, пять Дионисов перечисляет Диодор¹¹. Нонн

⁴ См.: *Jung*. 1967. S. 144-155.

⁵ *Селиванова*. 2003. С. 93.

⁶ *Лосев*. 1957. С. 313.

⁷ *Иванов*. 2000. С. 166.

⁸ *Иванов*. 2007. С. 143.

⁹ *Clem. Alex. Protr.* I, 18, 1-2.

¹⁰ *Цицерон*. О природе богов. III, 58, 59.

передает следующее разделение: 1) Дионис, сын Персефоны, которого Нонн называет большей частью первым Дионисом или Загреем, но также и Иакхом¹²; 2) Дионис, сын Семелы, связанный с фиванскими мифами, или позднейший Дионис; 3) Дионис-Иакх, сын фиванского Диониса и Ауры»¹³. Если второй из этих Дионисов есть собственно греческий бог, а третий, кроме того, является основным божеством Элевсинских мистерий, то первый, по мнению А.Ф. Лосева «выходит далеко за пределы Греции, имея свой ближайший прототип в Загрее Критском и, вероятно, во многих других догреческих культах, где идея вечного возвращения достигла мистериальной разработки»¹⁴.

Миф о растерзании Загрея-Диониса некоторые ученые были склонны относить к более позднему времени и связывать только с орфиками. Дело в том, что древнейшее упоминание о растерзании Диониса относится только к VI в. до н.э.¹⁵ В действительности, орфики и неоплатоники дали философское истолкование этого мифа. Орфический миф, делающий Диониса сыном Зевса и Персефоны, называет его Загреем и связан с его страданиями по вине Геры, которая наравила на него титанов, разорвавших ребенка на части и сожравших его тело. Загрей был воскрешен под именем Диониса. Зевс спалил титанов своими молниями. Согласно учению орфиков, из пепла титанов были созданы люди, которые несут в себе как низшее, «титаново», так и высшее, «Загреево» начала. Кстати, это послужило запретом наложения на себя рук, т.е. самоубийства. Орфики называли тело темницей души, которая вынуждена вечно блуждать в пространстве космоса, перевоплощаясь из одного тела в другое, постепенно очищаясь и совершенствуясь¹⁶. В промежутках между рожденьями душа нисходит в аид и подвергается там загробному суду, решающему ее дальнейшую участь в соответствии с земными поступками¹⁷. Мистерии и тайные культы в честь Диониса были призваны освободить высшую духовную субстанцию (частицу Диониса) и соединить человека с Богом¹⁸.

Л.Л. Селиванова отмечает, что орфическая интерпретация мифа о Дионисе «содержала в себе некоторые новые положения, чуждые общему духу олимпийской религии, но близкие будущим догматам хри-

¹¹ Диодор. III, 62, 2-8.

¹² Нонн. XXXI, 66.

¹³ Там же. XLVIII, 469.

¹⁴ Лосев. 1957. С. 146-147.

¹⁵ Павсаний. VIII, 37,5.

¹⁶ Селиванова. 2003. С. 99.

¹⁷ Русяева. 1978. С. 87.

¹⁸ Иванов. 2000. С. 156.

стианства». Среди этих положений она отмечает: «Противопоставление души и тела как чистой и нечистой частей человеческой личности, мысль об исконной греховности человека, надежда на спасение в загробном мире, вера в бога-спасителя и в загробное воздаяние, культивирование ритуальной чистоты и непорочности»¹⁹.

А.Ф. Лосев же считает, что этот миф можно рассматривать только в контексте со всей древнейшей мифологией страдающих и умирающих богов, среди которых Загрей далеко не самое яркое божество. Кроме того, он отмечает, «у орфиков имя Загрея, по крайней мере, в дошедших до нас орфических памятниках, встречается довольно редко»²⁰. В Прокловом гимне к Афине²¹, где идет речь о спасении Афиной сердца Диониса от растерзания титанами, т.е. о Загрее, упоминаются Вакх и Дионис, а Загрей – нет. Даже в специальном гимне Ликниту²², т.е. Дионису-Загрею²³, орфик не нашел нужным упомянуть имя Загрея. Да и саму философскую концепцию растерзанного Диониса едва ли можно целиком связывать с неоплатониками: еще до них она полностью содержится у Плутарха²⁴, восходя, несомненно, к древним мистериям, не говоря уже о досократиках. Когда, например, Анаксимандр²⁵ говорит о наказании за грех «отъединенного существования», то здесь уже предполагается миф о загробных возмездиях и палингенесии (возрождении души после смерти тела). Когда Гераклит отождествлял Диониса и Аида²⁶, то это делалось у него, очевидно, без влияния неоплатоников, исключительно на основе древней мифологии. Наконец, миф о растерзании Диониса-Загрея излагается у ряда авторов, не имеющих никакого отношения ни к орфикам, ни к неоплатоникам: у Филодема²⁷, у Каллимаха²⁸, Арнобия²⁹ и у многих других. Диодор³⁰ вообще весь орфизм возводит к Египту, а Плутарх миф о растерзании Загрея связывает с египетскими источниками³¹.

¹⁹ Селиванова. 2003. С. 99.

²⁰ Лосев. 1957. С. 146.

²¹ Прокл. VII, 11-15.

²² От *lipon* — «корзинка», употреблявшаяся в вакхических процессиях, видимо, в качестве колыбели Загрея.

²³ *Hymn. Orph.* 46.

²⁴ *Procl. In Tim.* II p. 145, 18-146, 22; *Clem. Alex. Protr.* II, 18, 1-2 (I, 14, 16 St).

²⁵ Fr. 9. D.

²⁶ Fr. 15. D.

²⁷ *Philodem. De piet.* 44, p. 16.

²⁸ *Alcmaeon.* EGF, frg. 3.

²⁹ *Clem. Alex. Protr.* II, 17 2-18, 1; I, 14, 7. St.

³⁰ Диодор, I, 96.

³¹ Плутарх. Об Исиде и Осирисе. 35, 364 F-365 A; Лосев. 1957. С. 147.

Култ Диониса стоит как бы особняком в парадигме древнегреческой культуры. Эту его особенность выделил Вяч. Иванов. Суть ее заключается в том, что мифу не удастся пластически и окончательно очертить облик Диониса. «Бог, вечно превращающийся и проходящий через все формы, – этот бог всегда только маска и всегда одна оргиастическая сущность». Вяч. Иванов считает, что «многоликость и как бы текучесть Диониса не позволяет облечь его божество в постоянное и устойчивое формальное представление; поэтому миф прибегает к различению многих Дионисов, которые суть не только разные аспекты бога, но и последовательные его богоявления или возрождения. Мысль не может остановиться на данном звене в цепи обновлений бога. Она предчувствует и отмечает его начало в генезисе вселенной, до появления первого Диониса, сына Персефоны, и полагает принципиально возможным его новый приход, что логически обуславливает феномен обожествления людей под его именем, феномен, в котором можно предположить истоки культа императоров, несомненно, зародившегося в греческом мире, по-видимому, в Малой Азии, и только сменившего там культ греческих царей»³². Вяч. Иванов также предполагает, что «вакхи», как община оргиастов и как сам термин «исступленных», древнее Вакха, как лица мифологического. Несомненно, что древний человек приписывает свои душевные переживания божественной силе, в него вселяющейся; в этом смысле бог дан одновременно с исступлением. Но от этого неопределенного обожествления оргиастической силы еще далеко до мифологической концепции Диониса. Действительно, миф о Дионисе никак не может очертить весь круг дионисийских явлений – «признак, что миф – только попытка дать им, уже внутренне определившимся, объяснение этиологическое. Например, дионисийское безумие не объяснено мифом. Греческое мифотворчество не смогло преодолеть хаотической стихии оргиаста, отчасти чуждого эллинской духовной культуре по своим историческим корням, отчасти коренившегося в темном демонизме народных масс»³³.

Точка зрения И. Чистовича противоположна взглядам А.Ф. Лосева. И. Чистович считает, что наоборот, «культурное противоречие Диониса заключается, вероятнее всего, в облике Загрея. Для того чтобы понять смысл этого противоречия, необходимо рассмотреть фигуру Загрея в независимости от орфиков. Это во многом поможет пролить свет и на само орфическое учение»³⁴.

³² Иванов. 2007. С. 134.

³³ Там же. С. 136.

³⁴ Чистович. 1871. С. 43.

Таким образом, несогласие исследовательских подходов, с одной стороны, и важность данного культа для осмысления социокультурных явлений в античном полисе свидетельствуют о настоящей необходимости всесторонней интерпретации данного культа.

Прежде всего, возникает вопрос об архетипичности представлений о Дионисе. Если Загрей – это Дионис; то Дионис – это бог производительных сил природы в их наиболее буйном, безудержно-стихийном и хаотическом виде. А.Ф. Лосев считает, что «Такой Дионис мог быть только матриархальным божеством; да и в последующем, уже окончательно сформировавшемся образе Диониса чисто женские черты и женская психика сохраняются весьма отчетливо, не говоря уже о его постоянных служителях, которыми являются всегда женщины. Второй Дионис – сын Зевса и Семелы; родина его – Фивы, и он очень прочно вступает в историю фиванского и другого античного героизма. Этот второй Дионис – такой же принцип героизма периода весьма зрелого патриархата, как Загрей в его первоначальную эпоху. Но и это еще не последняя стадия мифологии и культурного развития из тех стадий, которые образовались в мифе о Загрее»³⁵. По мнению А.Ф. Лосева, «миф о Загрее поражает еще одной чертой, которая в такой мере, быть может, не свойственна ни одному античному мифу. Это чрезвычайно ошутимое общение человеческого индивидуума с космической жизнью. Эта космическая жизнь дана здесь в самом напряженном виде. В мифической форме поставлены все кардинальные вопросы мироздания со всеми проблемами единства и множества, распада и воссоединения, гибели и возрождения»³⁶. Эта сторона мифа о Загрее выступает особенно ярко на той его ступени, на которой выступает исторически известный нам культ Диониса в Греции, т.е. в основном в VII в. до н.э.»³⁷. Возможно, что именно в исторических напластованиях критского мифа о Загрее кроется ответ на вопрос, почему греческие философы придавали такое огромное значение этому мифу, почему на почве дионисизма возникла целая тысячелетняя организация орфиков и почему этот миф не умирал до последних дней античной философии. Философствовать о Загрее греки перестали только тогда, когда Греция превратилась в христианское средневековье»³⁸.

Если признать, что орфическая философия Загрея отражает собой очень древнюю, восходящую к критской культуре, сугубо мистическую и даже мистериальную мифологию страдающего и воскресающего божест-

³⁵ Лосев. 1957. С. 151.

³⁶ Там же. С. 152.

³⁷ Там же. С. 153.

³⁸ Там же. С. 154.

ва, то такую мифологию мы находим не только на одном Крите; точная ее параллель дана и в египетском Осирисе, и во фригийском Аттисе, и в финикийском Адонисе, и в малоазийском Сабазии. Орфическая концепция Загрея объясняет и то, почему Диодор считает Крит родиной развившихся впоследствии греческих мистерий. На основе орфических представлений Крит понимался впоследствии как источник очищений. Именно с Крита выходили знаменитые очистители древности: Эпименид, Карманор и другие. Считалось, что в пещерах Крита давалось тайное знание таким философам, как Пифагор, таким законодателям, как Минос, и таким очистителям, как Эпименид»³⁹.

Бытовало поверье, что Дионис, как и другие боги растительности, умер насильственной смертью, но был возвращен к жизни. Его трагедия, смерть и воскресение инсценировались в его священных обрядах. Каковы цель и смысл оргий Диониса? Ответ на это дает конечный результат. По мнению Ю. Кулаковского⁴⁰, это был *σιστασκέ* – экстаз. «Древнейший смысл этого слова, как истолковывали его сами древние – выхождение души из тела. Это безумие есть *ἱερομανία*, священное безумие, состояние, в котором душа непосредственно общается с богом. В этом состоянии человек находится под наитием божества. По определению Платона, люди в состоянии экстаза воспринимают в себя существо бога, поскольку возможно человеку общаться с ним»⁴¹. Схолиаст к Еврипиду⁴² дает такое определение: «*ἐνθεοί* называются потерявшие разум под воздействием некоего видения, одержимые богом, который послал видение, и совершающие именно то, что подобает этому богу». В экстазе человек выходит из своей ограниченности, для него нет времени и пространства, он созерцает грядущее, как настоящее»⁴³.

Как и во всех культах умирающих и воскресающих богов, в культе Диониса присутствует связь между миром умерших, урожаем и половой жизнью. Статуи Диониса, найденные в беотийских захоронениях, всегда держат в одной руке яйцо⁴⁴, что символизирует возвращение к жизни. На афинских Анфестериях, отмечался и приход весны с цветами, и праздник детей, и праздник нового вина с возлияниями, и в то же время эти дни связаны с поминовением умерших⁴⁵. Однако Вяч. Иванов считает, что

³⁹ Чистович. 1871. С. 82.

⁴⁰ Кулаковский. 1899. С. 82.

⁴¹ Платон. Федр, 235 а.

⁴² Еврипид. Ипполит, 144.

⁴³ Кулаковский. 1899. С. 83.

⁴⁴ Нильссон. 1998. С. 162.

⁴⁵ Селиванова. 2003. С. 100.

«смертный аспект бога страдающего древнее аспекта растительного. Из смерти – жизнь. Семя не даст плода, если не умрет»⁴⁶ (ср. с евангельским изречением: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода»)⁴⁷. Действительно, обширная область дионисийских явлений связана с идеей загробного существования и культом хтонических, или подземных сил; «если же связь с культом душ первоначально в Дионисовой религии, естественно предположить, что моменты оргазма были приурочены прежде всего к тризне и поминкам»⁴⁸.

Таким образом, Дионис в определенной степени олицетворял жизненный континуум, частицей которого становился человек. Осуществляя спуск в Аид и выход на свет, Дионис опосредовал жизнь и смерть, снимал между ними непроходимую грань. Человек находил спасение в единении с Дионисом. Заключительным этапом было «превращение» человека в самого себя. В акте мистического единения с богом перед человеком открывается весь мир. Для того чтобы добиться такого единения, человек должен отказаться от наличного бытия⁴⁹.

Обрядовая сторона культа символизировала приобщение индивида к космическому универсуму. Характерными чертами культа были пляски и факельные шествия, а также причащение сырым мясом. «Все предсмертные действия и страдания бога разыгрывались перед глазами участников культа, которые собственными зубами разрывали на куски живого быка и с безумными воплями скитались по лесам. Впереди они несли ларец, в котором якобы хранилось сердце Диониса, какофонические звуки флейт и кимвалов имитировали звуки погремушек, с помощью которых божественного младенца заманили на верную гибель. Там, где мифы повествовали о воскресении, оно также разыгрывалось в обрядах. Причастие к таинствам обещало участникам культа бессмертие»⁵⁰.

На наш взгляд, в культе Диониса преобладают не религиозно-культуовые, а культурно-эстетические элементы. Особый интерес вызывает вопрос о социокультурных проявлениях этого культа. Любопытен тот факт, что источники сохранили описание преимущественно женских мистерий в честь Диониса, считавшегося божеством, приводящим в иступление женщин и расцветающим от «почестей безумствующих». Это дало возможность некоторым исследователям высказать точку зрения,

⁴⁶ Иванов. 2007. С. 136.

⁴⁷ Евангелие от Иоанна, 12,24.

⁴⁸ Иванов. 2007.С. 137.

⁴⁹ Там же. С. 137.

⁵⁰ Фрэзер. 1986. С. 363.

что экстагические и оргиастические культы дионисийского круга были достаточно рано, вероятно, уже в конце архаической эпохи выведены на дальнюю периферию общественной и религиозной жизни греческого полиса и в наиболее грубых и экстремистских формах (так называемый «менадизм») стали уделом женщин и неполноценных членов общества⁵¹. Следовательно, можно поставить вопрос о социальной стратификации данного культа. Тем не менее, критские истоки этого культа объясняют феномен женских оргий в честь Диониса весьма четко, поскольку Дионис в образе Загрея, как мы уже отмечали выше, почитался на Крите еще в эпоху матриархата. С другой стороны, данному обстоятельству можно дать и другое объяснение. «На этих диких лесных празднествах женщины, слишком долго жившие взаперти и поработанные городом, брали реванш: насколько были суровы к ним общественные законы, настолько велик был энтузиазм их разнузданных радений. Едва раздавался призывный клич, как они переставали быть матерями, дочерьми, женами; они покидали свои очаги и прядки и с этого мгновения всецело принадлежали производительной мощи природы – Дионису, или Вакху»⁵².

Примечательно и то, что женские оргии в честь Диониса не встречали в народе осуждения. Напротив, люди верили, что пляски вакханок принесут плодородие полям и виноградникам. В дни радений служительницы могущественного бога пользовались покровительством и уважением. Таким образом, точка зрения относительно маргинальности дионисийского культа в Греции, поскольку его служителями являлись неполноправные члены общества, вряд ли является до конца обоснованной. Вероятнее всего, здесь нужно говорить об умении греков на каком-то отрезке их истории гармонично сбалансировать в своем сознании две диалектические противоположности, благодаря чему впервые в истории стала возможной та свободная игра творческих сил, из которой, в конце концов, и возник сам феномен греческой культуры.

Рассмотрение мифологемы Диониса с позиций народной культуры сопряжено с разного рода трудностями. С одной стороны, известно, что этому культу в Аттике покровительствовал Писистрат в связи с борьбой с аристократическими культами во время своего правления в Афинах. Можно привести, однако, свидетельства в пользу высокого социального статуса участников вакхических мистерийных культов⁵³.

⁵¹ См.: Nilsson. 1976. S. 572 ff.; Dodds. 1959. P. 270 ff.; Андреев. 1998. С. 134.

⁵² Мень. 1999. С. 45.

⁵³ Ср. общую характеристику В. Буркерта: «Мистерии оставались дорогими клубами с ограниченным числом участников; они требовали слишком много расходов, чтобы быть доступными для всех». См.: Burkert. 1993. P. 110.

По словам Плутарха⁵⁴, мать Александра Великого Олимпиада принимала участие в дионисийских и орфических священнодействиях. Показательны также дорогостоящие произведения погребального искусства из Южной Италии и Сицилии, датируемые второй половиной IV в. до н.э. В них доминировали дионисийские темы с многочисленными символами, указывающими на распространение вакхических таинств. Хорошо засвидетельствован и тот факт, что в дионисийских мистериях только замужние женщины могли стать *bakchai* в полном значении этого слова.

С другой стороны, именно из обрядов в честь Диониса берет свое начало карнавальная культура. Вероятнее всего, ритуалы в честь Диониса в социокультурном плане выполняли функции коммуникации, объединения, то есть обеспечивали не только взаимоотношение внутри общностей, но и между ними.

Известно, что большинство городских и земледельческих религий ставило богопочитание в магическую зависимость от строгой системы ритуалов. Служение же Дионису, по определению Вяч. Иванова, было «психологическим состоянием по преимуществу»⁵⁵. В нем «грек находил то, чего ему недоставало в мистериях Элевсина: он был не только зрителем, но и сам сливался с потоком божественной жизни, в буйном экстазе включаясь в стихийные ритмы мироздания. Перед ним, казалось, открывались бездны, тайну которых не в силах выразить человеческая речь. Он стряхивал с себя путы повседневного, освобождался от общественных норм и здравого смысла. Опека разума исчезала, человек как бы возвращался в царство бессловесных»⁵⁶. Поэтому Дионис почитался и божеством безумия. Платон говорил о дионисийском безумстве, отличая его от пророческого, музыкального и эротико-философского⁵⁷.

Отличительной чертой дионисийских таинств было высокое эмоциональное напряжение. Не исключено, что экстаз достигался при помощи возбуждающих или одурманивающих средств. Чаша с вином неизменно находилась в центре внимания вакхических оргий. Зарождению и нарастанию экстаза также способствовали танцы и ритмичная музыка.

Символика культа отразилась и в пластике греческого искусства. Эврипид в «Вакханках» создал впечатляющие картины потери рассудка у поклонниц Диониса. Эти обезумевшие менады (от слова «мания» – безумие) не раз изображались греческими художниками и ваятелями. Знаменитая «Менада» Скопаса показывает жрицу Диониса в иступлен-

⁵⁴ Плутарх. Александр, 2.

⁵⁵ Иванов. 1904. С. 39.

⁵⁶ Мень. 1999. С. 45.

⁵⁷ Платон. Федр, 67с.

ном танце, когда, по выражению поэта Главка, «как хмельная, вскочив, ринулась в пляску она»⁵⁸. Вакхические изображения, сцены оргий – распространнейшие мотивы скульптурных изображений на гробницах. Они «примыкают к непрерывно сохранявшемуся в лоне Дионисовой религии представлению, по которому оргии, с их кровью, плачем, играми в экстазе полового влечения и половой вражды, являются празднествами смерти, похоронными торжествами, героическими или божественными тризнами. Человеческая жертва, ее растерзание и пожирание восходят к обряду погребений. Элемент смеха и разгульного веселья был также необходимой частью похорон и поминок»⁵⁹. Традиционная обрядность греков нашла отражение и в атрибутике, и в семантике культа Диониса. «Плакальщицы похорон отразились в жалобно вопящих фиадах зимних триэтерий, плач женщин и их терзания лица ногтями в знак иступленной скорби – в экстатическом отчаянии менад, скоморохи тризны – в комическом карнавале народных Дионисий. Погребальные факелы соответствуют факелам ночных радений; мед, молоко и вино надгробных возлияний и поминок – тем же вакхическим символам. Даже ветви виноградной лозы употреблялись при погребениях»⁶⁰.

Теперь обратимся к другому аспекту данной мифологемы. Культ Диониса стоит у истоков создания полисной элиты внутри уже существующей. Представление об исключительности Диониса послужило причиной сепаратизма его почитателей. Это привело к образованию особых групп внутри полисного коллектива. Для членов дионисийских обществ были выработаны даже особые погребальные обряды⁶¹. Подчеркнутая эзотеричность культа Диониса, приобщение к нему путем индивидуальных инициаций нередко придавали данным мистическим сообществам замкнутый характер. Члены вакхических сообществ не имели постоянных святилищ, в определенном отношении культ можно даже назвать бродячим, возникающим там, где находились подходящие условия.

Институциональные структуры, превратившие Диониса в мистериальное божество, появляются только к концу I в н.э. Для культа Диониса этой эпохи характерна чрезвычайная насыщенность эсхатологическими символами. Посмертные надежды приобщившихся к мистериям Диониса описаны философом платоновской школы Плутархом из Хероней и в многочисленных иносказательных сочинениях⁶².

⁵⁸ Главк на «Вакханку» Скопаса. С. 176.

⁵⁹ Иванов. 2007. С. 124.

⁶⁰ Там же. С. 125.

⁶¹ Исаева. 1990. С. 29.

⁶² Подробнее об этом см.: Элиаде, Кулиано. 1997. С. 261 сл.

Превалирование внешних ритуальных форм над внутренним сакральным, эзотерическим смыслом привело к тому, что постепенно вакханалии превращались в серьезную общественную угрозу. Греки стремились упорядочить и смягчить служение Дионису. Легенда связывает эту деятельность с именем прорицателя Мелампа, мудреца из древнего Пилоса⁶³. Он повел планомерную борьбу против вакхических зверств. Меламп, если он историческое лицо, жил, вероятно, еще до того, как дионисизм покорил всю Грецию. Он не отрицал священного характера экстаза менад, и те, кто потом следовали его примеру, лишь пытались оздоровить культ Диониса⁶⁴. Время оргий ограничились, и наряду с ними были введены более спокойные и невинные праздники. Торжества эти сопровождалась представлениями, которые, как полагают, легли в основу греческой драмы⁶⁵. Это было связано с еще одним элементом, характерным для внешней стороны Дионисовой религии – маской, переодеванием, маскарадом. Здесь также проявился глубокий символизм, связанный с погребальной обрядностью. Вяч. Иванов отмечает, что «убежденные, что покойник продолжает жить в своем гробу, люди отдаленной древности употребляли ее как средство закрепить в его теле остывающую жизнь, обеспечить обитателю гроба его выраженную физиономическими чертами личность.

Человек, принявший черты покойника, облекшийся в его образ, надевший на себя его личину, являлся носителем души, присущей образу. Если он налагает на себя маску, снятую с лица умершего, на его лице лежавшую, его подлинный отпечаток, психическая и божественная потенция маски, несомненно, еще более усиливается: она не только удерживает последнее дыхание жизни, но и вдохновляет им живого ее носителя, до полного ее отождествления с обожествленным умершим»⁶⁶.

Итак, истоки древнейшего маскарада мы находим в жертвоприношениях погребальной обрядности. Маска как отличительный признак дионисийского культа и драмы, в частности, символизировала собой погребальную маску, «возложенную на лицо живого носителя ее души»⁶⁷.

Из мистического аспекта культа Диониса вырастает и учение орфиков. На этот источник указывает сам миф: Орфей изображается почитателем и Аполлона, и Диониса. Орфей – поклонник Аполлона, «водителя муз», и учение его явилось результатом облагораживающего

⁶³ Зелинский. 1995. С. 126.

⁶⁴ Мень. 1992. С. 44.

⁶⁵ Иванов. 2000. С. 214.

⁶⁶ Иванов. 2007. С. 127.

⁶⁷ Там же. С. 127.

влияния на дионисизм Аполлоновой религии. Умиротворяющий дар и гибель от рук вакханок, быть может, служат указанием на то, что Орфей, подобно Мелампу, пытался реформировать Дионисов культ.

Утвердить Дионисово богочитание как афинскую государственную религию – такова была цель орфических общин VI в. до н.э. По ряду признаков можно заключить, что первым шагом к достижению этой цели было введение Дионисова божества во все частные родовые культы. Тогда же культ Диониса был соединен с общими праздниками афинских родов в честь умерших родичей – с Фейониями и Апатуриями⁶⁸.

В лоне раннего орфизма окончательно сложилась и религиозная концепция страдающего бога, как идея космологическая и этическая вместе, и выработались учения о бессмертии и об участи душ, о нравственном миропорядке, о круге рождений, о теле как гробе души, о мистическом очищении, о конечном боготождестве человеческого духа (из человека ты стал богом – формула орфических таинств). Дионисийская религия, семантически отрефлектированная орфиками, глубоко запечатлелась в греческой поэзии, идеалистической философии и во всей духовной культуре Греции. Без нее непонятны мирозерцания Пиндара, Эсхила и Платона, а также карнавальные пляски смерти Средневековья.

Примечательно, что двуединство Аполлона и Диониса, намеченное орфиками, оказалось основным принципом космоса у Пифагора. Таким образом, опираясь на дионисийское мировоззрение, Пифагор соединил две почти враждебные стихии греческой культуры: Хтонос и Олимп, ночь и день, иррациональное и разум.

Опыт дионисизма имел важные последствия для социокультурной жизни античного полиса. Он яснее дал почувствовать человеку его двойственную природу. Появившись в Греции в эпоху кризиса ее гражданской религии, он дал начала в сфере познания и религиозной мысли. Именно на основе этого культа в Греции сложилось учение орфиков, посредством того, что в орфизме ценностный акцент переносится с настоящей земной жизни на предстоящую, посмертную.

Таким образом, мы приходим к выводу, что, будучи отдельным и частным явлением общего религиозно-культурного процесса, культ Диониса многое дает для познания древнегреческой религии и культуры в целом. Он проявляется и как интегральная часть христианства, как его неотъемлемый элемент, и как признак первоначального христианского богочувствования, и как автономное начало религиозной психологии⁶⁹.

⁶⁸ Тоepffer. S. 12 ff.

⁶⁹ Иванов. 2007. С. 149.

На примере культа Диониса можно видеть, насколько греки были чужды религиозного догматизма. По справедливому замечанию Вяч. Иванова, именно аспект, а не догмат, посредствует между религиозным чувством и познанием⁷⁰.

Образы Христа и Диониса, мистерии Диониса и отдельные стороны христианства сопоставлялись еще в античности⁷¹, а также исследователями, которые возводили образ Христа к древним умирающим и воскресающим богам, в том числе и к Дионису. По мнению С.С. Аверинцева, «многочисленные элементы дионисийского происхождения очень важны для уяснения раннехристианской символики»⁷².

Подведем итог. Культ Диониса необходимо рассматривать как мифологему, которая постепенно обретает вид универсальной истины и в то же время обладает семантической изменчивостью. Кроме того, амбивалентность мифологемы Диониса позволяет рассматривать его с различных социокультурных позиций. С одной стороны, Дионис, «несмотря на родство с духами нижнего мира, великий и чистый бог, что означает единство цельности бесконечного разнообразного, всю полноту всеобъемлющего мира»⁷³. С другой – подобного рода концепции орфики могли строить только благодаря пониманию ими имманентности божества миру, т.е. при наличии той новой ориентации человеческого субъекта, которая пришла с распадом общинно-родового строя и с выдвиганием новой, освобожденной от родовых авторитетов, самостоятельной и инициативной личности⁷⁴.

Культ Диониса выполнял ряд социально-значимых функций. Одна из них – гармонизация окружающего пространства, как по горизонтали, так и по вертикали. Освоение культурных смыслов сверхчувственного опыта позволило сакрализировать обыденные представления и вывести их на уровень космической гармонии.

БИБЛИОГРАФИЯ

Источники

- Главк на «Вакханку» Скопаса // Греческая эпиграмма. СПб.: Наука, 1993. 448 с.
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека; пер. с древнегреч. М.: Лабиринт, 2000. 224 с.
Евангелие от Иоанна // Новая Женевская учебная Библия = New Geneva Study Bible / Под общей редакцией В.А. Цорна. Hânsler-Verlag, 1998. 898 с.

⁷⁰ Там же. С. 149.

⁷¹ Ориген. Против Цельса, IV.10.

⁷² Аверинцев. 1977. С. 433.

⁷³ Отто. 1989. С. 131.

⁷⁴ Лосев. 1957. С. 156.

- Еврипид.* Трагедии; пер. с древнегреч. И. Анненского и С. Апта. М.: Иск-во, 1979. 456 с.
- Нонн.* Дионис // Эллинские поэты в переводе В.В. Вересаева. М.: Госполитиздат, 1963. 407 с.
- Ориген.* Против Цельса. Апология христианства Оригена, учителя Александрийского в 8 книгах; перевод с греч. с введением и примечаниями проф. Л. Писарева. Казань: В тип. ун-та, 1912. 481 с.
- Павсаний.* Описание Эллады; пер. С. П. Кондратьева: В 2 т. М.: Ладомир, 1994. Т. 1. 492 с.
- Платон.* Федон, Пир, Федр, Парменид. М.: Мысль, 1999. 528 с.
- Прокл.* Платоновская теология. СПб.: Изд-во рус. Христ. гум. ин-та, 2001. 623 с.
- Клемент Александрийский.* Строматы; перевод с примечаниями Н. Корсунского. Ярославль: В тип. Губернской земской управы, 1890. 348 с.
- Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: В 3 т. / Изд. подг. С.П. Маркиш, С.И. Соболевский, М.Е. Грабарь-Пассек. М., 1961-1964.
- Плутарх.* Об Исиде и Осирисе / Перевод Н. Н. Трухиной // Вестник древней истории. 1997. №4. С. 231-249.
- Фрагменты ранних греческих философов / Изд. подг. А. В. Лебедев. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989. 575 с.
- Цицерон Марк Туллий.* Избранные сочинения. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2000. 461 с.
- Mullachius.* *Fragm. Philosoph. Graecor.* Т. I. Berlin, 1873. 621 p.
- Orphicorum fragment, coll. O. Cern. Berololini, 1922. 189 p.

Литература

- Аверинцев С.С.* У истоков поэтической образности византийского искусства // Древнерусское искусство. М.: Искусство, 1977. С. 430-441.
- Андреев Ю.В.* Апология язычества или о религиозности древних греков // Вестник древней истории. 1998. № 1. С. 127-135.
- Зелинский Ф.Ф.* История античной культуры. 2-е изд. СПб.: ТОО Марс, 1995. 380 с.
- Иванов В.И.* Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 2000. 352 с.
- Иванов Вяч.* Эллинская религия страдающего бога // Человек. 2007. № 6. С. 124-156.
- Иванов В.* Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 5. С. 25-38.
- Исаева В.И.* Мистические культы и религии (Анализ исследований 80-х годов) // Личность и общество в религии и науке античного мира. Современная зарубежная историография: Реферативный сб. М.: ИНИОН РАН, 1990. С. 29-48.
- Кулаковский Ю.А.* Смерть и бессмертие в представлении древних греков. Киев: Кульженко, 1899. 127 с.
- Лосев А.Ф.* Античная мифология в ее историческом развитии М.: Наука, 1957. 493 с.
- Макаров И.А.* Орфизм и греческое общество в VI-IV вв. до н.э. // Вестник древней истории. 1999. №1. С. 8-19.
- Маковельский А.* Досократовская философия. Ч. I. Обзор источников. Казань: Типо-литография ун-та, 1918. 162 с.
- Мень А.* История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. Т. 4. Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпохи колонизации до Александра Македонского. М.: Фонд им. А. Меня, 1992. 396 с.
- Нильссон М.П.* Греческая народная религия; пер. с англ. СПб.: Алетейя, 1998. 326 с.
- Ницше Ф.* Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Полн. Собр. Соч. М., 1912. Т. 1. С. 87-163.

- Ранович А.Б.* Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М.: Политиздат, 1950. 479 с.
- Русяева А.С.* Орфизм и культ Диониса в Ольвии // Вестник древней истории. 1978. № 1. С. 87-104.
- Селиванова Л.Л.* Сравнительная мифология (Мифы о возрождении в древнем мире). М.: ИВИ РАН, 2003. 261 с.
- Фрэзер Д.Д.* Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М.: Просвещение, 1986. 398 с.
- Чистович И.* Древнегреческий мир и христианство в отношении к вопросу о бессмертии и будущей жизни человека. СПб: Б. и., 1871. 211 с.
- Элиаде М., Кулиано И.* Словарь религий, обрядов и верований. СПб., 1997. 593 с.
- Burkert W.* Ancient Mystery Cults. Harvard University Press, 1987. 223 p.
- Dodds E.R.* The Greeks and the Irrational. Berkeley-Los Angeles, 1959. 327 p.
- Jung C.G.* Das apollonische und dijnische. Gesammelte Werke. Zürich; Stuttgart, 1967. Bd 6. S. 144-155.
- Nilsson M.P.* Geschichte der grichischen Religion. Bd. I. München, 1976. 166 p.
- Otto W.F.* Dionysos. Mythos und Kultus. Frankfurt am Main. 1989. 189 s.
- Toepffer I.* Attische Genealogie. Berlin, 1889. 228 s.
- Обидина Юлия Сергеевна** – доктор философских наук, профессор кафедры всеобщей истории Марийского государственного университета; basiley@mail.ru.

К. В. ПОСТЕРНАК

ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА И ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ЕЕ ВРЕМЕНИ

В статье рассматривается влияние религиозных взглядов Елизаветы Петровны на развитие церковных искусств в России. Императрица с большим вниманием относилась к канонам и традициям православной церкви, требовала неукоснительного их соблюдения от архитекторов и художников. На примере формирования архитектурно-декоративного убранства петербургских иконостасов середины XVIII века показаны механизмы такого влияния, его масштабы; кратко освещен характер взаимоотношений императрицы с архитекторами и художниками.

Ключевые слова: Елизавета Петровна, церковное искусство, архитектура, барокко, иконостас.

Царствование императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761) стало эпохой расцвета барокко в России. Этому периоду в истории русского искусства посвящена обширная литература. В то же время, следует констатировать, что специфика развития именно церковных искусств в середине XVIII века – храмоздания, иконописи, богослужебной музыки – до сих пор изучена недостаточно. Одним из главных упущений в этой области является пренебрежение личностью самой императрицы.

Отчасти такое положение сложилось еще в XVIII веке. Елизавета Петровна оказалась в тени двух великих монархов – Петра I и Екатерины II. Достижения елизаветинского времени недооценивали, а порою и просто не замечали при сравнении с последующими царствованиями. В XIX – начале XX в. личность Елизаветы Петровны воспринималась через призму крайне субъективных дневниковых записей и воспоминаний современников, а также откровенных анекдотов. Такое положение закрепляли многочисленные около-исторические сочинения и художественные произведения, поддерживавшие образ «веселой царицы».

В советский период к этим факторам добавилась идеологическая составляющая. Если в ранних работах И.Э. Грабаря можно встретить такие характеристики как «екатерининская эпоха», «александровский классицизм», то в литературе середины XX века они уступили место терминам «ранний классицизм», «зрелый классицизм», «поздний классицизм». Из всех царствований лишь для правления Петра I было сделано исключение, и его выделили в особый период, неизменно подчеркивая личный вклад царя при создании архитектурных сооружений.

В отличие от своего отца, Елизавета Петровна не брала в руки карандаш или перо, не делала чертежей и рисунков. Ее влияние было не столь заметным и прямолинейным; и все же оно определило облик важнейших произведений эпохи, ее символов – таких, например, как ансамбль Смольного монастыря в Санкт-Петербурге. Многие процессы в русском искусстве середины XVIII века до сих пор остаются непонятыми, получают искаженные толкования лишь потому, что мы не видим за ними их основного движителя: воли императрицы.

Мы попытаемся проследить механизм подобных воздействий на частном примере формирования архитектурно-декоративного убранства петербургских иконостасов елизаветинского времени. При кажущейся незначительности этот пример является весьма показательным, так как позволяет в полной мере выявить взгляды и предпочтения Елизаветы Петровны в области церковных искусств, а также осветить характер ее взаимоотношений с архитекторами и художниками.

Елизавета Петровна отличалась глубокой религиозностью, с большим вниманием относилась к исполнению церковных обрядов и предписаний: строго соблюдала посты (что подтверждается сохранившимися документами¹), регулярно посещала богослужения, совершала паломничества в знаменитые монастыри (например, в 1749 г. после тяжелой болезни она пешком ходила на богомолье в Троице-Сергиеву лавру). Елизавета имела в Зимнем дворце рядом с внутренними покоями небольшую домовую церковь. Во время богослужений в этой церкви императрица лично принимала участие в исполнении церковных песнопений².

Будучи ревностной православной христианкой, Елизавета заботилась о том, чтобы и ее подданные соблюдали обычаи православной церкви. Французский посланник в России маркиз де ла Шетарди писал в 1742 г.: «Царица не удовольствовалась самым строгим, каким только можно себе придумать, выполнением поста и соблюдением в продолжении страстной недели всех требуемых тогда обрядов, и должно думать, что она считала необходимым показать своим народам пример уважения, должного церкви. <...> Духовенство, как говорят, было лишено в предшествовавшее царствование многих преимуществ и исключительных выгод. Царица в два дня, в которые она на прошедшей неделе заседала в сенате, издала указ, в силу которого духовенству возвращены все права, отнятые у него царицею Анною»³.

¹ Писаренко. 2008. С. 290—293.

² Штелин. 1935. С. 58.

³ Пекарский. 1862. С. 613.

Императрицей был принят ряд весьма жестких мер, ограничивающих деятельность представителей иных христианских конфессий и адептов нехристианских религий. К.А. Писаренко на основании архивных документов излагает историю процесса над княгиней И.П. Долгоруковой, подозревавшейся в том, что она тайно приняла католичество. Елизавета проявила большой интерес к этому делу и сама присутствовала при чинопоследовании отрицания «от заблуждений римского костела», совершавшегося над княгиней и ее семьей в придворной церкви Летнего дворца⁴.

В царствование Елизаветы Петровны был завершен новый исправленный и отредактированный перевод Библии. С целью распространения чтения Священного Писания, было предписано продавать Библию по цене 5 рублей, и объявить о том публично, чтобы не позволить перекупщикам повышать цену⁵.

Самое пристальное внимание Елизавета уделяла церковным искусствам, выказывая при этом верность канонам и традициям русской православной церкви. Якоб Штелин писал: «В целях сохранения старейшей русской церковной музыки, она не очень охотно разрешала во вновь сочиненных церковных мотетах смешения с итальянским стилем, столь любимым ею в другой музыке»⁶.

В 1743 г. императрица объявила, «чтоб, по долгу своему, св. Синод имел наблюдательство и в епархии подтвердил с объяснением надлежащими указами, дабы в церквах как вновь строящихся, так и ныне имеющих, учреждение алтарей и святых престолов, также во оных украшением святыми иконами и прочим было, во всем, по узаконению Восточных церкви, сходственно, дабы ничто как к нарушению узаконения церкви нашей, так и к соблазну народному последовать не могло»⁷. Объявляя этот указ петербургскому епископу Никодиму, Синод комментировал его так: «в С.-Петербурге, яко знатнейшей Российской Империи резиденции, учинить осмотр, а потом достоверное и собоперсональное освидетельствование: у построенных вновь церквей, святыя алтари на восток ли построены, и в тех новопостроенных и старых церквах, нет ли где в писании святых икон с каких иностранных кунштов, а не по древнему Восточных, греческаго исповедания, церкви обычаю, и неискусным мастерством писанных, или же (кроме распятия Христова) резных образов, каковых иметь запрещено, <...> и в прочем,

⁴ Писаренко. 2008. С. 237—244.

⁵ Историко-статистические сведения... Вып. 6. Ч. I. С. 65—68.

⁶ Штелин. 1935. С. 58.

⁷ Историко-статистические сведения... Вып. 3. Ч. I. С. 47—48.

внутри церквей, строении и украшения, какая где православновосточному церковному обычаю есть перемена, подробнее все описать <...>, а притом и о поправлении <...> мнение свое прислать в св. правительствующий Синод в самой скорости»⁸. Указ этот не остался без внимания, как нередко случалось в XVIII в. Например, в 1744 г. выяснилось, что алтари старой деревянной и новостроящейся каменной Успенских церквей на Никольской улице в Санкт-Петербурге ориентированы на юг, а не на восток. Согласно представлению еп. Никодима старую церковь надлежало разобрать. Новую церковь перестраивать было бы убыточно, но ее возведение было приостановлено⁹.

Елизавете принадлежала инициатива возрождения традиционного пятиглавия в русской церковной архитектуре. Первые распоряжения в этом направлении были отданы при возведении Преображенской церкви лейб-гвардии Преображенского полка в Санкт-Петербурге. Первоначальный проект архитектора М.Г. Земцова, не удовлетворил Елизавету. Менее чем через два года после закладки храма, в 1745 г. последовал устный указ императрицы: «при строящейся лейб гвардии преображенскаго полку в слободах каменной церкви, на куполе и lanternинах главы делать не против апробованнаго плана и фасада, но против глав, имевшихся в Москве на соборной церкви успения пресвятыя Богородицы [т.е. пятиглавого Успенского собора Московского Кремля – *К.Л.*]»¹⁰. Такое радикальное изменение композиции храма потребовало значительной переделки первоначального проекта. На чертежах архитектора П.А. Трезини, принявшего после смерти М.Г. Земцова руководство строительством церкви, в угловых компартаментах здания обозначены небольшие ротонды¹¹. Очевидно, они должны были принять на себя массу высоких боковых главок, слишком тяжелых для первоначальных сводов. Именно этот вариант и был реализован¹².

Впоследствии необходимость пятиглавия подтверждалась специальными указами для всех новых церковных построек в Санкт-Петербурге. В 1747 г. Елизавета Петровна повелела сделать для уже упоминавшейся Успенской церкви «к апробации чертежи о пяти главах, как в Москве на Успенском соборе и на прочих церквах главы обыкновенно

⁸ Историко-статистические сведения... Вып. 3. Ч. I. С. 48.

⁹ Там же. С. 36, 48; Историко-статистические сведения... Вып. 5. Ч. II. С. 4.

¹⁰ Историко-статистические сведения... Вып. 5. Ч. II. С. 95.

¹¹ Архитектурная графика России. С. 140.

¹² Такое необычное построение внутреннего пространства храма было сохранено арх. В.П. Стасовым при перестройке собора после пожара 1825 г. Ротонды в интерьере Преображенского собора можно видеть и сейчас.

греческие бывают». Во исполнение этого указа из Москвы были присланы чертежи кремлевских Успенского, Благовещенского и Архангельского соборов, на основании которых архитектор Трезини подготовил новый проект петербургской церкви¹³. Успенский собор был указан в качестве образца для собора Смольного монастыря в Санкт-Петербурге (его проектированием занимался Ф.Б. Растрелли)¹⁴. Более того, под пятиглавие перестраивались и возведенные ранее однокупольные церкви – например, Сампсониевский собор (1728–1740, пятиглавие дополнено в 1761)¹⁵. Примечательно, что в храмовом строительстве Москвы пятиглавие в эпоху барокко практически не употреблялось. Единственное исключение представляет церковь Климента Папы Римского на Пятницкой улице.

Учитывая непосредственный интерес Елизаветы Петровны к церковной архитектуре, ее стремление привести внешний вид новых храмов в соответствие с православными обычаями, становится понятным особое внимание императрицы к оформлению иконостасов. Весьма показателен в этом отношении эпизод, приводимый в записках кн. Я.П. Шаховского (обер-прокурора Синода, 1742–1753): «Ея Величество увидя меня и подозвав изволила мне с неудовольствием говорить: “Чего де Синод смотрит? Я де была вчерась на освящении новосделанной при полку Конной гвардии церкви, в которой де на Иконостасе в том месте, где по приличности и надлежало быть живо изображенным Ангелам, поставлены резные, на подобие купидонов болваны, чего де наша церковь не дозволяет”»¹⁶.

А.И. Богданов в «Дополнении» к описанию Санкт-Петербурга указывает, что в 1752 г. «В церкви Казанской Пресвятыя Богородицы собственным Ея Императорскаго Величества Елизаветы Петровны повелением во обоих приделах по сторонам к прежнему иконостасу приделано еще в прибавку иконостаса для постановления во обоих по два местных образов, да в настоящей церкви над обеими северными и южными дверьми по одному местному образу в золотых рамах, понеже на тех местах по пространству места поставлены были прежде круглые образа»¹⁷. Очевидно, в данном случае переделки были призваны привести иконостас к каноническому виду с обязательным наличием больших по размеру икон Спасителя и Богоматери в местном (нижнем) ряду.

¹³ Малиновский. 2008. С. 334.

¹⁴ Денисов, Петров. 1963. С. 10.

¹⁵ Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге. 2009. С. 51.

¹⁶ Шаховской. 1821. С. 109. Освящение Благовещенской ц. при лейб-гвардии Конном полку состоялось в присутствии императрицы 12 декабря 1743 г.: Историко-статистические сведения... Вып. 5. Ч. II. С. 295-296.

¹⁷ Богданов. 1903. С. 62.

В «Историко-статистических сведениях по Санкт-Петербургской епархии» приводятся фрагменты переписки генерала В.В. Фермора, назначенного наблюдать за сооружением иконостаса ц. Преображенского полка¹⁸. Из переписки следует, что решение основных вопросов, касающихся внешнего вида иконостаса, оставалось за императрицей, к которой Фермор обращался лично или через графа Румянцева. Многие проекты иконостасов придворного архитектора Ф.Б. Растрелли были подвергнуты переделке в соответствии с пожеланиями Елизаветы Петровны. Например, при утверждении чертежа иконостаса Андреевского собора в Киеве было указано: «где значитца как на плане, так и на фасаде оногo чертежа вытые столбы, оным не быть, а быть вместо оных пилястрам»¹⁹.

Большой интерес в данном контексте представляет история проектирования иконостаса домово́й церкви Царскосельского дворца.

Согласно пожеланиям Елизаветы Петровны, иконостас «должен был быть прямой, без выгибов, и пол алтаря находится на одном уровне с полом всей церкви»²⁰. Сохранился авторский чертеж Растрелли 1747 года²¹. Изображенный на нем иконостас имеет форму невысокой алтарной преграды. Основная его часть закрывает по высоте меньше половины алтарного пространства храма. На створках врат помещены четыре больших клейма-картуша в круглых рамах (вместо положенных шести, заключающих в себе изображения Благовещения и четырех апостолов-евангелистов). Помимо иконных изображений на царских и дьяконских вратах, в иконостасе предусмотрено всего восемь икон, расположенных в три яруса; при этом в третьем ярусе находится только одна икона. Иконостас увенчан массивной скульптурной композицией, включающей фигуры двух полулежащих ангелов, поддерживающих картуш с вензелем Елизаветы Петровны, и изображение голубя в «сиянии». Как указывает А.Н. Бенуа, иконостас предполагалось изготовить из мрамора (скорее всего, искусственного). Но императрица «в ответ на словесный доклад <...> постановила такого новшества не вводить, а делать иконостас деревянным с позолотой по резьбе и окраской в фонах малиновым цветом»²².

¹⁸ Историко-статистические сведения... Вып. 5. Ч. II. С. 97-108.

¹⁹ Цит. по: *Денисов, Петров*. 1963. С. 11.

²⁰ *Бенуа*. 1910. С. 43.

²¹ Хранится в Национальной библиотеке в Варшаве. Опубликовано: *Денисов, Петров*. 1963. С. 123.

²² *Бенуа*. 1910. С. 43-44. Следует отметить, что отделка иконостасов мрамором все же практиковалась в петровскую и аннинскую эпоху. Мраморными были иконостасы 1720-х гг. в верхней Александро-Невской и нижней Благовещенской церквях Александро-Невского монастыря (*Рункевич*. 1913. С. 356, 358). Иконостас соборной

Иконостас уже начали изготавливать, когда 17 августа 1748 г. архитектор С.И. Чевакинский, занимавшийся перестройкой Царскосельского дворца, доложил о получении им от Ф. Растрелли «апробованного» (т.е. утвержденного императрицей) чертежа иконостаса, «который против прежде апробованного чертежа имеет разноту, как в мерах, так и в манерах»²³. Такое неожиданное изменение проекта потребовало срочное известить живописца Г.Х. Гроота, уже приступившего к работе над образами для иконостаса, чтобы он дождался присылки новых рам, изготовленных вместо прежних²⁴. Впрочем, и на этом изменения не прекратились. «27 сентября 1749 г. Елисавета отменила позолоту и постановила орнаменты серебрить; но ввиду того, что часть позолоты была уже произведена, императрица окончательно остановилась на лазоревом цвете для фонов, как более “приличном” для позолоты. В этот цвет (темносиний) берлинской лазури и была выкрашена церковь в окончательном виде...»²⁵.

Необходимо отметить любопытную деталь. В одном из донесений 1749 г. сообщается: «...ея императорское величество изволит спрашивать рисунок иконостаса <...> прикажите господам живописным мастерам, чтобы Грот сделал абрис иконостасу, хотя бы и без украшения, с одними только местами и показаниями литер, какия из икон не написаны, и где какия будет, свободныя же места оставить просто для разметки ея величеству...»²⁶ Иными словами, императрица желала сама показать на рисунке, где и какую икону в иконостасе следует расположить.

Домовая церковь Царскосельского дворца была освящена в 30 июня 1756 г. во имя Воскресения Христова. Сохранился фиксационный чертеж иконостаса 1750-х гг., выполненный, вероятно, С. И. Чевакинским, и чертеж расположения икон в иконостасе, относящийся к 1753 г. Многочисленные изображения иконостаса, относящиеся к XIX — нач. XX в., доносят до нас его облик в последующие эпохи.

Сравнение осуществленного иконостаса с чертежом 1747 г. свидетельствует о полной переработке первоначального проекта. Это уже не легкая алтарная преграда, но массивная «стена из икон», полностью за-

церкви монастыря также проектировался из мрамора (*Рункевич*. 1913. С. 477). Искусственным мрамором был отделан иконостас домового ц. Зимнего дворца Анны Иоанновны (*Денисов*. 1989. С. 45).

²³ *Петров*. 1954. С. 315. На основании этого рапорта А.Н. Петров полагал, что первоначальный проект иконостаса принадлежал С.И. Чевакинскому.

²⁴ *Петров*. 1954. С. 315-316.

²⁵ *Бенуа*. 1910. С. 44. См. также: *Успенский*. 1904. С. 271.

²⁶ Цит. по: *Успенский*. 1904. С. 270.

крывающая восточную часть храма. Более тридцати иконных образов располагаются в шесть рядов²⁷. Колонны и пилястры коринфского ордера, собранные в группы, акцентируют центральную ось иконостаса. Остальная его часть не имеет никакой архитектурной обработки, представляет собой ровную гладь стены с расположенными на ней иконными образами в резных рамах. Поверхность иконостаса выкрашена в синий («лазоревый») цвет, на фоне которого эффектно выделяются золоченые резные детали. Скульптура используется весьма умеренно: на лучковом фронтоне над царскими воротами помещено изображение «сияния» и две фигуры ангелов. Царские ворота имеют шесть клейм. Венчается иконостас изображением Распятия в резной раме-клеиме сложной многоугольной формы²⁸.

На первый взгляд такое кардинальное изменение проекта представляется капризом ветреной императрицы, с одинаковой легкостью меняющей платья и перестраивающей дворцы. Внимательное рассмотрение показывает, что подобное толкование будет поверхностным.

Иконостас домового церкви Царскосельского дворца, по сути, возвращает нас к древнему типу высокого ярусного иконостаса, возрождает на новой основе традиции допетровского времени. Это особенно хорошо видно при сравнении с оригинальными памятниками начала XVIII в. – например, открытыми иконостасами Петропавловского собора в Петербурге (1722–1727) и Преображенского собора в Нарве (до 1733, не сохр.). Учитывая высказывавшиеся Елизаветой Петровной пожелания относительно внешнего вида иконостаса, позволим предположить, что в Царскосельском дворце целенаправленно сооружался *образцовый православный иконостас*.

Реализация этого замысла, вероятно, оказалась непростой задачей как для архитектора, так и для заказчика. Было необходимо признать своеобразие типа древнерусского иконостаса, выделить его характерные черты, а затем найти их адекватное воплощение в рамках нового архитектурного стиля. С этим, на наш взгляд, и следует связывать изменение проекта. Отталкиваясь от самых общих требований императрицы относительно архитектуры алтарной преграды, Ф.Б. Растрелли пытался подобрать наиболее подходящий с его точки зрения вариант, в то время, как Елизавета, видевшая или, скорее, интуитивно ощущавшая несоответствие представленных проектов русским традициям, требовала пере-

²⁷ Подробнее см.: *Кориунова*. 2003.

²⁸ В царствование Екатерины II пол церковного зала был понижен, а перед иконостасом устроена высокая лестница.

делок. Эта работа в конечном итоге увенчалась полным успехом. И.Э. Грабарь писал в 1900-х гг.: «Нельзя однако сказать, чтобы Растрелли, так изумительно угадавший “русский дух” пятиглавия, был всегда “иностранцем” во внутренней церковной декорации. Его иконостасы представляют такое же дальнейшее развитие московских идей 17-го века, как и его пятиглавые концепции. И здесь он создал тип, почти доживший до наших дней, тот тип высокой, раззолоченной, ослепительно сверкающей стены, которая делит алтарь от храма»²⁹.

К этой цитате можно сделать только одну поправку: «развитие московских идей 17-го века», как и «пятиглавые концепции», не было инициативой самого Растрелли. Едва ли архитектор осмелился предложить новый проект иконостаса в то время, когда реализация предыдущего уже шла полным ходом. Инициатива в данном случае, без сомнения, исходила от императрицы, ориентировавшейся на знакомые ей древнерусские образцы. Известно, например, что во время посещения Зеленецкого Троицкого монастыря 3 февраля 1747 г. она «не раз говорила сопровождавшему ее графу Гр. Разумовскому, что гладкие иконостасы предпочитает резным...»³⁰ Возможно, отсюда же происходит требование убрать резные витые колонны из иконостаса Андреевской ц. в Киеве.

Все петербургские иконостасы середины XVIII в.³¹ в той или иной степени отражают описанные выше предпочтения Елизаветы Петровны. Композиция иконостасов, как правило, развернута в плоскости, сложные пространственные решения редки (ср. «прямой, без выгибов»). Иконостасы занимают всю высоту храма, нередко поднимаются в подкупольное

²⁹ Грабарь. 1912. С. 214.

³⁰ Историко-статистические сведения... Вып. 7. С. 460.

³¹ Ныне в Петербурге сохраняются шесть подлинных иконостасных комплексов, которые можно отнести к эпохе елизаветинского барокко: иконостасы нижних приделов (освящены в 1760) и главного верхнего придела (освящен в 1762) Никольского морского собора (арх. С. И. Чевакинский, проекты 1755); два иконостаса в ц. Владимирской иконы Богоматери (первоначальный – 1760-х гг., ныне развернут в сторону алтаря; новый – из домового ц. Аничкова дворца, 1747–1751, арх. Ф.Б. Растрелли); иконостас Троицкой ц. («Кулич и Пасха»), перенесенный из придела Зачатия Иоанна Предтечи в Благовещенской ц. на Васильевском острове (освящен в 1764); иконостас Андреевского собора на Васильевском острове (был готов, вероятно, уже в 1768, позднее реконструировался). К нач. XX в. в Петербурге сохранялось еще, по меньшей мере, десять иконостасных комплексов 1740–1760-х гг.; к ним следует добавить иконостасы дворцовых церквей в Царском Селе и Петергофе. Благодаря многочисленным изображениям этих памятников можно достоверно реконструировать их внешний вид. Сюда же мы отнесем ряд проектов петербургских иконостасов сер. XVIII в., хранящихся в российских и зарубежных архивах.

пространство, увенчиваются Распятием³². Соблюдается ярусное расположение икон с обязательным наличием местного ряда, включающего, по крайней мере, иконы Спасителя и Богоматери по сторонам царских врат. Резное декоративное убранство при всей пышности и торжественности не заслоняет иконных образов. Позолота сдержана; вызолачиваются в основном рамы икон и резные детали, остальная поверхность иконостаса окрашивается. Отделка искусственным мрамором не употребляется (напр., при создании иконостаса Преображенской ц. в Санкт-Петербурге, Елизавета Петровна неоднократно подчеркивала, что он должен быть деревянный, «а не из алебастру на вид мрамора»³³). Царские врата воспроизводят характерную для памятников XVII в. схему из шести клейм-картушей на двух створках. Полностью исключаются большие сквозные проемы в стене иконостаса при закрытых царских вратах.

Отдельного рассмотрения заслуживает использование скульптуры. Казалось бы, оно должно резко противоречить консервативным взглядам Елизаветы Петровны (вспомним ее слова кн. Шаховскому). Не поощрялось оно и официальной церковью: еще в 1722 г. состоялся указ Синода о запрещении устанавливать скульптуры в церквях³⁴. По этому поводу уместно привести замечание И. Л. Бусевой-Давыдовой, сделанное ею в отношении иконостасов «флемской» резьбы: «Никакие другие резные изображения, кроме ангелов, в составе иконостасов XVII в. не допускались. Очевидно, это исключение было сделано под влиянием старой традиции помещать над верхним рядом иконостаса или в его составе шестикрылых херувимов – писанных серебром, золотом на досках, или резных, обложенных окладами; шестокрылы могли находиться и на столбцах царских врат»³⁵.

Данное замечание полностью применимо и в нашем случае. Резкое высказывание Елизаветы о «резных, наподобие купидонов, болванах» в иконостасе церкви Конногвардейского полка, вероятно, следует отнести

³² Данную особенность петербургских иконостасов елизаветинского времени отмечали еще в XIX в.: Историко-статистические сведения... Вып. 7. С. 18-19.

³³ Историко-статистические сведения... Вып. 5. Ч. II. С. 97, 100.

³⁴ Постановление от 21 мая 1722 г. «О воспрещении иметь в церквях иконы: резные, вытесанные, изваянные и вообще писанные неискусно или несогласно Св. Писанию»: Полное собрание постановлений и распоряжений... 1872. С. 293-295.

³⁵ Бусева-Давыдова. 2000. С. 632. Напр., в верхней части иконостаса Спасского собора Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде во 2-й пол. XVII в. были установлены 23 резных золоченых херувима и 23 резных посеребренных серафима. Е. А. Виноградова полагает, что это были «силуэтные рельефы с более объемными накладными ликами»: Виноградова. 2011. С. 57, 63.

лишь к недостаточно профессиональному исполнению или чрезмерно светскому характеру скульптур; при этом императрица вовсе не возражала против наличия «живо изображенных ангелов». Мы также считаем важным отметить следующее обстоятельство: если в иконостасах петровского времени довольно часто встречаются скульптурные изображения святых: апостолов, пророков и т. д., то в елизаветинских иконостасах присутствуют только изображения ангелов и Распятия (иногда – с фигурами предстоящих Богоматери и апостола Иоанна).

Более того, из некоторых памятников петровской эпохи «лишние» изображения просто удалялись. Например, из иконостаса Пантелеимоновской церкви дворца А.Д. Меншикова в Ораниенбауме в середине XVIII века были убраны скульптуры апостолов, в то время как фигуры ангелов остались, и лишь поменяли свое местоположение³⁶. В 1743–44 гг. иером. Гавриил Краснопольский предлагал разместить в домовой ц. Кадетского корпуса (в здании б. Меншиковского дворца) деревянную резную скульптуру из прежней усадебной ц. А.Д. Меншикова на Васильевском острове. В ответ на это прошение Синод категорически запретил установку статуй: «хотя оные в прежней церкви и были <...> в той строящейся церкви (кроме Роспятия) ставить не надлежит»³⁷.

Уникальное скульптурное убранство иконостаса Петропавловского собора сохранилось в первоизданном виде, вероятно, лишь благодаря тому, что этот памятник связывался с именем Петра I, которое служило ему своего рода «охранной грамотой».

Таким образом, скульптурные изображения в иконостасах елизаветинского времени выполняли, прежде всего, символическую и декоративную функцию (за исключением группы Распятия с предстоящими). Они не рассматривались как альтернатива иконному образу, как *объект поклонения*, а потому считались вполне допустимыми – при условии строгого ограничения репертуара.

Указанные выше черты являются особенностью именно петербургских иконостасов и именно елизаветинского времени. Уже в сер. 1760-х гг. в столичных храмах вновь появляются барочные иконостасы с царскими вратами, широко открывающими алтарь – например, в ц. Спаса (Успения Богородицы) на Сенной пл. (главный придел освящен в 1765, храм и иконостас не сохр.). В этом памятнике примечательны также скульптуры ангелов по обе стороны от царских врат – мотив, восходящий к иконостасу Петропавловского собора и проектам Н. Гер-

³⁶ Горбатенко. 1994. С. 145.

³⁷ Трубинов. 1996. С. 70.

беля для Исаакиевской ц. (1724)³⁸. В то же время этот иконостас во многом предвосхищает классицистические алтарные преграды кон. XVIII в. в виде триумфальных арок.

Обращаясь к барочным иконостасам, создававшимся за пределами Санкт-Петербурга, мы будем встречать еще больше «вольностей» в их архитектурно-декоративном оформлении. Например, в иконостасе из придела Ильи Пророка ц. Параскевы Пятницы на Пятницкой ул. в Москве (1748, арх. Д.В. Ухтомский; ныне находится в Смоленской ц. Троице-Сергиевой лавры) отсутствуют местные иконы Спасителя и Богоматери. Царские врата иконостасов в Москве и провинции нередко украшались сложными рельефными композициями с изображениями Благовещения, Тайной вечери, Сошествия Св. Духа и др. Традиционная схема из шести клейм, типичная для петербургских памятников, встречается редко.

Иконостас одного из приделов Ильинской ц. в Арзамасе (сер. XVIII в., не сохр.) имел резные фигурные иконы местного ряда³⁹. В третьем ярусе иконостаса Покровской ц. в Полтаве (построена в 1764 г. в Ромнах, перенесена в Полтаву в 1900, не сохр.) располагались скульптурные изображения двух первосвященников, а также Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова (удалены в XIX в.)⁴⁰. В первом ярусе иконостаса ц. Рождества Христова с. Нижнее Аблязово (сер. – 2-я пол. XVIII в.) были поставлены фигуры херувимов-«шестокрылов» в виде атлантов с обнаженными торсами. Вместо Распятия провинциальные иконостасы нередко венчались массивными резными композициями с изображениями Бога-Отца и Воскресения Христова (иконостасы Покровской ц. в Полтаве; собора Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове, 1762–1764; Успенского собора во Владимире, 1767–1774; и др.). Чрезвычайно был насыщен резными изваяниями иконостас Благовещенской ц. в Арзамасе (1780-е, не сохр.), известный по описанию архим. Макария (Миролюбова): «В Благовещенской церкви средняя царская врата изображают Сионскую горницу под сению и в ней сошествие святаго Духа. Средину в горнице на возвышенном седалище занимает Божия Матерь, по сторонам по шести апостолов сидящих, из которых по три на стороне держат каждый книгу в виде Евангелия. А вверху над царскими вратами изображено овальною впадиною Воскресение Христово. Оживленную и несущуюся, как бы по воздуху, плоть Спасителя окружают шесть летящих ангелов и девять лиц херувимских. Над плотию Спасителя утвер-

³⁸ Архитектурная графика... 1981. С. 36–37.

³⁹ Макарий (Миролюбов). 1857. С. 398.

⁴⁰ Красовский. 1916. С. 399.

ждено изображение Господа Саваофа. Под образом Воскресения, имеющем вышины и ширины около шести аршин [ок. 4, 2 метра – *К.П.*], на верхнем карнизе иконостаса поставлены резные также образа в натуральной рост, с правой стороны, Моисея Боговидца и апостола Петра, с левой – Аарона и апостола Павла. На царских воротах боковых приделов резные изображения по правую руку Благовещения Пресвятыя Богородицы, а по левую — явление ангела первосвященнику Захарии»⁴¹.

Ничего подобного мы не найдем в Петербурге елизаветинского времени. Столичные иконостасы много сдержаннее и строже, хотя, казалось бы, именно здесь следовало ожидать появления наиболее оригинальных памятников.

На примере формирования архитектурно-декоративного убранства петербургских иконостасов хорошо видно, сколь велико было влияние Елизаветы Петровны на развитие церковных искусств. Относясь с чрезвычайной серьезностью к православным канонам, она требовала неукоснительного их соблюдения от архитекторов и художников. В некотором смысле императрица была первой «славянофилкой». Никто больше в XVIII столетии (за исключением, возможно, старообрядцев) не уделял такого внимания исконным русским традициям и не пытался восстанавливать их с такой же методичностью и последовательностью. К сожалению, вклад Елизаветы Петровны до сих пор не оценен в полной мере. Во многом этому способствуют сложившиеся стереотипные оценки елизаветинского времени. Заслуги императрицы приписывают окружающим ее деятелям искусства, в первую очередь, Ф. Б. Растрелли. Надеемся, что наша статья хотя бы в малой степени послужит восстановлению исторической справедливости.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Архитектурная графика России. Первая половина XVIII века. Научный каталог. Л., 1981.
- Бенуа А.* Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны. СПб., 1910.
- Богданов А. И.* Дополнение к историческому, географическому и топографическому описанию Санкт-Петербурга с 1751 по 1762 год. СПб., 1903.
- Бусева-Давыдова И.Л.* Русский иконостас XVII века: генезис типа и итоги эволюции // Иконостас. Происхождение – развитие – символика. М., 2000. С. 621–650.
- Виноградова Е.А.* Деревянная скульптура и резной декор монастырских храмов (по материалам переписных книг имущества северных монастырей XVI–XVIII вв.) // Деревянная культовая скульптура. Проблемы хранения, изучения, реставрации. Международная научно-практическая конференция (Москва, 25–26 октября 2010 года). М., 2011. С. 54–65.

⁴¹ *Макарий (Миролюбов)*. 1857. С. 390—391.

- Горбатенко С.Б.* Иконостас Пантелеймоновской церкви Большого дворца в Ораниенбауме // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Сб. научных статей. СПб., 1994. С. 139-154.
- Грабарь И.Э.* История русского искусства. М., б. г. [1912]. Т. III. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веке.
- Денисов Ю.М.* Исчезнувшие дворцы // Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий. Л., 1989. С. 17-54.
- Денисов Ю.М., Петров А.Н.* Зодчий Растрелли. Материалы к изучению творчества. Л., 1963.
- Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1873. Вып. 3.
- Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1876. Вып. 5.
- Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1878. Вып. 6.
- Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1883. Вып. 7.
- Кориунова Н.Г.* Иконостас придворной церкви Воскресения Христова в Большом Царскосельском дворце как пример диалога русской и западноевропейской культур // Петербург – место встречи с Европой. Материалы IX Царскосельской научной конференции. СПб., 2003. С. 175-185.
- Красовский М.В.* Курс истории русской архитектуры. Ч. 1. Деревянное зодчество. Пг., 1916.
- Макарий (Миролюбов), архим.* Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния. СПб., 1857.
- Малиновский К. В.* Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008.
- Пекарский П.П.* Маркиз де-ла-Шетарди в России 1740–1742 годов. М., 1862.
- Петров А.Н.* С.И Чевакинский и петербургская архитектура середины XVIII века // Русская архитектура первой половины XVIII века. М., 1954. С. 311-368.
- Писаренко К.А.* Елизавета Петровна. М., 2008.
- Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. СПб., 1872. Т. II. 1722.
- Руневич С.Г.* Александро-Невская лавра. 1713–1913. Историческое исследование. СПб., 1913.
- Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге / рук. проекта Н. Бурув. СПб., 2009.
- Трубинов Ю.В.* Церковь Воскресения Христова в усадьбе А.Д. Меншикова (исследование и реконструкция) // Краеведческие записки. Исследования и материалы. СПб., 1996. Вып. 4. С. 46-81.
- Успенский А.И.* Большой Царскосельский дворец // Художественные сокровища России. 1904, № 9. С. 263-298.
- Шаховской Я.П.* Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. СПб., 1821. Ч. I.
- Штелин Я.Я.* Известия о музыке в России // Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века. Л., 1935. С. 51-146.

Постернак Кирилл Владимирович – заведующий сектором Биографического словаря архитекторов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева; kir-posternak@yandex.ru.

А. Б. СОКОЛОВ

ЮМОР КАК ЧЕРТА АНГЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПО СОЧИНЕНИЯМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Юмор обычно воспринимается как национальная черта англичан. Сочинения путешественников, посетивших Англию в конце XVIII – первой половине XIX в., свидетельствуют, что они не всегда понимали и ценили английский юмор. Напротив, английские авторы в духе патриотического нарратива часто видели в умении англичан шутить воплощение лучших черт национального характера. Юмор рассматривается как инструмент идентификации, дифференцирования «своих» и «чужих».

Ключевые слова: *английский национальный характер, юмор, травелог, патриотический нарратив.*

Вряд ли можно быть уверенным в том, существует ли в реальности феномен национального характера, или представления о нем – не более чем игра ума, отражающая дискурсивные правила того времени, к которому относится произведение, их описывающее. В конце XVIII в. конструирование национального характера становится одним из главных инструментов конструирования образа страны. Это было следствием патриотического дискурса, порожденного Французской революцией и национальной идеей. Из всех европейских народов самым особенным в глазах иностранцев были англичане. Частью современных представлений о национальном характере англичан является признание за ними особого свойства – шутить не так, как это делают представители других наций. Авторы исследования по культурной истории определяют юмор «как любое послание, выраженное в действии, словах, письме, изображениях или музыке, направленное на то, чтобы вызвать улыбку или смех»¹. Защитниками священного права – шутить по-особому – являются, прежде всего, сами англичане. Можно согласиться с российским исследователем английской литературы и английского характера: «Англичане гордятся своим юмором и не без основания считают его своим национальным богатством. Они болезненно относятся к оценке его со стороны иностранцев. Можно усомниться в любом национальном достоинстве англичан, традиционно приписываемом их характеру – вежливости, изобретательности, терпимости, – ничто не ущемит их национального самолюбия так, как

¹ A Cultural History of Humour. P. 1.

суждения об отсутствии у них юмора»². Это наблюдение позволяет рассматривать юмор как часть национальной самоидентификации, а стремление придать ему особую значимость в структуре собственного национального характера как часть «патриотического нарратива».

Основываясь на произведениях путешественников, в основном российских, посетивших Англию в конце XVIII – I пол. XIX в., а также на работах английских авторов, писавших об английском юморе, поставим два вопроса: 1. Если признается, что существуют свойства национального характера, то присутствовало ли умение шутить по-особому в перечне черт «английскости» примерно двести лет назад? Существует ли в этом отношении преемственность: «В какой степени юмор менялся в ходе веков? Смеялись ли наши предки над теми же шутками, что и мы, или сущность юмора была радикально иной? Те, кто читал юмористические тексты прошлых времен, могли заметить, что некоторые шутки совсем неплохи, другие совершенно не смешны, а некоторые просто непонятны. Другими словами, эти тексты одновременно близки нам и далеки от нас»³. 2. В «Культурной истории юмора» говорится: «Распространенной ошибкой является предположение, что существует нечто вроде “онтологии юмора”, что юмор и смех имеют транскультурный и неисторический характер. Однако смех, как и юмор, это культурно детерминированный феномен»⁴. В этой связи позволительно спросить: в какой степени имеющиеся источники, в частности, свидетельства путешественников-иностранцев позволяют судить о чертах национального характера англичан, а главное о том, насколько авторы были способны их «раскодировать»? Можно предположить, что «раскодирование» английского юмора представляло для них трудную задачу. Не исключено, что такого рода затруднения способствовали укреплению стереотипного представления об англичанах как о нации чудаков. Анализируя оценки английского юмора в произведениях иностранцев, важно помнить: «Частью национального стиля является тенденция к отрицанию чувства юмора у других; герой одного из романов Андре Моруа даже заявил, что единственной причиной Великой войны была нехватка у немцев чувства юмора»⁵.

В этой статье не рассматриваются традиции английской комической литературы, а говорится об «устном юморе», с которым путешественники могли «столкнуться» в повседневном общении, и запечатлеть собственную реакцию в своих сочинениях. Бросается в глаза, что приме-

² Шестаков. С. 64.

³ A Cultural History of Humour. P. 7.

⁴ Ibid. P. 5.

⁵ Ibid. P. 4.

ров такого рода в травелогах немного, гораздо в большей степени в них присутствуют суждения о странностях англичан. Исследователь юмора У. Нэш пишет: устный юмор, в отличие от письменного, «имеющего множество ассоциаций и связей», прост и «является повторением набора типичных шуток, усердной “проработкой” одной и той же ситуации или темы. В компании друзья могут увлечься каламбурами, причем игра слов с каждым выступлением становится все более экстравагантной; двое детей будут обмениваться шутками о “слонах” и “бананах”, а юморист, следуя за настроением аудитории, исполнит серию шуток на излюбленные темы, например, семейных отношений или политических событий. В устном юморе всегда есть элемент соперничества, оппортунизма, непосредственная реакция на острую ситуацию»⁶.

В русских травелогах примеров проявлений англичанами чувства юмора немного. Более того, если судить по «Запискам русского путешественника», Н.М. Карамзин и вовсе полагал, что шутливость совсем не в характере англичан, которые, по его мнению, молчаливы, равнодушны, «не обнаруживают никогда быстрых душевных стремлений, которые сотрясают электрически всю нашу физическую систему», меланхоличны. Да, англичане просвещены и рассудительны, но веселость не входит в число их достоинств. Карамзин счел нужным специально оспорить Генри Филдинг: «Филдинг утверждает, что ни на каком языке нельзя выразить смысла английского слова “humour”, означающего и *веселость*, и *шутливость*, и *замысловатость*, из чего заключает, что его нация преимущественно имеет сии качества. Замысловатость англичан видна разве только в их карикатурах, шутливость – в народных глупых театральных *фарсах*, а веселости ни в чем не вижу – даже на самые смешные карикатуры смотрят они с преважным видом, а когда смеются, то смех их походит на истерический. Нет, нет, гордые цари морей, столь же мрачные, как туманы, которые носятся на стихию славы вашей! Оставьте недругам вашим, французам, всякую игривость ума. Будьте рассудительны, если вам угодно, но позвольте мне думать, что вы не имеете тонкости, приятности разума и того живого слияния мыслей, которое производит общественную любезность. Вы рассудительны – и скучны!»⁷.

В другом месте он замечал: «Если бы одним словом надлежало означить народное свойство англичан – я бы назвал их угрюмыми так, как французов – легкомысленными, италийнцев – коварными»⁸. Из этих слов видно: Карамзин, как и многие другие иностранцы, не осознал особен-

⁶ Nash. P. 20.

⁷ Карамзин. С. 591.

⁸ Там же. С. 595.

ность английского юмора, заключающуюся в том, что англичанин, когда шутит, как правило, сохраняет совершенно серьезный вид, что часто вводит в заблуждение. Как пишет В.П. Шестаков, «английский юмор не сводится к простой шутливости. Действительно, одна и характерная особенность английского юмора в том, что он сохраняет серьезность, когда шутит. Шутливость и серьезность – это два необходимых элемента в английском юморе»⁹.

Для того чтобы оценить английский юмор, надо хорошо знать язык, Карамзин, по его собственному признанию, английский знал плохо: «Все хорошо воспитанные англичане знают французский язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю английский. Какая разница с нами! У нас всякий, кто умеет только сказать: «*Comment vous portez-vous?*», без всякой нужды коверкает французский язык, чтобы с русским не говорить по-русски, а в нашем так называемом хорошем обществе без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе?»¹⁰. Кроме патриотической сентенции о национальном самолюбии и родном языке, в этих словах русского писателя видно признание, что в Англии он был, фактически, «глух и нем». Кроме того, как доказал Ю.М. Лотман, «Записки русского путешественника» – это, прежде всего, художественное произведение, сюжетная линия которого далеко не во всем соответствует реальной канве событий, происходивших с молодым Карамзиным. Лотман не просто обратил внимание на двусмысленность в написании дат, но и утверждал, что Карамзин находился в Лондоне куда более краткое время, чем можно полагать, исходя из «Записок», возможно, не более десяти дней. В Петербург он вернулся не в сентябре, а уже в середине июля 1790 г. Время его приезда в Лондон и вовсе точно определить невозможно. И дело не только в том, что Карамзин поиздержался, «совершенно очевидно, что за время путешествия в планах Карамзина произошли значительные сдвиги: если прежде его душа стремилась в Лондон, то теперь Париж интересовал его гораздо больше... Английские рецензенты “Писем” ядовито упрекали автора, что он большую часть лондонского пребывания провел в обществе чиновников русского посольства и слишком поверхностно описал английскую жизнь»¹¹. Лотман свидетельствовал: Карамзин явно подменял впечатления готовыми литературными штампами.

⁹ Шестаков. С. 87.

¹⁰ Карамзин. С. 530-531.

¹¹ Лотман. С. 176.

Учитывая краткость пребывания Карамзина в Лондоне, круг его общения в английской столице, сам характер «Записок» как произведения литературного, трудно ожидать в нем большого числа примеров английского юмора. На самом деле, все ограничивается двумя зарисовками. В одном случае он вспоминал «забавное «Гулливерово путешествие»; помните, как он заехал в царство лошадей, у которых люди были в рабстве и которые, разговаривая по-своему с нашим путешественником, никак не хотели верить, что где-нибудь подобные им благородные твари могли служить слабодушному человеку. Эта выдумка Свифта казалась мне странною, но, приехав в Англию, я понял сатирика: он шутил над своими земляками, которые по страсти к лошадям, ходят за ними по крайней мере как за нежными друзьями своими. Резвые скакуны здесь разве что только не члены парламента и без всякого излишнего самолюбия могут вообразить себя господами людей»¹². Здесь Карамзин выделил одну из особенностей юмора, заключающуюся в контексте. Как пишет Нэш, «почти всегда юмор предполагает наличие общего для юмориста и аудитории фактического знания, например о том, что у Генриха VIII было шесть жен, у Нельсона один глаз, а Линкольн был убит в театре (Но если отбросить случившееся, миссис Линкольн, понравилась ли Вам пьеса?)»¹³. Другой пример относится к посещению Карамзиным парламента, когда в палате обсуждались обвинения, выдвинутые в адрес У. Гастингса, генерал-губернатора Индии. В ходе заседания «один из Гастингсовых адвокатов сказал пэрам: “Милорды! Генерал NN не успел представить вам отзыва в пользу нашего клиента, уехал в свое отечество, для поправления здоровья, но он скоро возвратится”. Тут Борк выступил вперед и примолвил с важным видом: “Милорды! Пожелаем господину генералу счастливого пути и лучшего здоровья!”. Все лорды, все зрители засмеялись, встали – и пошли домой»¹⁴. Трудно с уверенностью сказать, был ли автор свидетелем этого происшествя, характер описания таков, что в основе описания могли быть и не личные наблюдения. «Важный вид» произносившего остроту Э. Берка отражает правило «серьезности», свойственное английскому юмору. По этому отрывку из «Записок» не видно, что Карамзин оценил юмор известного политика.

Возможно, что недопонимание английского юмора вело к тому, что путешественники предпочитали говорить об англичанах не как о шутниках, а как о чудаках. Тот же Карамзин рассуждал: «Не от сплина

¹² Карамзин. С. 586.

¹³ Nash. P. 4.

¹⁴ Карамзин. С. 578-579.

происходят и многочисленные английские странности, которые в другом месте назвались бы безумием, а здесь именуются только своенравием, или *whim*? Человек, уже не находя вкуса в истинных приятностях жизни, выдумывает ложные, и когда не может прельстить людей своим счастьем, хочет по крайней мере удивить их чем-нибудь необыкновенным. Я бы мог выписать из английских газет и журналов множество странных анекдотов... Британцы хвалятся тем, что могут досыта дурачиться, не давая никому отчета в своих фантазиях. Уступим им это преимущество, друзья мои, и скажем себе в утешение: «Если в Англии дозволено *дурачиться*, у нас не запрещено *умничать*, а последнее нередко бывает смешнее первого»¹⁵.

В большинстве других сочинений русских путешественников, посетивших Англию, обнаруживаются те же черты, что и у Карамзина: о юморе говорится немного, а об англичанах-чудаках куда больше. Известный литератор и книгоиздатель Павел Свиньин противопоставлял французов и англичан: «Нельзя не признать, что французский народ есть самый веселый, любезный, приятный. Качества сии с первого разу совершенно обвораживают иностранца». Правда, через три-четыре месяца «сердце начинает чувствовать непонятную пустоту». «Приехавши в Лондон, – продолжал он, встречал всюду важные лица, безмолвную тишину, холодность, равнодушие – непременно почувствуешь скуку и неудовольствие. Никто тебе не обрадуется; самые рекомендации не растворят дверей дружества. Но чем больше знакомишься, чем больше узнают тебя, тем яснее видишь, что сия холодность есть не что иное, как похвальная осторожность; старайся, и найдешь друзей, друзей верных и истинных»¹⁶. Как видим, хотя сравнение, в конце концов, оборачивается в пользу англичан, но по поводу веселости (вернее, невеселости) англичан мнение Свиньиного не изменилось. В другом месте своих записок он, описывая поездки по Англии в экипажах (тема, рассмотренная им с большой подробностью), рассуждал: «Женщины везде женщины, везде имеют ту непостижимую власть над мужчинами, которая делает их повелительницами, и самых грубых, угрюмых Англичан – нежными учтивыми кавалерами»¹⁷. Противопоставление англичан «веселым» французам обнаруживается и в сочинении французского автора: «Во Франции дурачество потрясает гремушками своими в провинциях и городах, только в то время, когда вся природа кажется облеченною печальным

¹⁵ Там же. С. 594-595.

¹⁶ Ежедневные записки. С. I-II.

¹⁷ Там же.

покровом; тогда как зима проводит особый иней и морозы, веселость французов является в полном торжестве своем. На зло суровости времени живость и склонность к забавам снова переносят их в обыкновенную сферу их движений и удовольствий... Какая блестящая пылкость и какая бездна острых слов! Англичане, напротив того, уступают влиянию времени года! Вельможи и дворяне в бесчувствии засыпают в своих поместьях, и не прежде как при наступлении весны, выходят из оцепенения»¹⁸. В таком образе жизни привилегированного класса (Лондон летом, поместья зимой, а не наоборот, как в других странах) многие авторы видели убедительное доказательство английской эксцентричности.

Известный писатель и издатель Н. Греч, как и Карамзин, признавался в слабом знании английского, причем возвращался к этой теме несколько раз: «Если бы я располагался прожить в Лондоне месяца два, то поселился бы среди самых диких англичан, чтоб выучиться свободно говорить с ними. Теперь же мне не до филологии. Погуляю, погляжу, да и уеду»¹⁹. Он отмечал, что во время пребывания там «не имел ни времени, ни случая завести в Англии интересные знакомства. Видел людей только издали, только в силуэтах». К этому признанию он добавлял: «И еще – если б я умел свободно говорить по-английски! Тогда я посетил бы Манчестер, Бирмингам, Ливерпуль, поэтическую Шотландию; отыскал бы людей, которыми, по справедливости, гордится Великобритания. На французском же языке, там далеко не уедешь»²⁰. Автор даже придумал своеобразный способ определять, англичанин ли его собеседник. Если он понимал собеседника хорошо, то делал вывод, что это иностранец, если плохо – то англичанин. Как Карамзин или Свиньин, Греч полагал, что англичане – народ угрюмый, чопорный, и тоже противопоставлял их французам: «Французы народ лихой, умный, забавный, и если б их порядочно принять в руки, как древле сделал Наполеон Карлович, и повести вперед *tambour battant*, много б можно было из них сделать. Это большие дети с непомерным воображением и пылким тщеславием. Их непременно надобно чем-нибудь забавлять; но все им скоро надоедает; все у них скоро изнашивается, и законы, и правление, и забавы, и печаль»²¹. В Англии все обстоит по-другому: «Там все придумано, рассчитано, установлено. Люди там суть звенья, крючья, зубья, колеса большой машины: они приходят в движение от невидимого пару,

¹⁸ [Жуи] Лондонский пустынный. Ч. I. С. 139.

¹⁹ Греч. С. 38.

²⁰ Там же. С. 182-183.

²¹ Там же. С. 193-194.

производимого трением гиней об гинейю; не говоря ни слова, принимаются за дело, понимают друг друга по взгляду, исполняют все по условию, издавна принятому и свято хранимому»²². Умение веселиться и наслаждаться искусствами, по утверждению Греча, не относится к числу достоинств этой нации: во время танцев «неуклюжесть кавалеров и дам проявилась во всем блеске»²³, «изящные искусства не дались англичанам; им плавать по морям, торговать, ткать сукна, строить паровые машины, делать перочинные ножи, печатать газеты, варить пиво и портер. Всякому свое!»²⁴. Воскресенье и вовсе день скуки: «Не было слышно ни пения, ни инструментальной музыки; изредка раздавались вопли пьяных. Английское празднование воскресных дней!»²⁵. Так что веселость или шутовливость вовсе не черта английского характера.

Тем не менее, конструируя столь различные образы двух наций, Греч делал окончательное заключение в пользу англичан: «Я не англоман, читаю английские книги и газеты, но не знаю английского языка так, как бы мне хотелось знать его; порядочно скучал в Лондоне, и не жалел, выезжая оттуда; напротив, французский язык знаю основательно, говорю по-французски довольно бегло и чисто, так, что иногда меня принимают здесь за Француза; провожу время в Париже гораздо веселее, нежели в Лондоне, и при всем том, и душою, и сердцем, и холодным рассудком, и всем жаром воображения, склоняюсь на сторону Англичан: это нация достойная, если не безусловного подражания в остальной части Европы, то искреннего уважения всех людей честных и благомыслящих»²⁶. Отметим попутно, что в критическом отношении Греча к Франции и ее политическим институтам видны явные следы «нелюбви» русской политической нации николаевского времени к режиму, созданному «королем баррикад» Луи Филиппом.

В сочинении Греча, изобилующем оценками английского характера, есть только одно место, прямо относящееся к свойству англичан шутить. Речь шла о посещении в Англии «старого знакомого» по России Вудборна. Тот прежде «жил в Петербурге очень тихо, в укромной гостинице, с признательностью отзывался о тех, кто его приглашал, ходил в простеньком сертуке (так в тексте – А.С.) и в пресмешных черных брюках с серебряными лампасами, и все свое удовольствие, свою славу

²² Там же. С. 185-186.

²³ Там же. С. 135.

²⁴ Там же. С. 152.

²⁵ Там же. С. 157.

²⁶ Там же. С. 217-218.

полагал в выдумке острых слов и французских каламбуров, которые в устах его действительно были очень забавны»²⁷. Таким образом, Вудборн шутил по-французски, поэтому Греч понимал и оценивал его острый язык. Среди убедительных свидетельств, что «Англия есть земля величайших странностей и противоречий», он отмечал принятый в английском обществе обычай проводить весну и лето в городе, а «в дурную погоду» ехать за город, в поместье. Греч все же находил рациональное объяснение этой «странности»: дожди и туманы, дым от каменного угля делают пребывание в Лондоне зимой «нестерпимым».

Профессор Казанского университета И.М. Симонов, как большинство авторов, считал англичан замкнутыми, но способными на проявление чувств: «Спутники мои (речь идет о двухдневном морском путешествии – А.С.), почти все Англичане, были мало общительны (так в тексте – А.С.) и очень молчаливы. Англичане не заботятся о незнакомом им человеке, не любопытствуют о нем и не замечают его присутствия: это у них в характере. Начните в первый раз говорить с Англичанином, и вы услышите от него короткие ответы; но когда вы достигнете до его сердца, когда разбудите его внимание, и когда он взглянет в ваши достоинства, то будьте уверены, что он их оценит»²⁸. Как и в других случаях, у Симонова мало информации об английском юморе, но отдельные внешние проявления отложились в памяти: при посещении Зоологического сада в Лондоне, где «под прекрасный хор музыки, игравшей разные пьесы из сочинений Генделя, Мюзара, Обера, Мюллера и Жюльена, шумел, без милости, один из моих соседей – очень толстый пожилой Англичанин, в старинном фраке, в низенькой соломенной шляпе, в сапогах с отворотами и в веселом расположении духа. Весьма острые, несколько грубые, но необидные выражения, которые он громко относил ко всякому мимо его проходящему зрителю, заставляли хохотать всех присутствующих»²⁹. В другой раз, посетив знаменитый сад Воксал, Симонов услышал в конце аллеи песни соловья: «Подхожу туда и вижу, что это был человек, который после соловьиной песни, взял у одного посетителя трость, и стал играть на ней как на флейте какую-то арию с вариациями: этот человек нанят был для того, чтоб забавлять и смешить публику»³⁰. Эта последняя зарисовка ничего не говорит о чувстве юмора у англичан, но она опровергает стереотип «чопорности» и «серьезности» как свойства английского характера.

²⁷ Там же. С. 163.

²⁸ [Симонов] Записки и воспоминания. С. 15.

²⁹ Там же. С. 75.

³⁰ Там же. С. 106.

В рассмотренных травелогах наиболее последовательно признавал способность англичан шутить и веселиться, пожалуй, известный славянофил А.С. Хомяков. Он писал так: «Вслушайтесь в эти шутливые выходы, в этот поток едкой иронии и в громкий непритворный смех слушателей, и скажите потом, где простота. А Англия считается чопорную, а вечно актерствующая Франция простою»³¹. Ниже он продолжал: «Говорят: англичане не веселы, страдают вечною скукою и наводят скуку на всех. Странное дело! Эта скучающая земля истари называла себя веселою Merry Old England. Должно быть она не догадывается и не замечает, что ей скучно, а кому же бы лучше ее это знать?... Где живет и многочисленнее народная игра? Где такое огромное стечение зрителей на веселую общую забаву, от благородной скачки конской, в которой участвует вся гордость аристократии, и от живописных регат по Темзе, в которых спорят между собой университеты и города, до кулачного боя, в котором выражается вся упрямая энергия народа, до петушиного и собачьего боя, в котором англичане радуются тому, что умели передать животным качества, давшие им самим такой великий перевес в их долгой борьбе с другими народами»³². Отметим положительное отношение Хомякова к тем видам забав, к которым в самой Англии существовало далеко неоднозначное отношение.

У Хомякова присутствует еще один примечательный момент, связанный, как выясняется, с темой юмора. Он писал об отношении англичан к детям и детским играм: «Пройдите по лондонским паркам, даже по Сент-Джеймс, взгляните на игры детей и их свободу, на группы взрослых, которые останавливаются подле незнакомых детей и следят за их играми с детским участием. Вас поразит эта простота жизни». Далее, описывая поездку на поезде в Ричмонд, он продолжал: «На горе по широкому луку мелькают кучи играющих детей; хохот, веселый говор несется издали. Поглядите, все ли это дети? Совсем нет. Между детьми, и с ними, и отдельно от них, играют и бегают взрослые девушки со своими ровесниками, так же весело и бесцеремонно, как будто дети; и они принадлежат если не высокому, то весьма образованному обществу»³³. Это рассуждение об интересе к детским играм важно, потому что сами англичане считают «детскость» одним из признаков английского юмора. Российский исследователь, ссылаясь на труд Г. Николсона, пишет: «Любовь к детским остротам занимает огромную часть английского юмора. Это

³¹ Хомяков. Англия. С. 13.

³² Там же. С. 15-16.

³³ Там же. С. 12-13.

происходит не потому, что англичане больше, чем другие нации, склонны к детскости. Это объясняется тем, что англичане, будучи эксцентричны, инстинктивно не любят черты взрослого общества, и они, даже если прямо не атакуют эти черты, то пытаются найти комфорт и разрядку внутри этого общества». Подтверждение этой идее обнаруживается в словах знаменитого английского драматурга Д. Пристли: «Нельзя сказать, что юмор, присущий англичанам, ребячлив, но некоторые формы и особенности его действительно вырастают из детства. Как и дети, мы наслаждаемся образами фантазии, и если воображение не подвергается ограничению, не подавляется злобой и ненавистью, как это бывает в плохом детстве, мы начинаем пользоваться юмором в раннем детстве»³⁴.

Насколько русские в первой половине XIX века ценили английской юмор? Если обратиться к монографии Н.А. Ерофеева, остающейся и сегодня лучшей работой об отношении русских к Англии, можно признать, что определенного ответа на этот вопрос он не давал. С одной стороны, в записках русских явно преобладало мнение о «мрачном» характере англичан: «неискусны в шутках, острых словах» (П.И. Сумароков); «нет ни притворных ласк, ни пустых шуток, которые представляют действительный обман» (И.М. Симонов). С другой стороны, Ерофеев утверждал, что «образованные люди в России всегда ценили английский юмор, его своеобразие»³⁵.

Показательно, что в книге Ерофеева отношению к английскому юмору как таковому посвящено всего два абзаца (если не принимать в расчет суждений, приведенных в контексте английского характера в целом), а английским «странностям» и «чуждачествам» отведено много страниц. Это, безусловно, отражает содержание самих источников. Ерофеев отмечал, что английский юмор не всегда понятен русским в силу своего своеобразия. Он приводил высказывание из «Московского телеграфа»: «От гения старинной Англии осталась у англичан какая-то странность в идеях, какой-то самобытный образ выражать свои чувства, остался, наконец, этот юмор, которого нельзя выразить словом, взятым из всякого другого языка»³⁶. Как уже отмечалось, слабое знание языка было одним из факторов, препятствовавших пониманию юмора. В приведенных примерах путешественники были свидетелями ситуаций, связанных с проявлениями юмора, и они зафиксировали их в своих записках, затруднившись, однако, передать их смысл.

³⁴ Шестаков. С. 86.

³⁵ Ерофеев. С. 174-178; 208.

³⁶ Там же. С. 209.

К поиску причин этого затруднения можно подойти по-другому: в какой степени национальный юмор может быть понят, оценен, то есть «раскодирован» представителями другой нации? Приведем в этой связи суждение английского филолога, занимавшегося «языком юмора». А. Росс пишет: «Юмор, от политической сатиры до шутки, значим как способ установления дружеских взаимоотношений и исключения других»³⁷. На «исключение других» стоит обратить внимание; этот автор справедливо подчеркивает, что в юморе важен не только личный вкус («личный вкус – это решающий аспект юмора»), но и «сильный социальный аспект, влияющий, на то, как юмор воспринимается». Одна и та же шутка может «прозвучать» в одном контексте, и «умереть» в другом. Росс справедливо утверждает: «Как и другие аспекты языка, юмор – это способ, при помощи которого люди показывают свою принадлежность к группе... Социальный контекст важен для создания и восприятия юмора. Юмор с трудом преодолевает временные границы и границы социальных групп; юмор так же устаревает, как мода, и часто он зависит от конкретных культур и ценностей»³⁸. Если юмор имеет национальные границы и является способом идентификации и самоидентификации, так ли уж странно выглядит, в общем-то, низкий уровень оценивания английского юмора в русских травелогах?

Проверим эту гипотезу, обратившись к одному из самых любопытных сочинений путешественников об Англии – книге немецкого автора Карла Морица, знавшего английский язык настолько хорошо, что англичане, с которыми он сталкивался, не догадывались, что он иностранец. Книга Морица описывала его пребывание в Англии в 1782 г.³⁹ Об этом сочинении, не прошедшем мимо внимания историков, мне уже довелось писать в контексте английского национального характера⁴⁰. Итак, понимал ли английский юмор Мориц, немец, прекрасно знавший английский язык? У него нет прямых оценок юмора англичан, но есть эпизоды, позволяющие, тем не менее, пролить свет на этот вопрос.

Современная английская исследовательница К. Фокс выделила в английском юморе правило преуменьшения и правило «самоуничижения», поощряющее самоиронию: «Как бы поощряется демонстрирование скромности. Это скрытый юмор, зачастую почти неуловимый. Умалая собственное достоинство, мы подразумеваем противоположное, мы вы-

³⁷ Ross. P. IX.

³⁸ Ibid. P. 1-2.

³⁹ Путешествие Г-на Морица...

⁴⁰ Соколов. 2012.

соко ценим человека, который принижает себя. Проблемы возникают, когда англичане следуют этому правилу в разговоре с представителями других культур, которые не способны оценить иронию и принимают наши самоуничижительные заявления за чистую монету»⁴¹. В соответствии с этим правилом можно интерпретировать эпизод из книги Морица с описанием церковной службы в маленькой деревне и осмотром церкви: «Некоторые из солдат, хотевшие показаться вольнодумцами, присоединились ко мне, когда я осматривал церковь. Казалось, что они даже стыдились ее, говоря: какая жалкая церковь. Тут осмелился я поучить их, что никакая церковь не может называться жалкою, если она заключает в себе честных и благоразумных людей»⁴².

Представляется, что здесь перед нами случай непонимания особенностей английского юмора: англичанин просто пошутил по правилу так называемого преуменьшения, являющегося формой иронии. Мориц, будучи иностранцем, да еще лицом духовным, просто не мог принять предложенной англичанином иронии.

А вот в другом случае Мориц со своим собеседником-немцем «ухватили» момент юмора – таких эпизодов в книге, в общем-то, немного. Речь идет о посещении одной из лондонских достопримечательностей, парка развлечений, так называемого Воксала. Немцы были удивлены «наглостью и бесстыдством здешних *непотребных* женщин. Они подходили к нам целыми дюжинами вместе со своими начальницами, которые самым бесстыдным образом требовали одну рюмку за другою для себя и своей свиты, в чем им никто и не отказывал». Тут произошло следующее: «Один англичанин пробежал мимо нас чрезвычайно скоро. Некто из его знакомых спросил его, куда он идет. I have lost my Girl (я потерял свою красавицу) – отвечал он таким комически-важным тоном, который всех нас заставил смеяться. Казалось, что он искал свою красавицу так, как будто перчатку или палку, которые он где-нибудь оставил»⁴³. В данном случае юмор строился по правилу самоуничижения, требующему демонстрации показной скромности, которая никак не вязалась с присутствием «красавиц»/«непотребных женщин». Память Морица сохранила комически-важный вид англичанина, одного из «чудаков», или эксцентриков, которыми богата, судя по травелогам, Англия. Заметим, что в отличие от примеров из русских травелогов Мориц ухватил и смысл, и контекст высказывания, и смеялся, как все окружающие.

⁴¹ Фокс. С. 90.

⁴² Путешествие Г-на Морица... Ч.2. С. 25.

⁴³ Там же. Ч. 1. С. 51.

Что еще показалось Морицу смешным? Вот как он описывал посещение парламента: «Чрезвычайно удивили меня явные оскорбления и грубости, которые парламентские члены делали друг другу; например, когда один переставал говорить, то другой начинал непосредственно: it is quite absurd и так далее, то есть совершенную нелепость предлагал сей right honourble Gentleman (т.е. почтенный господин) – название, которым члены парламента друг друга титулуют. Никто не смеет сказать другому прямо в лицо: ты говоришь глупо, но обыкновенно делают обращение к оратору и говорят: этот почтенный господин говорил очень глупо. *Смешно смотреть* (курсив наш – А.С.), как один говорит, а другой делает за него жесты. Этот пример видел я на одном пожилом почтенном гражданине, который сам не отваживался говорить; но между тем, как говорил его сосед, он означал всякую важную мысль самыми выразительными жестами, при чем все его тело приходило в движение»⁴⁴. В этом случае смешным Морицу казалось то, что не вписывалось в его представления о правильных проявлениях коммуникации, в том числе политической. Наоборот, не телесные, а словесные проявления юмора, по-видимому, не оценивались в должной мере. Таким образом, можно предположить, что прекрасное знание английского языка само по себе не гарантировало адекватного восприятия английского юмора, что, в принципе, подтверждает мысль о том, что юмор может быть универсальным, а может выступать как средство утверждения национальной идентичности.

Эта мысль представляется правомерной, если обратиться к сочинениям, в которых англичане говорят о своем чувстве юмора. Не будет большим преувеличением сказать: эти описания подчас приобретают черты «патриотического нарратива». Любопытным примером нестандартного мышления может служить книга почти забытого, к сожалению, автора начала XIX века Уильяма Бурдона. Рассматривая патриотизм как предубеждение сознания и воспитания, Бурдон, все же, смотрел на англичан как на особую нацию. Например, он замечал, что слышал от иностранцев, будто среди жителей его страны больше людей эксцентричных (чудаков, как предпочитали писать русские путешественники), чем в любой другой. Соглашаясь, Бурдон объяснял эту особенность тем, что пользуясь свободой от деспотической власти, англичанин более разнообразно проводит свое время и более свободно пользуется своей собственностью, чем кто-либо еще. Отсюда проистекает различие в характерах, обнаруживающееся во всех частях империи, но особенно в метрополии: «Турок и русский походят один на другого

⁴⁴ Путешествие Г-на Морица. Ч. 1. С. 80-81.

почти во всем, однако трудно найти двух похожих англичан, кроме как в общих чертах их характера: любви к своей стране, храбрости, любви к свободе. Эти черты перемешиваются и дополняются многими другими качествами, но сами по себе настолько сильны, что и составляют суть национального характера»⁴⁵. Если так писал «критический» писатель, неудивительно, что другие авторы были еще последовательнее в прославлении своей нации.

Младший современник Бурдона, знаменитый писатель У. Теккерей, путешествуя по Соединенным Штатам, прочитал в Нью-Йорке публичную лекцию, специально посвященную традиции юмора в английской литературе, в которой подчеркивал, что благодаря чтению Аддисона, Стила, Филдинга, Голдсмита, Диккенса люди становятся «счастливей, лучше, доброжелательнее к соседям, терпеливей, более склонными к добру, любви, прощению, сочувствию»⁴⁶. Образованный человек, обладающий чувством юмора, почти наверняка имеет натуру филантропическую и чувственную. Недаром лекция Теккерей называлась «Благотворительность и юмор» и претендовала на обоснование взаимосвязи этих двух ведущих черт английского характера. Народный юмор, как и литературный, «всегда добр и рыцарственен. Он всегда принимает сторону слабого, а не сильного. В книгах, пьесах и развлечениях для низшего класса в Англии я вряд ли могу припомнить хоть один рассказ или произведение для театра, в котором лихой борец из народа не оттузил бы безнравственного аристократа»⁴⁷. В своем известном высказывании Теккерей утверждал: юмор, подразумевающий только смех, не будет ни интересным, ни специфически английским.

В середине XX века в книге, посвященной английскому образу жизни и характеру, британские авторы рассматривали юмор как неотъемлемую часть «английскости». Впервые качества английского юмора нашли воплощение у Чосера, Европа не знала такого понятия: «Нам нужно было изобрести его для себя. Хотя был Вольтер, ни французы, ни какой другой народ не имели слова *humour* в том смысле, в котором мы используем его. Это целиком наше слово, и мы иногда говорим так (жалуются иностранцы), как будто это целиком наша национальная собственность»⁴⁸. Другие авторы тоже отмечали специфический английский смысл этого понятия. Г. Николсон приводил слова известного француз-

⁴⁵ *Burdor*. P. 86.

⁴⁶ *The Works of William Makepeace Thackeray*. P. 350.

⁴⁷ *Ibid*. P. 359-360.

⁴⁸ *The Character of England*. P. 343.

ского писателя и историка И. Тэна, большого англофила, который в «Истории английской литературы» утверждал, что «humour» нельзя перевести на французский, «так как у нас нет качества, которое это слово означает»⁴⁹. Один из авторов «Характера Англии» в качестве черты национального характера называл *эксцентричность* англичан. Мнение об их эксцентричности разделяли многие иностранцы, говорившие о «бешеных собаках и англичанах» или, более мягко, о том, что «англичанином правит погода в его душе». Признавая, что «слухам об английской эксцентричности» есть немало подтверждений, он вопрошал: «Являемся ли мы страной юмористов, в которой у каждого свой юмор? Не являются ли такие формы выражения способом самоутверждения, пузырями, позволяющими нам чувствовать себя в безопасности и защищенными? Нельзя ли также сказать, что предполагаемая самодостаточность, природный индивидуализм делают нашу эксцентричность выражением реальной, хотя часто бессознательной, эгоцентричности? Вряд ли это все миф. Но для большинства из нас так и остается загадкой, как страну «правильных форм» и флегматичных привычек можно одновременно рассматривать и как страну, восстающую против обычаев и канонов»⁵⁰.

В те же годы Г. Николсон в исследовании, специально посвященном английскому юмору, задавал вопрос: «Не является ли английское чувство юмора всего лишь воплощением таких национальных характеристик, как доброта, толерантность, сентиментальность, оптимизм, лень, игривость, ребячество, нелюбовь к крайностям и стремление к умственному и эмоциональному облегчению?»⁵¹. Он предлагал прислушаться к мнению иностранцев, особенно тех, кто посвятил изучению Англии годы. В частности, Тэн прав в том, что в английском юморе присутствует «особое сочетание насмешки и важности, что в нем выражены скорее нервные, чем интеллектуальные реакции, что он предполагает надевание неожиданных масок, что он содержит большую долю воображения, что он иногда дегенерирует в буффонаду и ребячество. Немногие будут отрицать, что любовь к чуши составляет значительный компонент английского юмора»⁵². Как видим, в приведенных примерах описание свойств национального характера англичан содержит сугубо положительные коннотации. Сочинения такого рода решали две основных задачи: социально-культурную и педагогическую; они конструиро-

⁴⁹ Nicolson. P. 21.

⁵⁰ The Character of England. P. 569.

⁵¹ Nicolson. P. 3.

⁵² Ibid. P. 22.

вали национальную идентичность и воспитывали патриотизм. При этом принципиальных различий в оценках национального характера у британских авторов начала XIX и середины XX века нет. Обращение к теме юмора способствовало «раскрытию» лучших качеств национального характера. Убережемся от соблазна назвать недавнюю книгу К. Фокс модифицированным вариантом «патриотического нарратива», приняв ее как часть научного дискурса. И все же, если ей верить, то англичанам чужда «пылкость и помпезная выпренность», которая «бьет через край» у многих наций, когда речь заходит о патриотизме. Она говорит о том, что англичане, как правило, «изумляются легковерности ликующих толп, покупающихся на подобную высокопарную чушь», произносимую, в частности, американскими политиками. Англичане чувствуют неловкость, когда политики произносят «постыдные банальности смехотворно пафосным тоном»⁵³. Подводя итог, отметим высокий уровень оценки юмора как свойства английского характера в сочинениях самих англичан на фоне незначительного внимания к нему в сочинениях путешественников, отводивших больше места «странностям» и «чужацествам». Иностранцы не всегда могли «ухватить» смысл шутки и не всегда принимали форму, в которой она конструировалась. Это позволяет говорить о том, что юмор часто выступает как специфическое средство отделения «своих» от «чужих»; особенности восприятия (или невосприятия) юмора иностранцами зависели, в большой мере, от их принадлежности к иной национальной культуре. Анализ травелогов конца XVIII – первой половины XIX в. показывает, что английский юмор в то время имел свойства и выражался в формах, проявляющихся и в более поздние исторические времена, что говорит о большой доле константности и преемственности в развитии юмора как социокультурного явления.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Греч Н.И.* Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб.: Типография Н. Греча, 1839.
- Ежедневные записки в Лондоне Павла Свинына. СПб.: Типография Императорского воспитательного дома, 1817.
- Ерофеев Н.А.* Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских 1825–1853. М.: Наука, 1982.
- [Жуи] Лондонский пустынный, или описание нравов и обычаев англичан в начале XIX столетия. СПб., 1822.
- Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника // Карамзин Н.М. Избранные сочинения. Т. 1. М.-Л.: Художественная литература, 1964.
- Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987.

⁵³ Фокс. С. 81.

Путешествие Г-на Морица по Англии. В письмах. М.: Вольная типография Гария и компании, 1804.

[Симонов] Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году. Казань: Университетская типография, 1844.

Соколов А.Б. Английский характер. Немецкий травелог XVIII века в зеркале современной культурной антропологии //Диалог со временем. 2012. № 39. С. 59-78.

Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. М.: РИПОЛ классик, 2008.

Шестаков В.П. Английская литература и английский национальный характер. СПб. Нестор-история, 2010.

Burdon W. Materials For Thinking. V. I. L.: Effingham Wilson, 1820.

The Character of England / Ed. by E. Barker. Oxford: Clarendon Press, 1947.

A Cultural History of Humour. From Antiquity to the Present Day / Ed. by J. Bremmer and H. Roodenburg. N.Y.: Polity Press, 1997.

Nash W. The Language of Humour. Style and Technique in Comic Discourse. L.: Longman, 1985.

Nicolson H. The English Sense of Humour and Other Essays. L.: Constable & Co., 1956.

Ross A. The Language of Humour. L.: Routledge, 1998.

The Works of William Makepeace Thackeray. V. XI. N.Y.: AMS Press, 1968.

Соколов Андрей Борисович – доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского; sokolov_1457@mail.ru

ИЗ ИСТОРИИ XX ВЕКА

И. Г. ТАЖИДИНОВА

ФРОНТОВАЯ ДРУЖБА В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ КОМБАТАНТОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*

Новый взгляд на историю Великой Отечественной войны связан с возвращением ей «человеческого измерения», а значит с исследованием повседневных практик советского человека в условиях военного времени. В статье на основе частной переписки, дневников и воспоминаний фронтовиков выявлена мотивация к установлению дружеских отношений в их среде, формы, содержание и значение таких коммуникаций.

Ключевые слова: *Великая Отечественная война 1941-1945 гг., письма, воспоминания, дневники, комбатанты, фронтовая повседневность, дружба.*

Круг дружеских связей комбатанта Великой Отечественной войны мог быть широким или узким, что зависело, прежде всего, от психологических особенностей личности, но, в немалой степени, и от того, каким образом складывались обстоятельства его фронтовой судьбы. Хотя контакты с друзьями, сложившиеся еще в довоенный период и поддерживаемые в годы войны при помощи переписки, тщательно сохранялись и оберегались, на первое место для «человека воюющего» выдвигалась связь особого рода – фронтовая дружба. А.Т. Твардовский в «Василии Теркине» отвел ей высшую ступень символической иерархии: «Свет пройди, – нигде не сыщешь, / Не случилось видеть мне / Дружбы той святей и чище, / Что бывает на войне»¹. В рассказах о фронтовой дружбе, являющихся непременной частью автобиографических повествований комбатантов и литературных произведений о Великой Отечественной войне, понятия «дружба», «братство», «товарищество» употребляются как синонимы и исключительно с положительными коннотациями².

Американский антрополог Лайонел Тайгер и близкие к нему авторы высказываются в пользу того, что феномен мужской солидарности и группирования по гендерному признаку является исторически всеоб-

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 12-01-00127а «Частная жизнь советского человека в условиях военного времени: пространство, границы и механизмы реализации (1941–1945 гг.)».

¹ Твардовский. 2010. С. 66.

² Если строго придерживаться дефиниций, то дружба имеет отличия и от братства, предполагающего кровно-родственную близость, и от товарищества, подразумевающего связанность общей принадлежностью и узами групповой солидарности.

щим, имеющим биолого-эволюционные предпосылки³. Выживание и жизненный успех отдельного мужчины и его группы (охотников, воинов) зависели от общей способности мужчин координировать свои усилия в борьбе с общим врагом; групповая солидарность и эмоциональная привязанность мужчин друг к другу и к группе как целому облегчали поддержание жесткой дисциплины, позволяли уменьшить внутрисгрупповую конкуренцию и порожаемое ею социальное напряжение. Мужскому воинскому товариществу всегда придавалось особое значение.

Что касается непосредственно дружбы, то классик немецкой социологии Фердинанд Тённис считал ее (наряду с родством и соседством) воплощением «общинности». Если на ранних стадиях развития, в патриархальных условиях «общинность» преобладает, то, по мере того как социальные связи становятся все более универсальными, значение «общинных» отношений (в том числе и дружбы) снижается. В отличие от Тённиса, который связывал развитие дружбы с дифференциацией общественной деятельности и социальной структуры, Георг Зиммель выдвигал на первый план дифференциацию самих личностей. По его мнению, в современном обществе возникает психологическая «закрытость» как результат собственного усложнения личности. Индивид с более сложным внутренним миром не может полностью раскрыться кому-либо одному. Поэтому тотальная дружба разделяется на ряд отношений, в каждом из которых раскрывается какая-то отдельная сторона Я (с одним человеком связывает симпатия, с другим – интеллектуальные интересы, с третьим – общий жизненный опыт и т.д.)⁴.

Обозначенные трансформации повышают индивидуальную избирательность, но одновременно взаимные обязанности друзей становятся менее определенными. В связи с этим возникает ряд проблем: соотношения инструментальных (практических, деловых) и экспрессивных (эмоциональных, аффективных) ценностей и мотивов дружбы; критериев разграничения дружбы и любви; ролевой структуры дружеских отношений (являются они добровольными или обязательными, равными или неравными и т.д.). Указанные проблемы актуальны и для избранной темы, так как «язык» фронтальной дружбы и сами формы дружеских отношений комбатантов Великой Отечественной войны чрезвычайно многообразны. Документы личного происхождения (частная переписка, дневники, воспоминания, стихи фронтовиков), интервью с участниками войны 1941–1945 гг. – уникальная основа для проникновения в суть этого феномена.

³ Кон. 2005. С. 22.

⁴ Там же. С. 7–8.

Что касается научных разработок на данную тему, то их немного; фронтовая дружба обычно попадает в поле зрения исследователей психологии и быта комбатантов, но как-то вскользь, преимущественно, благодаря сюжетам, иллюстрирующим характерные для военной повседневности ситуации, практики взаимопомощи в армейской среде⁵. А. Людке, обративший внимание на принципы воинского товарищества в связи с постановкой проблемы «войны как работы», выяснил, что ряд исследователей подразумевает под таковым сотрудничество в небольших подразделениях (группах) для выполнения боевых задач, однако, если опираться на мнение Т. Кюне, этот тип взаимоотношений все же относится к «иным формам доверия». «Солдаты испытывают особое “безликое” доверие, вырабатываемое и воспроизводимое в небольших группах (подразделениях), в рамках которых они воюют, а фактически и живут». Поддерживая точку зрения Кюне, Людке считает такой род отношений товарищеской по службе чрезвычайно значимым. Во-первых, он имел решающее значение в борьбе с физическими и психологическими трудностями фронтовой жизни. Во-вторых, взаимоотношения, основанные на доверии, позволяли военнослужащим обходить военную иерархию с ее строгими дисциплинарными предписаниями. «Именно важность взаимопомощи в бою и осознание необходимости сохранить доверие сбивало волны агрессивности, возникавшие в процессе общения командиров с подчиненными, а также рядовых солдат между собой», – заключает Людке⁶.

Близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов (а именно такова суть дружбы) построить в армейском коллективе в условиях войны было одновременно и просто, и сложно. Осложнения возникали тем быстрее и чаще, чем тяжелее была обстановка, в которой приходилось жить и работать военнослужащим. Невозможность дружбы в «нечеловеческих условиях» ощутили многие из тех, кто вступил в войну в юном возрасте, с запасом романтических иллюзий. Для восемнадцатилетнего москвича В.Г. Кагарлицкого разочарование наступило на второй неделе войны на окопных работах в Смоленской области, где из-за отупляющей работы и отсутствия нормального питания «некоторые сошлись, а некоторые стали друг другу зверями»⁷. Из дневников и воспоминаний известно, что суровые условия жизни в военных училищах обостряли потребность в дружеской поддержке, однако во многих случаях она оставалась неудовлетворенной. Данное про-

⁵ См. например: *Момотова., Петров.* 2005. С. 113–115.

⁶ *Людтке.* 2010. С. 230–231.

⁷ «Сохрани мои письма...». Вып. 2. С. 41.

творечие зафиксировали, в частности, дневниковые записи В.П. Киселева, курсанта Ленинградского артиллерийско-технического училища, в эвакуации располагавшегося в Ижевске: «Когда люди попадают в трудные условия, вместе переносят тяготы жизни, тогда дружба, товарищеская помощь и ободрение друг друга являются лучшим бальзамом. В училище в своей среде ничего подобного я, к сожалению, не вижу. Особенно неприятно наблюдать сцены за столом: рвут друг у друга куски, которые кажутся покрупнее, обделяют друг друга, стараются незаметно кинуть взгляд в чужую тарелку, и всем кажется, что у того-то больше супу, гуще он, и каждый почти кричит, чтобы не остаться голодным, и сам иногда кричишь». Данная ситуация разрешения не имела, так как существование курсантов продолжало оставаться на уровне выживания, и спустя месяц Киселев цитировал лермонтовское «и скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды». И продолжал: «...Редко можно найти здесь дружбу в настоящем значении этого слова, еще есть что-то похожее на людей, но только до тех пор, пока они не в столовой. А уж тут и сказывается звериная сущность наша. Сколько примеров! Тысячи! Говорят (я верю этому), люди бывают и в более трудных условиях, а между ними – дружба, спайка, которая держит их и ободряет...»⁸. Причин, способствовавших тому, что курсанты мечтали покинуть училища и отправиться на фронт, было немало. Поиск «настоящих» человеческих отношений занимал среди них не последнее место.

Трудности налаживания дружеских взаимоотношений внутри воинских коллективов определялись, в том числе, разнородностью контингента, который попадал в армию с волнами мобилизации. Москвич Л. Рабичев, записавшийся добровольцем осенью 1941 г. в Уфе (где находился в эвакуации), ощутил эту разнородность во время 115-километрового марша к Бирскому военному училищу. «Колонна наша состояла из ребят, окончивших десятилетку или один-два курса института. По документам все были равны, а по существу – москвичи, ленинградцы, киевляне, одеситы по своему развитию намного превосходили ребят из башкирских и татарских деревень. Они плохо говорили по-русски, держались обособленно и по вечерам пели под гармошку свои грустные монотонные песни. Соображали они тоже не очень». По окончании училища Рабичев попал на Центральный фронт и как командир взвода получил под свое начало 46 военнослужащих, состав которых был примечателен. Половину представляли люди среднего возраста, с военным опытом (8 человек получили его еще во время советско-финской войны), ранениями, медалями. Другая

⁸ Общество и власть... С. 1007, 1008.

половина – молодые люди 18-20 лет, «пороха не нюхали», попали в резерв из тюрем и лагерей (осужденные за мелкое хулиганство и воровство). Всех предстояло за короткий срок сделать связистами. В 1943 г. в армии, по воспоминаниям Рабичева, царило «то невыдуманное чувство локтя и солдатской взаимопомощи», которое было основано на уверенности в конечной победе и являлось важным фактором сплочения военнослужащих. Спустя шестьдесят лет после войны Рабичев признавался, что, «невзирая на различия образования, семейного воспитания и духовного опыта», воспринимал своих подчиненных как друзей и, «в какой-то мере, как офицер – как своих детей»⁹. Однако негативные стороны попавшей в его взвод молодежи – «в основном, храбрых, способных на неординарные решения бойцов» – открылись в 1945 г. в Восточной Пруссии при взаимодействии с гражданским населением, в трофейных компаниях.

Военнослужащие с высоким уровнем образования, горожане (особенно – в нескольких поколениях) оказывались в меньшинстве, буквально растворялись среди основного контингента красноармейцев – выходцев из деревни, не отличавшихся большой грамотностью. Е.С. Сенявская отмечает «почти поголовный по происхождению рабоче-крестьянский характер армии», явившийся следствием жесткого социального отбора и массовых репрессий довоенного периода¹⁰. Соответственно, возможности для удовлетворительных дружеских контактов у этого меньшинства были изначально сужены. Первыми впечатлениями 19-летнего Л. Андреева о сослуживцах были такие: «Народ простой: деревенские, одноликие...»¹¹. В том же духе описывает товарищей, с которыми провел на передовой не один месяц, гвардии старшина В.В. Сырцылин: «Темнота деревенская, многие совсем неграмотные»¹². При таких условиях контакты довольно часто складывались по линии «донор – реципиенты»; более образованные, начитанные рассказывали, разъясняли, в общем, вольно или невольно, расширяли кругозор тех, кому знаний не доставало. Это касалось самых разных областей: истории, литературы, географии, иностранных языков, политики. С другой стороны, рабочее или крестьянское происхождение закладывало иные навыки, которые также активно перенимались (к примеру, освоение плотницкого дела при постройке блиндажей происходило под руководством профессионалов, которые легко обнаруживались в воинском коллективе). Взаимные интересы обычно перекрещивались в разговорах на досуге, что с некоторой иронией описывает военный

⁹ Рабичев. 2008. С. 69, 96.

¹⁰ Сенявская. 1995. С. 74.

¹¹ Андреев. 2005. С. 57.

¹² Герои терпения... 2010. С. 100.

переводчик В. Раскин: «Сидим в землянке, разговариваем о войне и мире, девчатах, пушках, способах приготовления гречневой каши, первом законе Ньютона, ну и разумеется, поем “Синий платочек”». В другом письме Раскин выскажется яснее: «...Хочется чего-то повкуснее: сопромата, диалектики, хороших стихов»¹³.

На самом деле, беседы и дискуссии, продолжавшиеся далеко за полночь, не обязательно выявляли точки соприкосновения, иногда, напротив, – принципиальные разногласия, которые были препятствием к дружескому единению. Сырцылин, который активно участвовал в подобных спорах («о логике и смысле в жизни, о влиянии гипнотизма на человека, о религии» и многом другом), неоднократно терпел фиаско в своих попытках переубедить сослуживцев, уверенных в том, что «все жены изменницы и вообще они причина всех бедствий»¹⁴. Раскин делился в письме к хорошей знакомой сходным сюжетом из фронтовой жизни: «У нас нередко бывают споры о женщинах, ворах, дисциплине. Я всегда оказываюсь в абсолютном меньшинстве. Приходится опровергать взгляды ледникового периода. Где только эти мамонты были в мирное время? И ведь упираются, доказывают: “Ты жизни не знаешь”»¹⁵.

Возможности диалога существенно сокращались из-за «трехэтажной словесности», которая была неприемлема для части военнослужащих. Эти люди, даже притерпевшись к мату как постоянному фону фронтовой жизни, держались отстраненно от изъяснявшихся таким образом. «...Когда-то мне снова придется провести часок-другой в разговоре без мата! – грустил В. Раскин, между прочим, захвативший с собой на фронт «Историю Рима». – Он уже перестает быть бранью: “Выхожу из леса так растак перетак, а навстречу идет Х так его растак и вот этак”. А с этим Х спать под одной шинелью и делиться последним куском хлеба. Что поделаешь – война...». Раскин, сетовавший на то, что далеко не каждый из сослуживцев включает «в культуру» утреннее умывание, упорно искал на фронте друзей «своего круга». Находил тех, с кем «можно поговорить по-человечески», преимущественно, среди юристов и офицеров тяжелой артиллерии¹⁶. На трудности этого же порядка жаловался младший лейтенант, политрук роты М. Львович: «Я пока остался человеком, а человек, по Аристотелю, животное общественное; ищу общества на стороне, ибо здесь его не нахожу... Нужны люди, понимающие тебя, а со многими, с кем я пребываю, не могу найти общих точек

¹³ РГАСПИ. Ф. М-33. Оп. 1. Д. 1400. Л. 74, 50об.

¹⁴ Герои терпения... С. 92, 100.

¹⁵ РГАСПИ. Ф. М-33. Оп. 1. Д. 1400. Л. 32об.

¹⁶ Там же. Л. 14, 102.

соприкосновения взглядов»¹⁷. Впрочем, со временем реакция на грубую речь и недостаток культуры смягчалась, что было связано с интеграцией в сообщество комбатантов. Рядовой В. Цоглин отстаивал ценности этой общности в письме к сестре-москвичке, ополчившейся на жаргон, приобретенный братом. «Если бы ты знала фронтовых людей. Особенно гвардию. Ты бы не писала: “Мальчишечный, уличный жаргон к тебе не идет”. А трехэтажный мат с перебором ко мне идет? Без него жить нельзя, как без воды. Хотя это и считается у вас там хулиганством. Философия фронтовая коренным образом от вашей отличается»¹⁸.

Коммуникативные барьеры преодолевались силой того, что можно назвать «общностью участи»: от совместного проживания, типичных выполняемых обязанностей, повседневных проблем и основных рисков до разделяемого всеми (а фактически – разделенного на всех) «солдатского фатализма». Так, постоянное ожидание военнослужащими писем из дома и несинхронность в их получении приводили к тому, что повсеместно распространилась практика коллективного чтения переписки (т.е. приватная информация становилась, в той или иной степени, общедоступной, делая личность адресата-сослуживца прозрачнее). Но главное, на фронте с большой частотой возникали сложные, опасные для жизни ситуации, которые стремительно и однозначно проявляли человеческие качества, а, значит, выбор соответствующего определенным запросам/притязаниям товарища был, в каком-то смысле, облегчен, и даже, в отдельных случаях, претендовал на безошибочность. «[Я] с ним был всегда в дружбе как смелый с смелым...» – обозначал критерий своих отношений с однополчанином М.Т. Виталков¹⁹.

В воспоминаниях рядового взвода разведки Л.Л. Вегера, высказывается мнение, что условия для возникновения дружбы в пехоте были наилучшими. «Война так быстро тасовала нас, что мы не успевали узнать друг друга. После каждой атаки в батальоне почти поголовно выбивало рядовой состав. Фронтовая дружба, о которой часто пишут, возникала в более стабильных частях: авиации, артиллерии и других»²⁰. Тем не менее, дружеские связи развивались и в такой неблагоприятной обстановке, о чем свидетельствует письмо радиста Р.С. Гражданинова, после ранения вынужденно сменившего часть: «...Товарищи такие же, как и везде, неделю побудешь и, как братья». Вернувшийся в строй после выхода из окружения под Оршей политрук К.А. Зайцев предполагал: «...В бою то-

¹⁷ Архив научно-просветительного центра «Холокост». Ф. 9. Оп. 2. Д. 118. Л. 17.

¹⁸ Там же. Д. 160. Л. 41.

¹⁹ «Я пока жив...». 2010. С. 38.

²⁰ Вегер, 2003. С. 57.

варищи найдутся быстро, знакомство здесь полевое, боевое знакомство»²¹. «На фронте вообще быстро люди знакомятся и делаются друзьями на всю жизнь», – гласит запись из дневника артиллериста В.П. Киселева, в свое время отчаявшегося найти друга в военном училище²².

Так кто же такой был он – фронтальной друг? Судя по дневнику фото-корреспондента фронтальной газеты Е.С. Бялого, это был «партнер по песням, собеседник, с которым чаще и больше всех приходится беседовать, и даже спать вместе»²³. Сходные признаки, подтверждающие сокращение дистанции, особую близость, называл в письме жене сержант И.Н. Исаев: «Спим с ним вместе, как с тобой, и делим все пополам, один без другого ни на шаг...»²⁴. Из рассказа ополченца С.И. Лурье сыну, о дружбе позволяла говорить «еда из общего котелка» и решение общих бытовых проблем. Представляя боевого товарища («снайпера и даровитого архитектора») компании своих «старых» друзей из числа московских студентов, Е.И. Хаевский перечислял наиболее востребованные во фронтальной обстановке качества и умения: «Сей муж – мой напарник, мой друг. С ним делим печали, радости, веселье и хлеб, картошку и водку, поем веселые разухабистые песни, грустные украинские и русские напевы. Мерзнем в снегах, потеем на лыжах, стреляем и выпускаем боевые листы»²⁵.

Дружба часто завязывалась между сверстниками. «Мы оба одноклассники, и наши характеры, взгляды и рассуждения почти всегда одинаковы» (из письма Е.С. Юкиша). Она могла иметь очень теплый, интимный характер. Юкиш, переписывавшийся с женой своего однополчанина А.Ф. Колосова, обрисовал именно такой тип взаимоотношений: «Представьте себе, Зина, что мы так один за другим смотрим и один об одном беспокоимся, как мать о своем ребенке. <...> Если он идет выполнять какую-нибудь задачу, где грозит жизнью, я очень волнуюсь. Вот сейчас 23 часа. Леня выполняет поставленную перед ними задачу. И задачу, во время которой можно очень расплатиться с жизнью. Я сижу в землянке и все время думаю о нем. Леня со мной делится всем. Мы делим и радость, и горе». Война лишила Юкиша семьи, и Колосов, абсолютно доверяя другу, в целях моральной поддержки содействовал переписке между ним и своей женой. Они даже шутили на эту тему, «что Зинаида (Вы) как бы ничего не задумала с Юкишом (со мной)»²⁶.

²¹ РГАСПИ, Ф. М-33. Оп. 1. Д. 15. Л. 31; Д. 152. Л. 4.

²² Общество и власть... С. 1014.

²³ «Сохрани мои письма...» Вып. 1. С. 61.

²⁴ «Я пока жив...» С. 86.

²⁵ «Сохрани мои письма...» Вып. 1. С. 86; Вып. 2. С. 101.

²⁶ «Я пока жив...» С. 285–286.

Известно, что взаимное тяготение естественным образом возникает между земляками, людьми одной национальности. Есть также свидетельства об особом уважении и притяжении к людям с героическим боевым опытом. В.Г. Кульневич вспоминал, какую потрясающую атмосферу привнесли в его арtpолк герои Сталинграда. «Сталинградцы – это действительно особые люди! Много раз я думал и думаю сейчас, что мне просто повезло, что попал я в их среду, что в их рядах прошел самый трудный участок своего жизненного пути»²⁷.

Довольно часто фронтовым другом становился более опытный или более практичный человек. Рядом с таким шансы выжить возрастали, а это имело для комбатанта первостепенное значение. Воспоминания офицера-пехотинца А.З. Лебединцева сохранили один из множества подобных примеров. Во время марша, шагая в строю, он познакомился со старшим лейтенантом Афанасием Ивановичем Ельниковым. Оказалось, что оба были родом из Ставропольского края. «Протянув руку, он сказал: “Будем дружить”. Далее предупредил, чтобы я держался ближе к нему». Пользу от такого товарищества Лебединцев ощущал на протяжении месяца, который и продолжались их отношения. Во время остановок новый друг организовывал приличное жилье (а Лебединцеву поручал охранять его от посягательств конкурентов), доставал продукты и спиртное, проворачивал махинации с сухим пайком и меновые операции. «Так началась наша дружба, – вспоминал Лебединцев. – Он всегда являлся добытчиком, а я всего лишь хранителем. С такими людьми было удобно дружить, полагаясь на их контактность с местным населением»²⁸. Когда распределение по разным армиям Закавказского фронта развело друзей, Ельников беспокоился, что Лебединцев «сгинет» без его опеки.

Сотрудничество и взаимопомощь как ведущие мотивы товарищества фронтовиков подтверждают и интервью с ними, причем, как правило, акцентируется актуальность такого рода связей для конкретного рода войск. Владимир Ильич Бирюков (1923 г.р., артиллерист) рассказывает: «У нас индивидуализма там не было, потому что в расчете у каждого свои обязанности. Друг без друга... пушка не может стрелять. Один кто-то не выполняет свои обязанности... ну и все. Поэтому эта общая ответственность и обязанность, она давала то, что никаких претензий друг к другу уже не было». Правда, Бирюков уточняет, что складывавшиеся на такой основе связи правильнее называть «добрыми отношениями»²⁹. Ге-

²⁷ От солдата до генерала... 2008. С. 193.

²⁸ Лебединцев, Мухин. 2006. С. 122–128.

²⁹ Интервью с Владимиром Ильичем Бирюковым...

рой Советского Союза Николай Павлович Жуган (1917 г.р., летчик), кратко резюмирует: «Все были дружные. Вся эскадрилья». А про лучшего друга, сбитого на его глазах в одном из воздушных боев, рассказывает, что близко сошлись, потому что одновременно попали во вновь созданный после переформирования авиационный полк, кроме того, были одного возраста и одной национальности – украинцы³⁰.

На вопросы о дружбе на передовой наиболее подробно и емко ответил Олег Васильевич Бредихин (1925 г.р., разведчик). Фрагмент из интервью с ним заслуживает особого внимания.

Интервьюер: «У Вас сложились на фронте дружеские отношения?»

Олег Васильевич: «А там даже без этого нельзя. Обязательно должен быть напарник у тебя. Особенно во взводе разведки. Мы вместе едим. Вместе спим».

Интервьюер: «А если не будет такого человека?»

Олег Васильевич: «А если не будет? Ну, нельзя по-другому. Вот, допустим, глубокая осень, зима. Хорошо, если мы где-то там хату разбитую нашли, или блиндаж, или где-то устроились. А если лес или просто поле, и надо ночевать. Как ночевать? Обязательно вдвоем. Вот смотрите. У меня есть шинель, у него есть шинель. У меня есть плащ-палатка, у него есть плащ-палатка. Мы из этих двух плащ-палаток можем сделать палатку. А можем и не делать. Можем одну шинель растелить, одну плащ-палатку растелить. Вперед плащ-палатку, потом шинель. Потом мы легли, а нас укрыли сверху другой шинелью, и еще укрыли плащ-палаткой. От сырости. А если я один, у меня уже ничего этого не получается»

Интервьюер: «То есть это сотрудничество?»

Олег Васильевич: «Сотрудничество. Да. Напарник. В разведке должен у тебя быть хороший друг-напарник. Вот когда меня на Украине под селением Показное Запорожской области при артиллерийском налете завалило в траншее, что меня совсем не было видно, что, говорят, только кусок ноги торчал. А вперед-вперед, наступление шло. Мой напарник Андрей Кузьминов хотел меня вытаскивать, а ему командир взвода тогда не разрешил: “Вперед!” Вот они дошли до определенного [места], и в сумерках там остановились. И он вернулся назад, и меня потихоньку вытащил. А я живой оказался».

Интервьюер: «А если бы он не вернулся?»

Олег Васильевич: «А я бы там и остался. Да, он вытащил меня. Я был без сознания, но живой. И он нашел санитаря. И они приехали на

³⁰ Интервью с Николаем Павловичем Жуганом...

подводе, погрузили меня и отвезли в санроту. И вот я перед Вами. Если б не было товарища, ничего б не было этого. Я ему за это подарок, значит, потом сделал»³¹.

Единственным военным другом признает в своих воспоминаниях Н.Н. Никулин «лейтенанта Лешу», оказавшего ему, не приспособленному к фронтовому быту новобранцу, жизненно важную поддержку. «Мы познакомились еще в 1941 году. Я только что прибыл на фронт – с пополнением из блокадного Ленинграда, был дистрофиком и охвачен тяжелым унынием. Надо было воевать и работать, а я с трудом передвигал ноги. Лейтенант Леша, в противоположность всем остальным, проявил ко мне сочувствие, оберегал меня, как мог, даже приносил мне кусочки хлеба с маслом из своего дополнительного пайка. В те времена офицерам был положен спецпайок – масло, консервы, печенье. Обычно офицеры пожирали все это где-то в одиночестве, тайком от солдат. Не таков был лейтенант Леша. Сам дистрофик, тоже недавно из блокадного Ленинграда, он обладал замечательной силой духа и стремлением помочь ближнему». Об Алексее Никулин помнил, что был он инженером, любил книги и музыку. В темной землянке они читали друг другу стихи, беседовали, и это «помогало отключиться от смертного ужаса войны, от голода, холода, жестокости...». Поразительно, что последняя их встреча произошла спустя два года, и всего за несколько часов до смерти «лейтенанта Леша». Его, раненого в живот под польским городом Ченстохов, привезли в медсанроту, где лечился и Никулин. Обомлев, Никулин успел только поцеловать его и сказать несколько ободряющих слов. К утру Алексей, не пережив операции, умер. Никулин написал в мемуарах, что, повидав много смертей, эту утрату забыть не мог никогда³².

Именно к друзьям обращались с «последней» просьбой – сообщить родным о гибели, если так случится. Им оставляли дорогие вещи, которые у фронтовиков были буквально единичны (очки, нож, книгу). Младший лейтенант Ю.Я. Зильберман, служивший в редакции армейской газеты «Ворошиловский залп», писал брату о такой памятной вещи: «...В последнем бою Алексей погиб. Автоматная очередь прошла его грудь наискосок. Трубку он завещал мне, и сейчас, сидя за письмом, я курю ее»³³. Нередки случаи, когда фронтовые друзья старались помочь родственникам погибших, высылая им вещи, деньги, ходатайствуя об установлении пенсий детям, просто поддерживая письменное общение.

³¹ Интервью с Олегом Васильевичем Бредихиным...

³² *Никулин*. 2008. С. 163–164.

³³ «Сохрани мои письма...». Вып. 1. С. 77.

Несмотря на жесткую армейскую иерархию, тяготы войны порой стирали различия командиров и подчиненных. Эта тенденция просматривается в сообщениях о гибели фронтовиков, которые писались неофициально. «...Он был моим адъютантом, – сообщал сестре своего товарища майор В. Ребколо. – Мы сроднились друг с другом, мало того – полюбили друг друга, как родные братья, несмотря на то, что я офицер, командир части, а он всего-навсего подчиненный». А. Савицкий так характеризовал отношения со своим командиром А. Фурманом, когда пытался поддержать его отца, потерявшего связь с сыном: «Он был командиром взвода, а я у него во взводе командиром отделения. Наши отношения перешагнули рамки подчиненности. Особенно они улучшились по прибытии на фронт. На фронте с Александром мы находились все время вместе. Во-первых, по долгу службы, а во-вторых, Александр меня от себя не отпускал, да мне не было никакой необходимости от него уходить»³⁴.

В.И. Бирюков, служивший рядовым в артиллерийском взводе, поделился размышлениями о том, что война, в известной степени, упростила взаимоотношения между чинами. «...Потому что и командира могли убить, и рядового. В смысле, команд, приказов – тут беспрекословно. А в смысле бытовых отношений... не было такого, [чтоб] “Разрешите обратиться...”». Из личного опыта Бирюков привел случай товарищеских отношений с лейтенантом Горбенко – начпродом дивизиона. Считает, что сближение произошло на интеллектуальной почве, поскольку он сам окончил педучилище и два курса физико-математического факультета Ростовского университета. «...Со мной можно было поговорить на более широкие темы. Потому что все-таки я газеты читал. И, потом, я же изучал марксизм-ленинизм. И, как говорится, университетские программы». С другой стороны, вспоминает, что эта дружба приносила ему определенные выгоды; за разговорами с Горбенко («храбрым человеком», которому «боевым командиром быть, а не начпродом, но вот, интендантское окончил...») на долю Бирюкова перепали конфеты, спирт, папиросы³⁵.

Впрочем, стратегия отношений командира с подчиненными могла быть иной, практически не оставлявшей шансов на возникновение дружбы. Гвардии лейтенант, командир танка И.С. Украинцев, находясь в состоянии глубокой депрессии, излагал любимой девушке свою позицию по этому поводу: «Ведь здесь нет ни одного человека, с кем мог бы я поделиться, перед кем мог бы излить свою желчь. Кроме того, я и не ищу друзей, так как здесь существуют начальники и подчиненные, поэтому я

³⁴ Письма из войны... 2010. С. 133; «Сохрани мои письма...» Вып. 1. С. 39.

³⁵ Интервью с В.И. Бирюковым.

заклучил себя в определенные рамки, облекся в формальную личину офицера-службиста, для которого существует приказ и беспрекословное выполнение его»³⁶. В свою очередь, подчиненные тоже могли проявлять недружелюбный настрой по отношению к начальству. Строки из письма военнослужащей Г. Ярцевой к брату делают прозрачными противоречия, свойственные коммуникациям в армейской среде. «Ты можешь меня понять, если переживал чувство унижения, оскорбления своего “я”, своего достоинства. Я, боец, выполняю все приказания каких-то сержантиков, людей, которые никоим образом в мирное время не могли даже быть знакомыми со мной. А здесь я выполняю то, что мне прикажут»³⁷.

Как становится ясно из фронтовых писем, дневников, воспоминаний, препятствием для дружеских отношений между подчиненными и командирами становились офицерские привилегии (дополнительный паек, доступ к трофеям и др.), меньшая загруженность тяжелой повседневной работой (рядовые строили землянки и блиндажи не только для себя, но, в первую очередь, для командного состава), возможность обеспечить себе более комфортные и безопасные условия жизни. Источники свидетельствуют, что комсостав нередко демонстрировал грубость и истеричность, равнодушие к нуждам и настроению подчиненных, отчуждение от них. А.П. Соловьев, служивший в дивизионной газете, оставил запись в дневнике на эту тему: «Очень и очень плохо, что командиры наши не знают людей. Формы отношений между людьми в армии чересчур формальны. И эта формальность, при командирах, которые плохо знают свои кадры, по-моему вредно влияет на дело войны»³⁸. А Львович, столкнувшийся с тем, что офицеры не захотели праздновать новогодний праздник вместе со своими солдатами, сокрушался: «Ведь обидно, что, будучи по происхождению, безусловно, из демоса, плебейства, они где-то нахватались патрицианских, аристократических взглядов, манер...»³⁹.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что дружеские отношения военнослужащих строились в обстановке социального контроля, типичной для армии. Так, А. Людтке отмечает, что в исследованиях Т. Кюне на тему «боевого товарищества» отсутствует упоминание «неприятной стороны общения, включая социальный контроль и социальное давление», а ведь именно эти черты характерны для взаимоотношений в небольших группах работников в промышленности и солдат в армии⁴⁰. Рассматривая не-

³⁶ РГАСПИ. Ф. М-33. Оп. 1. Д. 1208. Л. 49.

³⁷ *Сенявская*. 2001. С. 38.

³⁸ Страницы скорби и любви... 2010. С. 22.

³⁹ Архив НПСЦ «Холокост». Ф. 9. Оп. 2. Д. 118. Л. 20.

⁴⁰ *Людтке*. 2010. С. 231.

посредственно ситуацию в Красной армии, следует учитывать дополнительные «отягчающие» обстоятельства, связанные со спецификой политического режима, установившегося в стране. Речь о том, что взаимный надзор был элементом незаметного, но разделяемого всеми фона советской власти. Опираясь на работы канонизированного теоретика советской педагогики 1930-х гг. А.С. Макаренко (а они не потеряли значения и в последующие десятилетия), О.В. Хархордин подчеркивает, что советское общество постоянно пыталось создать дискурсивную пару «коллектив – личность» и привилегировать в ней коллектив⁴¹. Коллектив, согласно определению Макаренко, выступал «контактной совокупностью, основанной на социалистическом принципе объединения». Биологический термин «органы коллектива», который он употреблял в своих работах, подразумевал, что коллектив – это «живой социальный организм», который связан воедино не отношениями любви, дружбы или соседства, а тем, что Макаренко называет отношениями «ответственной зависимости»⁴². И хотя, как замечено, коллективная жизнь не включала в себя дружескую составляющую, немаловажно, что любые взаимодействия, в том числе дружеские, протекали в контексте обозначенного «ответственного» коллективного существования. Такая конфигурация выглядела для советского человека естественно; она твердо закрепилась в практиках поведения населения еще в предвоенные годы.

Сталинизм нес в общественную психологию армии атмосферу нетерпимости, вражды, подозрительности и страха⁴³. Нередким явлением фронтовой жизни были доносы. Раздвоенная мораль сеяла сомнения даже в тех, кто шел в атаку рядом. Поэтому к сообществу, в котором предстояло жить и работать, обычно внимательно присматривались. Е.С. Бялый зафиксировал начальную стадию этого процесса в своем дневнике: «Путь показал лицо коллектива, в котором мне предстоит находиться. Вырисовываются контуры индивидуумов, составляющих этот коллектив». Далее, спустя несколько дней, делал уже более конкретные выводы: «Очень хочется побеседовать. Проанализировать вдвоем. Не расскажу, с кем чувствую пристрастность ответов, советов и указаний. Сдержан»⁴⁴.

Дружеские связи между мужчинами и женщинами, складывавшиеся в условиях фронта, заслуживают особого внимания. Характер этих отношений расшифровать не всегда просто, причем не только исследователям, но порой и их непосредственным участникам. Дело в том, что сме-

⁴¹ Хархордин. 2002. С. 15–16.

⁴² Там же. С. 93, 94.

⁴³ Сенявская. 1995. С. 74.

⁴⁴ «Сохрани мои письма...». Вып. 1. С. 62–63.

шение понятий «дружба» и «любовь», утвердившееся в риторике предвоенного десятилетия (примеры легко найти в лирической поэзии, песнях, газетной публицистике), создавало специфическую почву для налаживания взаимопонимания между полами. Слова «дружба», «друг», «дружнице», активно используемые фронтовиками и фронтовичками в частной переписке для описания своих отношений с противоположным полом (из числа военнослужащих или гражданского населения), очевидно, не обязательно свидетельствуют о взаимоотношениях товарищества. О многом говорит, к примеру, отрывок из письма военнослужащей Е. Охрименко, отправленного из Германии в Башкирию в феврале 1945 г.: «Милая мамочка, сообщаю, что я еще жива и здорова, живу хорошо, нахожусь в боевых условиях. <...> Мамочка, не беспокойся за меня, для меня сейчас все хороши мальчики, потому что и я для них хороша. Я каждую минутку вырываю для того, чтоб им помочь, постирать, полатать, а главное, что держу себя очень скромно, а потому меня зовут все ребята любимчиком. Правда, мамуся, есть много ребят хороших и каждый уговаривает дружить, но нет, мамуся, держусь и дружу только, как с товарищами и люблю, как братьев, а они меня, как сестру. А в армии, если дружить, то через неделю и замуж выйдешь»⁴⁵.

Еще более показательна, в этом смысле, история фронтовой дружбы, которую можно восстановить по десяткам писем санинструктора Анны Сологуб. Их адресат – боевой товарищ Анны Лев Теплов, который и передал переписку в РГАСПИ в 1980 г. Из писем девушки следует, что на фронте между ней и Львом (комсоргом роты) завязалась дружба, длившаяся, однако, недолго, так как Анна, раненная в 1943 г. под Сталинградом, оказалась в саратовском госпитале. Оттуда (и позже – снова с фронта) она отправила Льву множество писем, посвященных единственной теме – их дружбе. «...Что сблизило нас с тобой? – размышляла Анна. – Я не знаю. Ты сейчас мне самый дорогой человек. Я часто о тебе думаю. А почему? Не знаю. Мы были с тобой друзьями, делили кусочек сухаря пополам, пели вместе песни, спорили на комсомольском собрании и часто берегли друг друга. Я этого никогда не забуду. Мы не объяснялись с тобой в любви как другие, но наша дружба стала всего дороже и больше, чем любовь!». Поскольку Лев не только практически игнорировал переписку, но и отрицал факт самой дружбы, девушка упрекала его: «Ты не хочешь моей дружбы простой солдатской. Мы ведь дружили с тобой, а не крутили». Умоляла: «Родной, не порывай со мной связи...». Объясняла: «Пойми, я люблю тебя как солдата, как борца».

⁴⁵ Сеньявская. 2001. С. 40.

Призывала писать, напоминая и о том, что он – фронтовик, коммунист. Вероятно, такой порыв со стороны Анны объясняется и романтичностью натуры, и отсутствием в ее фронтовой жизни более сильной эмоциональной привязанности. Девушка осознала это уже на исходе войны, и написала Льву: «Ты взрослый человек и должен понять меня. Четвертый год на фронте, а нет товарища – друга. Я хочу, чтоб он был с чистой душой, как я, а этого нет, или я этого не понимаю в людях. Я ведь тоже человек, имею свои слабости и нуждаюсь в поддержке. Но просить о поддержке? Никогда. Уж как-нибудь обойдусь своими силами»⁴⁶.

Реалии фронтовой жизни (сходство в одежде между мужчинами и женщинами; практически одинаковый суровый быт; риски и опасности, нивелировавшие половые различия) подпитывали восприятие женщины, находившейся рядом, исключительно как «друга». Но поскольку это было отнюдь не очевидно для людей, находившихся в иных условиях, то отсюда возникали проблемные ситуации. Одна из них связана с письмом В.В. Сырцылина, где он описывал жене свои отношения с санинструктором батальона (причем совершенно не сомневался в положительной реакции адресата на этот рассказ): «...Когда я замерзал и меня клонило уже ко сну и не было сил подняться, она подползала под градом пуль ко мне и своим дыханием отогревала мне оочевенные пальцы и лицо. Когда я однажды вернулся мокрый из разведки, с разорванным полушубком (а была метель и мороз не меньше 30 градусов), она сняла свой и надела его на меня, сама оказавшись в джемпере и плаще в сугробе снега. В минуты затишья боя мы спали вдвоем в волчьей яме или воронке от снаряда, постелив палатку и мой полушубок и укрывшись ее полушубком». Когда Сырцылин пытался объяснить жене, ревновавшей его к боевым друзьям, что такое для него Родина, то включал в это понятие и друзей, обретенных на дорогах войны. «...За Родину! А что такое – Родина? Родина – это семья, т.е. ты и дочурка. Это – родная дедовская земля, это мои труды,

⁴⁶ РГАСПИ. Ф. М-33. Оп. 1. Д. 318. Л. 6об., 25, 9об., 17об., 39об. Известно, что А.М. Сологуб и Л.Н. Теплов состояли в переписке до 1980 г. (когда более 70 писем из нее были переданы в архив), жили в разных городах, но изредка встречались, были в курсе всех значимых событий личной жизни друг друга. В 1977 г. Анна Михайловна писала овдовевшему другу: «...По-видимому, у нас с тобой судьбы одинаковые. Я не знаю большего горя как одиночество. Вот уже 8 лет как я вдова. Мой сын уже вырос, кончает 10 класс. <...> Он веселый, заставляет меня всегда плясать, когда приходит от тебя письмо. А затем мы садимся и читаем твое письмо. Он тебя очень уважает и называет тебя Лев Николаевич – мамин фронтовой друг. <...> Что касается наших с тобой отношений. Вот уже 35 лет как мы знаем и ценим друг друга. Нам надо встретиться и решить свою судьбу. За нас этот вопрос никто решать не будет...» (РГАСПИ. Ф. М-33. Оп. 1. Д. 318. Л. 91об., 92об.).

моя воля и созидательное творчество за 13 лет самостоятельной жизни; это – мои старые друзья, это – мои товарищи по окопу и оружию, это – те девушки, которые спасли мне жизнь, девушки, которые в одиночестве стали моими сестрами, женами, матерями...»⁴⁷.

Дружеское сближение с женщинами-медработниками было, в известном смысле, predetermined. Находясь на грани жизни и смерти, раненые особенно нуждались в поддержке и участии, были в высшей степени эмоционально открыты. Если удавалось выжить, многие не только испытывали благодарность к врачам и сестрам, но и старались не прерывать с ними отношения. В Архиве Научно-просветительного Центра «Холокост» сохранились письма «сестрице Фриам» (так называли медсестру Фриму Кривицкую раненые) от пятнадцати корреспондентов – бывших пациентов полевого госпиталя № 587, где она служила с ноября 1941 г. Девушка проявляла участие к судьбе военнослужащих не только в госпитале. Однажды обратилась с просьбой к матери: «Под Москвой лежит мой раненый, у него ампутирована нога. По его письмам я поняла, что мальчик немного скучает. Белочка, сделай для меня приятное, съезди к нему и, если можешь, отвези ему что-нибудь вкусное. Это для меня будет большой радостью. Ты представь, что это для меня. Ладно?!»⁴⁸. Когда у Кривицкой начали отбирать переписку с бойцами «для отчета госпиталя», девушка решила переправлять ее домой.

Письма и дневниковые записи советских военнослужащих оставляют впечатление, что конец войны подверг фронтовую дружбу серьезным испытаниям. Именно в этот период некоторые красноармейцы почувствовали зыбкость сложившихся за время войны отношений, что, вероятно, было связано с общим эмоциональным истощением людей, резким повышением «котировок» жизни в финале войны и напряженным ожиданием возвращения к иному, мирному порядку существования. Еще одним фактором, негативно отразившимся на дружеских связях, была трофейная лихорадка 1945 года. Из-за суеты с трофеями, считает Леонид Рабичев, расстроилась его дружба со старшим лейтенантом Алексеем Тарасовым, с которым был «целый год один ординарец на двоих, один на двоих блиндаж». С Тарасовым (кандидатом технических наук, артистом, любителем поэзии) можно было говорить обо всем – «все о себе, все о стране, все об искусстве, жить друг без друга не могли», однако в Восточной Пруссии, с назначением его командиром роты, дружбе пришел конец. Сойдясь с презируемым раньше интендантом,

⁴⁷ Герои терпения... С. 103, 104.

⁴⁸ Архив НПЦ «Холокост». Ф. 9. Оп. 2. Д. 122. Л. 8.

старшим лейтенантом Щербаковым, проворачивавшим махинации с продуктами и обмундированием «за счет солдат», Тарасов пристрастился отправлять солдат за трофеями и полноправно распоряжаться добытым. «...Друга больше нет. Есть трофеи и Щербаков. Потрясенный, не нахожу себе места. Такого еще за всю войну не было»⁴⁹. Отношения перешли в ранг сугубо официальных и, в конце концов, Рабичев написал рапорт с просьбой перевести его на другую работу (командиром линейного взвода вместо взвода управления).

Таким образом, условия осуществления межличностных взаимодействий на разных этапах войны отличались, т.е. были более либо менее благоприятными. Так, в начале войны свою роль играл фактор ошеломления отступлением, огромных человеческих потерь, которые несла армия. Обстановка характеризовалась крайней нестабильностью, ближайшее окружение военнослужащего не раз меняло свой состав, происходила «притирка» разнородного контингента (разграничение функций, самоопределение в коллективе и др.). С точки зрения внешних условий наиболее благоприятным для развития дружеских контактов в среде военнослужащих видится второй период войны, проходивший под знаком «коренного перелома». Вера в окончательный разгром врага, подкрепленная победами Красной армии, подпитывала атмосферу солидарности бойцов. Что касается завершающего этапа войны, то, как свидетельствуют источники личного происхождения, в это время обострилась проблема одиночества фронтовиков; сказывались усталость от войны, выход за пределы родной страны, новизна заграничной среды.

Социальная история дружбы – это, прежде всего, история социального института дружбы и того языка, «дискурса», которым она описывается. Комбатанты Великой Отечественной войны, свидетельствуя о неприглядности и бесчеловечности ее нравов, дают понять, что условия военного времени потенциально мало способствовали отношениям дружбы. «На войне человек лишается всего, чем он жил до этого – родителей, жены, детей, имущества, книг, друзей, привычного общества и привычного окружения. Ему дана обезличивающая, уравнивающая его с другими форма и оружие, чтобы творить зло. Он беззащитен перед начальством, почти всегда несправедливым и пьяным, которое принуждает его не размышляя творить бесчинства, насилия и убийства. Иными словами, люди теряют на войне человеческий облик и превращаются в диких животных: жрут, спят, работают и убивают. А между тем, Богом данная душа человеческая всячески сопротивляется этому превращению.

⁴⁹ Рабичев. 2008. С. 163, 165.

Однако мало кому удается устоять в этом страшном поединке маленького человека с огромной и безжалостной войной»⁵⁰. Тем не менее, автор этих строк Н.Н. Никулин, прошедший войну от начала и до конца, на своем личном примере показывает, что жестокости войны противостояли отношения дружбы, когда «сам едва живой» офицер поддерживал рядового в наиболее трудные «первые недели фронтового быта». В этом смысле, дружба комбатантов явилась одним из источников Победы.

В условиях фронта одинаково важны и востребованы были как эмоционально-экспрессивные, так и инструментальные (деловые) функции дружбы. Отсюда – многообразие самих форм дружеских отношений, вариативность их параметров. Оставаясь индивидуально-избирательным межличностным отношением, фронтовая дружба развивалась на основе взаимной симпатии, доверия, взаимопонимания и взаимопомощи, общности интересов и увлечений, ценностно-ориентационного единства. Она являлась одним из основных факторов поддержания стабильности личности в экстремальных условиях. А поскольку отношения воинского товарищества и дружеского расположения порой переплетались, то известная поговорка могла бы быть перефразирована – «и в службу, и в дружбу».

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Архивные фонды

Архив Научно-просветительного Центра «Холокост». Ф. 9. Оп. 2. Д. 118, 122, 160.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. М-33. Оп. 1. Д. 15, 152, 318, 1208, 1400.

Полевые материалы

Интервью с В.И. Бирюковым, 1923 г.р., записано в г. Краснодаре И.Г. Тажидиновой 6 ноября 2012 г.
Интервью с О.В. Бредихиным, 1925 г.р., записано в г. Краснодаре И.Г. Тажидиновой 23 октября 2012 г.
Интервью с Н.П. Жуганом, 1917 г.р., записано в г. Краснодаре И.Г. Тажидиновой 25 октября 2012 г.

Опубликованные воспоминания, дневники, письма

Андреев Л.Г. Философия существования. Военные воспоминания. М.: Гелеос, 2005. 320 с.
Вегер Л.Л. Записки бойца-разведчика. М.: Новый век, 2003. 64 с.
Герои терпения. Великая Отечественная война в источниках личного происхождения: сб. документов / Ред.-сост. И.Г. Тажидинова. Краснодар: Диапазон-В, 2010. 240 с.
Лебединцев А.З., Мухин Ю.А. Отцы-командиры. М.: Яуза, 2006. 608 с.
Никулин Н.Н. Воспоминания о войне. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2008. 236 с.
От солдата до генерала. Воспоминания о войне. Том 9. М., 2008. 477 с.

⁵⁰ *Никулин.* 2008. С. 163–164.

- Общество и власть. Российская провинция. Июнь 1941 г.–1953 г. Том 3 / Сост. А.А. Кулаков, В.В. Смирнов, Л.П. Колодникова. М.: Институт Российской истории РАН, 2005. 1080 с.
- Письма из войны: сб. документов / Сост. Ю.Ф. Юшкин. Саранск: РАС. 2010. 432 с.
- Рабичев Л.* «Война все спишет»: мемуары, иллюстрации, документы, письма. М.: «Аввалон», 2008. 560 с.
- «Сохрани мои письма...»: Сборник писем и дневников евреев периода Великой Отечественной войны. Вып. 1 / Сост.: И.А. Альтман, Л.А. Терушкин. М.: Центр и Фонд «Холокост»: МИК, 2007. 320 с.
- «Сохрани мои письма...»: Сборник писем и дневников евреев периода Великой Отечественной войны. Вып. 2 / Сост.: И.А. Альтман, Л.А. Терушкин, И.В. Бродская. М.: Центр и Фонд «Холокост»: МИК, 2010. 328 с.
- Страницы скорби и любви... Документальные свидетельства Великой войны (к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) / Ред.-составитель В.Н. Иванов. Краснодар: КГУКИ, 2010. 145 с.
- «Я пока жив...» (Фронтовые письма 1941–1945 гг.) / Сост. М.Ю. Гусев. Н.Новгород: Комитет по делам архивов Нижегородской области, 2010. 304 с.

Литература

- Кон И.С.* Дружба. СПб.: Питер, 2005. 336 с.
- Людтке А.* История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и власти / Пер. с англ. и нем. К.А. Левинсона и др.; под общ. ред. и с предисл. С.В. Журавлева. М.: РОССПЭН, 2010. 271 с.
- Момотова Н.В., Петров В.Н.* Жизненные ценности военнослужащих периода Великой Отечественной войны по материалам писем с фронта // Социология Великой Победы. М. 2005.
- Сенявская Е.С.* 1941–1945: Фронтовое поколение: Историко-психологическое исследование. М.: Институт российской истории РАН, 1995. 220 с.
- Сенявская Е.С.* Женские судьбы сквозь призму военной цензуры // Военно-исторический архив. 2001. № 7(22).
- Твардовский А.Т.* Василий Теркин. М.: ИД «Комсомольская правда», 2010. 398 с.
- Хархордин О.В.* Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2002. 348 с.

Тажидинова Ирина Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент Кубанского государственного университета; *tajidinova@yandex.ru*

С. В. АРИСТОВ

СИСТЕМА НАЦИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ: ЕВРОПЕЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ

В статье дан анализ развития историографии проблемы нацистских концентрационных лагерей в Германии, Польше и Франции. Выделены важнейшие этапы в изучении вопроса и охарактеризованы наиболее значимые научные исследования.

Ключевые слова: концентрационный лагерь, историография, нацизм, Третий рейх.

К началу XXI века проблема нацистских концентрационных лагерей является одной из важнейших тем в европейской исторической науке. В первую очередь это относится к национальным историографиям Германии, Польши и Франции. Однако подобное положение сложилось отнюдь не сразу. Процесс изучения лагерной системы Третьего рейха имел в этих странах свою специфику и далеко не всегда развивался лишь поступательно, обогащаясь новыми фактами и интерпретациями. Тем не менее, именно обращение к германской, польской и французской историографии позволяет осмыслить основные тенденции, характерные для данной области знания на протяжении более чем 60 лет по окончании Второй мировой войны, а также подвести некоторые итоги изучения проблемы и, наконец, обозначить новые перспективы исследований.

Первые работы, посвященные данной проблематике, вышедшие в 1940-е гг., появлялись из под пера бывших заключенных, что приводило к смешению в тексте личных переживаний и попыток научного анализа¹. Пожалуй, самым известным и наиболее признанным трудом, относящимся к раннему периоду германской историографии, стало исследование О. Когона «Государство СС»². Автор, работавший над отчетом для американских оккупационных властей, в котором он должен был осветить различные аспекты функционирования Бухенвальда³, использовал полученные данные, а также материалы о других концентрационных лагерях и создал работу, затрагивающую широкий спектр вопросов. К рассмотрен-

¹ Bettelheim. 1943; Kautsky. 1946; Buber-Neumann. 1949; Buchmann. 1946; etc.

² Kogon. 1946.

³ Данный отчет создавался О. Когоном совместно с бывшими заключенными Бухенвальда и под руководством специальной американской разведывательной группы – Психологического подразделения, занимавшегося приемами ведения войны. Отчет был опубликован лишь в середине 1990 - х гг.: The Buchenwald Report. 1995.

ным в книге проблемам относились организация и развитие лагерной системы, роль в этом процессе таких нацистских организаций как СС, СД, РСХА, условия заключения узников, методы уничтожения в концлагерях, психология эсесовцев и заключенных, взаимосвязи лагерей с окружающим их миром. Написанная в 1945 г., работа была опубликована на трех языках уже в начале 1946 г. и распространялась в западных оккупационных зонах. К 1947 г. было издано более 135 000 экземпляров книги, которая и до сих пор активно используется учеными.

В контексте характеристики раннего этапа немецкой историографии еще одной работой бывшего узника, о которой следует упомянуть, стала книга писателя Ханса Гюнтера Адлера – «Терезиенштадт. 1941–1945»⁴. Она явилась первым изданием, затронувшим проблему Холокоста в Третьем рейхе. Однако в дальнейшем данная проблематика так и не стала объектом изучения немецких ученых. Отчасти этот пробел восполнялся переводом и публикацией в ФРГ работ Леона Полякова, Йозефа Вульфа и лорда Рассела⁵.

Проблема нацистских концентрационных лагерей в первые послевоенные десятилетия во Франции рассматривалась также преимущественно бывшими заключенными, а не учеными-историками. Переведенная на французский язык работа О. Когона была дополнена публикациями Давида Руссе и Жермены Тийон, которые сквозь призму собственных страданий представляли истории Бухенвальда и Равенсбрюка⁶. Помимо этих работ можно упомянуть серию из пяти брошюр аббата Франсуа Гольдшмита, посвященную жителям Эльзаса и Лотарингии – заключенным Дахау⁷. Создавая эти книги, автор основывался на свидетельствах бывших узников, полученных им в ходе судебного процесса над нацистскими преступниками в Дахау.

Для польской историографии нацистских преступлений и истории концентрационных лагерей, в частности, послевоенный период характеризовался в первую очередь сбором и публикацией документов и свидетельств. Ведущую роль в этом процессе играла созданная в 1945 г. Главная комиссия по изучению немецких преступлений в Польше⁸. Уже

⁴ Adler. 1955.

⁵ Das Dritte Reich... 1955; *Russell of Liverpool*. 1955.

⁶ *Rousset*. 1948; *Tillion*. 1946. Книга Ж. Тийон была в дальнейшем дополнена автором и опубликована в 1973 и 1988 гг.

⁷ *Goldschmitt*. 1948.

⁸ В 1949 г. Комиссия, в силу идеологических соображений, была переименована и получила название Главная комиссия по изучению нацистских преступлений в Польше.

в 1946 г. Комиссия начала издавать «Бюллетень», первые номера которого были опубликованы не только на польском, но на французском, и английском языках. Особое внимание в этом периодическом издании уделялось центрам уничтожения – Бельжецу, Собибору, Трешлинка. Так Здислав Лукашевич опубликовал в Бюллетене статью под названием «Лагерь уничтожения Трешлинка», в которой основываясь на свидетельских показаниях спасшихся из лагеря узников, а также поляков-свидетелей – служащих железной дороги, попытался осуществить первое «предварительное расследование» о масштабе нацистских преступлений и количестве уничтоженных в данном центре людей⁹. В том же году Лукашевич представил более объемную работу, посвященную Трешлинка. Однако, как и первая статья она все еще имела весьма небольшую источниковую базу и была выдержана в большей степени в эмоциональных тонах, чем аналитическом научном стиле¹⁰.

Особым вопросом, к которому обратились польские исследователи уже в конце 1940-х гг., стал Холокост. Комитет польских евреев создал Центральную еврейскую историческую комиссию, которая приступила к изданию сборников материалов и первых исследований о положении евреев во время войны¹¹. В середине 1945 г. историк, переживший немецкую оккупацию Львова – Филипп Фридман, являвшийся на тот момент президентом Исторической комиссии, опубликовал первую монографию, посвященную концентрационному лагерю Аушвиц, которая уже в следующем 1946 г. была переведена на английский язык¹². В этой связи необходимо подчеркнуть, что, не считая периода 1950–1955 гг., польская наука развивалась в постоянном взаимодействии с европейской и американской исторической наукой, и перевод исследования Фридмана на английский язык являлся тому показательным примером¹³.

Другим известным членом Еврейской исторической комиссии, внесшим особый вклад в изучение проблемы Холокоста, был Михаил Максимилиан Борвич. За несколько лет им был опубликован ряд книг, среди которых и новаторская работа, посвященная лагерной литерату-

⁹ *Lukaszkiwicz. Obóz zagłady Treblinka. 1946.*

¹⁰ *Lukaszkiwicz. Obóz straceń w Treblince. 1946.*

¹¹ В 1947 г. Комиссия стала основой созданного Еврейского исторического института, продолжившего ее деятельность.

¹² *Friedman. 1945.* После участия в Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля, Фридман принял решение не возвращаться в Польшу и вплоть до своего отъезда в США в 1948 г. помогал в создании Центра документации современного еврейства в Париже.

¹³ *Дурачински. 2002. С. 28.*

ре¹⁴. Однако после появления работы «Песнь уцелеет...». Антология стихотворений о евреях во время немецкой оккупации», в которую автор включил и стихи, затрагивавшие послевоенные еврейские погромы, Борвич вынужден был эмигрировать из Польши¹⁵.

Помимо Фридмана и Борвича ряд других членов Комиссии в 1945 – 1946 гг. опубликовали на польском и идише материалы, посвященные Холокосту, а также предприняли первые попытки охарактеризовать с помощью свидетельств бывших узников место центров уничтожения в этом процессе¹⁶. Кроме того, историческая Комиссия, а в дальнейшем и Еврейский исторический институт, стали издавать первые периодические издания на идише, посвященные проблеме Холокоста – «Jidisze Szriftn» и «Bleter far Geszichte».

Еще одним серьезным событием раннего этапа развития польской историографии концентрационных лагерей стал выход в свет в 1959 г. «Тетрадей Аушвица» – первого журнала в Европе, посвященного нацистскому концентрационному лагерю. Журнал (одним из его создателей стал историк Станислав Клодзински), представлял на своих страницах не только документы и свидетельства, но и научные статьи. С одной стороны он как бы продолжал традицию периодических публикаций, заданную «Бюллетенем Высшей комиссии по изучению немецких преступлений в Польше» и изданиями Еврейской исторической комиссии, с другой же стороны, он являлся абсолютно новаторским и на годы опередил появление подобных изданий в Западной Европе.

Европейские исследования конца 1940–50-х гг., посвященные нацистской лагерной системе, опирались на имевшуюся к тому моменту фрагментарную источниковую базу и в подавляющем большинстве случаев не принадлежали ученым-историкам. Этап накопления и публикации документов и свидетельств только начинался, но необходимо отдать должное польской исторической науке, которая осуществляла этот процесс гораздо активнее, чем это происходило в Германии или Франции, несмотря на идеологические барьеры. При этом особое место в польской историографии занимало изучение истории лагерей уничтожения, как особых центров в реализации Холокоста. И хотя в дальнейшем этот вопрос на протяжении ряда лет в начале 1950-х гг. интересо-

¹⁴ Borwicz. 1946.

¹⁵ Мицнер. 2010. Как и Фридман Борвич, оказался в Париже, где создал Центр по изучению истории польских евреев, занимавшийся документированием Холокоста. После эмиграции некоторые работы Борвича, опубликованные ранее в Польше, были переведены на французский язык.

¹⁶ См. напр.: *Dokumenty zbrodni...* 1945; *Auerbach*. 1946; *Reder*. 1946.

вал в первую очередь представителей еврейской диаспоры, он со временем вновь стал одним из важнейших аспектов изучения лагерной проблематики в Польше. Как отмечает Э. Дурачински, после 1956 г. в Польше начала развиваться тенденция «объективного взгляда на новейшую историю, учитывающего, по мере возможности, многообразие факторов, а не только классово-идеологический. С течением времени упомянутая тенденция, несмотря на препятствия, чинимые подвластной руководством правящей партии цензурой, становилась все более мощной, а к концу 1970-х гг. стала господствующей»¹⁷.

В 1960–70-е гг. в европейской историографии происходит первый значительный поворот к исследованиям историков-профессионалов. По мнению Н. Фрая, подобная задержка в появлении трудов ученых в ФРГ объяснялась необходимостью смены поколений – от тех, кто не хотел ничего знать о произошедшем, к тем, кто задавался вопросом, почему нацистские преступления стали возможны и как они осуществлялись¹⁸. Такое положение дел в европейской историографии в целом могло быть обусловлено и другими обстоятельствами – логикой развития научного знания, предполагающего необходимость некоторой временной отстраненности от изучаемого вопроса, глубиной травмы, нанесенной нацизмом коллективной европейской идентичности, субъективным восприятием научной общественностью публикаций бывших узников как вполне достаточных, хотя бы на начальном этапе, для описания происходившего в концентрационных лагерях.

В этот период в ГДР выходит в свет книга Хайнца Кюнриха. Основанная преимущественно на опубликованных материалах, а не на архивных источниках, она освещала лагерную проблему с марксистских позиций¹⁹. Автор представлял нацистскую систему концлагерей как следствие внутригерманской политики монополистического капитализма. Тем не менее, несмотря на все недостатки, эта работа явилась первой попыткой системного описания развития лагерной системы Третьего рейха.

После публикации дневника Анны Франк, вызвавшего бурный общественный резонанс в США и Европе, в ФРГ в 1962 г. была издана первая монография, посвященная Берген-Бельзену – нацистскому концентрационному лагерю, в котором погибла Анна²⁰. Массовый интерес к судебным процессам в Иерусалиме (1961 г.) и во Франкфурте-на-Майне

¹⁷ Дурачински. С. 29.

¹⁸ Frei. S.103.

¹⁹ Kühnrich. 1960.

²⁰ Kolb. 1962.

(1963–65 гг.), на которых были осуждены А. Эйхман и представители руководящего эсесовского персонала Аушвица, также стимулировал появление новых исследований западногерманских историков. В 1965 г. вышла в свет книга «Анатомия нацистского государства», авторами которой стали специалисты Мюнхенского Института современной истории, выступавшие экспертами на Франкфуртском процессе – Хельмут Краусник, Ханс-Адольф Якобсен, Ханс Буххайм и Мартин Брошат. Именно Брошат предпринял в этой книге первую в историографии ФРГ попытку панорамного исследования истории нацистской концлагерной системы, с выделением основных этапов в ее развитии и ведущих тенденций, характеризовавших разные периоды ее функционирования²¹. Свое исследование историк представлял как начальный этап масштабного проекта по сравнительному анализу концентрационных лагерей Третьего рейха²². Работа ученого, отличавшаяся и более представительной источниковой базой, и отсутствием влияния чуждой для ФРГ идеологической интерпретации – марксистской, по сравнению с монографией Х. Кюнриха, была позитивно воспринята научным сообществом и явилась стандартом, на который в дальнейшем стали ориентироваться ученые.

В дальнейшем предполагалось дополнить исследование Брошата работами, основанными на широком фактическом материале. Однако запланированный масштабный проект, отвечавший на запрос немецкого общества, так и не был реализован²³. Возможности Института современной истории не позволяли на тот момент проанализировать фрагментарную и рассредоточенную по всей Европе источниковую базу, а специальных исследований, которые могли бы оказать помощь в подобной работе, еще не существовало. В итоге, ученые под руководством Брошата ограничились публикацией в 1970 г. статей в журнале «*Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*», освещавшими историю нескольких концентрационных лагерей лишь на территории Германии – Фюльсбюттель, Нойенгамме, Дора, Маутхаузен, Берген-Бельзен и Равенсбрюк.

В последующее десятилетие основные дискуссии в западногерманской исторической науке были посвящены идеологическим вопросам, концептам «гитлеризма», «интенционализма», «функционализма». Про-

²¹ Broszat. 1965.

²² Однако в дальнейшем ученый вынужден был отказаться от своих планов в силу нехватки источников.

²³ Во введении к данному выпуску журнала М. Брошат подчеркивал, что в адрес Института регулярно приходили письма от граждан ФРГ, в том числе и от школьных учителей истории, нуждавшихся в подобных актуальных научных исследованиях нацистских концентрационных лагерей. См.: Studien zur... 1970. S. 7.

блема концентрационных лагерей осталась в стороне. Единственным исключением стала работа начинающего ученого Фалька Пингеля. Его исследование, основывавшееся, помимо прочего, на эсесовских документах и статистических данных нацистских отчетов, более детально, чем когда-либо ранее, представляло повседневность концентрационных лагерей, фокусируясь, тем не менее, в первую очередь на условиях существования только одной группы узников – «политических» заключенных.

В 1960–70-е гг. попытки создать обобщающие труды по истории нацистской системы концентрационных лагерей предпринимались и французскими учеными. Так в 1967 г. Йозеф Биллиг – исследователь Центра документации современного еврейства опубликовал монографию под названием «Гитлеризм и система концентрационных лагерей». Используя изданные ранее материалы, он рассматривал развитие лагерной системы в контексте нацистской идеологии и в процессе усиления влияния рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на внутреннюю политику Германии²⁴. Тогда же французская исследовательница Ольга Вормсер-Миго написала объемную диссертацию, преимуществом которой был не обобщающий анализ основных структур и тенденций развития нацистской лагерной системы, а та широкая источниковая база, на основе которой было создано более чем 600 страничное исследование²⁵. Автор впервые использовала материалы архивов не только Западной, но и Восточной Европы, в том числе документы, находившиеся в СССР. Более того, она первая обратила внимание на данные, хранящиеся в Поисковой службе Красного Креста, использовав их в своей работе. Тем не менее, пожалуй, наиболее дискуссионным моментом в работе, на котором в последующем акцентировали внимание исследователи, стало заявление автора об отсутствии газовых камер в концентрационных лагерях, располагавшихся на западной территории²⁶. Подобный тезис был подвергнут критике как со стороны людей, переживших заключение, так и ученых. В 1972 г. Товарищество бывших узников Маутхаузена обратилось к одному из своих членов – Сержу Шумоффу с просьбой

²⁴ Billig. L'Hitlérisme... 1967. Позднее французский исследователь подготовил еще одну работу, затрагивавшую роль принудительного труда узников в экономике Третьего рейха. См.: Billig. Les camps... 1973.

²⁵ Wormser-Migot. 1968. В 1970 г. была издана обобщающая монография Вормсер-Миго, о системе концентрационных лагерей. См.: Wormser-Migot. 1970.

²⁶ Тезис об отсутствии газовых камер в нацистских концентрационных лагерях был одним из основных в т.н. «негационизме» – крайнем проявлении ревизионистской интерпретации нацистских преступлений. Одним из ярких представителей подобного направления был профессор Лионского университета Робер Форриссон, который в конце 1970-х гг. опубликовал книгу, отрицавшую наличие газовых камер.

подготовить исследование о газовой камере в Маутхаузене. Эта работа проводилась на протяжении нескольких десятилетий и была опубликована на немецком и французском языках в 2000 г.²⁷

В 1978 г. по инициативе Шумоффа и ряда других бывших узников для поддержки профессиональных исторических исследований по истории концентрационных лагерей была создана комиссия под названием «За историю». Именно эта комиссия, а также Товарищество узников Маутхаузена, всемерно поддерживали Жака Барьети в его руководстве диссертацией Мишеля Фабреге, посвященной истории Маутхаузена²⁸.

Лидером в публикации трудов, посвященных истории нацистских концентрационных лагерей в 1960–70-е гг., стала польская историческая наука, в которой продолжала развиваться тенденция максимально объективного взгляда на историю, несмотря на наличие цензуры и четко обозначенной государственной идеологии. Эти десятилетия были ознаменованы ростом числа работ, как по отдельным лагерям, так и по всей системе в целом. Появились труды, посвященные Равенсбрюку, Бухенвальду, Маутхаузену, Дахау, Нойенгамме, Майданеку²⁹. Научные монографии дополнялись публикацией статей и материалов в новых периодических изданиях – «Тетради Майданека» (1965) и «Штуттхофф. Тетради музея» (1976), а также фундаментальным изданием документов о нацистской оккупационной политике в Польше под редакцией Ч. Мадайчика³⁰.

По аналогии с монографией Х. Кюнриха, в Польше в 1964 г. появляется первый обобщающий труд по нацистской лагерной системе, трактующий ее как элемент «германского империализма»³¹. Автором работы стал известный польский историк, бывший узник Гросс-Розена Анджей Камински. В 1973 г. он был вынужден эмигрировать в ФРГ, где, будучи профессором университета в Вуппертале, опубликовал исследование, явившееся одной из ранних попыток системного анализа феномена концентрационных лагерей начиная с 1896 г. – появления первых испанских лагерей во время войны за независимость на Кубе, вплоть до конца XX века³². Подобный подход к проблеме не получил широкого распростра-

²⁷ Choumoff. 2000.

²⁸ В 1995 г. Мишель Фабреге в Сорбонне защитил свой фундаментальный труд, посвященный Маутхаузену, а в 1999 г. эта работа была опубликована. См.: *Fabréguet*. 1999.

²⁹ См. напр.: *Czarnecki, Zonik*. 1969; *Musiol*. 1971; *Kiedrzyńska*. 1961; *Suchowiak*. 1973; *Klaffkowski*. 1969.

³⁰ *Zamojszczyzna*... 1977.

³¹ *Kamiński* Hitlerowskie obozy...1964.

³² *Kamiński* Konzentrationslager...1982.

нения ни в Польше, ни в Германии, но во Франции ему было уделено в дальнейшем особое внимание.

Несмотря на все успехи польской исторической науки, в 1960-е гг. изучение Холокоста в Польше и роли в нем концентрационных лагерей находилось под серьезным идеологическим давлением. Не в последнюю очередь это было связано с антисемитской политикой, пик которой пришелся на 1967–68 гг. Сложившаяся ситуация привела не только к массовой эмиграции евреев из страны (в том числе и ученых), но и нашла свое отражение в историографии проблемы концентрационных лагерей. Появившаяся в 1968 г. фундаментальная польская Энциклопедия, содержала «идеологически скорректированную» статью по данному вопросу. Лагеря характеризовались как инструмент, служивший «реализации программы биологического уничтожения польского народа..., а также как главный инструмент уничтожения еврейского народа». В Энциклопедии отсутствовала информация по поводу центров уничтожения евреев и цыган³³. В этом же году Главная комиссия по изучению нацистских преступлений начала реализацию программы исследований, которая должна была закончиться публикацией списка лагерей и нацистских институтов, существовавших в Польше. Сбор документов и их редакция заняли много времени, поэтому к моменту издания, идеологическая цель работы, заключавшаяся в обосновании функционирования концлагерей как инструмента по уничтожению в первую очередь поляков, утратила свою актуальность. В итоге справочник «Нацистские лагеря на польской территории. Энциклопедический гид», так и не подвергся идеологической обработке в ущерб научной интерпретации.

К концу 1970-х гг. в европейской исторической науке имелось лишь несколько попыток обобщающих исследований, посвященных нацистской системе концентрационных лагерей, при этом широкий спектр вопросов оставался вне поля зрения ученых в силу разных обстоятельств. Однако в общественном сознании сформировалось представление, основанное, возможно, на факте большого количества публикаций мемуаров бывших узников, что данная проблема изучена достаточно хорошо, и исследователи вряд ли смогут добавить к ней что-либо новое³⁴.

В 1980-е гг. в ФРГ появляются монографии историков, посвященные лагерям в районе Эмсланд и первые, во многом краеведческие исследования, о филиалах концентрационных лагерей в районе Ганнове-

³³ *Tomaszewski*. 2001. P. 56.

³⁴ *Concentration camps...* 2010. P. 5.

ра³⁵. Кроме того, как верно отмечает немецкая исследовательница Карин Орт, уже с конца 1970-х гг. особенно активны стали различные общественные и политические объединения, выступавшие с инициативами об увековечивании памяти погибших в концентрационных лагерях и о сохранении памяти о нацистских преступлениях. Появившиеся в результате деятельности данных групп публикации были в большей степени эмоциональны и далеки от научного анализа произошедшего³⁶.

Так называемый «спор историков», характеризовавший историографию ФРГ конца 1980-х гг., с новой силой актуализировал проблему Холокоста и возможностей сравнения данного феномена с другими проявлениями геноцида в XX веке.

В начале 1980-х гг. во Франции также появляется несколько значимых работ. Бывший узник, священник Жозеф Мартиньер при поддержке музея Сопротивления и депортации в Безансоне опубликовал в 1984 г. монографию о концентрационном лагере Хинцерт³⁷. Истории Ораниенбурга и Заксенхаузена была посвящена работа Жана Безо³⁸. Продолжением традиции обобщающих исследований во французской историографии явилась работа Мориса Вотейя, посвященная эволюции роли системы нацистских концентрационных лагерей³⁹.

В 1983 г. появляется международное исследование бывших заключенных, посвященное доказательству функционирования газовых камер в концентрационных лагерях Третьего рейха⁴⁰. Целью работы коллектива, в который входили Ойген Когон, Герман Лангбайн, Жермен Тийон, Серж Шумофф и др., было создание фундаментального труда, опровергающего распространенные ревизионистские позиции.

1980-е годы в польской исторической науке в целом и в историографии нацистских концентрационных лагерей в частности, были временем ослабления давления цензуры, активизации подпольной издательской деятельности, включая издание переводов зарубежных книг⁴¹. Параллельно с этими процессами продолжалось исследование лагерной системы Третьего рейха и в рамках официальной академической науки. В этот период был опубликован фундаментальный труд К. Дунина-

³⁵ *Kosthorst, Walter.* 1983; *Suhr.* 1985; *Konzentrationslager in...* 1985.

³⁶ *Orth Die Historiografie...* 2007. S. 583.

³⁷ *Martinière.* 1984.

³⁸ *Bezaut.* 1989.

³⁹ *Voutey.* 1984.

⁴⁰ В 1983 г. работа появилась на немецком языке, а через год она уже была переведена на французский. См.: *Kogon, Langbein, Ruckerl.* 1983.

⁴¹ *Дурачински.* С. 30.

Васовича «Спротивление в концентрационных лагерях», который на широком фактическом материале представлял теоретические вопросы, посвященные проблеме границ и возможностей Спротивления в условиях нацистских лагерей, а также характеризовал различные формы проявления данного феномена⁴². Продолжали появляться публикации, посвященные отдельным лагерям на территории оккупированной Польши⁴³.

Сложившаяся к концу 1980-х гг. ситуация в западной, и в первую очередь немецкой исторической науке, кардинально изменилась в 1990-е. Политические трансформации в Европе, распад Советского Союза привели к открытию границ и упростили доступ к документам, находившимся в различных национальных архивах. Именно в это время широкое распространение получили проекты «устной истории», позволившие значительно дополнить источниковую базу благодаря интервью с бывшими узниками. В результате, качественный уровень трудов о нацистских концентрационных лагерях резко возрос.

Безусловным лидером в исследовании истории нацистской лагерной системы стала Германия. Уже в начале 1990-х гг. появилась монография Германа Каиенбурга, освещавшая историю Нойенгамме сквозь призму нацистской политики «уничтожения трудом». Довоенный период в развитии концлагерной системы был представлен в работах Йоханнеса Тухеля и Клауса Дробиша. Попытку создать обобщающий труд предприняла Гудрун Шварц. Сибилла Штайнбахер постаралась в своей монографии впервые раскрыть не только историю Дахау, но и продемонстрировать его связи с окружающим лагерь внешним миром. Обращение к архивам из Восточной Европы позволило немецким исследователям приступить к изучению нацистских преступлений на Востоке, осуществлявшихся и посредством лагерей⁴⁴. Однако анализа лагерной политики на оккупированных территориях СССР так и не появилось.

В начале 1990-х гг. в германской науке появился ряд исследований, пытавшихся проинтерпретировать феномен концентрационных лагерей с новых методологических позиций. Среди подобных работ наиболее известной стала монография социолога Вольфганга Софски «Порядок террора: концентрационный лагерь»⁴⁵. Продолжатель веберовской традиции «идеальных типов», Софски пытался объяснить функционирование лагерей посредством конструкта «абсолютной власти» – власти, возникавшей в концентрационном лагере и не имевшей ранее аналогий в человеческой

⁴² *Dunin-Wąsowicz*. 1983.

⁴³ См. напр.: *Cybulski*. 1987; *Marszałek*. 1987; *Kielkowski*. 1981.

⁴⁴ См. подробнее: *Orth* Die Historiografie... 2007.

⁴⁵ *Sofsky*. 1993.

истории. В результате, в работе немецкого автора возник некий абстрактный образ лагеря, находящегося вне пространственно-временного континуума. Именно этот подход В. Софски позднее был подвергнут критике немецких историков, продолживших свою работу в русле позитивистского направления, заданного Мартином Брошатом.

Параллельно с интенсификацией научных исследований, в Германии возросло и число журналов, в которых публиковались документы, свидетельства выживших, обсуждались новейшие достижения ученых. К возникшей в 1985 г. серии «Тетради Дахау» добавляются «Статьи по истории национал-социалистического преследования в северной Германии» (Мемориальный комплекс Нойенгамме, 1994), «Серия Фонда бранденбургских мемориалов» (1994), «Письма Берген-Бельзена» (1995). Для западных ученых стали доступны и переведены, например на немецкий язык, такие периодические издания как «Тетради Аушвица», «Информационный бюллетень Государственного музея Аушвиц-Биркенау», журнальные серии мемориальных музеев Штуттхофа и Майданека.

Важным событием в развитии западной историографии нацистских концентрационных лагерей стала конференция, приуроченная к 50-летию освобождения Бухенвальда⁴⁶. Ее целью был обмен научными достижениями ученых Восточной и Западной Европы, подведение некоторых промежуточных итогов, а также обозначение дальнейших перспектив в данной области. В конференции приняли участие свыше 70 исследователей из 10 стран. Ее материалы, представленные в двухтомнике «Концентрационные лагеря – развитие и структура», были опубликованы в 1998 г. Статьи разделенные на семь секций, обозначали актуальные тренды научного знания в данной области: особенности ранней фазы развития лагерной системы (до 1936/1937 гг.), функционирование основных лагерей на территории рейха до конца войны, история лагерей на Востоке, принудительный труд узников, деятельность нацистских преступников, положение заключенных в концлагере, специфика лагерной системы во время последней фазы войны.

Значимой особенностью, объединившей все эти публикации, стало, с одной стороны, рассмотрение динамики изменения лагерной системы, а с другой, изучение устойчивых, статичных структур, характерных для ее

⁴⁶ Die nationalsozialistischen Konzentrationslager... 1998. Значение данной конференции для развития историографии нацистских лагерей, сравнимо с конференцией 1980 г., организованной Яд-Вашемом и внесшей серьезный вклад в изучение места концентрационных лагерей в реализации Холокоста. Материалы Иерусалимской конференции были опубликованы: The Nazi Concentration Camps... 1984.

функционирования⁴⁷. Положение каждого нацистского концентрационного лагеря, каждой группы узников или эсесовцев рассматривалось теперь исследователями с позиций, учитывающих не только общие черты, но и специфические составляющие, варьировавшиеся под влиянием разных факторов. Конференция стала демонстрацией утверждения историографической тенденции, имеющей своей главной целью анализ функционирования реальности отдельного концентрационного лагеря или его филиалов на основе скрупулёзного изучения многопланового фактического материала. Подобное исследовательское направление, по сути, противостояло чрезмерно обобщенному, абстрактному описанию лагерной реальности, попытка которого была предпринята В. Софски. Однако именно немецкий социолог, продолжая настаивать на своей позиции, в заключительной статье сборника конференции отмечал, что историография, к сожалению, не отошла от локальных исследований, теряя тем самым возможность оценки лагерного феномена с точки зрения универсального антропологического измерения⁴⁸.

Конец 1990–2000-е гг. были ознаменованы появлением обобщающих исследований нового уровня. От первых подобных попыток Брошата, Вормсер-Миго, Биллига их отличает, в первую очередь, опора на более развернутую фактологическую базу. Однако они все также выдержаны в русле позитивистского изложения фактов, далекого от новых методологических интерпретаций. В Германии Карин Орт опубликовала монографию «Система нацистских концентрационных лагерей: политическая организационная история»⁴⁹. Исследовательница продемонстрировала, как происходили изменения в системе на протяжении всего периода нацистского господства, а также описала те функции, которые она выполняла на различных этапах своего существования. Орт представляла процесс функционирования отдельных лагерей лишь в качестве примера, характеризующего основные тенденции. Сквозь призму политики нацистов К. Орт рассматривала условия заключения, судьбу различных национальных и социальных групп узников.

Масштабным обобщающим проектом стало девятитомное издание под редакцией Вольфганга Бенца и Барбары Дистель «Место террора – история нацистских концентрационных лагерей»⁵⁰. В первую очередь оно было посвящено двадцати четырем концентрационным лагерям,

⁴⁷ Die nationalsozialistischen Konzentrationslager... 1998. Bd. 1. S. 33.

⁴⁸ Ibid. Bd. 2. S. 1142.

⁴⁹ Orth Das System... 1999.

⁵⁰ Der Ort des Terrors... 2005–2009.

подчинявшимся Главному административно-хозяйственному управлению СС, и краткой характеристике истории практически 1000 филиалов этих лагерей. В нескольких томах серии также рассматривались вопросы, связанные с функционированием центров уничтожения (Хелмно, Бельжец, Трешлинка, Собибор) и теми типами лагерей, которые не считались концентрационными – «лагерьями превентивного ареста для евреев», «исправительно-трудовыми лагерьями», лагерьями гестапо и СД.

Работы обобщающего плана характерны также для современных польской и французской историографий. Так, в Польше примером исследований подобного рода является пятитомное издание, посвященное истории Аушвица-Биркенау – символа нацистской политики уничтожения⁵¹. Во французской исторической науке развивается тенденция по исследованию самого феномена концентрационных лагерей⁵². В монографии Жозефа Котека и Пьера Ригуло «Век лагерей. Лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний» авторы предлагают собственное определение данного явления и анализируют его основные типы, среди которых особое место занимают нацистские лагеря⁵³. Исследование Котека и Ригуло развивает направление, целью которого стал сравнительный анализ разных лагерных систем, с выявлением общих и особенных черт, присущих феномену концентрационного лагеря.

Характеризуя современный этап в развитии западной историографии, нельзя не упомянуть о масштабном проекте, реализуемом в последние годы в США, где на протяжении десятилетий основной темой была проблема Холокоста, и в широком спектре исследовательской и мемуарной литературы, посвященной данному вопросу, нацистские концлагеря до сих пор занимают скромное место. Лишь в 2010 г. была опубликована коллективная монография немецких и американских авторов, освещающая ряд проблем в истории нацистских концентрационных лагерей⁵⁴. Эта работа представила актуальное состояние вопроса для англоязычного читателя, который не был знаком с основными достижениями немецкой исторической науки – лидера в данной области исследований.

Вполне вероятно, что ситуация может измениться в ближайшее время в связи с реализацией проекта по изданию семитомной «Энциклопедии лагерей и гетто», публикация которой осуществляется Мемориальным музеем Холокоста в США, при участии сотен ученых из различных

⁵¹ Auschwitz 1940–1945... 1995.

⁵² См. напр.: Brossat. 1996.

⁵³ См. перевод данной работы на русский язык: Котек, Ригуло. 2003.

⁵⁴ Concentration camps... 2010.

стран⁵⁵. Целью Энциклопедии является представление максимальной имеющейся информации о как можно большем числе мест нацистских преступлений⁵⁶. По сравнению с немецким девятитомником под редакцией Бенца и Дистель, в американском издании концентрационным лагерям и их филиалам посвящен лишь первый том, остальные же шесть томов фокусируются на иных составляющих нацистской империи террора – гетто в Восточной Европе, лагерях и гетто на территориях союзников Германии, лагерях и местах заключения подконтрольных немецкой военной администрации, трудовых лагерях, подчинявшихся СС, полиции, гражданской администрации, частным фирмам.

По сути, обе серии – и «Место террора», и «Энциклопедия» – представляют собой фундаментальные справочные издания, дополняющие друг друга и дающие возможность исследователю, педагогу, музейному работнику, любому интересующемуся данной проблематикой, получить актуальную информацию, основанную на современных научных достижениях. Такие работы создают базу для междисциплинарной интерпретации проблемы концентрационных лагерей. Однако объемность серий в большинстве случаев не позволяет широкому кругу читателей ознакомиться со всей представленной информацией, что является недостатком подобных публикаций.

Подводя итог анализу развития европейской историографии нацистских концентрационных лагерей в рамках германской, французской и польской исторической науки, необходимо отметить, что процесс изучения этого «конвейера смерти», несмотря на специфические черты, выделявшие исторические исследования каждой из стран, имел и общие тенденции. В этой связи представляется закономерным предложить общую европейскую периодизацию изучения данной проблемы, состоящую из нескольких этапов. Первый этап (1940–50-е гг.) характеризовался абсолютным доминированием работ бывших узников над исследованиями ученых и недостаточной источниковой базой для воссоздания всесторонней картины происходившего в нацистских концентрационных лагерях. На втором этапе (1960–80-х гг.) для всех трех историографий был характерен значительный рост числа трудов профессиональных историков,

⁵⁵ Издание энциклопедии началось в 2009 г. и на данный момент опубликовано два тома. См.: Encyclopedia... 2009; Encyclopedia... 2012.

⁵⁶ Когда подготовка энциклопедии только начиналась, сотрудники Центра современных исследований Холокоста при Музее Холокоста, планировали идентифицировать и опубликовать информацию о 5000–7000 мест нацистских преступлений. Однако уже к моменту издания второго тома в 2012 г. учеными разных стран было обнаружено около 30000 подобных мест и это число продолжает увеличиваться.

наряду с сохранявшейся тенденцией публикации работ бывших заключенных. В этот период появились первые попытки создания обобщающих исследований, которые, тем не менее, продолжали ограничиваться нехваткой источников. Наконец третий этап, начавшийся в 1990-е гг. и продолжающийся до сих пор, характеризуется повышением качественного и количественного уровня исследований, основывающихся на различных типах источников (от архивных документов до материалов интервью) и обращающихся к новым проблемам, например, вопросам, связанным с преследованием цыган, «асоциальных» и «криминальных» узников, проблемам «лагерного самоуправления», различным аспектам деятельности эсесовской администрации лагерей, роли принудительного труда в уничтожении заключенных и т.д. На данном этапе впервые появляются фундаментальные многотомные исследования, претендующие на то, чтобы в максимальной мере обобщить всю имеющуюся информацию о системе нацистских концентрационных лагерей.

Вместе с тем к началу XXI века остался нерешенным целый ряд важных вопросов. К их числу относится, например, исследование функционирования лагерной системы на оккупированной территории Советского Союза⁵⁷. Недостаточно изучены аспекты, связанные с характеристикой рядового эсесовского персонала концентрационных лагерей – их биографии, мотивы поведения и специфические черты группы. По-прежнему мало трудов сравнительного характера, позволяющих представить место нацистской лагерной системы в контексте других подобных систем XX века. Все перечисленные вопросы представляют собой лишь небольшую часть возможных перспектив дальнейшего изучения концлагерного феномена Третьего рейха. Однако какие бы проблемы не стали приоритетными в дальнейшем, очевидно одно – рассмотрение истории нацистских концентрационных лагерей, без сомнения, будет продолжаться, поддерживаясь не только логикой развития научного знания, стремящегося ответить на новые вызовы, но и памятью о жертвах нацистского террора и о преступниках, его реализовавших. Имена ни тех, ни других не должны быть забыты.

⁵⁷ В качестве перспективы будущих исследований данная тема затрагивалась, например, на парижской конференции, организованной французским центром Яхад-Ин Унум и Центром современных исследований Холокоста (Вашингтон) в 2011 г. Предварительные итоги исследования одного из аспектов данного вопроса, были также представлены автором на международной конференции «Вторая мировая война, нацистские преступления и Холокост на территории СССР» (Высшая школа экономики, Национальный музей Холокоста).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Дурачински Э.* Польская историография Новейшей истории // Новая и Новейшая история. № 1. 2002. С. 25-57.
- Мицнер П.* Не нужно рассчитывать на интеллект людей с оружием в руках. Судьба и исследовательский метод Михала Борвича // Новая Польша. № 11. 2010. <http://www.novpol.ru/index.php?id=1395> [дата обращения 4. 02. 2013 г.]
- Котек Ж., Ругуло П.* Век лагерей. Лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний. М.: Текст, 2003.
- Adler H.-G.* Theresienstadt 1941-1945. Tübingen: Mohr, 1955.
- Auerbach R.* Treblinka. Warszawa, Kraków, 1946.
- Auschwitz 1940–1945 węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. 5 Bd. / Red. Długoborski W., Piper F. Oświęcim: Wydaw. Państwowego Muzeum, 1995.
- Bettelheim B.* Individual and Mass Behavior in Extreme Situations // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1943. № 38. P. 417-452.
- Bezaut J.* Oranienbourg 1933–1935, Sachsenhausen 1936–1945. Maulévrier: Hèrault, 1989.
- Billig J.* L'Hitlérisme et le système concentrationnaire. Paris: Presses universitaires de France, 1967.
- Billig J.* Les camps de concentration dans l'économie du Reich Hitlérien. Paris: Presses universitaires de France, 1973.
- Borwicz M.* Literatura w obozie. Krakow: Centralna Żydowska Komisja Historyczna, 1946.
- Brossat A.* L'Épreuve du désastre: Le XXe siècle et les camps. Paris: Albin Michel, 1996.
- Broszat M.* Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933–1945 // Anatomie des SS-Staates. Konzentrationslager, Kommissarbefehl, Judenverfolgung / Hrsg. Broszat M., Jacobsen H.-A., Krausnick H. Olten, Freiburg: Walter, 1965. S. 9–160.
- Buber-Neumann M.* Als Gefangene bei Stalin und Hitler. München: Verlag der Zwölf, 1949.
- Buchmann E.* Frauen im Konzentrationslager. Stuttgart: Verlag Das Neue Wort, 1946.
- Choumoff P.* Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas auf österreichischem Gebiet 1940–1945. Wien: Bundesministerium für Inneres, 2000.
- Concentration camps in Nazi Germany: the new histories / Ed. by Caplan J., Wachsmann N. London, New York: Routledge, 2010.
- Cybulski B.* Obozy podporządkowane KL Gross-Rosen. Rogoźnica, 1987.
- Czarnecki W., Zonik Z.* Walczący obóz Buchenwald. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.
- Das Dritte Reich und die Juden: Dokumente und Aufsätze / Hrsg. Poliakov L., Wulf J. Berlin-Grunewald: Arani-Verlag, 1955.
- Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. 9 Bd. / Hrsg. Benz W., Distel B. München: Verlag C. H. Beck oHG, 2005–2009.
- Die nationalsozialistischen Konzentrationslager: Entwicklung und Struktur / Hrsg. von Herbert U., Orth K., Dieckmann C. Göttingen: Wallstein, 1998.
- Dokumenty i materiały do dziejów Żydów w Polsce. T. I / Oprac. Nachman Blumental. Łódź, 1946.
- Dokumenty zbrodni i męczeństwa / Ed. by Borwicz M., Rost N., Wulf J. Centralny Komitet Żydów Polskich. № 1. Kraków, 1945.
- Dunin-Wąsowicz K.* Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933–1945. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
- Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Vol. 1 / Ed. by Megargee G. Bloomington: Indiana university press, 2009.

- Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Vol. II: Ghettos in German-Occupied Eastern / Ed. by Megargee G., Dean M., Browning C. Bloomington: Indiana university press, 2012.
- Fabréguet M.* Mauthausen: camp de concentration national-socialiste en Autriche rattachée, 1938–1945. Paris: H. Champion, 1999.
- Frei N.* Auschwitz und Holocaust. Begriff und Historiographie // Loewy H. (Hrsg.) Holocaust. Die Grenzen des Verstehens. Eine Debatte über die Besetzung der Geschichte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1992. S. 101-109.
- Friedman F.* To jest Oświęcim. Warsaw, 1945.
- Goldschmitt F.* Der Nazi-Antichrist im Elsass und in Lothringen. Rech, Moselle, 1948.
- Kamiński A.* Hitlerowskie obozy koncentracyjne i ośrodki masowej zagłady w polityce imperializmu niemieckiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1964.
- Kamiński A.* Konzentrationslager 1896 bis heute. Eine Analyse. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Verlag W. Kohlhammer, 1982.
- Kautsky B.* Teufel und Verdammte. Erfahrungen und Erkenntnisse aus sieben Jahren in deutschen Konzentrationslagern. Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1946.
- Kiedrzyńska W.* Ravensbrück – kobiece obóz koncentracyjny. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961.
- Kielkowski R.* Obóz koncentracyjny w Płaszowie // Zlikwidować na miejscu: z dziejów okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981.
- Kłafkowski A.* Obozy koncentracyjne hitlerowskie jako zagadnienie prawa międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
- Kogon E.* Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. München: Alber, 1946.
- Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Eine Dokumentation / Kogon E., Langbein H., Rückerl A. (Hrsg.). Frankfurt am Main: Fischer S. Verlag GmbH, 1983.
- Kolb E.* Bergen-Belsen. Geschichte des "Aufenthaltslagers" 1943–1945. Hannover: Verlag für Literatur und Zeitgeschehen, 1962.
- Konzentrationslager in Hannover. KZ-Arbeit und Rüstungsindustrie in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs / von Fröbe R., Füllberg-Stolberg C., Gutmann C., Keller R. Hildesheim: A. Lax, 1985.
- Kosthorst E., Walter B.* Konzentrations- und Strafgefangenenlager im Dritten Reich. Das Beispiel Emsland. Düsseldorf: Droste, 1983.
- Kühnrich H.* Der KZ-Staat. Die faschistischen Konzentrationslager 1933 bis 1945. Berlin (Ost), 1960.
- Łukaszkiwicz Z.* Obóz straceń w Treblince. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1946.
- Łukaszkiwicz Z.* Obóz zagłady Treblinka // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. № 1. Posen. 1946. P. 133-144.
- Marszałek J.* Majdanek obóz koncentracyjny w Lublinie. Warszawa: Interpress, 1987.
- Martinière J.* Nuit et brouillard à Hinzert: les déportés N.N. en camp spécial S.S. Tours: L'Auteur avec le concours de L'Université François-Rabelais, 1984.
- Musiol T.* Dachau 1933-1945. Katowice: Instytut Śląski w Opolu, 1971.
- Orth K.* Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager: eine politische Organisationsgeschichte. Hamburg: Hamburger Edition, 1999.
- Orth K.* Die Historiografie der Konzentrationslager und die neuere KZ-Forschung // Archiv für Sozialgeschichte. № 47. 2007. S. 579–598.

- Reder R.* Belżec. Kraków, 1946.
- Rousset D.* L'univers concentrationnaire. Paris: Ed. du Pavois, 1948.
- Russell of Liverpool.* Geissel der Menschheit: Kurze Geschichte die Nazikriegsverbrechen. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1955.
- Sofsky W.* Die Ordnung des Terrors: das Konzentrationslager. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993.
- Studien zur Geschichte der Konzentrationslager // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. № 21. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1970.
- Suchowiak B.* Neuengamme. Z dziejów obozu. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony narodowej, 1973.
- Suhr E.* Die Emslandlager. Die politische und wirtschaftliche Bedeutung der emsländischen Konzentrations- und Strafgefangenenlager 1933–1945. Bremen: Donat-Temmen, 1985.
- The Buchenwald Report / Ed. by David A. Hackett. Oxford: Westview Press 1995.
- The Nazi Concentration Camps. Structure and Aims. The Image of the Prisoner / Ed. by Gutman Y., Saf A. Jerusalem: Yad Vashem, 1984.
- Tillion G.* Ravensbruck. Neuchâtel: Editions de la Baconnière, 1946.
- Tomaszewski J.* L'historiographie polonaise sur la Shoah // Matèriqum pour l'histoire de notre temps. № 61-62. 2001. P. 53-61.
- Voutey M.* Évolution et rôle du système concentrationnaire nazi. Dijon: C.R.D.P, 1984.
- Wormser-Migot O.* L'ère concentrationnaire. Paris, 1970.
- Wormser-Migot O.* Le Système concentrationnaire nazi (1933–1945) Paris: Presses universitaires de France, 1968.
- Zamojszczyzna. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej / Red. Czesław Madajczyk. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

Аристов Станислав Васильевич – кандидат исторических наук, зав. кафедрой гуманитарных естественнонаучных дисциплин Московского областного гуманитарного института; aristov_stanislaw@hotmail.com.

С. В. ГОЛИКОВА

ПОЛТОРА ВЕКА СЕЛЬСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ ВЗГЛЯД ИСТОРИКА¹

Рецензируемая книга – первое комплексное исследование распространения урбанизационного процесса на сельскую местность такого крупного региона как Урал.

Ключевые слова: Урал, сельская местность, урбанизация, модернизация.

Монография Людмилы Николаевны Мазур – грандиозная по замыслу и очень современная по содержанию и форме работа, при чтении которой выясняется, что изучать объект, через его противоположность – а дихотомия город-деревня привычна для восприятия – занятие творческое, плодотворное и поучительное. «Сложная диалектика взаимодействия города и села в условиях урбанизации пока слабо раскрыта в литературе и выступает в качестве основного объекта исследования в представленной монографии», – заявляет автор (с. 6). Изучение деревни опиралось на «историографическую традицию, как правило, не связанную с пониманием её в контексте урбанизации». Отсюда понятна стратегическая линия исследования – рассматривать урбанизацию не «как внешний фактор перестройки сельской местности», но «как основной её смысл»: «Урбанизация, а не социализм способствуют формированию гомогенного общества, снимая различия между городом и деревней в информационном и социокультурном планах, но одновременно сохраняя вариативность жизненных укладов, открывая новые возможности и перспективы горизонтальной мобильности» (с. 12-13). Систематизация знаний под новым углом зрения – ведь о деревне и урбанизации издано огромное количество исторической литературы – приводит к массе новых ассоциативных связей, поэтому обобщающий характер монографии способствует не просто систематизации, а значительному приращению нового знания.

Обобщающий характер монографии проявляется уже на уровне постановки задач: выделить и обосновать хронологические рамки, этапы и итоги переустройства российской деревни; обосновать уровни урбанизации и их критерии, изучить исторические модели (типы) сельской урбанизации, выделить основные каналы формирования новой социокуль-

¹ Рец. на кн.: Мазур Л.Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX–XX в.). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. 472 с.

турной среды, изучить основные механизмы раскрестьянивания, образ жизни и т.п. (с. 17). Изложение материала в главах также нацелено на обобщение и идёт не от конкретного к абстрактному, не от частного к общему, как это принято в конкретно-историческом исследовании, а наоборот – сначала следует теоретико-методологический анализ проблемы, затем - проекция общих подходов на региональный материал. Схема хорошо видна по названиям параграфов первой главы: особенности российской урбанизации (макроуровень) – региональные модели урбанизации (мезоуровень)- отражение процессов урбанизации в топонимике (микроуровень). Временами автор усложняет логику, в полной мере владея сопряжением разнообразных уровней и ракурсов исследования.

Междисциплинарный характер исследования вытекает из формулировки цели, но ею не исчерпывается: поставленная проблема оказывается вписанной во множество концептуальных контекстов, позволяющих по новому оценить судьбу сельской России XX века (например, с. 14-17). Последовательное прохождение разнообразных контекстов помогает организовать выпуклое, многомерное, панорамное восприятие объекта изучения, которое хорошо видно уже из структуры работы: первая глава посвящена диалектике взаимодействия модернизации и сельской урбанизации, вторая – территориальным перемещениям сельского населения, третья – роли государства в преобразовании села. Последние три главы разбирают урбанизм как особое социокультурное явление: в четвёртой главе изучается модернизация условий жизни сельского населения, в пятой – трансформация культурного облика деревни, в шестой – эволюция деревенского образа жизни. В книге процессы урбанизации предстают более сложным, чем принято считать, явлением, - они «приводят к принципиальным изменениям в структуре занятости, образе жизни, характере социальных связей. Важным следствием урбанизации стало формирование новой системы социокультурных отношений, отличных от традиционных (общинных, сословных) и ориентированных на самостоятельную личность – индивидуума, права и интересы которого становятся приоритетными» (с. 21).

Вопреки прогнозам сельская местность не исчезла и не была «поглощена» городом, оказалась не инертным, а способным к изменению и развитию явлением. В XIX в. село, как и город, активно развивалось, о чём свидетельствует рост поселенческой сети и плотности заселения. Динамичное XX столетие привело к тому, что «деревня начала XXI в., несмотря на узнаваемость и сохранение многих традиционных черт, представляет собой совершенно новое явление. Она отличается от сел конца XIX в. по внешнему облику, уровню благоустройства, общему

строю жизни» (с. 18). Сельская местность развивалась сама и посредством собственных ресурсов, а не тянула их со своего визави. Хищническое же отношение города к аграрной сфере стало возможно потому, что она рассматривалась как оплот «...хозяйственной и культурной отсталости». По мнению автора, основная проблема российской деревни коренится в отказе признать её право на самобытное существование (с. 63) и квалифицировать её опыт как ненормальный, тупиковый путь развития. Превратившись в основной источник средств и ресурсов для форсированной индустриализации и городского развития, сельская местность, в конце концов, утратила внутренние резервы и силы для модернизации.

Автор указывает, что периодизация урбанизации производилась без учёта вовлечённости в эти процессы сельской местности и ликвидирует эту лакуну. Сопоставление этапов общероссийской и сельской урбанизации (в замечательных таблицах на с. 41–44) позволило сделать вывод о «догоняющем» характере урбанизации на селе – она началась позднее, но происходила более высокими темпами и в чрезвычайно сжатые сроки. Основные этапы этого процесса хорошо видны на примере эволюции поселений. На традиционной основе, – пытаясь равномерно охватить сельскохозяйственные территории – сельская поселенческая сеть позитивно развивалась до 1940-х гг. (с. 46–47), в 1960–1970-е гг. процессы концентрации и сокращения этой сети принимают гипертрофированный характер, приводя к прогрессирующему обезлюдению (с. 53), в 1960–1980-е гг. благодаря её сжатию и измельчанию, стягиванию в пригородные зоны, сельское расселение из равномерного трансформируется в очаговое, совпадающее по своей конфигурации с городской сетью и транспортными линиями (с. 55). Подгонка под город – сселение «неперспективных деревень» и свёртывание сельской поселенческой сети, в свою очередь, наносило удар по сельскохозяйственному производству и крестьянскому миру (с. 56). «К 1990-м гг. достигается уже необходимая синхронизация процессов урбанизации – интегрированная стадия расселения, в рамках которой город и село рассматриваются не с позиций противопоставления, а как две подсистемы, дополняющие друг друга» (с. 38). Современная деревня включена в общую инфраструктуру территории (транспортную, социально-бытовую, культурно-административную), без которой её существование ставится под угрозу (с. 61).

В монографии ставятся и занимают значительное место проблемы характера и направления урбанизационных процессов. Автор считает, что в дореволюционный период при их осуществлении ориентировались на постепенное внедрение, приспособление к традиционным фор-

мам жизнедеятельности. Этот путь исключал насильственную ломку. Затем возобладала идеология кардинальной перестройки, «большого скачка», культурной революции, сопровождаемых централизацией, унификацией, жёстким государственным контролем. В качестве основной использовалась идеология сближения города и деревни.

Процессы урбанизации на всех уровнях подтолкнула ускоренная индустриализация. На этапе 1930–1950-х гг. важным фактором стало развитие системы коммуникаций, обеспечивающей доступность, управляемость и контролируемость сельской местности, включение деревни в зону влияния города-государства, потерю автономии, столь характерной для села ранее (с. 50-51). В послевоенный период к коммуникационному фактору присоединился информационный. В это же время «внешнее раскрестьянивание», наиболее интенсивное в промышленных регионах, сформировало структуру населения, свойственную индустриальному обществу. В 1980-е гг. поменялся базовый элемент сельского образа жизни – крестьянское подворье стало приусадебным (приквартирным) хозяйством (с. 57). Интегративным показателем эффекта урбанизации, по мнению автора, следует считать изменения образа жизни сельского населения: от традиционного к колхозно-совхозному, сельско-урбанизованному – до урбанизованного.

Анализ роли государства начинается с самой общей его компетенции – реформ, основными инструментами которых стали директивное планирование, разработка нормативных документов, обязательных для исполнения, жёсткое регулирование капиталовложений (с. 192). Стремления реформаторов к интенсификации сельского производства достигнуть не удалось, однако социальный эффект концентрации сельскохозяйственного производства и интеграции его с промышленностью проявился в концентрации сельского расселения и трансформации его в агропромышленное (с. 175). Хотя объектом управления выступала производственная сфера, а не собственно поселенческая сеть, последняя оказалась в фокусе политических решений, для проведения которых власти пытались в качестве экспертов привлечь архитекторов и учёных. Однако представление специалистов об особенностях и закономерностях развития такого сложного объекта исследования как система расселения зачастую страдали умозрительностью. Образцово-показательная деревенская жизнь, на примере которой должны были учиться многочисленные посетители выставок (лучший пример – ВДНХ), заметно отличалась от реальной (с. 188). Базовым принципом преобразования деревни в социалистический рай признавалось только индустриальное строительство

(с. 199), лишь в 1980-е гг. стало понятно, что сельская система расселения соответствует территориальной структуре агрокультурного ландшафта и не требует однозначной перестройки (с. 214). Более адекватно проблемы советской деревни оказались представлены в кино, которое отражало и то, что было не слышно в грохоте великих строек (с. 231). Хотя и оно не избежало «вторичной мифологизации и идеализации деревни» (с. 234), поскольку «урбанизация образа жизни оказалась более очевидным явлением, чем это подчас хотели видеть приверженцы деревни и деревенского образа жизни». По мнению автора, отрицать происходящие перемены неразумно, важно понять и попытаться сделать переход безболезненным (с. 236). Наблюдение историка о том, что в основе так называемого «деревенского кино» лежит болезненная трансформация, как нам кажется, будет весьма любопытно для киноведов. И таких находок в работе много.

Модернизация условий жизни в четвёртой главе продолжает тему об эволюции архитектурного облика сельских поселений, проделавшего путь от проектов многоэтажного агрогорода (в качестве противовеса усадьбе – оплоту крестьянского индивидуализма) до коттеджного посёлка. Анализируя изменения жизненных условий, автор выбирает явления, в которых как в фокусе отражается суть вопроса. Так, советский опыт благоустройства сельской местности по существу свёлся к проводившимся по этому поводу кампаниям, которые и стали предметом скрупулёзного исследования. Однако главное в этой главе – опыт создания инфраструктуры, сначала на примере становления новой для сельской экономики строительной отрасли (технологии и материалы для массового строительства) электрической энергии преобразовало не только сельское производство, но и быт. Его можно рассматривать как революцию, результатом которой стало формирование современной цивилизации: изменение технологии жизнеобеспечения, смена биоритмов жизни человека, ранее связанных с природными циклами дня и ночи (с. 299).

Зарождение современной социально-культурной среды деревни началось с появления культурно-просветительных, медицинских, торговых, бытовых учреждений, не свойственных традиционному обществу. Признаком же начавшейся урбанизации, во многом определяющим её темпы и характер, стало образование. В советское время школа была превращена в форпост социалистической идеологии в деревне, а сельский учитель – в ключевую фигуру агитации. Вплоть до 1940-х гг. учебное заведение оставалось культурным центром деревни, выпол-

нявшим вместе с образовательными просветительские, организационно-культурные, политико-идеологические функции (с. 322). Переход к всеобщему семилетнему образованию ознаменовал начало оптимизации, централизации, унификации и сокращения школьной сети. Будучи социальным механизмом урбанизации, образование сближало городской и сельский социумы, осуществляло перенос культурных ценностей и формирование на этой основе более однородной социальной общности (с. 317-318). Однако сельское образование проигрывало городскому. К тому же, формируя установки на городской образ жизни, школа подспудно готовила своих выпускников к отъезду из деревни.

Аналогичный путь проделали библиотеки и клубы – минимальный стандарт культурной жизни деревни. После революции их централизовали, сделав важным инструментом воспитания и перевоспитания крестьянства, постепенно вводя нормативы обслуживания, шефство художественной интеллигенции, приезжавшей с концертами, спектаклями, беседами, лекциями. Прообразом клубов, которые только в 1930-е гг. стали самостоятельными учреждениями, оказались избы-читальни. Перемещение культурного центра деревни в клуб произошло с началом строительства для них специальных зданий. Выработка новых стандартов культурного поведения и потребления, превращение их в элемент сельской повседневности к 1970-м годам обернулась проблемой доступности объектов сельской культуры. Противоречия между культурными потребностями и возможностями их удовлетворения сказались на оттоке населения и деградации деревенского образа жизни (с. 350).

На протяжении многих глав автор обращается к изучению информационного фактора. Указывается, что начальные этапы проникновения урбанистического начала в деревенскую среду имеют «чисто информационную природу» (с. 301). Таким образом, «информация – сугубо городское понятие» переносится на сельскую местность. Информационный фактор способствовал преодолению культурной изоляции деревни и включению её в зону влияния массовой культуры (с. 54). Формирование новой коммуникационной среды включало три сегмента: транспортный, затем информационный (почта, телеграф, телефон и т.д.) и культурный. Важнейшими информационными каналами, распространявшими новые модели, нормы, ценности, стали школы, библиотеки и клубы. В этом же ракурсе рассматривается превращение чтения в привычный элемент быта, а радио в 1950-е гг. – в привычный элемент информационной среды. Справедливо отмечается, что эффективность информации определялась её доступностью, в повышении которой большую роль сыграла электри-

фикация. Благодаря ей выросло число информационных каналов (в 1960–1980-е гг. важнейшими из них становятся кино и телевидение).

Впечатляет стремление автора последовательно заканчивать разделы обращением к событиям текущей жизни, которую историки, как правило, исключают из анализа. Вовлечённость в исследование едва намечившихся тенденций и трендов позволяет прекрасно передать процессуальность и незавершенность урбанизации, неочевидность её направления. Читателю предлагается в полном смысле слова когнитивная – познавательная, аналитическая – история. На примере актуальной и сложной проблемы – преодоления противопоставления двух качественно отличных состояний города и деревни – показывается органическое взаимодействие наработок многих научных дисциплин в междисциплинарном изучении урбанизма в России, разные призмы исследовательской оптики, различные языки описания, приёмы концептуализации, анализа и систематизации данных. Следует отметить и стиль изложения: текст читается как актуальная публицистика.

БИБЛИОГРАФИЯ

Мазур Л.Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX–XX в.). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. 472 с.

Голикова Светлана Викторовна – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН; *avokilog@mail.ru*.

ПУБЛИКАЦИИ

И. Г. ВОРОБЬЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ Н. А. ПОПОВА О Т.Н. ГРАНОВСКОМ

Публикуемый текст представляет собой фрагмент воспоминаний Н.А. Попова (1833–1891) о зачинателе изучения и преподавания всеобщей истории в России – профессоре Московского университета Тимофее Николаевиче Грановском (1823–1855), 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Ключевые слова: Т. Н. Грановский, Н. А. Попов, Московский университет, профессорская деятельность, воспоминания.

В 2013 г. исполнилось 200 лет со дня рождения профессора Тимофея Николаевича Грановского, заложившего основы исследований и преподавания всеобщей истории в России, что признано современным научным сообществом¹. Его творческое наследие, а также общественная и личная жизнь, давно привлекают внимание исследователей, однако имеются и неизвестные документы. В личном фонде Т.Н. Грановского в НИОР РГБ значится черновой фрагмент воспоминаний, написанный Н.А. Поповым². Рукопись не датирована, почерк трудночитаемый, много исправлений, что являлось препятствием для ее введения в научный оборот и публикацию. Мне удалось восстановить текст и полагаю, что этот фрагмент может дополнить наши знания о Т.Н. Грановском как профессоре Московского университета, и необходим исследователям.

Автор рукописи – профессор кафедры русской истории Московского университета Нил Александрович Попов (1833–1891). Он учился на Первом отделении философского факультета Московского университета в 1850–1854 гг. по окончании Тверской гимназии³. Русскую историю в университете в те годы читал С.М. Соловьев, а всеобщую – Т.Н. Грановский и П.Н. Кудрявцев. Видимо лекции Грановского и Кудрявцева в первой части своих воспоминаний и сравнивал Попов, вспоминая, что в 1853 г. Грановский читал лекции по истории Нового времени, Кудрявцев же эти темы не освещал. Важно замечание мемуариста о посещении студентами лекций двух профессоров на одинаковую тему.

¹ См.: Тимофей Николаевич Грановский... 2006.

² См.: Из воспоминаний о Грановском Тимофее Николаевиче. Фрагмент. Б/д. 1 л. Черновик рукописи // НИОР РГБ, фонд 84. Картон 4. № 58.

³ См. его биографию: *Воробьева*. 1999.

Лекции профессоров сопоставляли и некоторые другие мемуаристы. Так, К.Н. Бестужев-Рюмин писал: «Эти два лица дополняют друг друга, их единодушие, взаимное уважение и верное понимание друг друга должны бы служить благотворным примером и новому поколению профессоров: “Грановский даровитее меня”, – вполне искренно говорил Кудрявцев. “Кудрявцев учение меня”, – говорил Грановский»⁴. В.И. Герье, сравнивая своих учителей, писал: «В их индивидуальности было много несходного, и особенно в характере умственного труда и производительности». Герье приводит слова учителя, что лучшие мысли приходили Грановскому на кафедре, т.е. экспромтом. В иных условиях проходила ученая деятельность Кудрявцева: «Его мысль получала законченность и зрелость посредством литературной работы», с помощью которой «он лучше ориентировался в фактах и, вникая в них умом и чувством, извлекал заключающийся в них смысл»⁵.

Известно, что студенты бывали на квартире Грановского, и Попов во время учебы также посещал воскресные приемы в доме Грановского в Харитоньевском переулке. Они запомнились мемуаристу оживленными беседами, в которых лидировал профессор, консультациями с целью «выбора предмета для первого литературного опыта», возможностью студенту получить книгу из библиотеки Грановского.

Отмечу, что в своей профессорской деятельности Попов (он преподавал в Московском университете с 1862 по 1888 гг., трижды избирался деканом факультета) следовал той манере общения со студентами, которую узнал у Грановского. К нему за консультациями приезжали начинающие историки даже из других университетов. Его обширная библиотека, лучшая в те годы по славистике, пользовалась популярностью у студентов, о чем вспоминали такие разные историки как А.А. Кочубинский, Н.П. Милоков, П.А. Кулаковский. Памяти профессора Попова посвятил свой первый научный труд М.К. Любавский, отметив: «Издавая в свет свой первый научный труд, считаю нравственным долгом почтить благодарным воспоминанием человека, который так много содействовал его появлению. И в университете, и в Архиве министерства юстиции я находил у него радушный прием, теплое участие к научным начинаниям и трудам и всегдашнюю помощь советами и книгами из его богатой библиотеки... он создан был для того, чтобы направлять по стезе науки и поддерживать молодые, часто еще слабые и колеблющиеся, силы»⁶.

⁴ Цит. по: *Иванова*. 2011. С. 229.

⁵ *Герье*. 1887. С. 597.

⁶ См.: *ЧОИДР*. 1892. Кн. 3.

Стремление подражать Грановскому отметили и современники Попова. Так, В.О. Ключевский при его погребении сказал, что «Попов был одним из последних представителей лучших времен Московского университета – времен Грановского, Кудрявцева и Соловьева»⁷, «в его лице сошел со сцены один из последних носителей светлых традиций знаменательной эпохи университетской жизни, традиций, которые он передавал своим слушателям»⁸.

Осенью 1854 г. Н.А. Попову, как бывшему казенному воспитаннику пришлось начать службу по ведомству народного образования в качестве учителя одной из московских гимназий, но он больше занимался литературной деятельностью, публикуясь в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике», и готовился к магистерскому экзамену по русской истории. В трех номерах «Московских ведомостей» весной 1854 г. Попов опубликовал по рекомендации Грановского статью «Древние и новые греки. По поводу книги Иоганна Тельфи». Эта работа была выполнена еще в студенчестве, Попов очень ею гордился и упоминал во всех отчетах. Из воспоминаний о Грановском становится понятным, почему он обратился к книге немецкого историка, только что вышедшей в Лейпциге и видимо имевшейся в библиотеке Грановского. Попов приводил аргументацию Тельфи, полагавшего, что «в греках нового времени не умерла еще античная Эллада с ее обычаями, языком и нравами». Статья ставила перед читателями важную научную проблему; как соотносится современная нация со своим древним этническим предшественником. Попова убедила позиция немецкого историка, предполагавшего сохранение эллинской культуры на Пелопоннесе и после его заселения славянами. Этому сюжету позднее в своих лекциях по истории историографии славянских народов он уделял особое внимание и рекомендовал студентам чтение книги И. Тельфи.

Когда и с какой целью Попов взялся за написание воспоминаний о Грановском неизвестно, как и где находятся недостающие страницы, если они сохранились. Фрагмент рукописи имеет 2 страницы, причем первая в правом углу помечена цифрой 3, а последняя обрывается неоконченным предложением.

Текст публикуется по нормам современной орфографии.

⁷ См.: Русский биографический словарь... Т. 14. С. 561.

⁸ Голомбиевский, Шимко. 1891. С. 6.

«...студент получал преимущественно от лекций Грановского, которые в этом случае служили как бы указанием на то, чего можно было требовать от курса специального. Таким образом, выбора между двумя профессорами быть не могло: мог только быть постепенный переход от одного к другому, пополнялось слышанное в одной аудитории тем, что читалось в другой. Студенты особенно любили ходить к обоим профессорам на лекции одинакового содержания. Таковы были лекции о последних годах римской республики и первых годах римской империи; о значении того движения, которое известно в средневековой истории под именем великого переселения народов, и об отношениях к нему империи Карла Великого; об эпохе возрождения и гуманистах, о судьбе средневековых идей перед реформацией и во время ее. Я не помню однакож чтобы К-в [Кудрявцев?] читал в мое время лекции о веках, последовавших за реформацией; Грановский продлил свои чтения до времен Людовика XIV и до усиления Пруссии <неразб> Германии. Это было уже в 1853 г.

С третьего курса я стал чаще бывать у Грановского по воскресеньям. Он тогда жил в Харитоньевском переулке. Переход от кратких посещений к продолжительным совершился теперь сам собой. Первый же раз, когда я думал пробыть у Грановского не более получаса, а просидел у него до 3-х часов. Воскресные приемы в кабинете его бывали всегда оживлены, Число посетителей в целое утро иногда доходило до 20 и более: одни приходили, другие... на их место. Разговор всегда был разнообразен: хозяин отзывался на всякий вопрос, сам интересовался по видимому далекими от его обычных занятий предметами и возбуждал в других интерес к ним. Изредка выпадали дни, когда кружок посетителей бывал очень узок, и тогда разговор сосредотачивался около одного какого-либо вопроса. Я помню утро, когда Грановский, окруженный всего тремя собеседниками, с одним журналом Новикова в руках, проговорил все время о той литературе, которая так нужна бы большинству читателей, о необходимости распространения привычки к чтению в народе. В воскресенье же обращались к Грановскому студенты и за книгами большею частью исторического содержания, которыми он так охотно наделял их. Иногда некоторые из них обращались к нему за советами относительно выбора предмета для первого литературного опыта. В большинстве случаев спрашивавшие совета тут же излагали ему свои нередко <неразб> планы задуманного ими сочинения. Грановский старался при этом деликатным образом навести на мысль о необходимости хорошенько познакомиться с избранным предметом, и потом уже спросить себя, удачно ли будет предполагаемое произведение. Так незадолго до окончания курса мне пришлось разочароваться в возможно-

сти составить хотя и краткий исторический очерк тех вопросов, из-за которых Россия вела войны с Турцией с XVII века. Надо прибавить, что тогда уже началась восточная война. Но от этого обширного дела я как-то незаметно перешел к тому, что написал статейку «Древние и новые греки», состоящую по книжке, указанной Грановским: *Studien urber die Alt und Neugriechen und uber die Lautgeschichste der griechischen Buchstaben, von Iogan Telfy*. Статья помещена была тогда же в Моск. Ведомостях и это был мой первый и, к сожалению, последний труд, написанный под влиянием Грановского как профессора: – ».

На этом рукопись обрывается.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Воробьева И.Г.* Профессор-славист Нил Александрович Попов. Тверь, 1999.
- Герье В.И.* Кудрявцев в его учено-литературных трудах // Вестник Европы. 1887. № 10.
- Голомбиевский А.А., Шимко И.И.* Памяти Нила Александровича Попова. М., 1891. Отд. оттиск.
- Иванова Т.Н.* Владимир Иванович Герье и формирование науки всеобщей истории в России (30-е гг. XIX – начало XX века). Дисс... докт. ист. наук. Казань, 2011.
- Русский биографический словарь / Под ред. А.А. Половцева. СПб., 1905 Т. 14.
- Тимофей Николаевич Грановский: Идея всеобщей истории. Статьи. Тексты / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2006.
- Воробьева Ирина Геннадиевна* – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Тверского государственного университета; *dubrovnik@mail.ru*.

В. Г. РЫЖЕНКО

ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ вариант построения университетского учебного курса для магистрантов в современной познавательной ситуации

В учебном курсе «Историография отечественной культуры» сделана попытка показать основные этапы становления и развития историографии российской культуры в контексте изменений в движении исследовательской мысли. Курс предназначен студентам магистратуры, обучающимся по специальности «история» (направления «История исторической науки (историография)», «История и культура регионов России»). Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные студентами при изучении таких курсов бакалавриата как «История отечественной культуры», «Теория культуры», а также курсов «Историческая наука в структуре гуманитарного знания», «Историография отечественной истории», «Актуальные проблемы исторических исследований: модели и практики», «Советская историография».

***Ключевые слова:** историография культуры, теория «областных культурных гнезд», познавательный потенциал современной исторической науки, интеллектуальная история, интерактивные образовательные методики.*

Проблемы соотношения исследовательских практик и компетенций, требуемых Федеральным образовательным стандартом, и одновременно составления учебных программ, учитывающих специфику современной историографической ситуации, ставят перед научно-педагогическим сообществом сложные задачи. Не касаюсь в данном случае противоречия между насыщенным содержанием требуемых компетенций и проводимой «сверху» политикой выхолащивания гуманитарной составляющей университетского образования (соответственно, снижения профессионализма будущих бакалавров и магистров) и формализации образовательного процесса. Негативные последствия такого курса для качества будущего интеллектуального потенциала России очевидны.

Остановлюсь на задаче нахождения путей их блокирования, а в возможной перспективе и преодоления. Зададимся вопросом: имеются ли у научно-педагогического сообщества гуманитариев России в целом и историков в частности профессиональные инструменты для решения этой задачи? Понятно, что рефлексия по поводу действия внешних (социально-политических и экономических) факторов (стратегия т.н. «реорганизации» системы высшего образования в стране) пока остается «за скобками». Поэтому в программе учебного курса учитываются состоя-

ние и тенденции развития исторической науки (преимущественно ее российской ветви), ее познавательный потенциал к настоящему времени.

Еще в 2009 г. Л.П. Репина сделала вывод относительно важнейших результатов радикальной трансформации исторической науки на рубеже веков: это новое понимание природы исторического познания и формирование нового образа исторической науки¹. По мнению А.В. Лубского, «...формируется не только новый облик Клио, но и особый тип историка как креативной личности. Креативный ученый в исторической науке – это субъектный ученый, творческий потенциал которого направлен на разработку новых способов производства исторического знания»².

На состоявшемся 1 октября 2012 г. «круглом столе» в ИВИ РАН обсуждалась специальная тема «Культурный поворот и трансформация познавательных возможностей исторической науки». В основных докладах Л.П. Репиной, В. Вжосека, Г.И. Зверевой, З.И. Чеканцевой, С.И. Посохова неоднократно в разных формулировках предлагались суждения о принципах нашего мышления (например, историческое познание есть диалог культур, культура это способ осмысления мира, все феномены культуры исторические)³. В ходе дискуссии были сделаны акценты на повышении роли историографа, на необходимости реального воплощения культурного поворота как исследовательской практики (Г.П. Мягков). Добавлю, что влияние культурного поворота должно отразиться и в образовательных университетских программах, и в первую очередь, в историографических дисциплинах. Инновационный характер содержанию последних придаст, на мой взгляд, привлечение в качестве новейшего материала для рефлексии текстов из недавно появившейся на русском языке книги Войцеха Вжосека «Культура и историческая истина» об историографических метафорах и метафорической тенденциозности⁴.

Современный этап становления магистерской подготовки студентов университетов – это время экспериментальных поисков, позволяющих разрабатывать авторские программы. Таков характер и воспроизводимой ниже программы. Главная трудность ее разработки состояла в отсутствии обобщающих научных трудов по историографии отечественной культуры в целом (имеется в виду история изучения культуры России). Поэтому базовыми теоретико-методологическими опорами для меня стали антропологически ориентированное поле интеллектуальной

¹ Репина. 2009.

² Лубский. 2012. С. 7.

³ См. публикацию: Репина. 2013.

⁴ Вжосек. 2012. С. 139-145, 161-196.

истории и современные исследовательские практики внедрения идей междисциплинарности в историческую науку.

Курс входит в вариативный раздел цикла профессиональных дисциплин и является обязательным для подготовки магистров по указанным выше направлениям. Курс состоит из лекций и практических занятий. Объем (трудоемкость) – 108 час., из них 10 час. лекционных, 30 час. практических и 68 час. отводится на самостоятельную работу студентов.

ПРОГРАММА КУРСА

Пояснительная записка

Цели освоения дисциплины «Историография отечественной культуры» состоят в подготовке высококвалифицированного историка как профессионала широкого профиля, владеющего современными технологиями описания проблемной историографии; в ознакомлении с базовыми исследовательскими подходами к изучению отечественной (русской) культуры и этапами движения исследовательской мысли историков для расширения возможностей использования полученных знаний при подготовке магистерских диссертаций; в расширении возможностей прикладного использования полученных знаний и навыков при трудоустройстве после окончания обучения.

Основные задачи дисциплины: дать общее представление об историографии отечественной культуры как специфической области исторической науки и образовательной дисциплине; раскрыть и закрепить содержание понятия «историография отечественной культуры» в контексте движения исследовательской мысли, теоретико-методологических подходов и методик; ознакомить с основными этапами становления этого направления в российской исторической науке и их признаками; представить роль научных дискуссий о предмете и методе истории культуры в процессе становления историографии отечественной культуры; охарактеризовать организационные и институциональные опоры процесса становления историографии отечественной культуры во второй половине XX – начале XXI в.; показать персонифицированное измерение процесса становления историографии отечественной культуры и выделить вклад отдельных ученых; способствовать выработке навыков самостоятельного анализа ключевых историографических текстов/ историографических источников с помощью работы с научными публикациями разных типов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Общие представления об историографии отечественной культуры

Историография культуры как особая отрасль исторической науки. Трансформации историографической традиции изучения истории русской/российской культуры в советской исторической науке: переход от отраслевого подхода к системно-функциональному видению предметного поля исследований. Понятие «историография культуры» в контексте интеллекту-

альной истории. Отраслевые исследования как историографический источник по истории отечественной (русской) культуры.

Раздел 2. Начало складывания историографии отечественной культуры в конце XIX – начале XX в.: П.Н. Милоков и его «Очерки русской культуры»

Характерные черты замысла и его воплощение в первом издании. Специфика «парижского» варианта «Очерков». Возвращение «Очерков» к российскому читателю в условиях постсоветской России и трансформаций советской исторической науки в 1990-е гг. Современные исследователи о философско-культурологической концепции П.Н. Милокова. Сущность феномена «месторазвития» как ядра концепции П.Н. Милокова и его современные вариации в идеях «метафизики места» (саратовская и омская исследовательские практики) и в методиках «областного культуроведения» (Э.А. Шулепова).

П.Н. Милоков о становлении советской культуры. Трудности процесса востребования историко-культурологического содержания наследия ученого.

Раздел 3. Особенности раннего этапа историографии отечественной культуры: 1920-е гг. (Н.К. Пиксанов, И.М. Гревс, Н.П. Анциферов)

Концепция «областных культурных гнезд» и ее значение для развития историографии отечественной (русской) культуры. Н.К. Пиксанов – родоначальник теории «областных культурных гнезд»: эволюция его подходов от 1910-х до 1920-х гг. Интерпретации содержания концепта «культурное гнездо» в наследии И.М. Гревса и Н.П. Анциферова как представителей формирующегося историко-культурологического направления в историографии отечественной культуры. Город как самое выразительное культурное гнездо. Расширение проблемного поля культурно-исторического краеведения до теории культурно-исторических ландшафтов и «областного культуроведения».

Раздел 4. Изучение истории отечественной культуры в советской историографии: личностное измерение

Советские историки культуры: их вклад в историографию отечественной культуры. Своеобразие пути в науку историков предвоенного поколения: «Гвардии капитан» Людмила Марковна Зак. Становление исследовательских интересов. Работа в историко-архивном институте и НИИ культуры. История советского культурного строительства и культурной революции в работах Л.М. Зак. Судьба рукописи докторской диссертации. Ученики Л.М. Зак (Т.Ю. Красовицкая): изучение специфики культурного строительства в национальных республиках. Л.М. Зак – автор первого историографического труда по истории изучения советской культуры. Трудный путь от рукописи к книге. Источниковедческие находки и постановка проблемы об источниковедении истории культуры. Б.И. Краснобаев: исследо-

вательские интересы и подходы к определению предмета и метода истории культуры как особой отрасли исторической науки.

Раздел 5. Формирование и развитие ведущих центров профессиональной историографии культуры в СССР

История культуры и искусства как часть идеологической функции исторической науки. Изучение истории советской культуры в рамках общей истории советского общества. Создание сектора истории советской культуры Института истории АН СССР. Роль М.П. Кима и его учеников (В.Т. Ермаков). Соотношение исследовательских приоритетов. Особое внимание к советской социалистической культуре. 1960-е – начало 1980-х гг. как этап становления историографии отечественной культуры. Появление первых публикаций по историографии советской культуры в начале 1960-х гг.

Кабинет/Лаборатория истории русской культуры на историческом факультете МГУ. Модель изучения русской культуры второй половины XVII – начала XIX в., предложенная Б.И. Краснобаевым (1983). Подходы С.С. Дмитриева к изложению истории культуры СССР периода империализма (1985).

Дискуссии 1970-х гг. о предмете и методе истории культуры. «Круглый стол» 1979 г. о предмете и методе истории культуры в редакции журнала «История СССР»: участники, подходы, итоги. Проникновение системного подхода в изучение истории советской культуры. Сибирская школа социальных историков культуры (В.Л. Соскин). Деятельность сектора истории культурного строительства СО АН СССР. Коллективные монографии конца 1980-х гг. как подведение итогов изучения отечественной культуры в рамках советской мононауки.

Раздел 6. Историография отечественной (российской) культуры в условиях отказа от мононаучной парадигмы поиска новых исследовательских «территорий» и «выбора метода» (от 1990-х гг. до первого десятилетия XXI в.)

Изменения в конфигурации социокультурного ландшафта исторической науки, складывание нестоличных центров и появление неформальных структур. Расширение проблематики. Выход на коллективные проекты: «Культура российской провинции» (С.О. Шмидт), «Очерки русской культуры XIX века» (Л.В. Кошман) Этапы, направления и результаты деятельности Российского института культурологии и его филиалов. Изучение истории советской культуры как отдельное направление в деятельности АИРО (К. Аймермахер, В. Эггелинг, Д. Кречмар, Х. Гюнтер). Особая роль междисциплинарных конференций по истории культуры России как свидетельство перехода к новому этапу историографии отечественной (российской) культуры. Сложности творческой лаборатории историка культуры, работающего в междисциплинарном проблемном поле. Культура и пространство: сближение истории культуры с гуманитарной географией.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие 1. Понятие «историография культуры» в контексте интеллектуальной истории

Методические рекомендации по подготовке

Подготовка к работе на практическом занятии предполагает в качестве обязательного шага самостоятельное изучение и конспектирование отдельных глав монографии Л.П. Репиной. В конспекте должны быть выделены определения «интеллектуальная история» и «социокультурная история», предложенные автором. Затем на основе лекционного материала о специфике историографии отечественной культуры как особой отрасли исторического знания студенту предлагается написать версии содержания понятий «историография культуры» и «историография отечественной культуры».

Форма проведения практического занятия – собеседование.

Рекомендуемая литература:

1. Зверева Г.И. Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры // Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х годов. М., 2001. С. 11-20.
2. Корзун В.П., Рыженко В.Г. Поиск нового образа историографии в современном интеллектуальном пространстве // Мир Клио. Сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной. Том 2. М., 2007. С. 266-278.
3. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII – начала XIX вв. М., 1983. С. 4-40.
4. Очерки по истории исторической науки XX века / Под ред. В.П. Корзун. Омск, 2005.
5. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011.

Практическое занятие 2. П.Н. Милоков и его «Очерк русской культуры»: к проблеме преемственности в отечественной историографии российской культуры.

Методические рекомендации по подготовке:

Первая часть работы заключается в самостоятельном изучении и конспектировании введения книги П.Н. Милокова (первое и последнее издания). Предварительно необходимо познакомиться с социокультурным и историографическим контекстом, в которых первоначально создавался труд Милокова, а затем перерабатывался в условиях эмиграции. В итоговом конспекте должны присутствовать определения понятий «культурная история», «история культуры», «месторазвитие».

Вторая часть работы предполагает проведение практического занятия интерактивного типа. Моделируется ситуация научной конференции, посвященной востребованию наследия П.Н. Милокова. Студент выступает поочередно в ролях: современного ученого-историографа (установка на историографическую экспертизу и сравнительный анализ текста историографического источника в его разных версиях), ученого-культуролога (установка на представление фигуры П.Н. Милокова как философа-культуролога и

их оппонента – сторонника прежней мононаучной парадигмы (установка на критику теоретико-методологических оснований концепции «Очерков по истории русской культуры»).

Рекомендуемая литература:

1. Вандалковская М. Г. П. Н. Милоков // Историки России XVIII—XX вв. М., 1995. Вып. 2.
2. Гутнов Д.А. Опыт применения контент-анализа в историографическом исследовании (на примере книги П.Н.Милокова «Очерки по истории русской культуры»). // Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях. М. 1989. С. 173-183.
3. Иконникова С.Н. П.Н. Милоков как историк русской культуры. // Русская культура: традиции и современность СПбГАК. 1993.С. 61-74.
4. Иконникова С.Н. История культурологии: идеи и судьбы. Спб.,1996 (П.Н. Милоков)
5. Корзун В.П., Бычков С.П. Введение в историографию отечественной истории: XX век: Учебное пособие. Омск, 2001.
6. Милоков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. СПб., 1896. С. 1-20.
7. Милоков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 5-62.
8. Милоков П.Н. и судьба его творчества // Культура и интеллигенция России: социальная динамика, образы, мир научных сообществ: Материалы третьей Всероссийской научной конференции (Омск, 25-27 ноября 1998 г.). Т. 1. Омск, 1998. С. 2-38.
9. Митина И.Д. Философско-культурологическая концепция П.Н. Милокова. М., 1997.
10. Очерки по истории исторической науки XX века / Под ред. В.П. Корзун. Омск, 2005.
11. Соскин В.Л. П.Н. Милоков как историк культуры советского общества: фрагменты анализа // Культура и интеллигенция России: социальная динамика, образы, мир научных сообществ: Материалы третьей Всероссийской научной конференции (Омск, 25-27 ноября 1998 г.). Т. 1. Омск, 1998. С. 21-23.

Практическое занятие 3. Концепция «областных культурных гнезд» и ее значение для развития историографии отечественной (русской) культуры

Методические рекомендации по подготовке:

Первая часть работы заключается в самостоятельном изучении и конспектировании рекомендованных статей Н.К. Пиксанова, Н.П. Анциферова и современных авторов. В итоговом конспекте должны присутствовать определения понятий «культурное гнездо», «областное культуроведение».

Вторая часть Практическое занятие интерактивного типа. Проводится в форме «круглого стола». Моделируется ситуация диалога ученых – представителей разных этапов истории отечественной исторической науки. Одна группа должна раскрыть подходы основателей теории «областных культурных гнезд» и методику ее применения для изучения истории отечественной культуры. Другая группа излагает интерпретации концепта «культурное гнездо» современными исследователями, выделяет их отношение к методикам 1920-х гг.

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»:

1. Причины и предпосылки появления теории «областных культурных гнезд» в контексте развития отечественной историографии 1910-х-1920-х гг.
2. Различия в подходах к концепту «культурное гнездо» между историками, филологами и культурологами (к проблеме возможности сотрудничества).
3. Перспективы использования методик 1920-х гг. в современной познавательной ситуации.

Рекомендуемая литература:

1. Анциферов Н. Культурные гнезда // Известия Центрального бюро краеведения. 1926. № 7. С. 223-226.
2. Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири // Культурное наследие Азиатской России: Материалы I Сибиро-Уральского исторического конгресса. Тобольск, 1997. С. 3-8.
3. Замятин Д.Н. Культура и пространство: моделирование географических образов. М., 2006. С. 7-18, 30-39, 56-65, 480-485.
4. Пиксанов Н.К. Областной принцип в русском культуроведении (к разработке культурно-исторической схемы) // Искусство. М., 1925. №2. С. 82-99.
5. Рыженко В.Г. И.М. Гревс – культуролог, педагог, родиновед // Мир историка: идеалы, традиции, творчество. Омск: «Курьер», 1999. С. 250-269.
6. Шулепова Э.А., Селезнева Е.Н. Социокультурные аспекты формирования историко-культурной среды // Культурология: от прошлого к будущему: К 70-летию Российского института культурологии. М., 2002. С. 46-69.

Практическое занятие 4. Своеобразие пути в науку советских историков культуры: личностное измерение историографии отечественной культуры (вторая половина XX века)

Методические рекомендации:

Необходимо учитывать, что данный практикум связан с культурно-антропологическим подходом, его проникновением в историографические исследования, а также с современными подходами к разработке институционально-дисциплинарных моделей изучения историографии, в частности, с анализом одной из основных «популярных» характеристик науки – индивидуального субъекта науки – личности ученого (биоисториографический анализ). В центре внимания при самостоятельной работе студентов и при обсуждении во время семинара – личности историков отечественной культуры и судьбы их творческого наследия. Особенности историографии отечественной культуры должны быть рассмотрены через личности Л.М. Зак, С.С. Дмитриева, В.Т. Ермакова, М.П. Кима, Б.И. Краснобаева, В.Л. Соскина.

Практическое занятие проводится в виде трех частей. 1 часть: Выступления студентов с докладами по персоналиям. 2 часть. Перекрестное рецензирование тезисов докладов, представленных в письменном виде как интерактивный элемент работы. 3 часть – дискуссия по проблеме востребования наследия советских историков в современной историографии отечественной культуры.

Рекомендуемая литература:

1. Бромлей Ю.В., Пиотровский Б.Б., Ермаков В.Т. Историческая наука в СССР. В Отделении истории АН СССР. 70-летие М.П. Кима // Вопросы истории. 1978. №5. С. 135-137.
2. Ермаков В.Т. Академик М.П. Ким – историк, гражданин, человек (1908–1996) // Отечественная история. 1999. № 4.
3. Зак Л.М. История изучения советской культуры (серия «Библиотека историка»). М., 1981. (электронная библиотека кафедры)
4. Зак Л.М. Вопросы культурного строительства в советской исторической литературе. // Культурная революция в СССР. 1917–1965. М., 1967. С. 393-423.
5. Зак Л.М. История культурного строительства СССР в советской историографии // Вопросы истории. 1964. №2. С. 3-21.
6. Зак Л.М. Изучение культурной революции на современном этапе // История СССР. 1976. № 2. С. 64-81.
7. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII – начала XIX в. М., 1983. С. 4-40.
8. Красовицкая Т.Ю. Историк советской культуры – гвардии капитан Людмила Зак // Археографический ежегодник за 2005 год. М. 2007. С. 124-137.
9. Красовицкая Т.Ю. Слово об учителе // Культура и интеллигенция России XX века как исследовательская проблема: итоги и перспективы изучения: тезисы докладов научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения проф. Л.М. Зак и 70-летию со дня рождения проф. В.Г. Чуфарова. 30-31 мая 2003 г. Екатеринбург, 2003. С. 4-5.
10. Кошман Л. В., Эймонтова Р. Г. С.С. Дмитриеву – 80 лет // История СССР. 1986. № 4. С. 130-143.
11. Личность. Культура. Общество: Сборник научных статей к 85-летию проф. В.Л. Соскина. Новосибирск: НГУ, 2010. 271 с.
12. Матвеев Г.А. Памятное (к 85-летию В.Л. Соскина) // Личность. Культура. Общество: Сборник научных статей к 85-летию проф. В.Л. Соскина. Новосибирск: НГУ, 2010. С. 3-11.
13. Назимова В.Ш., Рыженко В.Г. Выбор историка культуры и проблема диалога в современном интеллектуальном пространстве // Историк в меняющемся пространстве российской культуры: сборник статей / [редкол.: Н.Н. Алеврас (гл. ред.) и др.]. Челябинск: Каменный пояс, 2006. С. 211-220.
14. Назимова В.Ш., Рыженко В.Г. Историк советской культуры в современном пространстве интеллектуальных диалогов: выбор и позиция мастера // Личность. Культура. Общество: Сб. науч. ст. к 85-летию проф. В.Л. Соскина. Новосибирск: НГУ, 2010. С. 12-28.
15. Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. Одесса, 2007. С. 135-191.

Практическое занятие 5. Дискуссии 1970-х гг. о предмете и методе истории культуры: «Круглый стол» 1979 года о предмете и методе истории культуры в редакции журнала «История СССР»: участники, подходы, итоги.

Методические рекомендации:

Проведению практического занятия предшествует стадия самостоятельной работы студентов. Прежде чем приступить к основному историо-

графическому источнику (опубликованные материалы ключевой для советской историографии культуры дискуссии в редакции журнала «История СССР»), студенты должны ознакомиться с предшествующими публикациями, в которых поднималась тема будущей дискуссии (См. список рекомендуемой литературы).

При работе с материалами январской дискуссии 1979 г. необходимо исходить из понимания изменений в социокультурном контексте (повышенный интерес к истории культуры – формирование нового социального заказа на историко-культурные исследования), в социокультурном ландшафте исторической науки (расширение институциональных форм, занимающихся профессиональным изучением истории культуры), а также проникновения в научное сообщество историков идей системного анализа, в том числе взгляда на явления культуры как на целостную, качественно определенную систему в общей структуре общественной жизни.

В конспекте следует выделить: 1) состав организаторов и участников, их институциональную и дисциплинарную принадлежность, особо отметить специалистов по историографии отечественной культуры. 2) охарактеризовать статус авторов двух основных докладов, разосланных участникам для предварительного ознакомления (Б.И. Краснобаев и Э.С. Маркарян). 3) из текста доклада Б.И. Краснобаева выбрать характеристики истории культуры как научной дисциплины и отрасли исторической науки, провести сопоставление подходов докладчиков по вопросу о соотношении истории культуры и культурологии, выделить круг проблем, предлагаемых для обсуждения. 4) опираясь на текст доклада Э.С. Маркаряна, представить соотношение между теорией и историей культуры, обнаружить признаки необходимости междисциплинарного видения предметной области историко-культурных исследований. 5) отдельно представить позиции участников дискуссии по вопросу о типологии культуры, а также о возможностях создания общей истории отечественной культуры (в единстве дореволюционного и советского историко-культурных процессов).

Вторая стадия работы – аудиторное занятие в интерактивной форме. Моделируется ситуация проведения «круглого стола» в редакции одного из главных профессиональных журналов для советских историков. Студенты по очереди выполняют разные ролевые функции (ведущий «круглого стола», представитель профильной группы историков культуры, представитель академических институтов, представитель вузовской/университетской исторической науки, главный редактор журнала). Завершением работы по теме практического занятия становится составление кратких индивидуальных заключений о значении дискуссии для дальнейшего развития историографии отечественной культуры (от 1980-х годов до 2000-х годов). Составление такого заключения должно опираться как на итоги обсуждения, так и на знания, почерпнутые из рекомендуемой литературы.

Рекомендуемая литература:

1. Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х годов. Сб. науч. ст. / сост. и отв. ред. Г.И. Зверева. М., 2001.
2. Ермаков В.Т. Советская культура как предмет исторического исследования // Вопросы истории. 1973. № 11.
3. Изучение истории культуры как системы. Сб. науч. тр. Новосибирск, 1983.
4. Краснобаев Б.И. Русская культура XVIII в. Предмет и задачи изучения // История СССР. 1976. № 6.
5. Предмет и метод истории культуры. Круглый стол «Истории СССР» // История СССР. 1979. №6. С. 95–150.
6. Соскин В.Л. О предмете общей историографии культуры // Известия СО АН СССР. Общественные науки. 1976. № 11. Вып. 3.
7. Соскин В.Л. Понятие культуры и системный подход // Системный подход в изучении социалистической культуры. Сб. науч. тр. Новосибирск, 1985. С. 30-38.

Практическое занятие 6. Историки в поисках новых методов и расширение проблемного поля изучения культуры в 1990-е гг.

Методические рекомендации:

Отправной ступенью для обсуждения темы становится самостоятельная работа студентов над статьями из сборника «Выбор метода» (2001), а также осмысление представлений о тенденциях институционального и дисциплинарного развития историографии отечественной культуры в 90-е годы, полученных из лекционного материала и самостоятельного прочтения рекомендованной монографии Л.П. Репиной.

В ходе семинарского занятия предлагается обсудить изменения в историографической ситуации по наиболее показательным признакам: 1) появление коллективных проектов («Культура российской провинции» и «Очерки русской культуры XIX века»); 2) деятельность Российского института культурологии и его филиалов; 3) междисциплинарные конференции по истории культуры России как свидетельство перехода к новому этапу историографии отечественной (русской) культуры; 4) творческая лаборатория современного историка советской культуры (на примере книги Г.А. Янковской).

Рекомендуемая литература:

1. Зверева Г.И. Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры // Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х годов. М., 2001. С. 11-20.
2. Историк в меняющемся пространстве российской культуры: сборник науч. статей / гл. ред. Н.Н. Алеврас, Челябинск, 2006. С. 158-165, 172-179, 189-193, 211-220.
3. Корзун В.П., Рыженко В.Г. Поиск нового образа историографии в современном интеллектуальном пространстве // Мир Клио. Сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной. Том 2. М., 2007. С. 266-278.
4. Кошман Л.В. Многоотомный проект исторического факультета МГУ «Очерки русской культуры». Историографическая традиция. Концепция. Источники // Археологический ежегодник за 2005 год. М. 2007. С. 260-267.
5. Кузнецова Е.И. Отечественная историография культуры: история и перспективы развития (60-е гг. XX в – начало XXI в.) // Вопросы истории. 2004. № 5. С. 153-157.

6. Кузнецова Е. И. Историография отечественной художественной культуры (начала 50-х годов - первой половины 80-х годов XX века) : Автореферат дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.09. Москва, 2004. 40 с.
7. Культура и интеллигенция России XX века как исследовательская проблема: итоги и перспективы изучения: тезисы докладов научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения проф. Л.М. Зак и 70-летию со дня рождения проф. В.Г. Чуфарова. 30-31 мая 2003 г. Екатеринбург, 2003. С. 20-21, 37-40, 72-74, 130-132.
8. Очерки русской культуры XIX века. В 6 т. М., 1998-2006.
9. Храмова Е.Л. Некоторые особенности новейшего периода отечественной историографии культуры России 1941-1945 гг. // Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. 2006. №10/1. С. 138-145.
10. Шулепова Э.А. К 70-летию Российского института культурологии: этапы, исследователи, проблемы // От краеведения к культурологии: Российскому институту культурологии 70 лет. М., 2002. С. 5-14.
11. Шулепова Э.А. Наследие в проблемном поле исторической культурологии // Культурология: от прошлого к будущему: К 70-летию Российского института культурологии. М., 2002. С. 171-179.
12. Янковская Г.А. Искусство, деньги, политика: художник в годы позднего сталинизма. Пермь, 2007.

Разумеется, реализуемый вариант программы данного обязательного учебного курса не может рассматриваться как окончательный и единственный возможный. Он предлагается в качестве экспериментальной формы организации креативного мышления студентов совместно с преподавателем. Следует иметь в виду необходимость постоянного пополнения содержания лекций и массива рекомендуемой литературы новыми публикациями, раскрывающими продолжающийся поиск исследовательских подходов российских и зарубежных гуманитариев, в том числе историографов и культурологов, к феномену национальных отечественных культур, к идеям междисциплинарной кооперации. Упомянувшиеся выше «круглый стол» и дискуссия о влиянии культурных поворотов на трансформацию исторического познания, несомненно, придадут стимул для организации разнообразных интерактивных форм освоения учебного материала.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Вжосек, Войцех.* Культура и историческая истина / Пер. с польск. К.Ю. Иерусалимский. М., 2012. 336 с.
- Лубский А.В.* Интеллектуальная ситуация в исторической науке после постмодернизма // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. / Отв. ред. О.В. Воробьева, З.А. Чеканцева. М., 2012. С. 7-22.
- Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. 320 с.
- Репина Л.П.* Память о прошлом в пространстве культуры // Диалог со временем. 2013. Вып. 43. С. 190-199.

Рыженко Валентина Георгиевна – доктор исторических наук, профессор кафедры современной отечественной истории и историографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; valentina948@mail.ru.

SUMMARIES

M. F. Roumyantseva. The concept of cognitive history by Olga M. Medushevskaya: an invitation to discussion. The article brings up the key themes of the works by Olga Medushevskaya (1922–2007), and of her concept of cognitive history: the specific of Russian neo-Kantianism as the basis for the concept of the methodology of historical knowledge, or that in humanities, intellectual sources of the concept by Olga Medushevskaya, the problem of the subject in the concept of cognitive history.

Keywords: *O.M. Medushevskaya, A.S. Lappo-Danilevsky, Russian Neo-Kantianism, cognitive history, source studies, empirical reality of historical world.*

A. N. Medushevsky. The theory of cognitive history and the emergence of scientific world view. The author discusses the theory of cognitive history as a new paradigm of Russian and international philosophy of history and in evidence-supported interpretation of historical past. Having analysed categories and their empirical verification in research the author offers an analytical framework to help understand the role of intellectual product of human activity as a source of information about a person, or a community of people in the context of their cognitive self-definition in the past and in the present.

Keywords: *Olga M. Medushevskaya, philosophy of history, cognitive method, intellectual product, human activity, exchange of information, reliable knowledge, verification, reconstruction of historical process.*

L. B. Sukina. Philosophical hermeneutics and the ‘return’ of the subject of cognitive history. The author recognizes hermeneutics as one possible philosophical base for further development of cognitive history. Hermeneutics returns the subject of historical studies – the conscience of a historian – into the set of theoretical problems of cognitive history.

Keywords: *cognitive history, philosophy, hermeneutics, subject.*

D. V. Lukyanov. Cognitivism and historical knowledge. The article analyses the interpretations of paradigmatic and heuristic potential of cognitivism viewed as a theory and a practice of a historian offered by the contemporary Russian scholarship. The author focuses his study on the cognitive and informational model of knowledge offered by Olga M. Medushevskaya. Epistemological perspective of the development of history as a cognitive discipline is seen by the author as a strategy and a search for new ontological foundations of historical knowledge.

Keywords: *cognitivism, cognitive history, historical epistemology, contemporary historiography, scientific ontology, source studies.*

I. V. Sabennikova. The theory of cognitive history by Olga M. Medushevskaya and the contemporary anthropological method in humanities. The author demonstrates the importance of cognitive theory of history as a new paradigm of anthropological studies, bearing in mind such themes as social and cultural adaptation in various cultures, the reconstruction of human behavior through intellectual products interpreted as the sources of historical information.

Keywords: *Olga M. Medushevskaya, philosophy and methodology of history, theory of cognitive history, historical anthropology, motivation of human behavior, intellectual product, historical sources.*

A. V. Lubsky. History as pure science vs the narrative logic of historiography. The problems of overcoming the dichotomy between history as a science and history as narratology are considered in the article within the framework of constructive realism and neoclassical rationality.

Keywords: *science, constructivism, radical constructivism, critical realism, narrative, narrative idealism, narrative realism, classical rationality, neoclassical rationality.*

T. Maresz. Historical knowledge, or historical thinking? Methodologists of history often view a historical source as a reflection of reality. However information received from sources is never full, nor adequate to the object of studies. Every historical narrative implies constructing, so study of history must be described as a form of historical thinking, which is a manifestation of creativity.

Keywords: *methodology of history, historical thinking, study of history, historical sources, information trustworthiness, information completeness.*

S. S. Mints. Postmodern source studies: signs of a new paradigm. A culturologist could notice the emergence of a new paradigm in the postmodern source studies, going from 'non-classical' knowledge to 'post-classical', and then to 'post-nonclassical'. Studies of the sources for cognitive history are viewed as a step towards studying the correlation between professional and popular aspects of the conscience of the sources' authors and historians.

Keywords: *Postmodern period, source studies, non-classical knowledge, post-classical knowledge, post-nonclassical knowledge, cognitive history, methods, culturology, phenomenological approach, Olga M. Medushevskaya.*

N. N. Alevras. The theory of source and the image of source studies in the concept of cognitive history by Olga M. Medushevskaya. The author presents an interpretation of the concept of cognitive history by Olga M. Medushevskaya and puts forward a problem of studying her ideas within the context of the development of Russian source studies.

Keywords: *cognitive history, source studies, knowledge in humanities, academic traditions.*

D. A. Dobrovolsky. On universalialia in history. The article analyses two conceptual gnoseological points made in the last monograph by Olga M. Medushevskaya – one of the 'information magnetism' and on the nature of the types of historical sources. It is shown that no effect of 'information magnetism' could be traced in the process of cognition, while a type of sources is not an objective entity but rather a theoretical construct.

Keywords: *methodology of history, categories of history, theory of cognition, interpretation, types of historical sources.*

T. A. Bulygina. Comparative source studies and source studies practices of the intercollegiate SEC "New local history". The article is focused on the approaches by Olga M. Medushevskaya and her disciples to comparative methods in history and to the ways of using the source studies in the research practices of local history.

Keywords: *comparative studies, 'new local history', source studies, synchronic and diachronic comparison, sociocultural context.*

N. A. Mininkov. The 'history of a historian' in the concept of cognitive history by Olga M. Medushevskaya. The idea of cognitive history by Olga M. Medushevskaya develops within the traditions of the European thought of the 20th c. – that of the Annales and intellectual history. It offers an answer to a challenge of postmodern culture, it has interdisciplinary character and takes into consideration a historian's thinking, an important part of an individual biography and personal image.

Keywords: *cognitive history, intellectual history, intellectual product, history of ideas.*

S. I. Malovichko. Phenomenological concept of source studies as theoretical basis of the studies of the sources of historiography. The author advocates the use of phenomenological concept of source studies to shape the theoretical framework of an emerging field of the studies of the sources of historiography. The article analyses the practices of formulating and solving the problems of historical sources for the history of historical discipline and the principles of their classification.

Keywords: *Historiography, studies of the sources of historiography, classification of historiographical sources, society-oriented type of historical knowledge, academic history.*

R. B. Kazakov. On the history of source studies in the 19th century Russia: Nikolay M. Karamzin as a historiographer. The article analyzes elements of historiographical study to be found in the writings by Nikolay M. Karamzin (1766–1826), as well as the latter's views of the practices of history-writing, methods of source studies and constructions of historical narratives, for example, the 'History of the Russian state'.

Keywords: *Nikolay M. Karamzin, Olga M. Medushevskaya, historiography, history of historical discipline, source studies, 'History of the Russian state'.*

N. V. Nekrasova. A study of the works by Vladimir I. Kolosov within the field of the source studies of historiography. The article attempts to categorize the works by Vladimir I. Kolosov (1854–1919), a local historian from Tver', as historiographical sources. The classification is based on their types, in accordance with the approaches formulated by the school of the source study established by Olga M. Medushevskaya. The author of the article draws a preliminary conclusion that socially-oriented works prevail among the writings of Vladimir I. Kolosov.

Keywords: *Vladimir I. Kolosov, source study of historiography, categorization of historiographical sources, types of historiographical sources, socially-oriented and academically-oriented types of historical knowledge.*

R. Yu. Belkovich. Paleoconservatism as a phenomenon of American political thought. The essay is focused on paleoconservatism as a specific phenomenon within American political thought. It is viewed as a conglomeration of ideological positions and everyday practices which reflect the European intellectual heritage of American settlers. The origins of paleoconservatism are analysed, along with the logic of its development and the role it plays in contemporary political process.

Keywords: *paleoconservatism, militia, Agrarians, Anarchism, slavery.*

G. P. Myagkov, T. N. Ivanova. The school of Vladimir I. Guerrier: its main characteristics and its place within Russian academic space. The authors analyse the discussion of the school of Vladimir Guerrier. Various interpretations of this phenomenon reflect methodological approaches of the current stage of the 'historiographical revolution' with its interest to practices of communication, classification of the communities of scholars and to the shaping of an 'anthropological' model of a school of research. The article presents the main characteristics of the Guerrier's school, its structure and evolution, its role in the development of the studies of world history in Russia.

Keywords: *models of historiographical studies, processes of communication, communities of intellectuals, historiographical 'life practices', academic school of Vladimir Guerrier, 'Russian historical school' ('École Russe').*

T. V. Berngardt, V. P. Korzun. Historical bibliography as a form of the transmission of an intellectual culture: changing functions of a discipline in the early 20th c. The authors deal with materials from Siberia in their attempt to demonstrate the role of historical bibliography, viewed as an element of the communicative field of historical discipline, in the shaping of its image. Historical bibliography is not only seen as a channel for the transmission of historical knowledge and a way to preserve an intellectual tradition, but also as a mechanism of censorship and control over the research field of the historical discipline.

Keywords: *historiography, historical bibliography, communication, censorship, Siberia.*

K. V. Gersh. An image of a historian and his work (the writings by Ivan M. Grevs).

The author attempts to reconstruct an image of a historian and his work as understood by a medievalist Ivan M. Grevs (1860–1941). The article is focused on his views in the professional and personal qualities of a historian, his status and role within an academic community, and aims of professional work. The author uses autobiographical materials, memoirs and notes by Grevs on his tutors, pupils, colleagues, his reviews, historiographical introductions to lecture courses, and obituaries.

Keywords: *image of a scholar, work of a historian, professional self-identification, tutor – pupil, methods of historical research, medieval studies.*

L. P. Repina. A historian in pursuit of knowledge: 90th anniversary of Yury L. Bessmertny. The article is dedicated to the 90th anniversary of the famous Russian historian Yury Lvovich Bessmertny (1923–2000). The author demonstrates the presific and traces the logic of the studies of private life, inward life and the behavior of the people of the past, offered by the scholar, as well as his thought on the possible ways to pass from ‘case studies’ to the understanding of the originality of historical integrity.

Keywords: *Yury L'vovich Bessmertny, case studies, microhistory, undivided – unique – accidental in history, micro- and macro-historical analysis, problem of integration, types of historical knowledge, ‘other history’.*

T. A. Torstendahl-Salycheva. Harmony of personal and social in the works by Birgitta Odén. The article offers the first ever attempt to analyse the works and the public career of Birgitta Uden, a well-known Swedish historian, and an honorary doctor of the University of Lund. The author uses both numerous publications by the scholar, and the interviews.

Keywords: *Birgitta Odén, Swedish historiography, interdisciplinarity, historian and society, social function of history.*

Yu. S. Obidina. The cult of Dionysus in the sociocultural space of Ancient polis: the imaginary, the symbolic and the real. The article demonstrates the most substantial semantic blocks and motives of the cult of Dionysus. Cultural variants of the mythologem of Dionysus are seen from the opposing point of views – that of popular culture (what had not found its way to theoretical reflection in its Orphic and philosophical versions) and of the mysterious interpretation of the myth about Dionysus.

Keywords: *immortality, Dionysus, Zagreus, mysteries, mythologem, Orphics.*

K. V. Posternak. Empress Elizaveta Petrovna and the church art of her time. The article is focused on the influence of the religious views of Empress Elizaveta Petrovna on the development of the church art in Russia. The Emress demanded that architects and artists followed the canons and traditions of the Orthodox Church strictly. The author analyses the architecture and decorations of the iconostases of St Petersburg churches in the mid-18th c., and shows the mechanisms of this influence and its scale, as well as the relationship between the Empress and the architects and the artists.

Keywords: *Empress Elizaveta Petrovna, church art, architecture, baroque, iconostasis.*

A.B. Sokolov. Humour as a feature of the English national character in the travelogues of the late 18th – early 19th cc. Humour is usually regarded as a part of the national character of the English people. The works of the travelers, who visited England at the end of the 18th and the early 19th cc., show that not all of them understood and appreciated the English humour. On the contrary the English authors in the patriotic style saw the best features of the national character in the ability to joke. In the article humour is regarded as mechanism of identification, of the differentiation between “us” and “others”.

Keywords: *English national character, humour, travelogue, patriotic narrative.*

I. G. Tazhidinova. Front friendship in the testimonies of the combatants of the Great Patriotic war. The new outlook on the history of the Great Patriotic War is closely connected with the fact that the problem has assumed a “human dimension” of the studies of private culture, routine practices of the Soviet people under war-time conditions. The formulation and solution of the problem are connected with the use and analysis of private sources. The article, based on front-line soldiers’ personal letters, diaries and memories, considers the motivation to establish friendly relations among them, form, as well as the contents and meaning of such communications.

Keywords: *The Great Patriotic War 1941–1945, letters, memories, diaries, combatants, front-line routine, friendship.*

S. V. Aristov. The system of Nazi concentration camps: the European historiography of the problem. The article presents an analysis of the development of historiography of the Nazi concentration camps in Germany, Poland and France. The author has defined the important stages of the process and characterized the most important studies.

Keywords: *concentration camps, historiography, Nazism, the Third Reich.*

S. V. Golikova. A century and a half of rural urbanization: a historian’s view. Review: *Мазур Л.Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX–XX в.). Екатеринбург, 2012. 472 с.* The book under review is the first comprehensive study of the process of urbanization in rural areas of a large region (the Urals).

Keywords: *the Urals, rural area, urbanization, modernization.*

I. G. Vorobyeva. The memoirs by Nil A. Popov about Timofey N. Granovsky. The publication presents a fragment from the memoirs by Nil A. Popov (1833–1891) on Timofey N. Granovsky (1823–1855), a professor of the University of Moscow and the founder of the studies of European history in Russia.

Keywords: *Timofey N. Granovsky, Nil A. Popov, the University of Moscow, professorship, memoirs.*

V. G. Ryzhenko. The historiography of Russian culture: a version of a magister lecture course. The lecture course ‘The historiography of Russian culture’ aims at showing the main stages in the development of the historiography of Russian culture in the context of the changing research approaches. The course is intended for magisterial students studying ‘history’ (‘the history of historical discipline (historiography)’, ‘History and culture of the regions of Russia’).

Keywords: *historiography of culture, theory of ‘regional culture blocks’, cognitive potential of contemporary historical discipline, intellectual history, interactive educational methods.*

CONTENTS

Cognitive History

Preface.....	5
<i>Marina F. Roumyantseva</i> The concept of cognitive history by Olga Mikhailovna Medushevskaya: an invitation to discussion.....	6
<i>Andrey N. Medushevsky</i> The theory of cognitive history and the emergence of scientific world view....	16
<i>Ludmila B. Sukina</i> Philosophical hermeneutics and the 'return' of the subject of cognitive history...	26
<i>Dmitry V. Lukyanov</i> Cognitivism and historical knowledge.....	34
<i>Irina V. Sabennikova</i> The theory of cognitive history by Olga M. Medushevskaya and the contemporary anthropological method in humanities.....	44
<i>Anatoly V. Lubsky</i> History as pure science vs the narrative logic of historiography.....	53
<i>Teresa Maresz</i> Historical knowledge, or historical thinking?.....	62
<i>Svetlana S. Mints</i> Postmodern source studies: signs of a new paradigm.....	69
<i>Natalia N. Alevras</i> The theory of source and the image of source studies in the concept of cognitive history by Olga M. Medushevskaya.....	79
<i>Dmitry A. Dobrovolsky</i> On universalia in history.....	89
<i>Tamara A. Bulygina</i> Comparative source studies and source studies practices of the intercollegiate SEC "New local history".....	97
<i>Nikolay A. Mininkov</i> The 'history of a historian' in the concept of cognitive history by Olga M. Medushevskaya.....	104
<i>Sergey I. Malovichko</i> Phenomenological concept of source studies as theoretical basis of the studies of the sources of historiography.....	112
<i>Roman B. Kazakov</i> On the history of source studies in the 19 th century Russia: Nikolay M. Karamzin as a historiographer.....	127
<i>Nadezda V. Nekrasova</i> A study of the works by Vladimir I. Kolosov within the field of the source studies of historiography.....	143

Intellectual History Today

<i>Rodion Yu. Belkovich</i> Paleoconservatism as a phenomenon of American political thought.....	152
--	-----

<i>German P. Myagkov, Tatyana N. Ivanova</i>	
The school of Vladimir I. Guerrier: its main characteristics and its place within Russian academic space.....	165
<i>Tamara V. Berngardt, Valentina P. Korzun</i>	
Historical bibliography as a form of the transmission of an intellectual culture: changing functions of a discipline in the early 20 th c. (the example of Siberia)....	186
<i>History and Historians in the Past and in the Present</i>	
<i>Ksenia V. Gersh</i>	
An image of a historian and his work (the writings by Ivan M. Grevs)	206
<i>Lorina P. Repina</i>	
A historian in pursuit of knowledge: 90 th anniversary of Yury L. Bessmertny	232
<i>Tamara A. Torstendahl-Salycheva</i>	
Harmony of the personal and the social in the works by Birgitta Odén	249
<i>The Space of Cultural History</i>	
<i>Yulia S. Obidina</i>	
The cult of Dionysus in the sociocultural space of Ancient polis: the imaginary, the symbolic and the real.....	280
<i>Kirill V. Posternak</i>	
Empress Elizaveta Petrovna and the church art of her time.....	296
<i>Andrey B. Sokolov</i>	
Humour as a feature of the English national character in the travelogues of the late 18 th – early 19 th cc.....	310
<i>The History of the 20th Century</i>	
<i>Irina G. Tazhidinova</i>	
Front friendship in the testimonies of the combatants of the Great Patriotic war...	328
<i>Stanislav V. Aristov</i>	
The system of Nazi concentration camps: the European historiography of the problem.....	348
<i>Reading Books...</i>	
<i>Svetlana V. Golikova</i>	
A century and a half of rural urbanization: a historian's view.....	367
<i>Publications</i>	
<i>Irina G. Vorobyeva</i>	
The memoirs by Nil A. Popov about Timofey N. Granovsky.....	374
<i>Research and Education</i>	
<i>Valentina G. Ryzhenko</i>	
The historiography of Russian culture: a version of a magister lecture course	379
SUMMARIES.....	391
CONTENTS.....	396

СОДЕРЖАНИЕ

Когнитивная история

Предисловие	5
<i>М.Ф. Румянцева</i>	
Концепция когнитивной истории Ольги Михайловны Медушевой: приглашение к дискуссии.....	6
<i>А.Н. Медушевский</i>	
Теория когнитивной истории и формирование научной картины мира.....	16
<i>Л.Б. Сукина</i>	
Философская герменевтика и «возвращение» субъекта когнитивной истории.....	26
<i>Д.В. Лукьянов</i>	
Когнитивизм и историческое познание.....	34
<i>И.В. Сабенникова</i>	
Теория когнитивной истории О.М. Медушевой и антропологический метод в современном гуманитарном познании.....	44
<i>А.В. Лубский</i>	
История как строгая наука vs нарративная логика историописания.....	53
<i>Тереса Мареш</i>	
Историческое познание или историческое мышление?.....	62
<i>С.С. Милиц</i>	
Источниковедение эпохи постмодерна: приметы новой парадигмы.....	69
<i>Н.Н. Алеврас</i>	
Теория источника и образ источниковедения в концепции когнитивной истории О.М. Медушевой.....	79
<i>Д.А. Добровольский</i>	
К проблеме исторических универсалий.....	89
<i>Т.А. Бульгина</i>	
Компаративное источниковедение и источниковедческие практики межвузовского НОЦ «Новая локальная история».....	97
<i>Н.А. Мининков</i>	
«История историка» в концепции когнитивной истории О.М. Медушевой	104
<i>С.И. Маловичко</i>	
Феноменологическая концепция источниковедения как теоретическая основа источниковедения историографии.....	112
<i>Р.Б. Казаков</i>	
Из истории источниковедения в России XIX в.:	
Н.М. Карамзин как историописатель.....	127
<i>Н.В. Некрасова</i>	
Изучение творческого наследия В.И. Колосова в проблемном поле источниковедения историографии.....	143

Интеллектуальная история сегодня

<i>Р.Ю. Белькович</i>	
Палеоконсерватизм как феномен политической мысли США.....	152
<i>Г.П. Мягков, Т.Н. Иванова</i>	
Школа В.И. Герье: основные черты и место в научном пространстве России	165

<i>Т.В. Бернгардт, В.П. Корзун</i> Историческая библиография как форма трансляции интеллектуальной культуры: меняющиеся функции дисциплины в первой трети XX в. (на материале Сибири).....	186
<i>История и историки в прошлом и настоящем</i>	
<i>К.В. Герш</i> Образ историка и его ремесла (на примере творчества И.М. Гревса).....	206
<i>Л.П. Репина</i> Историк в поиске: к 90-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного.....	232
<i>Т.А. Тоштендаль-Салычева</i> Гармония личного и общественного в творчестве Биргитты Удён.....	249
<i>В пространстве культурной истории</i>	
<i>Ю.С. Обидина</i> Культ Диониса в социокультурном пространстве античного полиса: воображаемое, символическое и реальное.....	280
<i>К.В. Постернак</i> Императрица Елизавета Петровна и церковное искусство ее времени.....	296
<i>А.Б. Соколов</i> Юмор как черта английского национального характера (по сочинениям путешественников конца XVIII – первой половины XIX в.).....	310
<i>Из истории XX века</i>	
<i>И.Г. Тажидинова</i> Фронтальная дружба в свидетельствах комбатантов Великой Отечественной войны.....	328
<i>С.В. Аристов</i> Система нацистских концентрационных лагерей: европейское измерение историографии проблемы.....	348
<i>Читая книги...</i>	
<i>С.В. Голикова</i> Полтора века сельской урбанизации: взгляд историка.....	367
<i>Публикации</i>	
<i>И.Г. Воробьева</i> Воспоминания Н.А. Попова о Т.Н. Грановском.....	374
<i>Наука и образование</i>	
<i>В.Г. Рыженко</i> Историография отечественной культуры: вариант построения университетского учебного курса для магистрантов в современной познавательной ситуации.....	379
SUMMARIES.....	391
CONTENTS.....	396